This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

В. И. Савихинъ.

941

Пробужденіе

и другіе разсказы.

LIBRAIRIE
PETITE BIBLIOTHÈQUE
des Auteurs Étrangers
S.A.R.L. Capital 1.000.000 F.
43, Rue Le Marois, PARIS-16e
R. C. Seine 305.520 B

Типо-литографія Т-ва И. Н. КУШНЕРЕВЪ и К°, Пименовская ул., соб. домъ.
Москва — 1906.

941

Дѣдъ Софронъ.

РАЗСКАЗЪ.

Посвящается свѣтлому старцу, великому писателю земли русской Льву Николаевичу Толстому.

— Евстигней!..

— Ну, что тебѣ надо?

— Да хоть бы ты щей маленько хлебнулъ... Вѣдь третій день крошки хлѣба въ ротъ не берешь, за то и на человѣка не смахиваешь,—будто тѣнь! Вѣдь этакъ совсѣмъ изведешься?

— Не надо...

— Насильно поѣшь, — хлебни ложки двѣ!.. Вѣдь у тебя, баютъ, обгорѣло въ нутрѣ...

— Отстань!

Сидѣвшій на лавкѣ мужикъ повернулся къ окну и уставилъ глаза на улицу. Лицо мужика было съ замѣтнымъ отёкомъ,—вслѣдствіе неправильной работы сердца,—съ выраженіемъ испуга и отупѣнія. Баба, говорившая съ нимъ, тоже имѣла болѣзненный видъ; она сидѣла на лавкѣ и пряла.

— Евстигней!..—заговорила она.—Кабы ты...

— Ну, чего привязалась! — крикнулъ сердито мужикъ.— Чего льнешь? Сиди, коли тебя не трогаютъ!

— А кто жъ вязаться будетъ къ тебѣ? Ты подумай въ головѣ малость: у тебя ребятъ трое, да я... А у меня и у самой—всю грудь изломило; и дѣдко нашъ тоже плохъ... А

ты и заботушки въ голову не берешь... Тебѣ все—трынъ-трава на землѣ! Хорошо это?

Баба продолжала надтреснутымъ голосомъ:

— Кабы ты былъ чужой намъ, такъ и то—больно! А на тебѣ весь законъ... Поѣшь сперва и окрѣпнешь...

— Отвяжись, Дарья! а то я тебя такъ и двину... Пила окаянная.—У!..

Евстигней пересѣлъ подальше отъ Дарьи, къ другому окну, и еще пристальнѣе уставилъ глаза на улицу, будто силился разглядѣть на ней что-то неуловимое.

Въ избѣ стало тихо. Только веретено взвизгивало по временамъ въ рукахъ Дарьи, да что-то хрипѣло въ ея груди. Дарья укоризненно поглядѣла на Евстигнея, и въ ея усталыхъ глазахъ завидѣлся отблескъ слезъ.

Изба была черная, прокоптѣвшая до того, что непротесанныя бревна вверху блестѣли, словно были изъ чернаго дерева и покрыты дорогимъ лакомъ... Изъ широкихъ щелей выглядывали кучами прусаки. Три маленькихъ оконца воспринимали уличный свѣтъ; двѣ лавки тянулись около стѣнъ. Въ „большомъ углу“ висѣлъ на гвоздѣ завѣшанный синею тряпицею угольникъ,—такой же черный, какъ стѣны и потолокъ. Въ угольникѣ стояли два темныхъ покоробленныхъ образа; столъ пріютился у одной изъ лавокъ; въ углу, близъ печки, лежала согнутая постель съ наложеннымъ на нее разнымъ тряпьемъ и платьемъ. Все въ избѣ было бѣдно, убого, словно доживало свои послѣдки, и ждало на смѣну новаго...

Наверху печки что-то посвистывало и гулко дышало. Тамъ лежалъ плечистый, совершенно лысый и сѣдой старикъ—отецъ Евстигнея. Лучина захрустѣла подъ дѣдомъ,—дѣдъ зашевелился, приподнялся на локтяхъ и съ кряхтѣніемъ сталъ опускаться на полъ. Опустившись, старикъ усѣлся близъ согнутой постели и, опершись руками въ колѣни, пытливымъ взглядомъ окинулъ безмолвнаго Евстигнея.

— Ну, что, молодецъ, все сидишь! — сказалъ старикъ и покачалъ головой.—Плохи, братъ, наши дѣла...

Евстигней не слышалъ словъ дѣда и продолжалъ глядѣть на занесенную снѣгомъ улицу.

— Вотъ такъ-то и завсегда будетъ,—коли человѣкъ напуститъ на себя дурь...—говорилъ дѣдъ сурово.—Ты знаешь ли, отчего тебѣ худо?—въ тебѣ рогастый сидитъ!

Евстигней глядѣлъ куда-то вдаль, черезъ сосѣдній плетень, куда-то туда, гдѣ все было покрыто пеленою снѣга, какъ саваномъ.

— Крещеный человѣкъ,—слышишь ли! Рогастый засѣлъ въ тебя, какъ въ мѣшокъ!.. Молись, коли такая бѣда на тебя навалила, да впередъ помни: вина не осилишь, хоть будь изъ клена...

— Да, молится онъ!—вмѣшалась Дарья.—Ему теперь не до Бога...

— Вотъ то-то и худо, что отъ Бога мужикъ откоснулся, а потомъ и отъ себя, и отъ всѣхъ!..—говорилъ дѣдъ.—Эхъ, Евстигней! тошно мнѣ глядѣть на тебя, горько мнѣ въ моемъ сердцѣ... Я тебя худу во всю жизнь не училъ; растилъ, кормилъ тебя, думалъ—человѣкъ будешь... А ты и себя потопталъ и дѣтей, и меня осрамилъ къ концу жизни!

Евстигней молча обернулся къ отцу.

— Слышь, Евстигней: правду я тебѣ баю! Я безъ мала восемьдесятъ годовъ на свѣтѣ живу, да такъ, что приведи Христосъ всякому. А вотъ на старости ты и поднесъ мнѣ чару... Удружилъ—спасибо! Теперь, шутка ли,—отцовскіе сапоги въ кабакъ снесъ, а? Непутевый ты человѣкъ,—вѣдь они у меня шешнадцать годовъ носились! Только въ Троицу да въ большіе Христовы дни обувалъ ихъ... И тебѣ, можетъ, хватило бы ихъ на столько, кабы шло по-хорошему... Эхъ, Евстигней,—рука у меня ослабѣла, а то бы я тебя повозилъ... Я бы тебѣ такіе сапоги вымолотилъ на шеѣ, что помнилъ бы ты сто годовъ!.. Ужъ срамное, послѣднее это дѣло, а другого оборота нѣтъ! Счастье твое—силушки моей нѣту...

Евстигней что-то промычалъ.

— Не ндравится! — сказалъ дѣдъ.—Вотъ и завсегда такъ: какъ станешь баять правду тебѣ, ты и рожу на сторону, и мычишь... Охъ, братъ Евстигней Софронычъ,—эво я какъ величаю тебя, шельмеца! — не по порядку ты живешь на землѣ,—большой ты отвѣтъ отдашь Богу! Вникни: моя пора миновала, можетъ статься, не сегодня—завтра умру... А передъ тобой лежитъ путь далекій,—жена, ребяты малые вкругъ тебя. Ихъ вырастить надо да къ добру пріучить. А какое отъ тебя добро, ежели всякій на тебя пальцемъ указываетъ „пропоица, молъ, безталанный!“ Худо, Евстигней Софронычъ, ой—худо!.. Одна бѣда на землѣ: силой ума не положишь въ чужую голову, коли она сама не захочетъ... Помни, Евстигней,—тебѣ жить надо! А то вотъ хозяйство-то словно въ воду уплывать стало: что погнулось, что изломалось,— тебѣ и заботушки нѣтъ! „Отецъ, молъ, поправитъ...“ Нѣтъ, родимый, на меня не надѣйся шибко. Не много мнѣ надо теперь: четыре тесины да яму... Погляди на людей: и гумны крѣпкія, и всѣ хоромы въ порядкѣ, и достатокъ, и все... Голько у насъ съ тобой ничего нѣтъ въ залишкѣ, и все ползетъ... И запомни, — уползетъ все, коли рогастаго изъ нутра вонъ не выживешь!.. О, Господи Іисусе, сохрани и оборони насъ, бѣдныхъ...

Дѣдъ, вздохнувъ, молча уставился глазами на сына; тотъ глядѣлъ въ полъ и молчалъ, будто камень. Дарья пряла.

Въ избу вошла дѣвочка годовъ десяти, худенькая, съ частыми корявинами на блѣдномъ лицѣ, ведя за руку мальчугана годовъ пяти, одѣтаго въ материну кацавейку и обвязаннаго платкомъ.

— Ѣсть хочу, мамка!—сказалъ мальчикъ.

Дарья отрѣзала ему ломтикъ хлѣба. Мальчикъ вскарабкался на лежанку и принялся за ѣду.

— Ты, Груняха, куда ходила?—спросилъ дѣдъ у внучки.

— А у Еремкиныхъ была, дѣдушко! Машка наша и теперь тамъ сидитъ. У Еремкиныхъ дѣвки собрались,—Аннѣ ихней подвѣнешное шьютъ: двѣ коленкоровыя рубахи. А сама Анна рушникъ кумачемъ вышиваетъ,—хорошій такой

рушникъ, дѣдушко,—цвѣты, какъ лопаты!.. Мама, дай-ко и мнѣ поѣсть хлѣбца...

— Что ты теперь въ себѣ чувствуешь?—спросилъ дѣдъ у сына.—Примѣрно, у тебя болитъ что, али какъ?

— Да такъ... Ничего... Тоска этакая владѣетъ: ни на кого бы не глядѣлъ...

— Вотъ то-то и есть: „тоска!“ Ты молись Богу крѣпче, въ душѣ молись, — она и отхлынетъ... Христосъ поможетъ всегда, только восчувствуй Его. Ишь, до чего дошелъ: ни на кого глядѣть не хочешь, слова не молвишь, сидишь, какъ шальной!.. А мнѣ, думаешь, лестно глядѣть на тебя въ сію пору? У меня вона какъ зажимаетъ здѣсь, въ сердцѣ... У меня все переболѣло отъ твоей жизни: ты кровь моя, мнѣ за тебя глазами хлопать приходится... Да не только изъ-за одного этого,—жаль по-Божьи!

Евстигней поднялся съ лавки и взялъ съ постели кафтанъ.

— Ты куда?—спросилъ дѣдъ.

— Да пойду къ мужикамъ... Посижу межъ мужиковъ часокъ, отвлекусь...

— Тошно? Ну, поди посиди, развѣй тоску-горе.

Евстигней, собравшись, надѣлъ на голову бараній треухъ, оглянулся вкругъ подозрительно и вышелъ вонъ изъ избы. Дарья принялась утирать фартукомъ долго сдерживаемыя слезы.

— Ты чего?—спросилъ у нея старикъ.

— Да к-а-къ же, ба-тю-шко!.. Теперича что же это?.. Вотъ и самъ ты ничего не можешь подѣлать съ нимъ, а мнѣ-то какъ быть? Вѣдь я всѣ ночи не сплю, меня такъ всю и сосетъ отъ тоски... Этакое Господь послалъ наказанье, —голова въ круги ходитъ! Всю душу онъ изъ меня вонъ вымотаетъ...

— Да, плохи дѣла наши!.. И у меня вся душа вымотана; и я изболѣлся крѣпко. Ужъ, значитъ, судьба намъ выпала этакая. А все жъ, баба, крѣпиться надо; на Христа надѣяться надо! Груняха, достань табакерку мнѣ, —гляди,—лежитъ она на печи, на лучинѣ...

Груня подала табакерку. Дѣдъ понюхалъ табаку изъ нея и затихъ.

Снова заслышалось въ избѣ жужжаніе веретена, да негромкіе разговоры Груни и мальчика, забравшихся на печку и игравшихъ тамъ „въ богомолье“.

— Ишь, завечерѣло!—спохватился старикъ.—Надо пойти за сѣномъ въ пуньку,—конь хочетъ ѣсть.

Одѣвъ шубенку и выйдя изъ избы, дѣдъ направился съ корзиною на плечѣ къ сѣнной пунькѣ. Дарья погодя зажгла лучину въ свѣтцѣ. Въ избу вошла дѣвочка побольше Груни.

— Мама, я хлѣбца хочу!—сказала она, вертясь близъ стола.

— А ты обожди часокъ,—отвѣтила Дарья,—вотъ придетъ со двора дѣдко, да отецъ придетъ, тогда и поѣдимъ всѣ огульно...

Вскорѣ вернулся и дѣдъ. Пождавъ Евстигнея, дѣдъ рѣшилъ ужинать безъ него и сказалъ Дарьѣ:

— Собирай, баба, ужину,—всѣмъ охота; да ребятамъ и спать пора. Эй, Митрей-богомолъ, слѣзай съ печки, полѣзай за столъ хлебать щи!..

Ребята затопали босыми ногами по полу. Дѣдъ отдернулъ тряпицу-завѣсу отъ образовъ, и образа отчетно выступили въ черномъ угольникѣ—темные, горбатые, облупленные съ краевъ. Всѣ помолились имъ и молча сѣли къ столу.

Щи оказались „искусные“, съ сѣрой капустой, съ яшневой крупкой, подкрашенные маленько квашенымъ творогомъ, — не только ребята, а и самъ дѣдъ кушалъ ихъ съ большимъ аппетитомъ. Хлѣбъ былъ черенъ и крѣпокъ, да и не диво: возросъ онъ „на бѣлой землѣ“... А хлѣбушко тогда бѣлъ и мягокъ, когда растетъ на землѣ черной.

— Чего жъ это опять мужикъ пропадаетъ?—сказалъ дѣдъ, поглядѣвъ на Дарью.—Не облегчило, значитъ, отъ маяты...

— И я, батюшко, думаю про него... Я страсть боюсь: не запилъ бы онъ опять?..

— Ну, не мели этихъ словъ!.. Пить—капиталы надо... Теперь выходится. Помолится усердно Богу, и все хорошо пойдетъ. Теперь совѣсть его ожимаетъ... за сапоги...

Поужинавъ щецъ, всѣ снова остановились на молитву предъ образами. И послѣ того дѣдъ задернулъ завѣсою святые лики, до утренняго моленія. Ребята улеглись спать. Дарья, воткнувъ новую горящую лучину въ свѣтецъ, сѣла къ прялкѣ. Дѣдъ, вынувъ изъ ведра пучокъ мягкихъ лыкъ, сталъ прилаживаться поудобнѣй къ огню.

— Батюшко, ты сперва хомутъ почини,—сказала Дарья,— а то я намедни ѣздила за сѣномъ, да и забыла тебѣ сказать, что гужъ оборвался...

— Ишь тебѣ помогло!.. Ну, поди принеси его въ избу, починю.

Дарья взяла изъ свѣтца лучину и вышла въ сѣни. Возвратясь изъ сѣней и подавая дѣду плохенькій хомутишко, она спросила:

— Батюшко, а сѣделку куда подѣвали?—ее тамъ не видно нигдѣ...

— Ну, какъ не видно,—въ сѣняхъ она!

— Да нѣту...

— А я тебѣ баю: тамъ!.. Куда же она подѣвалась?

Дарья опять вышла изъ избы съ горящей лучиной въ рукѣ; обшаривъ всѣ сѣни, всѣ углы, она сказала робко:

— Нѣтъ ее, батюшко...

— Ой, лгешь!—откликнулся горячо дѣдъ, и самъ направляясь въ сѣни, говорилъ смѣло: — А вотъ я найду ее однимъ разомъ, она...

Дѣдъ сталъ глядѣть на голыя стѣны сѣней, на потолокъ... Взявъ лучину съ огнемъ изъ руки Дарьи, онъ пригнулся и сталъ глядѣть по низамъ, — отодвинулъ изъ угла кадку съ капустой, отбросилъ плетушку, поглядѣлъ за рундукъ...

— Куда же она подѣвалась? — говорилъ старикъ, снова оглядывая стѣны и потолокъ:—она тутъ...—Вопросительно уставясь на невѣстку, дѣдъ спросилъ:—Ты, баба, не позабыла ли ее въ другомъ мѣстѣ, — не лежитъ ли она на дворѣ?..

— Здѣсь была!.. Сегодня лежала она вотъ тутъ; я сама видѣла...

— Давай хорошенько искать... На̀, свѣти!

Начались снова поиски во всѣхъ углахъ, въ рундукѣ, на стѣнахъ, въ капустѣ... Наконецъ дѣдъ распрямился, развелъ руками, сплюнулъ злобно и объяснилъ Дарьѣ:

— За сапогами ушла сѣделка!.. Пойдемъ въ избу. Коли не нашли, значитъ, нѣту!..

Дѣдъ оробѣлъ, бормоталъ глухо:

— Коли нѣтъ, значитъ, и не будетъ ее во-вѣки... Ну, братъ-Евстигней, плохо̀ твое дѣло!.. Теперь, шельмецъ, ты у меня изъ рукъ не ускочишь... Теперь я съ тобой раздѣлаюсь по особенному; теперь — шабашъ! Ужъ коли срамъ принимать — приму весь... Выпорю подлеца на міру... Шабашъ!.. Пропадай наша слава... Держись и терпи, Софронъ Селифанычъ! Гори отъ стыда за свою неудачную кровь... Шабашъ свѣту!..

Голосъ старика дрожалъ, самъ онъ весь дрожалъ въ лихорадкѣ... Отшвырнувъ ногою отъ свѣтца лыки, отбросивъ къ дверямъ хомутъ, дѣдъ засопѣлъ носомъ, наморщилъ густыя брови, сжалъ кулаки и, присѣвъ на лавку вблизи образовъ, глубоко задумался.

Дарья склонилась надъ спящими дѣвочками и тихо всхлипывала. Лучина потухла въ свѣтцѣ...

Холодная декабрьская ночь распахнулась широко надъ деревней Ольховкиной, и непривѣтно заглядывала она сквозь полузамерзлыя стекла въ закоптѣлую избу дѣда... Дѣвки, закончивъ веселую супрядку, съ визгомъ и криками пробѣжали мимо дѣдовыхъ оконъ; хрипатый пѣтухъ пропѣлъ гдѣ-то. Огни на деревнѣ потухли; настала жуткая тишина; вся Ольховкина утонула въ глухой за-полуночи... Утонулъ и дѣдъ: онъ сидѣлъ безмолвно въ своей темной избѣ, не шевелясь, словно умеръ; лишь изрѣдка вылетали тяжелые вздохи изъ его широкой груди.

Вспомянулось дѣду все давно позабытое... И своя молодость, и Евстигнеева молодость. Было и еще два сына: одного взяли въ солдаты, да тамъ и оставили, такъ онъ и сгибъ безъ вѣстей гдѣ-то вдали отъ родной стороны; другой сынъ

умеръ на глазахъ дѣда... Всѣ свои надежды Софронъ сложилъ на меньшака Евстигнея, на немъ сосредоточилъ весь расчетъ своей жизни. Да ошибся въ расчетѣ...

Евстигней, въ первой молодости, почти въ ротъ не бралъ кабацкаго зелья, и по уму не послѣдній былъ въ деревнѣ Ольховкиной. Да что-то попортилось въ немъ: насѣла на человѣка дурь, сталъ онъ пить, пить... А доживя до полусотни годовъ, сталъ пить мертвую, тянуть въ кабакъ все, что попадало въ руки. Софронъ напрягалъ всѣ свои усилія—образумить сына, пускалъ въ ходъ и мягкіе и жесткіе способы, да не дѣйствовало; Евстигней будто и не слышалъ, и не чуялъ отцовскихъ резоновъ. Вотъ и теперь: и дѣдъ, и Дарья повѣрили Евстигнею, что онъ „въ послѣдній разъ" извелъ пьянство свое, прихлопнулъ его отцовскими сапогами... И хоть худо вышло, да все, кажись, хорошо пошло,—нашелъ человѣкъ въ горестяхъ истинную дорогу, образумился въ головѣ, вспомнилъ Бога!.. Да сѣделки нѣтъ...

И дѣду ясно представилось на мысляхъ, какъ онъ первый разъ провожалъ красавца Евстигнея въ городъ на заработки,—поддержать домъ въ порядкѣ. Земля у ольховкинцевъ была бѣлая—песокъ да глина, а иное мѣсто сѣрая—супесокъ... На такой землѣ и съ широкими плечами тяжело было; приходилось добывать подмогу на сторонѣ.

Вспомнилъ дѣдъ, какъ онъ съ котомкою за плечами, съ березовой палкой въ рукѣ, ходилъ въ городъ къ сыну за деньгами, вспомнилъ, какъ и еще ходилъ, и еще... И всегда почти приходилось ему уходить домой съ пустыми руками, при палкѣ да при котомкѣ...

Много было денегъ въ городѣ, попадали онѣ и Евстигнею въ руки, не доходили лишь до Софрона,—къ Софрону шли одни обѣщанія... Лживая душа оказалась у Евстигнея, кривая душа и безжалостная. Дѣду мыслилось, что большую промашку сдѣлалъ онъ, не вернувъ во-время Евстигнея домой—въ деревню, глядѣть по хозяйству, работать на бѣлой землѣ, да помнить Бога. А когда спохватился, ужъ прежняго Евстигнея не было, осталась труха одна: совсѣмъ на

другое передѣлала его городская фабричная жизнь да друзья-пріятели, у которыхъ ничего своего, кромѣ дикой удали, не было. „Фабрики испортили мужика, — думалъ дѣдъ, — онѣ самыя его съѣли!.. Погибъ онъ за свою простоту, ослабѣлъ... А теперь рогастый засѣлъ въ него, теперь его не свернешь. Шабашъ свѣту!..“

И опять мысли старика подошли къ сапогамъ, къ сѣделкѣ... И пуще стало зажимать въ груди у Софрона, крѣпче защемила тоска его сердце.

— Теперь закрутитъ опять! — проговорилъ дѣдъ громко.— Теперь ему хоть въ глаза наплюй... А сѣделка-то рубля стоитъ,—новая...

И засѣла эта сѣделка въ дѣдову голову,—засѣла гвоздемъ... Таскалъ Евстигней въ кабакъ и рожь, и ячмень, и сѣно, да все это дѣдъ прощалъ ему, на все глядѣлъ съ болью въ сердцѣ, но покрывалъ отъ людей свое горе, а теперь дошло—„шабашъ свѣту!“

Дѣдъ, съ жесткимъ чувствомъ, представлялъ себѣ наступленіе дня, приходъ домой Евстигнея, свой позоръ... Онъ рѣшилъ собрать міръ и высѣчь на міру сына, отквитать ему за всю свою боль, за всю черную накипь сердца...

Худо сдѣлалось старику, когда мысль его безповоротно остановилась на этомъ мерзкомъ и возмутительномъ наказаніи, страшно стало...

— И кого жъ это? Родного сына! — проговорилъ глухо дѣдъ:—изъ-за него срамота души... А-я-яй!.. Господи, Царь небесный, не допусти Ты меня до этакой пакости, удержи... Да нѣтъ, не могу, куда ни шло—засѣку! Пущай горитъ моя слава... Эхъ, голая голова, Софронъ Селифанычъ, терпи, братъ! Не это бы тебѣ надо, да видно Божья воля на то...

Дѣдъ уткнулся въ лавку лицомъ и забылся въ тяжкомъ изнеможеніи.

Насталъ день. Евстигней не показывался. Пришелъ и другой день, а Евстигнея все не было...

Настало утро третьяго дня... Глухое безмолвіе въ избушкѣ

нарушилось, — дѣдъ не вытерпѣлъ тяготы, заговорилъ вслухъ:

— И что за оказія... Гдѣ онъ, воръ, запропалъ въ это время?.. Баба Дарья, баю: куда безпутникъ-то захоронился отъ насъ? Неужто все въ кабакѣ сидитъ? Въ мысляхъ у меня: не сходить ли за дуракомъ-то?.. Потому, Богъ его вѣдаетъ, что подѣялось со злодѣемъ?..

— Надо бы, батюшко, сходить!..—отвѣтила Дарья.—Я ужъ давно хотѣла тебѣ сказать, да вижу, что тебѣ самому не легко...

— Мало что самому „не легко!“ Тутъ человѣка нѣтъ... Давно бы ты мнѣ сказала!

— Сходи, батюшко, поищи...

— Давно бы ты меня подтолкнула, — говорилъ дѣдъ,— потому, хоть худая душа, да живая; хоть горькая душа, а наша! Вѣдь и его, пожалуй, зазоръ беретъ въ головѣ?..

Старикъ переобулся потеплѣй, одѣлъ шубенку, шапку, взялъ дубинку и пошелъ разыскивать Евстигнея.

— Здравствуй, дѣдъ Софронъ!.. Далеко ли идешь съ дубинкой?—спросилъ у дѣда встрѣтившійся мужикъ.

— Да вотъ, желанный, иду сына искать... Ужъ три дня, почитай, запропалъ безъ остатка!

— Горе тебѣ, дѣдъ, съ этимъ сыномъ, онъ тебя засушитъ въ конецъ! Жалѣютъ тебя всѣ, только онъ...

— А что подѣлать, сосѣдушко? Терпѣть надо. Такое, значитъ, мнѣ положенье отмѣряно!..

Старикъ пошагалъ за деревню, къ кабаку, который стоялъ на проселкѣ, версты за три отъ деревни Ольховкиной. Со всѣхъ сторонъ глядѣли на дѣда—бѣлое поле да сѣрый лѣсъ и кусты. Занесенная снѣгомъ тропа утомила Софрона, онъ тяжело дышалъ, потѣлъ въ сквозномъ полушубкѣ, упирался обѣими руками въ дубинку и останавливался перевести духъ.

Но вотъ и гладкій проселокъ, и кабачокъ на проселкѣ, и видна жизнь около кабака: три лошади стоятъ у колоды, жуютъ сѣно, и одна позвякиваетъ бубенчикомъ.

Дѣдъ поднялся на широкое крыльцо, вошелъ внутрь кабака и сталъ оглядываться кругомъ.

— Кого ищешь, дѣдъ?—спросилъ кабашникъ.

— Да вотъ, родимый, сына ищу... Съ сѣделкой, слышь, приходилъ къ тебѣ? Евстигней изъ Ольховкиной... Забралъ онъ, значитъ, сѣделку въ сѣняхъ, да и ушелъ!.. А допрежь того, сапоги забралъ... Евстигней-то мнѣ сынъ.

— Да знаю, знаю! Былъ онъ здѣсь, точно... Да вѣдь здѣсь не мало народа шатается, запретить никому нельзя! Помню, былъ... Только онъ вино пилъ на чистыя. Да у меня иного положенья и не положено!.. А про сапоги не упомню, кажись, въ сапогахъ былъ, а кажись, въ лаптяхъ?.. Гдѣ ихъ тутъ всѣхъ примѣтишь по обуви!

— Желанный, да сапоги-то онъ у меня скра...—дѣдъ замѣтилъ, что двѣ чужихъ бабы и нѣсколько мужиковъ глядятъ на него со сторонъ, и запнулся. И спросилъ у кабашника:

— Ушелъ, значитъ, вонъ?..

— Сейчасъ же и ушелъ, въ ту минуту... Выпилъ на чистыя, кажись, косушку, и алё!..

— И не былъ?

— Кажись, что не былъ... Да вѣдь и то сказать: развѣ записываемъ? Не мало здѣсь перебываетъ людей, а въ лаптяхъ они, аль въ калошахъ — для нашего дѣла нѣтъ разности... А что?

— Да такъ, молодчинушко... Пропалъ мужикъ съ головой и съ ногами. А можетъ, слышалъ про него что?..

— Вотъ на! — сказалъ сердито кабашникъ, — да нешто у меня телеграфій поставленъ здѣсь? Говорю: не записываемъ...

— Да я такъ...

Кабашникъ о чемъ-то заспорилъ съ сидѣвшимъ у стола подвыпившимъ мужикомъ и, вертя въ рукѣ полураспитой косушкой, говорилъ: „Это не масляная? Это не масляная?.. Да это, коли пóнимать хорошо,—рыбій жиръ!.. Вотъ, капни сейчасъ на столъ да подожги — такъ огнемъ и охватитъ!.. Ну-ка, лей на столъ, а я чиркну и подожгу...“

Дѣдъ постоялъ, поглядѣлъ опять во всѣ стороны и, вышедши изъ кабака, направился къ деревнѣ Ольховкиной.

Евстигнея не было дома... Софронъ снова ушелъ на розыски, обошелъ всю деревню, старательно разспрашивалъ у сосѣдей про сына, открылъ имъ все горе свое. Да никто изъ сосѣдей не видалъ Евстигнея, словно въ прорубь угодилъ человѣкъ.

Прошла недѣля, двѣ, мѣсяцъ... А Евстигнея все не было. Разные прошли слухи о немъ· кто-то дослышалъ, что Евстигней промышляетъ конокрадствомъ въ сосѣднемъ уѣздѣ и живетъ хорошо... А еще другой слышалъ, что кинулся Евстигней въ мельничное колесо, и измололся въ немъ безъ остатка. Словомъ, пропалъ человѣкъ безъ вѣстей.

Дѣдъ слушалъ людскіе разсказы, и то вѣрилъ имъ, то не вѣрилъ... Онъ давно позабылъ и сапоги, и сѣделку, помнилъ только несчастнаго человѣка. Трудно было править хозяйствомъ на старости, да чего не заставятъ нужда и время? Дѣдъ мало-по-малу очухался въ тяжкой бѣдѣ, попривыкъ къ ней и словно окрѣпъ въ своей силѣ.

Да тутъ Дарья Софрону подпортила: „отъ роду вялая“, отъ горя да отъ заботъ стала таять она, какъ свѣча подъ огнемъ, и съ кровянымъ кашлемъ легла на лавку...

— Дарья, да что такое съ тобой?—спрашивалъ дѣдъ больную невѣстку: — не ѣшь ты, не пьешь, только ноешь да кашляешь!..

— Вотъ тутъ въ груди у меня, подъ доской, болитъ, батюшко; и то меня кинетъ въ жаръ, то въ озябку... Измаялась я... Да ты не пеняй, я оздоровѣю и проживу долго!..

— Во, во... Помоги те, Христосъ!.. Потерпи... Для ребятокъ малыхъ потянуть надо. А тамъ, поможетъ Христосъ, и мы порадуемся!.. Хошь, ужо-ко, я наварю тебѣ звѣробоя?

— Навари... Кхамъ... кхамъ!..

— Дуняха!—крикнулъ дѣдъ старшей внучкѣ,—сиди дозо-

ромъ въ избѣ... А я выйду на улицу, соху надо налаживать. Приходитъ пора къ орьбѣ...

Дѣдъ вышелъ изъ избы, сошелъ съ крылечка, зажавъ въ рукѣ съ выломившимся узикомъ топоръ и, щурясь отъ яркаго мартовскаго солнца, зашагалъ вкругъ своей старой избы, стукая обухомъ то по одному ея углу, то по другому, и, слушая гулъ угловъ, говорилъ избѣ:

— Эхъ, матушка, кабы постояла ты еще годковъ десять!..

Дѣдъ за послѣднее время такую пробу затѣвалъ раза три, мысленно желая, чтобы простояла изба годовъ двадцать, чтобы у малыхъ ребятъ свое тепло было. Да чуялъ Софронъ по гулу, что не устоять избѣ такой срокъ, что скоро она сама-собою разъѣдется, али сядетъ...

Третья весна подходила, какъ пропалъ Евстигней, а дѣдъ все еще „держалъ за крестьянство". Наставала весна, и, посмѣнно съ Дарьей, выѣзжали они на тощемъ чаломъ конѣ за деревню, и царапали скрипучею сохой узенькую полоску, какая полагалась дѣду на одну душу... Да и душа-то была фальшивая, такъ какъ дѣду подвалило къ восьми десяткамъ, а по закону душа дается только до шестидесяти годовъ... Внукъ Митрей еще не былъ записанъ въ ревизію, а потому, „по закону", не имѣлъ права пользоваться настоящей душой. Впрочемъ, у Дарьи была душа какъ бы и настоящая, потому что она и въ ревизію была вписана, и всего шелъ ей сорокъ четвертый годъ, да мужики деревни Ольховкиной не признавали въ бабахъ законной души. А Евстигнеева душа была бѣглая...

Тюкъ да тюкъ!.. топоромъ, и дѣдъ прикрѣпилъ къ сохѣ рогачи; приладилъ палицу, которая тоже ослабла за зиму; и сталъ глядѣть съ грустью на отупѣвшіе короткіе лемеши... Лемеши бы давно ужъ пора наварить заново, заострить, чтобы сами они входили глубоко въ земную грудь; а такими, какъ были дѣдовы, и мягкую землю не потронешь какъ надобно!.. Софронъ постоялъ, подумалъ надъ леме-

шами, и въ первый разъ за восемьдесятъ лѣтъ жизни ясно представилась ему котомка на скрученной оборѣ...

— Не вытянуть долго!..—сказалъ старикъ глухимъ голосомъ и, доставъ изъ-за пазухи табакерку, нюхнулъ изъ ней разомъ двѣ порціи, и легонько постучавъ въ раму, крикнулъ дозорной внучкѣ:

— Дуняха, подай рукавицы мнѣ...

Дѣвочка заслышала окрикъ, мелькнула за полосатымъ стекломъ и вопросительно заглянула на улицу.

— Рукавицы, баю, вынеси мнѣ! совсѣмъ остыли руки отъ вѣтра...

Дуня черезъ минутку босикомъ сбѣжала съ крыльца и подала дѣду заплатанныя домашнимъ способомъ рукавицы.

— Ну, вотъ и хорошо будетъ, — сказалъ дѣдъ, — теперь ладно! Мать спитъ?

— Такъ лежитъ, дѣдушко.

— А гдѣ Митрей у насъ да Груфена?

— Да вѣрно у Еремкиныхъ, дѣдушко... Поманить ихъ домой?

— Ну, ладно... Пущай посидятъ у Еремкиныхъ!

Внучка убѣжала въ избу.

Тюкъ да тюкъ!.. И дѣдъ принялся выравнивать обжи. Съ обжами дѣло хуже пошло: одна во всю свою длину на палецъ растреснулась, такъ что на серединѣ трещины былъ виденъ тотъ свѣтъ; Софронъ уставилъ въ трещину и на всю обжу внимательный взоръ, оцѣнивая: простоитъ обжа лѣто, али сломается?..

Вдоль деревенской улицы проходилъ сельскій староста, стучалъ бредовымъ прутомъ въ наличники оконъ и что-то выкрикивалъ. Завидѣвъ работающаго близъ избы дѣда, поровнявшись съ нимъ, староста какъ бы устыдился чего, и лишь помолчавъ минутку, сказалъ старику:

— Софронъ Селифановъ, приходи на сходку въ избу къ Вавилѣ Безпалову!..

— Какія дѣла рѣшать будемъ? — спросилъ дѣдъ, заглянувъ въ глаза сельскому.

— Да дѣла разныя... На міру дѣлъ много!—отвѣтилъ уклончиво сельскій. — Хлопоталъ за сходку Дементій Прохоровъ...

Дѣдъ отнесъ въ избу топоръ, рукавицы и, погодя, пошелъ въ своей шубаркѣ къ избѣ Вавилы Безпалова. Изба эта была величиною чуть не съ гумно, но была переполнена... Мужики сидѣли въ ней и на лавкахъ, и на скамейкахъ; трое забрались на лежанку; самъ Вавило сидѣлъ рядомъ съ женой на шесткѣ. Въ избѣ гудѣлъ несвязный гулъ голосовъ...

Вошелъ дѣдъ Софронъ и помолился на образа.

— Дѣдъ,—сказалъ кто-то:—во—мѣсто есть на скамейкѣ, сядь... Стоять не очень способно!

Дѣдъ сѣлъ. Пришли еще два мужика, но сидячаго мѣста имъ не было, и они остановились рядкомъ близъ дверей. Говоръ постепенно затихъ... Староста повернулъ бородатое лицо къ скамьѣ, гдѣ сидѣлъ въ ряду дѣдъ, и проговорилъ заготовленное:

— Вишь ли, дѣдъ Софронъ, дѣло какое?.. Изъ-за тебя идутъ хлопоты!

— Какія?.. Какія такія изъ-за меня хлопоты? — спросилъ оробѣвшимъ голосомъ дѣдъ, и выступилъ на середину избы.

— А, значитъ, податей сполна ты третій годъ не даешь... Живешь царю въ долгъ; и взять съ тебя нечего! А насъ начальство съ боковъ подпираетъ: подай!.. И, значитъ, міръ толкуетъ, что ты не по закону, примѣрно, душой владѣешь?..

— Какъ не по закону?..

— А такъ.

Тутъ заговорили разомъ мужиковъ десять,—всѣ они поддержали заявленіе старосты. Слышались слова „законъ", „резонъ", „своя шкура"... Наконецъ, гомонъ немножко затихъ. Заговорилъ опять сельскій:

— Какъ ты хочешь, дѣдъ, а полосу мы отъ тебя отымаемъ... Потому, примѣрно, что земля эта по земской статьѣ теперь не твоя, а мірская!

— Мірская, безпремѣнно мірская!..—крикнули три мужика

съ лежанки:—опчество ей хозяинъ теперь... Насъ, братъ, за подати-то во какъ егорятъ, не жалѣютъ!..

Дѣдъ стоялъ на серединѣ избы и испуганно оглядывался кругомъ; морщинистое лицо его вспыхнуло...

— Да какъ же такъ, православные! — заговорилъ Софронъ.—Какъ же это—отымать полосу? Вѣдь я шестьдесятъ годовъ удабривалъ ее, матушку; и отецъ мой покойный удабривалъ, и, царство небесное дѣду,—дѣдъ ее унаваживалъ... Коли все считать отъ начала,—можетъ, тыщу годовъ потѣли на ней! А вы отымать собираетесь? Вотъ, ежели недоимка моя, это вы правильно... Недоимка, точно, залегла за мной...

— Недоимка своей чередой!—сказалъ сельскій.—А земля другая статья: нѣтъ закона...

— Ты, дѣдъ Софронъ, изъ годовъ давно вышелъ...— объяснили три мужика съ лежанки.

— Да у меня внукъ есть, братцы-ребятушки!.. У меня дѣвчонки, и баба хворая лежитъ вдоль стѣны... Да, можетъ статься, и Евстигней подвернется?..

— А это мы и сами знаемъ, что есть у тебя внученокъ!— согласился съ дѣдомъ деревенскій горланъ и заправила сходки, Дементій Хайло.—А вѣдомо и тебѣ самому, что у внука твово души пока нѣту?.. Въ ревизскія сказки кто его вписывалъ?..

— Да на что намъ сказки, Дементій Прохорычъ!..—спросилъ дѣдъ:—мы люди... Намъ Бога надо!

— Да Богъ-то, оно, Богъ,—а только не будь и самъ плохъ! А ты совсѣмъ никуда не годишься!..—отвѣтилъ дѣду Хайло и засмѣялся раскатисто.

Мужики примолкли. Дѣдъ растерянно обводилъ глазами лица сосѣдей, словно искалъ въ ихъ средѣ поддержки и заступленія...

— Про внука, братцы, размыслить въ головѣ надо!—отозвался Вавило: — да, тоже, и про все надо; дѣло это не маленькое...

— Если по-Божески судить,—заговорилъ стоявшій близъ двери степенный мужикъ,—коли по писанію понимать житье,

то нельзя, братцы, до Софрона дотронуться... Пущай повладѣетъ землей на здоровье! Душинка штука не шибко корыстная на деревнѣ,—пядень, не примѣтъ она міру, а дѣду подпора жизни. Да и не одинъ онъ,—вспомните про ребятъ! Не по міру же семью пустить? Кому охота попасть въ бобыли,—какой ни есть да крестьянинъ!

— Вотъ, вотъ, Платонъ Филимонычъ!..—сказалъ обрадовавшійся Софронъ: — истинну ты сказалъ: „крестьянинъ!“ Потому, что же я безъ крестьянства? Куда мнѣ?.. А тутъ я голова вполнѣ, и радуюсь и горюю на своемъ мѣстѣ! Вѣдь я къ землѣ-то матушкѣ, какъ и всѣ вы, сызмальства привыкъ всей душой, шестьдесятъ годовъ орудовалъ на ней,—жилы тянулъ, сердцемъ болѣлъ за нее! Она мнѣ какъ бы родная дочь стала: не доѣшь, не доспишь, — все въ головѣ она!.. А вы—на-ко,—отымать?.. Братцы, вѣдь вы душу мою отнять собираетесь,—пожалѣйте!..

— Грѣшно, ребята!—отозвался Вавило.

Мужики молчали. Староста сосалъ трубку и хлопалъ по колѣнкѣ ладонью. Дементій Хайло переговаривался тихонько съ своимъ сосѣдомъ...

— Кормильцы,—заговорилъ дѣдъ,—снова оглядывая робкимъ взглядомъ сосѣдей: — потерпите меня въ недоимкѣ упалъ я въ силѣ моей... А, вотъ, подымется Дарья съ одра, да дѣвчонки заберутъ силу, и все я справлю вамъ до копейки!.. А насчетъ полоски—оставьте по старому; поберегите меня въ концѣ дней... Не убудетъ у васъ, а прибудетъ!

— Правда, ребята!—сказалъ Платонъ Филимоновъ.

— Я согласенъ, — заговорилъ мужикъ изъ угла: — земля у насъ есть; дѣдова душинка никого не возрадуетъ. Пущай пашетъ!..

— А мнѣ что? Мнѣ не жаль! — сказалъ сельскій. — Я не отъ себя говорю: какъ міръ скажетъ?.. Дѣдъ, пожалуй, паши на здоровье!..

Тутъ сорвался съ лавки сосѣдъ Дементія Прохорова, высокаго роста мужикъ, съ нахальнымъ и плутоватымъ ли-

цомъ, прозывавшійся на деревнѣ Хапугой,—мужикъ заговорилъ смѣло:

— Сосѣди, я тоже скажу слово свое!.. Отчего сельскій этакой распорядокъ даетъ? Развѣ онъ одинъ на деревнѣ? Этакъ онъ и мнѣ разрѣшитъ: „Герасимъ, поди ляпни матери своей въ ухо!“ И я слушать долженъ? Коли понимать толкомъ: староста долженъ блюсти правило, держать печать при себѣ. А распорядокъ ведетъ деревня! Вотъ я и говорю сейчасъ: владѣть Софрону землей невозможно, нѣтъ закона на то!.. Кто знаетъ положенье о старикахъ? А коли не знаете, такъ я скажу слово: Софрону безъ мала сто годовъ,—законный онъ пахарь? А вы, вотъ, возьмите въ расчетъ Дементья Прохорова да меня... По какой статьѣ владѣю я землей только на три душины, коли мнѣ пять слѣдоваетъ? У меня четыре сына и самъ я въ силѣ... У Дементья Прохорова три души и три сына, и самъ онъ въ силѣ!.. Что, сосѣди, на это скажете?.. Это распорядокъ по-вашему: народъ, какъ быки, а въ землѣ ему—недохватки! А дѣдъ въ сотню лѣтъ—„бери земли болѣ!..“ Ну, какой онъ крестьянинъ есть, поглядите! Дѣдъ, развѣ ты похожъ на крестьянина?.. Ха-ха-ха!.. Тебѣ, братъ, не крестьянствовать надо, а помирать надо... И безъ тебя земли не хватаетъ на свѣтѣ.

— Герасимъ Иванычъ! — сказалъ дѣдъ:—можетъ статься, и протяну-то я одинъ годъ, а можетъ, и не протяну? Не обиждай, Бога ради!..—Софронъ укоризненно взглянулъ въ задорное лицо Хапуги, и объяснилъ:—Вѣдь какъ ни бай, а земля-то моя! И покойный батюшко, царство ему небесное, и дѣдушко,—горевали и радовались на ней... Уважь хоть это! Вѣдь и безъ того на прошлой веснѣ оттянули Евстигнееву душу... двѣ души было. Кормильцы, опомнитесь, что жъ это дѣется?..

— Мало что двѣ! А теперь и одной не будетъ, потому что земля изъ годовъ вышла, мірская стала.

— Божья земля, Герасимъ Иванычъ!

— Нѣтъ, мірская...

— А я-то чей? — спросилъ Софронъ у Герасима, и въ охрипшемъ отъ волненія голосѣ его заслышались слезы.— Чей я, братцы-сосѣдушки? Вѣдь послѣ Бога да царя, я со всѣми животами мірской человѣкъ! Я на міру-то во какъ повозилъ—и горбомъ и сердцемъ... Ты, Герасимъ Иванычъ, еще и на свѣтѣ не былъ, а я уже на тяглѣ сидѣлъ, барщину правилъ, душой въ бѣдахъ избивался! А теперь, когда изъ силы вышелъ нечаянно, такъ меня и со счета долой? Грѣхъ будетъ!

— Большой произойдетъ грѣхъ!—крикнулъ на всю избу Платонъ Филимоновъ.—А тебѣ, Герасимъ Иванычъ, скажу особливо: не зарь глаза на убогое! Тебѣ Господь всего подалъ: два сына на добычѣ, да два подъ рукой сидятъ; и сытѣе ты всѣхъ въ деревнѣ... А Софрону подмога—одинъ Христосъ! У него все богатство—хворая баба да сироты. Вотъ мое слово!

— А твое слово—бя!..—огрызнулся задѣтый правдою за живое Хапуга.—Этакія слова мы слыхали! Чужое счастье тебѣ помѣшало... А ты читалъ ли про стариковъ положенье?

— Читать я не ученъ, какъ и ты!.. Я Бога въ душѣ почитаю...

— Бога? А мы Бога не почитаемъ? Мы столовѣры потвоему, хлыстуны?.. Епифанъ этакой, туда же лѣзешь, куда и всѣ!.. Кобыла-то еще не околѣла? Еще жива?.. Вѣдь околѣетъ—на оглоблѣ въ поле не выѣдешь... Аль женку запрягешь въ обжи?.. Ха-ха-ха!..

— Не смѣйся, Герасимъ Иванычъ! Бѣдность моя всѣмъ извѣстна,—не отъ лѣни она. Вотъ подыметъ Господь ребятишекъ, такъ и мы заживемъ посытѣе...

— Кувшинъ съ дегтемъ, замолчи на часокъ!.. Вотъ—молчатъ у меня сапоги, и ты съ ними... Умнѣе будетъ! Запомни въ головѣ: околѣетъ кобыла—одѣвать тебѣ торбу! Да я не попомню зла... Приходи тогда подъ окошко: подамъ и я Христа ради!

— Сосѣди, рѣшай про Софрона! — крикнулъ сельскій.—

Дадимъ ему нонѣшней весной пахать въ полѣ, али отнесемъ на усадьбу?

— Дать надо... Дать!—послышалось нѣсколько голосовъ. Большинство промолчало.

— Говорите: дать?—переспросилъ староста.

— Дать надо! — подтвердилъ Вавила.— Платонъ Филимоновъ правильно обсуждаетъ: большому кораблю—дай море...

— Смотри, ребята, не хвати сверхъ закона! — вскричалъ Герасимъ.—Аль ослѣпли всѣ, аль одурѣли? Коли не хотите дѣлать по правилу, такъ я всѣ книги подыму въ доказанье... Я, братцы, мужикъ настойчивый, хоть колъ на моей головѣ теши, а ежели вижу кривое — разорвусь пополамъ! Вотъ Дементью Прохорову да мнѣ, по какому хошь закону, земли надбавь... У насъ работники, какъ быки, а вашъ Софронъ— вѣникъ! Нельзя обиждать семейныхъ людей...

— Герасимъ Иванычъ, ты самъ семерыхъ обидишь!—сказалъ разсерженный дѣдъ.—Аль тебѣ мало: домъ, что у помѣщика, полоса въ три раза шире моей, и родитъ въ девятеро, а ты у сиротъ кроху отымаешь... Аль умирать не будешь?

— Нѣтъ, я умирать готовъ хоть всегда... А правдой тебѣ отрѣжу: вся земля тебѣ—три аршина! Вотъ мой совѣтъ по добру: дѣвчонокъ въ работницы отдай, мальчишку поставь въ подпаски, Дарью на погостъ свези; а самъ коней паси въ лѣто... Мызникомъ заживешь, право слово!.. А объ землѣ — брось! Спасибо мнѣ послѣ скажешь!.. Тутъ тебѣ никакой нѣтъ обиды, тутъ законъ... И я пять цѣлковыхъ не пожалѣю, а на своемъ поставлю!

— Герасимъ Ивановъ, грѣхъ этакъ обиждать дѣда,—сказалъ староста.— Платоново слово вѣрно... Надо пожалѣть, надо дать! Пусть царапаетъ еще годъ-другой?..

— Дать надо!..—отозвался сидѣвшій рядомъ со старостою мужикъ,—а только съ него, вмѣсто штрафа, полведерку на общество слѣдуетъ... Выпьемъ стаканца по три, а дѣдъ пущай себѣ пашетъ во здравіе!

— Полведерку безпремѣнно слѣдуетъ! — сказалъ мужикъ

отъ дверей:—и у дѣда не убудетъ, а міру повеселѣе будетъ... Всѣ останемся не въ обидѣ!

— Да къ чему вино? Развѣ безъ вина нельзя обойтись?— вступился за Софрона Вавила. — Валяй безъ вина! Развѣ сходъ для того собранъ, чтобы опить старика?

— Полведерку, полведерку!—кричалъ отъ дверей кривоносый и подслѣповатый мужикъ.—Какая же хорошая сходка бываетъ, коли вина нѣтъ?

— Безъ вина можно,—заключилъ сельскій.

— Безъ вина не рѣшаемъ!—крикнули три мужика съ лежанки. Но громче всѣхъ вопилъ кривоносый:

— Полведра выставитъ, такъ дадимъ!.. Выставляй, дѣдъ Софронъ, тогда и владѣй въ славу Божью... Тогда хоть въ двѣ сохи жарь!..

— Кормильцы мои, да съ чего я куплю? У меня и копейки нѣтъ дома... Вотъ, развѣ гдѣ опосля добуду, тогда и попоштую...

— Ну, это враки... Купишь!

— Да съ чего я куплю? Развѣ вотъ шубенку продать... Такъ у меня больше и одежины нѣтъ...

— Да за твою шубу я не возьму полтины, чтобы на задворки снести ее!..—посмѣялся Хапуга.

Софронъ молча поглядѣлъ на него и покачалъ укоризненно головой. Дѣдъ учуялъ, что борьба не по силѣ.

— Эхъ, вы! — заговорилъ Герасимъ къ мужикамъ на лежанкѣ. — Выпить-выпить, а гдѣ питье — вы не знаете? Отъ Софрона, что отъ козла: ни шерсти, ни молока... Я ведро ставлю! Вы слышали мой совѣтъ дѣду? И лучше этого совѣта во вѣкъ не придумаешь: и маяты нѣтъ и всѣ сыты!..

Хапуга обвелъ мужиковъ глазами.

Дѣдъ стоялъ и комкалъ въ рукахъ свою овчинную шапку; ноги его тряслись.

— Братцы, не выдайте!..—глухо проговорилъ онъ и печально опустилъ голову.

— Рѣшайте, сосѣди!—говорилъ сельскій.

— Нельзя обижать Софрона!—кричалъ Вавила.

— Оно, конечно, обиждать не слѣдъ, — согласился еще кто-то:—а только тутъ обиды никакой не выходитъ, — старикъ изъ годовъ вышелъ!

— Давно вышелъ!—подтвердилъ кривоносый:—и совѣтъ ему даденъ умный. А вотъ Герасиму Иванычу доподлинно не хватаетъ одной души...

— Двухъ не хватаетъ!—поправилъ Герасимъ.

— Ну, вотъ, вишь ли, даже двухъ!..— воскликнулъ мужичокъ на лежанкѣ, жалѣя Герасима.

— Слушай, староста, ты, братъ, не подъеферивай вашимъ-нашимъ! Я честью говорю: мнѣ земли не хватаетъ!.. А нѣтъ, такъ я всѣ законы ершомъ взбудоражу и тебя смѣщу безпремѣнно!

— Ну, меня-то, братъ, не смѣстишь!— сказалъ сельскій.

— А вотъ погодишь, такъ увидишь! Я всѣ законы подыму, со мной не шути! Не у однѣхъ собакъ блохи въ шубѣ, а и у людей есть...

Староста перетрусилъ отъ слова „блохи“ и сказалъ громко:

— Да мнѣ-то — лѣшій съ вами! Дѣлайте, какъ хотите... Софронъ мнѣ такая же родня, какъ и всѣмъ. Рѣшайте, сосѣди! Нечего затягивать дѣло до вечера. А куда міръ потянетъ, туды и я...

— Порѣшили! — крикнули три мужика съ лежанки. — Съ Герасима Иваныча міру ведерочко, а земелька ему по разверсткѣ...

— Грѣшно, ребята!—крикнулъ Платонъ.

— А ты грѣхъ-то положи въ мѣхъ, да мѣхомъ-то по полѣну!..—научилъ кривоносый.—Аль не слыхалъ ты про совѣтъ дѣду? Мызникомъ можно жить...

— Сосѣди, вино — иная статья... А вы голосуй по закону! — сказалъ сельскій. — На то и законы написаны, чтобы вдова али старецъ, когда они изъ годовъ вышли...

— Про законы, Кирила Ильичъ, ты шибко разсказываешь, а смыслишь въ нихъ, какъ пѣтухъ! — перебилъ рѣчь сельскаго все время молчавшій молодой мужикъ.—Для чего вамъ

законъ? Отбирайте!.. Вино дороже крещенаго человѣка... Гдѣ человѣку съ виномъ равняться? Эхъ, вы!..

— Да ты, Степанъ, подожди... Ты, братъ, не выставляйся здѣсь!—огрызнулся сельскій.—Ты самъ-то много разумѣешь въ законѣ? Ты читалъ про стариковъ положенье?

— А ну, отстань! — отвѣтилъ Степанъ.—Не хочу я про это толковать съ вами!.. Свѣтлое дѣло затемнили вы своей шайкой... Пейте—и шабашъ! Господи, гдѣ же правда Твоя? Грозы на васъ нѣтъ, басурманы, грозы Господней!..

Степанъ свирѣпымъ взглядомъ окинулъ всю избу, и выйдя изъ ней, хлопнулъ дверью. Софронъ ласково глядѣлъ ему въ слѣдъ. Мужики устыдились, примолкли... Махорочный дымъ повисъ облакомъ и волновался во всю ширину избы. Настала добрая минута для дѣда; да заговорилъ первѣе другихъ кривоносый:

— Чего же, господа-сусѣди, мѣшковать будемъ? Ежели порѣшили дѣло, такъ къ чему растабарывать?.. Слышь, господа, Степкѣ Марьину вино помѣшало?.. Слышь, господа: все опчество наше—шайка да лейка?.. Кирила Ильичъ, сади пр-атаколъ за шайку! Я дѣла эти знаю... Слава Богу, сидѣлъ въ тюрьмѣ,—выученъ... Герасимъ Иванычъ, ведерочко и сельдей...

— Не надо вина... Дѣду оставить душу!

— Ведерочко и селедочекъ...

— Будь все вино проклято̀ на соборѣ!

— Дѣду оставить душу! Дѣдъ, владѣй...

— У Герасима Иваныча двухъ душъ не хватаетъ, а всѣ, какъ быки... А самъ Герасимъ Иванычъ — орелъ, одно слово!..

— Софронова душа недвижима...

— Софронова душа изъ годовъ вышла, въ книгѣ похерена!.. А бѣдны мы всѣ...

— Богъ-то гдѣ? Богъ-то?..

— Тутъ не Божье дѣло,—здѣсь не алтарь... Тутъ дѣло—какъ порядокъ указываетъ! Намъ и дѣдъ любъ, и Ге́расимъ Иванычъ любъ,—всѣ намъ любы!..

Изба гудѣла отъ гомона. Всѣ говорили въ разъ, не слушая другъ друга, кричали, спорили. Герасимъ Хапуга подкидывалъ Вавилѣ кулакомъ въ носъ; Дементій Хайло махалъ руками передъ лицомъ Платона. У кривоносаго мужичонки блестѣли на глазахъ слезы: онъ волновался продажной душой, горевалъ и радовался о водкѣ...

Дѣдъ заплаканными глазами окидывалъ спорящихъ мужиковъ, мялъ въ рукахъ шапку, прислушивался къ общему гулу, но не могъ разобрать ничего.

Наконецъ гомонъ началъ слабѣть. Дѣду ясно заслышалось, какъ Хапуга говорилъ тремъ мужикамъ и четвертому—кривоносому:

— Сейчасъ же и пошлю, братцы, сію полминуточку! И селедочекъ велю прихватить два десятка... Пущай міръ помнитъ меня за добро! Братцы, вамъ и самимъ видать мое положенье: пятеро мужиковъ—три души?..

— Да ужъ чего виднѣе: пять пальцевъ!.. — подсказалъ кривоносый.—Это все едино, что двѣ ноги, а сапогъ—одна штука... Софронъ—куделя!

— Во... во!.. Сейчасъ, други любезные, я все оборудую... Мальчонку свово посажу на коня по-казачьи: „валяй, Федька, живо!..“

— Валяй, валяй, Герасимъ Иванычъ!—говорили ободряюще четыре мужика. — Посылай за ведерочкомъ и владѣй съ Богомъ...

— Имя-то Божье не поминайте зря! —крикнулъ Вавила.— Ужъ ежели скривили, такъ и помолчите про Бога...

— Мы не кривимъ! Тутъ вино по закону...

— Подлецы!—укорилъ Платонъ Филимоновъ.

— Посылай, посылай, Герасимъ Иванычъ!—торопили другіе мужики. — Всѣхъ дураковъ не прослушаешь!.. а міръ ждетъ... И самъ дѣдъ Софронъ тяпнетъ за твое здравіе. Ахъ, милый человѣкъ,—ведерочко!.. Вотъ ужъ можно сказать—человѣкъ!.. Погоняй поди малаго,—и дѣдъ тяпнетъ...

— Нѣтъ, сосѣди, не буду я пить, пейте вы! — сказалъ дѣдъ. — У меня свое вино въ головѣ... Теперь мнѣ и безъ

вашего вина праздникъ. Душинку отняли, — гуляй, Софронъ, вдоль дороги!

— Мошенники, опомнитесь! — кричалъ Платонъ Филимоновъ.—Образумьтесь, Господь есть на небесахъ!.. Не обижайте стараго человѣка въ конецъ,—умирать будете!..

— Не шебарши много! — сказалъ грозно сельскій, — на то обчество есть. Смутьянничать здѣсь не дадутъ... Посылай, Герасимъ Иванычъ, коли міръ уважаетъ тебя въ большинствѣ...

— Ребята,—закричалъ Софронъ съ плачемъ,—да неужто и взаправду вы хотите пропить мою полосу? Кормильцы мои, вы размыслите по душѣ: вѣдь испоконъ вѣка мы потомъ ее поливали,—кровь наша тамъ, душа, все!..

— Надумали! — отвѣтилъ Дементій Хайло. — Поди домой съ Богомъ... Твоя пѣсня спѣта, на печку полѣзай, грѣйся!..

— Горлопаны! — сказалъ Вавила. — Нахрапники! Четыре стервеца всю деревню за носъ ведутъ, и справы никакой нѣту!.. А мы, дураки, чего глядимъ, чего видимъ? Сами въ руки даемся нахрапникамъ! Господи Боже, какія времена настали: справы нѣту со своимъ братомъ, который тебѣ жилу тянетъ?.. Экіе дураки безмозглые!..

— Пойдемъ, дѣдъ Софронъ, вонъ... Намъ здѣсь нечего дѣлать теперь, — здѣсь за насъ нѣтъ заступы!—говорилъ подошедшій къ старику Платонъ.—За насъ Богъ заступа... Насъ только Богъ пожалѣетъ.

— Платонъ Филимонычъ, — говорилъ, всхлипывая, Софронъ, — кормилецъ мой, вѣдь у меня кусокъ сердца вырвали съ полосой!.. Куда я пойду?..

— Понимаю, родной, все понимаю... Только уйдемъ отседа!

— Спасибо тебѣ, спасибо!.. Постояли вы за меня, какъ могли... Спасибо, Вавила, за добро... Пошли вамъ Христосъ здоровья...

Платонъ взялъ за руку дѣда и потянулъ къ двери.

— Пойдемъ отседа,—говорилъ онъ:—нѣтъ здѣсь у людей Бога въ душѣ, и намъ дѣлать нечего!..

— Пойдемъ,—говорилъ, упираясь, Софронъ,—теперь шабашъ свѣту!.. Прости имъ, Христосъ... Ладно... Скоротаю какъ-нибудь годъ-другой, да и въ яму... Платонъ Филимонычъ, а какъ же сироты?.. Постой, дай я поспрошаю у сельскаго про сиротъ...

Платонъ взялъ старика за плечи и повернулъ къ двери, а самъ кричалъ міру:

— Терпѣливъ Царь Небесный, да и Его терпѣнью бываетъ конецъ, придетъ часъ—загремитъ Божья палица!

Но слова Платона остались неуслышанными. Всѣ были заняты своимъ дѣломъ.

Одинъ за другимъ вышли изъ избы нѣсколько другихъ мужиковъ, не желавшихъ пользоваться угощеніемъ; вышелъ въ числѣ ихъ и Вавила Безпаловъ.

Въ избу внесли боченокъ съ водкой, селедки въ кулькѣ и два хлѣба... Послышалось разомъ какъ бы конское ржаніе,—и все забылось въ немъ: „душа“, Софронъ, сироты...

Софронъ, побывъ у Платона, по затемнѣвшей улицѣ шелъ къ своей старой избѣ и не слышалъ веселаго шума, несущагося отъ избы Вавилы.

Ребята съ плачемъ окружили дѣда:

— Матушка заговаривается!—сказала Дуня.

— Страшно было намъ, дѣдушко...—шептала Груняха.— Баетъ она: покойники въ избѣ ходятъ?.. Троицу видитъ во снѣ... И при лучинѣ, дѣдушко... Ухъ, какъ страшно!..

— Тлоицу!..— подтвердилъ внукъ. — А мнѣ Дунька не даетъ хлѣба,—она делётца!

Дѣдъ ничего не сказалъ ребятамъ и грузно опустился на лавку близъ двери; глаза его уставились неподвижно въ стѣну, въ груди „ходило“...

— Дуняха,—забредила Дарья,—поставь угощенье всѣмъ... Всѣ они пришли съ того свѣта за мной!.. Пущай батюшко ихъ пивомъ попоштуетъ... Батюшко, ты только Евстигнею не давай ничего изъ хмельного, не хорошій онъ мужикъ во хмелю... А куда Евстигней подѣвался?.. Сейчасъ онъ

тутъ на лавкѣ сидѣлъ, а я пряла... Гдѣ онъ?.. Сейчасъ онъ тутъ въ кумачевой рубахѣ былъ... Эхъ, Софронычъ, давно бы такъ-то!.. Вѣдь и ребятишкамъ хорошо, и мнѣ; и батюшко радостенъ...

Дѣдъ не слышалъ словъ Дарьи, онъ все склонялся, склонялся книзу... и, закрывшись руками, проговорилъ глухимъ голосомъ:

— Мою душинку!.. Мою отцовскую-прапрадѣдовскую душинку!..

— Душинку? А какую душинку,—чью?.. Ишь, набралось бабъ въ избу!.. Ну, да ладно, пущай посидятъ...—бредила Дарья вновь.—Евстигней, ты не забирайся далеко, а то тебя опять искать надо! Вѣдь я матушку-покойницу въ гости жду... Сказала давечь: „сейчасъ приду“, а вишь, вотъ, и нѣту! Ну, да ладно, я подожду... Подожду!

Дѣдъ разогнулся и сталъ прислушиваться къ словамъ Дарьи.

— Дуняха! Грунька!.. откройте дверь поскорѣе... Матушка моя идетъ въ гости... Здравствуй, желанная моя, съ того свѣта!.. Вотъ, а я думала—ты умерши... Садись на лавку Слышь, какіе пироги-то у насъ напечены,—охъ! какіе хорошіе пироги! Давечь ѣли-ѣли... Да ты куда?.. Посиди, родимая не спѣши,—мнѣ съ тобой-то пріятнѣе... Я тебя сама провожу до могилки!

У бѣднаго старика шевелились на головѣ остатки сѣдыхъ волосъ, холодомъ прошло къ сердцу.

— Господи!—шепталъ онъ, всматриваясь въ лежащую на подмосткѣ Дарью:—и тутъ испытаніе тяжкое, горе великое!..

— Дуняха! Грунька!—достаньте мнѣ бусы изъ короба да сарафанъ мериносовый... Вѣдь сегодня Троица,—я въ церковь пойду,—родителей помяну на могилкахъ... А батюшко-то такъ и не нашелъ Евстигнея... Охъ!..

— Дарьюшка, я тутъ... Я—дома!..

Дѣдъ подошелъ къ невѣсткѣ и остановился надъ ней весь болѣя...

— Песочка желтенькаго не жалѣйте, дѣвчата! Митька

сыпь болѣ... А у крыльца—эво—поставьте березку кудрявую! И мнѣ березку дайте, я сейчасъ въ церковь пойду...

Дарья умолкла. Дѣдъ стоялъ надъ нею, скрестивъ на груди руки, опустивъ голову. Дѣвочки и малышокъ стояли позади Софрона и со страхомъ глядѣли на мать.

— Тлоица... Севодни Тлоица?..—проговорилъ малышокъ, и вопросительно поглядѣлъ на дѣда.

Дарья шевельнулась, метнула воспаленными глазами на середину избы:

— Охъ, какъ горитъ въ сердцѣ!.. Дай кисленькаго... Охъ!.. Дайте кисленькаго... Охъ, Господи!..

— Дарья, худо тебѣ?

— Ухъ, какъ худо, батюшко!.. Изба ходитъ!.. Такъ все и горитъ... нутро... Евстигней! ты не уходи далёко, а то батюшко опять осерчаетъ...

Дарья съ жадностью выпила жидкаго квасу изъ ковшика, повернулась къ стѣнѣ и затихла. Дѣдъ долго прислушивался къ ея дыханію. Дыханіе было ровное, лишь обрывалось часками.

Ребятишки, поѣвши хлѣба съ капустой, всѣ трое улеглись спать на печкѣ. Дѣдъ откинулъ завѣсу на черномъ угольникѣ, потушилъ лучину въ свѣтцѣ и остановился передъ незримыми ликами...

Слышно было въ ночной мглѣ, какъ шепчетъ дѣдъ простую, заученную въ раннемъ дѣтствѣ, молитву; слышно было, какъ всхлипываетъ, кланяется въ полъ, и какъ хруститъ отъ этихъ поклоновъ его восьмидесятилѣтній хребетъ...

Пѣтухъ запѣлъ во дворѣ у кривоносаго мужичонка; еще гдѣ-то запѣлъ, еще... А старикъ все что-то шепталъ невидимымъ ликамъ святыхъ, кланялся, и все сильнѣй и сильнѣй похрускивали его старыя кости въ хребтѣ... Снова запѣли пѣтухи на дворахъ. Дарья позвала Евстигнея...

Да было тихо-тихо въ избѣ. Старческое тѣло обезсилѣло: дѣдъ лежалъ на лавкѣ и спалъ крѣпкимъ сномъ... А на другой день утромъ онъ говорилъ, стоя въ недоумѣніи надъ похолодѣвшей невѣсткой:

— Дарья, Дарья, что ты со мной надѣлала? Зарѣзала

ты меня безъ ножа... Что я теперь подѣлаю съ ними?.. Дѣтушки малые, что мы теперь станемъ дѣлать?..

Внучки тихонько плакали; Митька сидѣлъ на лавкѣ и выковыривалъ пальцемъ изъ паза сыпучій мохъ, ни о чемъ не задумываясь.

— И тёса-то нѣтъ на гробъ... Все хотѣлъ для себя припасти, а вотъ гдѣ занадобилось!.. Ужъ лучше бы себѣ-то покладнѣе...—И не выдержавъ натискъ тяжкаго горя, дѣдъ окинулъ заблестѣвшими глазами ребятокъ, вытянувшуюся на подмосткахъ Дарью и, что ручей, полился, заплакалъ...

Да свѣтъ не безъ добрыхъ людей: Дарью похоронили какъ слѣдуетъ. Кривоносый-подслѣповатый мужикъ такую тесину принесъ, что было жалко портить ее на гробъ... Принесъ и Вавила доску... Такую домовину отгрохали, хоть молодой ложись!

Безъ бабы и горькое пошло наутекъ у дѣда. Ужъ онъ ли не былъ дока на свѣтѣ, а бабье дѣло не пошло ему въ руку! Пошелъ въ руку совѣтъ Хапуги... Насталъ часъ разстаться съ внучками—одну отдать въ работницы, а другую послать на чужую сторону—въ Москву; внука тоже пришлось отослать въ чужіе люди... Никто не бралъ мальчонку семи годовъ, да, спасибо, добрый человѣкъ нашелся, обладилъ дѣло,—пристроилъ Митьку въ сапожники безъ срока и отдыха, а какъ Господь покажетъ...

И для самого дѣда, на восьмидесятомъ году, выпала доля пріискивать кусокъ хлѣба вольнымъ заработкомъ...

Сентябрьское утро только-что забрезжилось надъ селомъ Колупаевымъ, залегшимъ на пологой горѣ, верстахъ въ десяти отъ деревни Ольховкиной. Холодный вѣтеръ жалостно вылъ надъ повалившейся изгородью, словно ее оплакивалъ, обрывалъ съ деревьевъ пожелтѣвшіе листья, засыпалъ ими огороды и сельскую улицу. Дождь, начавшійся со вчерашняго дня, не переставалъ, а пуще напруживался, скопляясь на колупаевской улицѣ въ огромныя лужи. Зачернѣвшія отъ дождя избы выглядѣли угрюмо и сирот-

ливо. Стоявшая неподалеку отъ жилья, на берегу озера, пятиглавая церковь, и та не веселила взора,—потемнѣвшая отъ дождя, окруженная полумертвымъ березникомъ, она, казалось, о комъ-то тужила и горевала...

Ни собаки, ни кота, ни курицы не видно было на улицѣ...

Но вотъ изъ-подъ крышъ и изъ трубъ надъ крышами начали кое-гдѣ показываться дымки, вѣтеръ подхватывалъ ихъ въ ту же минуту и рвалъ въ клочья, отбрасывая отметки къ сѣрому плакучему небу... На крыльцѣ одного пятистѣннаго дома показался, съ берестовымъ кошелемъ на спинѣ, съ рѣденькой бороденкой, высокій сутуловатый мужикъ,—въ рукѣ у него была длинная жестяная труба, на другой рукѣ висѣлъ кнутъ. То былъ сельскій пастухъ.

— Турлы!.. турлы!..—затрубилъ онъ, шлепая лаптями по вязкимъ лужамъ.—Турлы, турлы!..

Заскрипѣли гдѣ-то ворота. Изъ-за угла показалась пестрая корова, за нею другая, и коровы гужомъ потянулись со всѣхъ сторонъ, — вся улица заполнилась коровами и подтелками; бабы и ребята погоняли ихъ прутьями.

— Турлы-турлы-турлы!..

— Финагей! да чего жъ ты одинъ?—закричала пастуху старуха съ крыльца:—подпасокъ-то гдѣ же?

— А, видно, еще не собрался, какъ надо... Придетъ!..—отвѣтилъ пастухъ и, предшествуя коровамъ, серединой улицы направился къ выгону.

— Турлы, турлы!..

Съ сивою бородою, широкоплечій, сгорбившійся старикъ взялся откуда-то изъ-за плетня, упираясь на палку и шлепая въ глубокихъ лужахъ, онъ торопливо шагалъ вслѣдъ ушедшему стаду. Поверхъ сѣраго кафтана на старикѣ былъ одѣтъ короткій, отрепанный, когда-то окрашенный въ синее, балахонъ,—за плечами виднѣлся сплюснувшійся берестовый кошель, на рукѣ висѣлъ свернутый въ нѣсколько колецъ веревочный кнутъ... Старикъ бѣжалъ почти, спотыкался и задыхался. Это былъ замѣшкавшійся колупаевскій подпасокъ—помощникъ пастуха, Софронъ Селифановъ.

Въ своей деревнѣ зазорно было дѣду править пастушье дѣло; да его едва ли и взяли бы коноводы-ольховкинцы,— пожалуй, и имъ не способно было встрѣчаться каждый день съ тѣмъ, кого они хоть и по „закону", а все жъ таки пропили безъ остатка и безъ жалѣнія... И вотъ дѣду Софрону пришлось зарабатывать хлѣбъ свой у колупаевцевъ.

— Господи, хоть бы конецъ поскорѣе!.. Какая теперь пастьба?.. Покровъ на дворѣ!..—шепталъ бѣгущій на выгонъ старикъ.—Охъ, кабы отдохнуть,—хорошо бы!..

— Эй, дѣдъ, чего спишь долго!—кричалъ съ выгона Финагей.

— Иду, парень, бѣгу!..—отвѣчалъ запыхавшійся старикъ.— Едва всталъ, всего, братъ, меня разломило погодой... Словно молотами меня отклепали!

И дѣдъ развернулъ двухсаженный кнутище, цѣлясь припугнуть имъ отставшую телку.

Стадо выбралось далеко за деревню и широко разбрелось по мокрому сѣрому лугу. Финагей остановился подъ елью и принялся высѣкать огонь изъ кремня, чтобы закурить трубку. Дѣдъ, по другую сторону стада, присѣлъ на мшистый камень и устремилъ въ неясную даль свои выцвѣтшіе, помутившіеся глаза. Вѣтеръ охватывалъ его со всѣхъ сторонъ и какъ бы проходилъ насквозь, дождь лился на голову, на спину, пробирался за шиворотъ; но Софронъ, казалось, не примѣчалъ непогоды. Да и не диво!—третье лѣто ходилъ онъ въ полѣ, правя пастушье дѣло, и не первый разъ вѣтеръ дулъ на него, не первый разъ мочило костлявый хребетъ Божьимъ дождикомъ,—только ни одной радости не запало въ грудь за три лѣта... Совсѣмъ на иной ладъ, чѣмъ прежде было, пришлось Софрону изживать на землѣ: пришлось переходить изъ избы въ избу, одѣвать чужіе порты, чужіе кафтаны, не глядя — впору они или нѣтъ, кушать всякое и изъ всякихъ рукъ; пришлось глядѣть на то, чего бы и не хотѣлось, и уживаться со всѣми, не спрашивая у себя: „хочется тебѣ жить такъ, дѣдъ Софронъ, али не хочется?" Подошло жить дѣду, не какъ самъ хотѣлъ, а какъ Богъ велѣлъ.

Стадо удалилось въ глубь луга. Финагей, выйдя изъ-подъ ели, въ десятый разъ принялся высѣкать огонь для раскурки. А дѣдъ все сидѣлъ на камнѣ, сидѣлъ въ какомъ-то зябкомъ забытьи, и не видѣлъ ни стада, ни широкаго сѣраго луга.

На камнѣ было одно коренастое костлявое тѣло, изжитое, не нужное никому на землѣ, а душа-дума ходила гдѣ-то далеко въ прошломъ, вдоль-поперекъ минувшей трудовой доли: шагала съ березовой дубинкой въ рукѣ въ городъ, къ Евстигнею за деньгами, искала въ кабакѣ Евстигнея; хоронила Дарью и силилась подглядѣть въ невѣдомой Москвѣ за Груняхой, за внукомъ-сапожникомъ, отъ которыхъ второй годъ не доходило вѣстей.

Вѣтеръ холодѣлъ пуще, гулялъ съ высвистами въ кустахъ, шипѣлъ вокругъ дѣда; сверху неустанно изливались капли дождя, добрались до хребтины... А вдали, словно могила, виднѣлось угрюмое мглистое кольцо залѣсья, изъ-за котораго выползали безъ конца и тянулись къ дѣдовой сторонѣ непривѣтныя дождевыя тучи. Къ дождю примѣшался снѣгъ, сократилъ его,—и будто заплатки бѣлыя, повалилъ неисчетными роями съ мутной движущейся вышины на сѣрый лугъ, на сидящаго дѣда, окуталъ его какъ завѣсой.

— Снѣжокъ показался, слава Те, Господи!—сказалъ дѣдъ, отбиваясь отъ назойливыхъ думъ.—Теперь на спокой уйду скоро, отлежусь вволю... Силы нѣтъ, какъ умаялся,—будто въ кузнѣ меня отклепали! Господи!.. экъ Ты мнѣ что на роду означилъ: пастухомъ быть!.. Ну, Твоя воля... Я—что?.. А все жъ горестно мнѣ, зазорно противъ другихъ: хозяинъ былъ я, крестьянствомъ правилъ, почетъ имѣлъ въ было время; никому худа не дѣлалъ, все норовилъ по-Божьи, какъ самого пріучили. Да вотъ все ушло въ яму... О, Господи, спаси-сохрани меня, бѣднаго!

Старикъ залюбовался на мятущіеся рои липкихъ снѣжинъ, трепещущихъ въ сыромъ пространствѣ, обгоняющихъ другъ друга въ паденіи, ложащихся на жесткую щетину травы, на его балахонъ и, не то придавленный безысходностью,

не то охваченный налетѣвшимъ нежданно чувствомъ безотчетной воли,—обрывающимся голосомъ запѣлъ пѣсню:

Снѣжки бѣлые пушисты, вы укрыли всѣ поля,
Одного вы не укрыли—горюшка лютаго мово...

— Со-о-фронъ! Дѣ-ѣ-дъ Со-о-фронъ!.. Со-о-фрошка, черти тебя заѣшь!—кричалъ Финагей:—чего сидишь-дремлешь?..

Но дѣдъ не слышалъ криковъ старшóго, ушелъ весь въ пѣсню, глядѣлъ вверхъ къ небу, какъ бы рвался умаянною душою въ точку зарожденія лохматыхъ снѣжинъ, какъ бы улеталъ куда-то съ тоскливымъ мотивомъ словъ:

Въ чистомъ полѣ есть кусточекъ,—одинешенекъ стоитъ,
Безъ цвѣточковъ, безъ листочковъ: вѣтеръ сдернулъ все съ него...
Эхъ, снѣжки!.. вы не укрыли грусти сердца моего...
А за полемъ, за лѣсами,—въ чужой дальней сторонѣ
Затерялись сиротинки, позабыли обо мнѣ!
А я тутъ... одинъ, убогій, съ тяжкой долюшкой моей,
Затерялся, позабылся на сторонушкѣ родной...

Лицо дѣда повернулось въ ту сторону залѣсья, гдѣ находилась очужѣлая для него деревня Ольховкина, и еще повернулось — въ другую сторону, — гдѣ предполагалась Москва. И новый рой неотвязныхъ мыслей хлынулъ было потокомъ на старика...

— Со-о-фронъ!—кричалъ выступившій изъ-за дальнихъ кустовъ Финагей.—Старый дьяволъ, да чего ты сидишь, какъ пень среди луга, аль околѣлъ на мѣстѣ? Подмогай!.. Гляди, куда коровы-то ушли? Гляди, куда я-то ушелъ? Эй, гляди, собаки тя ѣшь вмѣстѣ съ волкомъ! Эй, загоняй энъ оттуда скотину! загоняй энъ отту-у-да-а!..

Дѣдъ, заслышавъ окрики, приподнялся съ камня, замахалъ кнутомъ... Но и Финагей, и коровы были вдали.

— Нашелъ время спать!—кричалъ укоризненно Финагей.—Чудило этакій, теперь и безъ спанья заколѣешь... Да и глядѣть теперь вострѣй надо,—теперь, братъ, дѣло къ ращету идетъ!

Многія коровы пустились наутекъ, къ селу,—зябко стало

и имъ, надоѣло гулянье въ холодномъ полѣ. Финагей направилъ за ними всѣхъ остальныхъ,—надоѣло и Финагею... И стадо шумно направилось къ роднымъ дворамъ. Софронъ опять отсталъ далеко, и еле шагалъ черезъ поле.

— Дѣдъ, да чего ты лодыря играть сталъ?—спрашивалъ всею силою голоса Финагей.—Аль на тебя лѣшіе верхомъ сѣли? Аль захворалъ?.. Загоняй энъ слѣва корову... Черти тя забодай, говорю, корову-то—вонъ—Ермошкину подхлесни за кустами!.. Вишь, дьяволъ ее понесъ опять къ чорту въ гости?.. Свищи ее кнутомъ въ бокъ!..

— Не могу больше поспѣвать въ дѣлѣ...—говорилъ тихо дѣдъ.—Совсѣмъ, братъ-Финагей, я упалъ въ силѣ... Шабашъ свѣту!—И, отбросивши отъ себя кнутъ, махнувъ въ сторону Финагея рукою, выбравшись на скользкую тропу, Софронъ тихо-тихо поплелся къ селу Колупаеву.

Черезъ два дня наряженная сотскимъ очередная подвода везла разнемогшагося старика въ деревню Ольховкину, остановилась передъ окнами избы Платона.

— Я къ тебѣ надумалъ, Платонъ Филимонычъ,—говорилъ дѣдъ вышедшему на улицу хозяину избы.—Больше мнѣ теперь дѣться некуда... Прибереги! Въ своей избѣ мнѣ и испить подать некому... Пожалѣй, Платонъ Филимонычъ, старика на послѣдкахъ!

— Поди, поди, дѣдушко!—говорилъ Платонъ.—Хватитъ у меня избы всѣмъ намъ вволю... Сейчасъ я тебя на печку уселю въ самый жаръ!..

— Во-во-во... Охъ, на печку-то хорошо бы!.. Охъ, дай тебѣ Богъ здоровья... А я, братъ-Платонъ Филимонычъ, въ своемъ здоровьѣ, кажись, расклепался,—всего меня словно вилой изворошило!..

— А я вотъ сейчасъ тебя на печку уселю жить, въ самое тепло подсажу, у тебя и отмякнетъ духъ прежній!..—говорилъ ласково Платонъ Филимоновъ, ведя кряхтящаго дѣда черезъ сѣни въ свою избу.

А въ избѣ было уютно, свѣтло, чисто прибрано,—пахло

печеными хлѣбами; а на печкѣ, поверхъ лучины, былъ рай Христовъ! За все лѣто не почуялъ дѣдъ тепла этакого, за всю жизнь не переживалъ такой льготы...

— Вотъ оно хорошо-то, вотъ оно гдѣ укладно!..—говорилъ обласканный и прибереженный старикъ.—Спасибо, братъ Платонъ Филимонычъ! О, Господи, какъ хорошо на землѣ... О, Царь небесный, какъ вольготно здѣсь, на лучинѣ!..

Прошелъ октябрь. Погода стояла холодная, но не зимняя,—дожди лились цѣлые дни и ночи, заливая ольхо́вкинскія поля и самое деревню Ольховкину.

Софронъ лежалъ въ избѣ Платона на лавкѣ, близъ образовъ, и тяжко дышалъ. Лицо его исхудало, носъ заострился, глаза горѣли какимъ-то особеннымъ блескомъ, а временами совсѣмъ потухали.

— Кхам... кхам!.. — кашлялъ дѣдъ. — О, Господи, спаси-сохрани меня, грѣшнаго!.. Силёнка бѣжитъ наутекъ...

— Худо тебѣ, Софронъ Селифанычъ?

— Тяжеленько, Платонъ Филимонычъ... Ужъ, баю, хоть бы конецъ Христосъ далъ скорѣе, ужъ теперь все едино... Теперь ужъ загадывать не объ чемъ...Платонъ Филимонычъ!..

— Что, дѣдушко?

— А вотъ, братъ, я про этотъ часъ вспоминаю... Должонъ Господь его прислать скоро! И это бы мнѣ ништо, а чего-то есть недохватка?.. Али я позабылъ что большое, али что потерялъ словно,—ровноты нѣту на моей мысли... Платонъ Филимонычъ, аль ужъ я и впрямь къ концу близко?

— Шибко ты ослабѣлъ, родной...

— Шибко?.. Ну, и слава Те, Господи!.. Теперь два дѣла мучатъ меня въ душѣ: Евстигнеевы сироты, да что я тебѣ отплатить за добро не смогу...

— Не изъ корысти, дѣдушко, а по-Божьи!

— Вотъ-вотъ, по-Божьи, хорошо это!.. Не покинь, братъ, и дѣвчатъ моихъ: коли что—вступись, поддержи; не все, можетъ статься, будутъ жить на чужой сторонѣ, можетъ, и возвратятся,—приголубь!.. И Митьку, Платонъ Филимонычъ,—какъ Митька-то подымется,—не дай на деревнѣ въ обиду...

Это тебѣ мой послѣднiй завѣтъ!.. Одно открою: коли дадутъ *тамъ* волю мнѣ: всѣмъ твоимъ поклоны снесу отъ тебя, все скажу имъ про наше теперешнее!.. А ты, братъ, не дай ребятокъ въ обиду...

— Поддержу, коли что... Всегда надо людямъ помогать въ нуждѣ; это законъ отъ Бога.

— Вотъ, вотъ!.. Платонъ Филимонычъ, а вотъ еще одно слово: два цѣлковыхъ у меня есть въ сбереженьи... Вотъ подойди-ка, отвяжи... они у меня на гайтанѣ привязаны... Давно берегъ... И отъ колупаевцевъ мой хлѣбъ возьми за пастьбу,—ужъ теперь ничего мнѣ не надо!.. Одинъ-то цѣлковый ты себѣ возьми и хлѣбъ возьми изъ села. А другой цѣлковый ты отдай въ церковь за похороны. Пущай-ко попъ и панафидку пропоетъ обо мнѣ,—все это обо мнѣ тамъ зачтется... Пущай мужики не помянутъ лихомъ меня за подать, не смогъ я расчесться съ ними. А избушка пущай сиротамъ,—это имъ уголокъ отъ вѣтра послѣ дѣдовой жизни!.. Вотъ этотъ цѣлковый имай...

— Нѣтъ, нѣтъ, дѣдушко, я не возьму...

— Имай, имай и не бай!.. Это тебѣ за добро. И хлѣбъ имай безпремѣнно! Староста ихнiй все вѣдаетъ...

— Эхъ, Софронъ Селифанычъ, золотое ты сердце!—говорилъ Платонъ съ дрожанiемъ въ голосѣ, и слезы у него выступили на глазахъ. Мелькнули передъ Платономъ череды минувшихъ годовъ, и ясно представился на серединѣ ихъ могутящiй-хозяйствующiй Софронъ, да, вотъ, подошли часы и *отойдетъ* скоро, и ничего, кажется, не останется на землѣ отъ Софрона!..

— Платонъ Филимонычъ, а вотъ и еще одно слово... Не запамятуй, братъ, передай сиротамъ благословенье мое: который поболѣ образъ въ божницѣ—пущай будетъ Митрею, а который поменьше—Дуняхѣ да Грунькѣ пополамъ!.. Скажи: пущай хорошенько ведутъ себя да Господа Бога помнятъ,—строго скажи!.. Вишь, жизнь раскидала всѣхъ насъ въ разныя стороны,—и передъ смертью не свидимся... Не оставь, бѣдныхъ, Господи!..

И дѣдъ, съ усиліями поднявшись на локоть, дрожащею рукою сталъ благословлять кого-то невидимаго черезъ окно, на улицѣ.

— Не покинь,—шепталъ онъ, крестясь,—наставь на умъ-разумъ, Господи!.. Прибереги въ часъ бѣды, Владыко-Батюшко милостивый...

Старика причастили. Ему стало и полегче, и веселѣе; но это была отдышка минутная...Жизнь, какъ свѣчка догорѣвшая до подсвѣчника, ярко вспыхивала и гасла, вспыхивала и замирала...

И опять опустилась ночь надъ деревней Ольховкиной,—ночь черная, глухая, холодная. Вѣтеръ шумѣлъ межъ хоромъ и гдѣ-то около избного конька вылъ нехорошимъ голосомъ, громыхалъ въ ставни наличниковъ, громыхалъ—пробуя срывать съ крышъ драницу... Онъ какъ бы грозилъ деревнѣ, какъ бы хвасталъ, что нѣтъ ему среди глухой ночной черени удержу! Неуютно, жутко было на непролазной улицѣ: въ рѣдкихъ избахъ свѣтились огни горящихъ лучинъ, и все было погружено въ шипящую мглу. Ольховкинцы либо спали среди бездѣлья, либо—пробравшись по заваламъ и перекладинамъ—сидѣли дружными кучками въ сборныхъ избахъ, коротая за какимъ-нибудь дѣломъ тягучее время.

Платонъ еще утромъ уѣхалъ на мельницу—измолоть мѣшокъ жита и четверть овса, да тамъ и застрялъ до потемокъ; а въ потемкахъ неспособно было и привычному возвращаться домой по непролазной дорогѣ. Настасья Платониха, жена его, соскучась сидѣть возлѣ хвораго старика,—какъ и двѣ ея взрослыхъ дочери,—взяла прялку съ куделью и ушла къ своимъ пріятельницамъ, чтобы укоротить на часокъ долгій вечеръ.

Съ каждою минутою слабѣющій Софронъ лежалъ въ полузабытьи на постелѣ, вздыхалъ отрывочно, — тяжело было дѣду... Жизнь въ груди держалась на чемъ-то неуловимомъ, сознаніе слабо охватывало узенькій помутнѣлый

кругъ жизни, охватывало безучастливо; тѣло изболѣлось и перестало ощущать тонко свои непоправимые изъяны, да не легче было отъ этого!.. Успокоительный сонъ не приходилъ къ старику,—набѣгали какіе-то туманы и, сгустившись на мигъ, разсѣивались. Чуялась кругомъ подавляющая тягота близкаго „отхода“ въ иной невѣдомый міръ...

Софронъ лежалъ и широко открытыми глазами смотрѣлъ безотчетно въ могильную темноту избы, смотрѣлъ и не то поджидалъ Настасью Платониху, не то свою невеселую гостью—смерть...

Въ избѣ было тихо. Слышалось дѣду лишь гудѣніе вѣтра на улицѣ да гдѣ-то подъ половицами скребня мыши. И вдругъ сдѣлалось какъ-то не по себѣ старику... Будто тьма избная навалила на него своимъ грузомъ, будто печь легла на ноги, и словно изъ нутра налегло... А время шло долго-долго!...

— Господи!—шепталъ дѣдъ:—тоска-грусть меня одолѣла... И отъ время мнѣ никакъ не избавиться,—будто вѣки идутъ въ этотъ вечеръ!.. Господи, прибери меня, грѣшнаго, въ Свои руки, пора мнѣ!.. Измаялся я, силушка моя вся упала... Митревна!.. Нѣту... Силушка моя вся отлетѣла!.. Экъ, запропала хозяйка.. Повернуться бы помогла мнѣ; повеселѣе бы стало мнѣ... Митревна, да ты не дома ль? По-о-моги-и!.. Нѣту... О, Господи Іисусе!..

А вѣтеръ грохоталъ на крышѣ, набрасывался на стѣны избы, дышалъ бурею на стекла оконъ, нажималъ на сѣнную дверь, словно хотѣлъ пробраться внутрь черной хаты, найти дѣда въ ней, ухватить его за душу и унести далеко-далеко отъ деревни Ольховкиной!..

При всякомъ стукѣ дѣдъ настораживался, ждалъ неутерпно Настасью Платониху, измывался тоской...

— И все память!..—шепталъ дѣдъ.—Ужъ лучше бы въ забытьи... Хоть бы сонъ!.. Али въ избу пришелъ кто? Митревна, ты пришла?.. Нѣту... Экъ, запропадаетъ хозяйка... Чего она тамъ не видала?.. Хоть бы повернуться мнѣ помогла... Ишь, вѣрно котъ улегся мнѣ на ноги; ишь, прида-

вилъ... Ксс... Хоть бы помогла... О, Господи, сохрани, спаси меня, бѣднаго!.. Мать-Богородица, заступи... Угодники Христовы святые...

Но дѣдъ уже не молилъ звуками... Призывы эти мелькали гдѣ-то въ головѣ его, а на уста налегла словно десница тяжелая...

Чуялъ Софронъ нутромъ, что кто-то безмолвный и безучастный склонился надъ нимъ, глядитъ на него темными холодными взорами, и что дѣется дѣло неладное, жуткое, небывалое... Будто лежитъ онъ на высокомъ, колеблющемся, зябкомъ тычкѣ, чуть держится на немъ, скользитъ... Въ ногахъ морозомъ беретъ, беретъ морозомъ въ груди, въ спинѣ... А передъ глазами отчетно выступаетъ пройденная жизнь: будто картина живая тянется она ясной лентой изъ пустоты, пестритъ народомъ, и онъ самъ вездѣ стоитъ на серединѣ картины живой,—уходитъ куда-то, вновь выдвигается, да такой махонькій-махонькій, какъ бы жучокъ травяной, еле видный.

Да ничего не любо дѣду, ничего не жаль въ картинѣ живой, не болитъ по ней сердце! Отъ сердца кто-то незримый началъ отцарапывать многолѣтнюю накипь, и оно почуяло легкоту, волю... За то подъ ложечкой становилось тѣснѣй,—чья-то рука надавила на грудь,—кто-то тяжелый сѣлъ на нее...

Изъ груди дѣда вылетали уже не протяжные вздохи, а хрипъ... Въ головѣ затуманило. Вся картина живая ушла изъ вида... Въ голову морозомъ ударило... Дѣдъ чуялъ смутно, что плыветъ онъ съ открытыми, но ничего не видящими, глазами по холодной, черной рѣкѣ безъ береговъ, безъ дна, безъ неба надъ нею, и все слабнетъ, зябнетъ пуще отъ смертнаго холода черныхъ волнъ, все глубже-глубже окунается въ нихъ, тонетъ беззвучно, безпомощно...

Грудь рванулась и стала опускаться ниже, ниже,—судорожно поднялась. Тѣло вздрогнуло, протянулось...

Дѣдъ Софронъ ушелъ вонъ изъ жизни.

Кривая доля.

РАЗСКАЗЪ РАБОЧАГО.

Въ ясное весеннее утро я шелъ по узенькой лѣсной дорогѣ въ село Подберезово, въ которомъ проживалъ знакомый мнѣ пожилой крестьянинъ, работавшій когда-то со мною вмѣстѣ на одномъ изъ механическихъ заводовъ Москвы, а теперь пріѣхавшій изъ города, какъ и я, чтобы отдохнуть на деревенскомъ раздольѣ.

Воздухъ былъ удивительно прозраченъ и густъ, чувствовалось, какъ живительныя волны его легко проникали въ грудь, легко расширяли ее, и хотѣлось дышать глубже, глубже... хотѣлось поглотить весь животворный, ароматный океанъ воздуха... Казалось, что голубое небо трепещетъ въ своей неизмѣримой глубинѣ, все залитое яркими лучами солнца, лишь кое-гдѣ подъ бездоннымъ сводомъ неслись медленно, какъ бы въ раздумьи, бѣлыя разорванныя облака, мѣняя причудливыя очертанія, расплываясь въ еле примѣтный туманъ.

Дорога перекидывалась черезъ высокіе бугры, спускалась въ ложбины, пересѣкала мелкіе ручейки; по обѣимъ сторонамъ ея тянулись густые молодяки ольхи и березника, кусты бредины, можжевельника, лапчатыя темно-зеленыя ели; въ иныхъ мѣстахъ раскидывались росистыя луговины, пестрѣвшія множествомъ умилительно-красивыхъ цвѣтковъ. Въ воздухѣ и въ кустахъ перелетали, чиликая, лѣсныя пташки, гудѣли шмели, на солнечныхъ гладинахъ неслышно

трепыхались ярко-цвѣтныя бабочки; гдѣ-то въ глубинѣ молодяковъ трещалъ около своего гнѣзда глупый дроздъ; и чуть ли не съ десяти сторонъ слышались однотонныя выкликанія сѣрыхъ кукушекъ. Лѣсъ жилъ раздольною жизнью вешняго тихаго утра: полный звуковъ, свѣжей прохлады и чуднаго запаха молодыхъ, проснувшихся отъ сна березокъ ни одна вѣтка не колебалась отъ вѣтра,—вѣтеръ словно убѣжалъ куда далеко, или, залегши въ глухомъ зеленомъ раздольѣ, спалъ сномъ умаяннаго!..

Было что-то живое, томительно-радостное въ лѣсныхъ чащахъ, что-то свѣтлое, овѣянное небесною благодатью, проникнутое насквозь небеснымъ недвижнымъ счастіемъ, залитое на гладинахъ яркимъ тепломъ, полное нѣжныхъ звуковъ пробудившейся отъ солнечныхъ лучей жизни.

Умыканному заботами затхлой городской жизни, бывавшему рѣдко въ общеніи съ деревней лѣтомъ, мнѣ этотъ глухой уголокъ казался волшебной диковиной, восхитительной страницей изъ сказокъ дѣтства. Я замедлялъ шаги, останавливался на вершинахъ бугровъ, глядѣлъ умиленно на пестрыя дали, на волны поросшихъ лѣсомъ холмовъ, на прозрачно-голубой сводъ небесъ... Хотѣлось затерятьсь душою въ глухомъ раздольѣ, разсѣяться, подобно обрывку облака, въ незримый туманъ и вознестись выше, выше отъ прошлой жизни!.. Но жизнь—цѣпь... она была кругомъ меня всюду. Черезъ лѣсъ доносились ко мнѣ съ ближней проселочной дороги голоса идущихъ въ церковь крестьянъ, своеобразный шумъ колесъ по песку; а отъ села Подберезова катились по прозрачному воздуху мягкіе, размѣрные гулы басистаго колокола. Звонили къ обѣднѣ.

Когда я выбрался изъ глуши на широкій проселокъ, то богомольцы уже прошли въ церковь, и широкая, наѣзжанная въ четыре колеи дорога была тиха и безлюдна, и по сторонамъ ея тянулся все тотъ же зеленый, наполненный звуками лѣсъ, виднѣлись тѣ же луговыя гладины.

Вдругъ донеслись ко мнѣ звуки пѣсни... Меня, умиленнаго созерцаніями, высоко и тонко настроеннаго, соблазнили

такое несвоевременное веселье, потому что не только въ деревнѣ, но и въ городѣ не принято распѣвать пѣсни, когда возсылается къ небу молитва церковная. Но вскорѣ я успокоился, рѣшивъ, что это несомнѣнно какой-нибудь мѣстный житель, блуждая по надобности въ лѣсу, въ веселіи духа раскатисто пѣлъ псаломъ. Чтобы провѣрить свою догадку, я чутко прислушался... Кто-то, невидимый, приближался ко мнѣ и тянулъ умѣлымъ, но неровнымъ и обрывающимся голосомъ:

Межъ долинъ-лѣсовъ путь-дороженька пролегала,
Мелкимъ ельничкомъ, горькимъ осинничкомъ она заростала!..
Ни обозы долгіе-гужевые, ни купцы-хозяйчики молодые,
Ни дворянчики сытые, баловни-столбовые,
Какъ въ былую старь, по дорожкѣ не ѣздятъ;
Красныя дѣвки съ пѣснями по широкой не ходятъ...
Только ходитъ по ней гуляй-вѣтерочекъ,
Ходитъ, слѣдушки заметаетъ, голоситъ-завываетъ:
Охъ, мнѣ, буйному, на пустой дороженькѣ грустно-скушно,—
Безъ людей живыхъ, на глухихъ колеечкахъ, несподрушно!..

За изгибомъ дороги, между кустарниковъ, я завидѣлъ шагающаго навстрѣчу ко мнѣ незнакомаго человѣка. Человѣкъ шелъ медленной, развалистой походкой, нахлобучивъ на глаза картузъ, опустивъ голову, засунувъ правую руку въ карманъ пиджака, лѣвою рукою онъ опирался на огромной длины лутошку... Человѣкъ шелъ и пѣлъ...

Завидѣвъ меня, путникъ оборвалъ пѣсню, принялъ бодрую осанку, широко усмѣхнулся и, снявъ съ головы картузъ, заговорилъ привѣтно:

— Господину Окуневу, Ивану Семенычу, мое абажаемое! Полъ-тыщи лѣтъ, значитъ, а коли жаденъ жить—лупи на здоровье до тысячи!..

Меня звали не Иваномъ Семенычемъ, но я въ свою очередь отвѣтилъ на добрый привѣтъ незнакомца, и сталъ внимательно приглядываться къ нему.

На видъ казалось ему лѣтъ пятьдесятъ, фигура его была невысокая, сутулая, будто пригнутая тяжелой ношей; лицо припухлое съ нездоровымъ цвѣтомъ, но доброе и ласковое;

рѣденькая борода слегка облегала тупой подбородокъ, небольшіе сѣрые глаза задорно выглядывали изъ-подъ бровей, что-то особенное примѣтилось мнѣ въ этихъ глазахъ: не то веселая иронія ко всему, не то затаенная, скрашенная доброю усмѣшкою грусть... Носъ былъ широкъ и толстъ и придавалъ всему лицу какое-то особенно-простодушное выраженіе,—глядя на лицо это и самому хотѣлось невольно усмѣхнуться во все лицо; одна штанина путника была заправлена въ порыжѣлое голенище, другая болталась поверхъ сапога. Довольно трудно было угадать сразу: городской это человѣкъ, мѣщанинъ, или коренной деревенскій? Но что-то подсказывало мнѣ, что если это мужикъ, то мужикъ не всамдѣлишній, а какъ бы поддѣлка подъ мужика; а кромѣ того, безусловно сомнительный христіанинъ, поющій во время церковныхъ службъ не псалмы, а „дороженьку".

— А вѣдь ты меня не узналъ!..—говорилъ путникъ, видя, что я старательно всматриваюсь въ него и не нахожу словъ въ отвѣтъ.—Вотъ, давай биться объ закладъ на кукушкино яйцо, что ты, Иванъ Семенычъ господинъ Окуневъ, меня, старичка, позабылъ?.. А я и родителя твоего, покойничка, знавалъ хорошо, и матушку твою, какъ сестру свою, отмѣнно знаю! Съ отцомъ твоимъ мы друзья были: водили вмѣстѣ хлѣбъ-соль, винишко сокрушали въ бутылкѣ... А мать твоя такая, братъ, справедливая тетка на землѣ, что дай ей Богъ житья до ста лѣтъ! Аль забылъ, милый, какъ я тебя въ деревнѣ вашей, въ Зябкомъ уютѣ, на рукахъ носилъ маленькаго? Забылъ и есть,—а?.. Эхъ, золотой, а я-то все помню, что было тогда... Я теперешняго на землѣ не хочу примѣчать, а что было на земляномъ шарѣ прежде, все я помню и знаю доподлинно!.. Земляной шаръ, братецъ ты мой, совсѣмъ сталъ не тотъ нынче, и, говорятъ, завертѣлся онъ, кормилецъ, вкругъ солнца!.. А мы, старики, помнимъ тѣ времена, когда онъ, батюшка, стоялъ недвижно на шпинделѣ, и отъ того житье было много проще...

— Ты, дядя, обознался: я совсѣмъ не Иванъ Семенычъ... Да и самого тебя я первый разъ вижу въ жизни!

— Меня первый разъ видишь въ жизни? Да что ты, голова съ мозгами, аль шутишь? Да неужто ты забылъ Мокея Степаныча?.. Вспомни-ка хорошенько: мужичокъ такой, мастеровой, приходилъ къ вамъ въ гости въ Зябло́й уютъ и тебя возносилъ на рукахъ?—это я самый доподлинный и приходилъ тогда—Мокей Степановъ Захаровъ, а впослѣдствіи своей волнообразной жизни—Пузырь! Такъ прозвали меня здѣшнія чертовки-бабы, а потомъ и всѣ, а потомъ ужъ я и самъ воспринялъ таковую фамилію... Запамятовалъ ты меня, милый, вотъ что! А можетъ, и нарочно не признаешь? Ты пойми: я извѣстенъ хорошо не только твоему покойному родителю, Семену Малафеичу, помяни его Богъ, не только тебѣ маленькому, а на всѣ погосты и епархіи здѣшніе; я сукъ въ здѣшнемъ древѣ!

— Да, право же, ничего не запомню...

— Толкуй одно, отрекайся, коли жиромъ совѣсть твою заглушило!.. Мнѣ, братъ, отъ этого не убудетъ, я по душѣ... Примѣры этакіе со мной бывали, знаю я васъ, московскихъ хватовъ... Хе-хе-хе!.. Былъ у меня вотъ этакъ же, какъ и ты, одинъ задушевный пріятель въ Москвѣ, Прохоромъ Калинычемъ звали... Жили мы съ нимъ на заводѣ сердце въ сердце, какъ бы голуби... Что у меня на душѣ зарождалось, бывало, все это я открывалъ другу своему Прохору, какъ на духу; ну, и онъ мнѣ откроетъ, бывало... А только душа у него была крѣпче. И вотъ, голова, отдалился въ одно время этотъ самый Прохоръ Калинычъ отъ нашей артели: годъ прошелъ, два, три прошло—нѣтъ человѣка! Я кого, бывало, ни увижу изъ знакомыхъ людей, сейчасъ про друга выспрашиваю, болѣзную о немъ, тужу, на молитвѣ его, мошенника, вспоминаю!.. Такая дружба была у меня къ нему, како бы любовь птицы. И все это, надо тебѣ сказать, происходитъ отъ глупости души человѣческой, отъ многовѣрія въ адеялъ... Да иду я разъ, вотъ какъ теперь, по Басманной въ Москвѣ, гляжу: Прохоръ идетъ!.. Только не прежній съ виду, а въ передѣлкѣ: фасадъ у человѣка не заводскій совсѣмъ: шуба на плечахъ, что у идола, во-

ротничище черный-лохматый—вò... шапка кунья на головѣ—вò... брюхо—вò!.. Одно слово, чортъ, а не Прохоръ на видъ... И возрадовался тутъ я въ сердцѣ, подскочилъ къ другу, ухватилъ его въ обниманье, лобызнуть тянусь во уста, а онъ мнѣ подставляетъ свой воротникъ къ устамъ... Да не примѣчаю я, говорю въ радости: „Прошка, анаѳема, ты ли это?.. Гдѣ ты до сей поры обрѣтался? Здравствуй, дьяволъ носатый! Вѣдь я-то, дуракъ, надумалъ своимъ чердакомъ, что ты уползъ съ земляного шара въ преисподнюю, въ адъ... А ты, гляжу, плывешь себѣ въ енотѣ по волнѣ житія!.. Ну, слава Богу... Скотина этакая, говорю: здоровъ, какъ лошадь, и никакой вѣсти не прислалъ къ намъ—ни слухомъ и ни обухомъ,—хорошо это? Теперь, говорю, тебя и не признать сразу настоящій ты сатаніилъ въ шерсти, и разнесло тебя, аки чорта... Одно хорошо: замѣтка у тебя осталась отъ былой жизни—зарубина на носу... Помнишь, Проша, какъ мы дрались подъ Полтавой на Тверской-Ямской улицѣ съ лебедевскими фабричными, и тебя какой-то ихній воевода задѣлъ подковой по переносью?.. Прошка, говорю, другъ задушевный, разскажи мнѣ за четыре минувшихъ года про все свое безъ утайки?..“ А самъ стою близъ него, держу его радостно за енотъ, не пущаю... Любуюсь, какъ на родного: угораздилъ Господь надъ нашей молоточной братіей, хоть одного, а вознесъ отъ опорокъ, далъ все шубное земное, какъ барину! „Эхъ, говорю, Прошка, скотъ! пойдемъ въ трахтиръ поскорѣе, и я тебѣ всю жизнь мою разскажу отъ начала, раскипѣлось сердце во мнѣ... Убью я тебя, сатаніила, отъ радости!..

„А другъ глядитъ на меня по-бычьи, и самъ, какъ клюква въ лицѣ, и пыхтитъ... „А па-а-зволь, говоритъ мнѣ, ска-а-тина безрогая, узнать: съ какой радости довожусь я „Прошкой“ всякой дряни земной, ежели я Прохоръ Калинычъ купецъ Лобзиковъ?..“—„А какъ же, говорю, воронья твоя душа, распредѣлить иначе? Вѣдь я не въ красныхъ рядахъ учился образованности, а близъ горна... Я одно помню: изъ одной чашки тюрю черпали, на одномъ одрѣ

оба дрыхли, когда работали у Ерша на заводѣ? Вѣдь я самый завѣтный твой другъ, Мокей Степановъ... Вѣдь я за тебя, за чорта, Богу молилъ, душой своей тосковалъ о тебѣ, аки баба. Не мало людей живетъ на землѣ, можетъ статься, получше насъ съ тобой, да поди-ко подбери-ко ихъ бусу къ бусѣ?.. Понялъ ли ты меня, дьяволъ?.. А онъ въ отвѣтъ мнѣ: „Со всякой шушерой не знакомъ! На житьѣ мало ли чего не бывало, и съ мазуриками доводилось ѣсть кашу, да только нѣтъ оттого порока, ежели ты соблюдаешь себя въ аккуратѣ... Теперь, благодаренье Христу, пріятели изъ вашего брата стали у меня на излётѣ... Купцы меня одолѣли, да и самъ я второй годъ купецъ, слава Богу... А ваша братія — голь да шмоль!“ — „Да это, говорю, анделъ мой енотовый, вѣрно-доподлинно, такая ужъ наша дьявольская доля на свѣтѣ! Ну, а только надъ душой озорничать невозможно: и у насъ есть душишка измыканная... Прошка, Прошка, вспомни, братъ, Бога и отвѣть мнѣ начисто́: имѣешь ты теперь душу ко мнѣ, али нѣтъ?..“ А онъ пыхтитъ, пихаетъ меня рукой отъ себя.—„Ну, ну, говоритъ: изыди-ко прочь съ дороги!..“ Да и я стоялъ твердо... „Миленькой мой, говорю, пущай купцы тебя абажаютъ, вѣдь мнѣ и самому лестно, что вознесся ты вверхъ!.. И шутку я понимаю шуткой, дружбу живую я понимаю дружбой... Пойми, рожа, вѣдь дружба-то хорошая не лежитъ на прешпехтѣ?.. Пойдемъ въ трахтиръ сейчасъ и разскажи мнѣ досконально: какъ ты добрался до этакой вышины земной и поучи меня, дурака... Аль ты на заводѣ намолотилъ денегъ кучу? Аль на скачкахъ обралъ неразумныхъ? Али скралъ въ одинъ разокъ за три раза?..“ Чортъ дернулъ меня за языкъ, зарѣзалъ я тутъ своимъ языкомъ нашу дружбу...

Мокей остановился, перевелъ духъ, сдвинулъ картузъ на затылокъ и, потрясая длинной лутошкой, глядясь куда-то вверхъ, заговорилъ тихо:

— На этомъ самомъ мѣстѣ произошла между нами обида на вѣкъ. Попалъ я тутъ пальцемъ въ рай... Купецъ-то, слышь, Лобзиковъ, какъ оглянетъ меня въ это время, какъ

хватитъ за горловину меня, какъ встряхнетъ меня, да какъ заоретъ на всю даль Басманной: „Что жъ ты, анаѳема проклятъ, счетоводъ въ Москвѣ?.. Тебѣ что же, бумага дадена такая, что ли, чтобы въ чужихъ карманахъ деньги считать?.. Тебѣ, что же, документъ такой данъ, чтобы приставать къ честнымъ людямъ на дорогѣ?..“ А самъ все мнетъ горловину мнѣ, такъ что мнѣ и отвѣчать невозможно... и оретъ пуще: „Господинъ града-а-вой!.. Господинъ полинцыеместеръ! отстраните меня отъ разбоя... Ушлите изъ столицыи негодяя этого въ два часа сутокъ!..“ Да самъ какъ лобызнётъ меня по затылку!..

„Тутъ, братъ, оробѣлъ и я... Сердце во мнѣ оскудѣло. Покатилъ я, какъ скороходъ, вдоль улицы, и стыдно мнѣ народа земного... И ушамъ своимъ я не вѣрю, и глазамъ не вѣрю, только на шеѣ чувствую какъ бы мозоль съ яйцо... Шагаю невѣдомо куда, подбавляю паровъ, мыслю въ чердакѣ: „Оборвалась моя дружба! Былъ душевный пріятель на свѣтѣ, четыре года не видѣлись, а увидѣлись—самому полинцыеместеру хотѣлъ пихнуть меня въ руки!..“

„Ты обожди маленько, я тебѣ разскажу про него побасенку премудрую,—стóитъ послушать ее... Э, да чортъ со всѣмъ этимъ!.. Я только къ тому хренологію мою подвелъ въ этотъ разъ, что и ты, братъ, похожъ, кажись, на Прохоръ Калиныча!..

Мокей пытливо глянулъ мнѣ въ лицо, придвинулся совсѣмъ близко...

— Постой-ко, братъ Мокей,—сказалъ онъ себѣ...—Вѣдь сейчасъ-то ты, кажись, этого... Толкуешь ты не съ Иваномъ!..—Лицо стараго заводскаго до смѣшного сосредоточилось.

Засмѣялся и я.

— Милый человѣкъ, а вѣдь я обмишурился!—сказалъ мнѣ Мокей.—Показалось мнѣ давечь точь въ точь, что „идетъ, молъ, сынокъ покойнаго Семена Малафеича по дорожкѣ...“ Вотъ я и развязалъ изъ узелка свою душу... А большое сходство есть и сейчасъ: и носъ такой же, и усы, глаза и

корпуленцыя — все такое! Иванъ Семенычъ этотъ тоже въ Москвѣ руководствуетъ, хорошій парень, грамотнóй... Вклепался!.. Ну, извини старика... Да и худого я тутъ не сдѣлалъ. Не диво нынче въ ошибку ударить: весь молодой народъ удралъ изъ деревни, кого и знавалъ хорошо—не сразу признаешь потомъ!.. Остались нынче въ деревнѣ три Каина да палецъ отъ Авеля... Хе-хе-хе!.. А ты чей же здѣсь? Тоже, значитъ, изъ Москвы прилетѣлъ на отдышку? Къ попамъ вѣрно нагрянулъ, аль къ Черемухову барину?.. Ты какъ же въ Москвѣ-то: аршиномъ грѣхи отмѣриваешь? Али чиновничаешь—перомъ по бумагѣ водишь?...

— Я на заводѣ работаю.

— На заводѣ!.. А что жъ ты больно чистъ и безъ сучьевъ?..

— Да ужъ, стало-быть, таковъ уродился...

Мокей выпустилъ изъ руки свою трость, вплотную придвинулся ко мнѣ, схватилъ меня за руку и, видимо, чему-то очень обрадовался...

— Миленькой мой! — заговорилъ онъ:—неужли правда твоя, неужто ты *нашъ* заводскій?.. Откройся мнѣ сейчасъ по душѣ: кость ты отъ костей нашихъ, али только одно мое навожденье?.. Порадуй меня, старика... Аль ты тамъ идешь по начальству надъ нашимъ братомъ, али щелкаешь счетами?..

И, не давъ мнѣ отвѣтить, Мокей хлопалъ дружески меня по плечу, заглядывалъ въ глаза, выкликалъ радостно:

— Ахъ ты, миленькой мой, — свой братъ! Мастеровая лопатка?.. Вѣдь я нашелъ теперь себѣ все, что мнѣ надо... Вѣдь и я, говорю, въ прежнее время на заводахъ работалъ, закалъ имѣю въ душѣ и горбъ капитала... Лестно мнѣ, старику, обмолвиться словомъ со своимъ человѣкомъ! Заводскаго народа я знавалъ много, и всѣ любили меня за простоту. По душѣ сказать: съ душой былъ народъ, а слабый, пропойный народъ, безъ шпинделя въ головѣ, какъ и я... Тогда это всплошную шло!.. Вотъ, нынче, слухи идутъ,— другое колѣно зачалось отъ полѣна: завелись мастеровые

люди съ гордостью въ головѣ, возросли въ смыслѣ, а главное—отбились отъ кабака? Этого я ужъ и не понимаю теперь... Какъ же безъ кабачка быть намъ? А чѣмъ же дышать послѣ этого?.. Въ нашемъ колѣнѣ былъ такой распорядокъ: всѣ подъ одинъ шеблонъ! Въ получку пьяны всѣ, и всѣ биты... Нарядъ—опорки да блуза въ салѣ,—рыло копченое во весь вѣкъ, и мелькаютъ на рылѣ бѣлки въ глазахъ, какъ у сатаны въ аду, и вся жизнь—радость была въ кабакѣ... И я такой же волкъ былъ въ то время, да и теперь тоже! А вы, нынѣшніе, не тѣ!.. Уродились вы въ Авеля... Вишь, какимъ бутузомъ стоишь,—поглядѣть любо... Хе-хе-хе-хе!.. Нарождаетъ, значитъ, Господь перваго сорта въ мастеровщинѣ? Отмѣнно это! У чистаго человѣка и обиходъ иной, и спросъ съ него не таковъ... Залѣзь-ко, вотъ, для примѣра, въ карманъ ко мнѣ, и ужъ я те не въ ухо двину за воровство, а поволоку тебя по шеблону далѣ, потому—чистый человѣкъ долженъ гордость свою держать на чеку... Э! да чего же мы здѣсь стоимъ на дорогѣ? Подымай, братъ, паруса,—поплывемъ! Тебя куда архангелы несутъ по дорожкѣ не въ Подберезово ли?

— Да, въ село.

— Ну, вотъ!.. А я сейчасъ оттуда бреду. Былъ у попа въ крылосѣ, былъ въ харчевнѣ у Мирона-разбойника, да разстроился въ душѣ и въ сердцахъ пошелъ къ дому... Пойдемъ вмѣстѣ, я провожу тебя; а за походомъ я съ тобою про жизнь покалякаю. Ты не дивись, милый, что я привязался къ тебѣ... Сперва я обознался нечаянно, а теперь радъ! Понимаю я, что хоть ты и неизвѣстный мнѣ пока человѣкъ, а хорошій... Мастеровая лопатка, молотокъ, рашпиль!.. Только ты, братъ, не сердись на меня, ежели я браниться начну,—таковъ ужъ у меня нравъ дурацкій: въ глаза рубану, хоть кого! Тебя Самъ Господь послалъ на меня. Вѣдь здѣсь, братецъ ты мой, всѣ глядятъ на меня не такъ: чудака во мнѣ видятъ, а я чудакъ слезовой... Какъ это исходитъ изъ меня, и самъ я не знаю! Душа у меня мягкая, и не дуракъ я, кажись, коли помѣрить съ другими меня, а

все у меня идетъ колесомъ, все дугой,—кажись отъ самаго зачала жизни!.. Одно слово, соскочилъ я духомъ со шпинделя и остался на пустырѣ. Народъ здѣшній не всего понимаетъ меня,—въ здѣшнемъ народѣ нѣтъ образованности... А ты все мое поймешь, какъ оно есть на шпонкѣ!

Мокей поднялъ съ дороги лутошку и, упираясь на нее, зашагалъ рядомъ со мною въ сторону Подберезова. Навстрѣчу намъ шли отъ села пестрыя толпушки богомольныхъ мірянъ, шли одиноко бабы и мужики, и всѣ привѣтно съ Мокеемъ раскланивались.

Зеленые перелѣски и цвѣтныя луговины остались позади насъ,—дорога плавно раскинулась черезъ широкую гладь засѣяннаго овсомъ и ячменемъ поля. Издалека виднѣлась колокольня и синія главы церкви.

— Выходитъ поэтому, что ты въ нашихъ краяхъ не свой,—говорилъ Мокей, узнавшій обо мнѣ изъ разспросовъ.—Ну, поживи, полюбуйся на наши края,—мѣста здѣсь хорошія; и люди здѣсь ничего. Одно горе—земля родитъ скупо, а мужики, которые зиму и лѣто въ деревнѣ живутъ, окостенѣли близъ кабаковъ, какъ и я... И я тебѣ не зря молвилъ про трехъ Каиновъ... Ихъ тутъ наберешь поболѣ того, да и меня къ нимъ причислишь! Такая ужъ волна въ жизни... Съ виду, вотъ, и я человѣкъ, а раствори меня—въ серединѣ журавля не стою!..

Вдругъ мой спутникъ началъ старательно ощупываться, и искать чего-то въ карманахъ пиджака, за пазухой, за голенищами и, видимо, совсѣмъ забылъ про меня.

— Что за магія въ сметанѣ!..—говорилъ Мокей самъ себѣ.—Что за чортъ въ требухѣ?.. Кисетъ гдѣ-то потерялъ... Вотъ тебѣ и кисетъ-кисетычъ!—И онъ снова принялся обшаривать карманы и пазуху.—Табаку-то мнѣ не жаль,—табакъ наплевать! а жаль трубки... И трубка лежала въ кисетѣ. А трубка отъ покойнаго родителя мнѣ досталась—фамильная... Какъ начну закуривать, такъ и припомню все, и родителя своего помяну добрымъ словомъ... Ахъ, воронья душа, какъ же быть?

Я досталъ папироску.

— Эка, чертовщина!—говорилъ сокрушенно Мокей.—Родительскую память обронилъ, балда! Вѣдь сколько годовъ въ сохранности она состояла. Трубкой этой я бывалъ и ученъ отъ родителя,—можетъ, десять разъ ею училъ онъ меня по зубамъ... Хор-рошая была трубка!

Мокей притихъ и, опустивъ голову, задумчиво шагалъ по дорогѣ, оглядывая ея колеи,—въ лицѣ его, во всей фигурѣ разомъ отразилась потеря трубки... Онъ обращался съ разспросами къ встрѣчнымъ богомольцамъ, но никто не видѣлъ на дорогѣ кисета... Видимо, у стараго заводскаго были связаны съ трубкою большія воспоминанія.

— Что жъ ты здѣшній крестьянинъ или мѣщанинъ?—спросилъ я.

— Бобыль... А урожденный я есть крестьянинъ. И семья есть. Только все, братъ, у меня въ разгонѣ... жена есть, сынъ; дочка въ замужествѣ. Только я къ дочкѣ не хожу,—не люблю зятя... Дурошлепъ на выборъ изъ волости, а носъ вверхъ,—гордецъ такой, аки дьяволъ! А я этакихъ не абажаю. Живи, молъ, самъ по себѣ, а я—самъ по себѣ, вотъ и все! Вѣдь на свѣтѣ какъ сдѣлано: живетъ волкъ, живетъ медвѣдь, живетъ заяцъ; и я, и ты, и вонъ дѣвчонки, что идутъ по дорогѣ,—и устроено у Бога такъ, чтобы всякому своя линія шла!.. Напримѣръ, медвѣдь не пойдетъ въ гости къ намъ, у него своя компанія есть, а можетъ, на Господнемъ счету онъ поставленъ отъ насъ недалеко? Красавицы миленькія!—вдругъ обратился Мокей къ тремъ дѣвушкамъ:—не видали ли на дорожкѣ кисета съ зелеными кисточками? Обронилъ я кисетъ свой, а въ немъ трубка...

— Нѣтъ, дядюшка Мокей, не видали...

— Экія вы какія недогадливыя! Эй, дядя Захаръ, не видалъ ли, братъ, кисета съ зелеными кисточками?

— Нѣтъ, братъ, на дорогѣ кисета нѣту...

— Эко горе!.. Кисетъ я потерялъ съ трубкой... Ну, такъ вотъ, говорю,—медвѣдь... А жена у меня съ сыномъ живутъ въ Твери,—вотъ эти самыя твои гильцы для папи-

росокъ дѣлаютъ тамъ... И живу я здѣсь одинъ горюномъ и въ тѣ же часы—воеводой. Да, братъ, воеводой я живу на землѣ, а зажатъ! Иной разъ такая смертная тоска охватитъ всего, что сунулъ бы голову подъ топоръ... Сбитый я человѣкъ спанталыку. Ты зайди, пожалуйста, въ деревню Кривухину ко мнѣ въ гости: съ самаго края стоитъ мой дворецъ... А то спроси у ребятъ: „Ребята, гдѣ, молъ, тутъ Пузырь живетъ?“ И тебѣ всякій карапузъ скажетъ, потому—я ребятъ люблю всей душой, и они всѣ мнѣ пріятели. Да и спрашивать не надо: какъ подойдешь къ деревнѣ отъ Рожновыхъ Долинъ, первый дворецъ на лѣвой рукѣ, вотъ тебѣ весь и адресъ... Поглядишь, какъ живу я; и тамъ тебѣ про мою жизнь я скажу побасенку... Поучиться-то будетъ нечему, а послушать стоитъ!

— Какъ же ты живешь?

— Всяко, братъ, приходится жить Мокею... Сказано, если кому не повезетъ въ жизни—хоть по коровьи мычи, не поможетъ!

— А что?

— Да ужъ такъ... Вино, прóклятое, заняло у меня первый плантъ, изъ-за него я и жизни своей не вижу! Такъ доходитъ, что когда, примѣрно, опрокинешь толику малую, ну, будто и живешь на землѣ, будто и стоило родиться для этого... А то захолонетъ все страшеннымъ туманомъ, хоть бѣги въ воду! Такъ ужъ, значитъ, нѣкоторымъ человѣкамъ написано на роду: „Пей!—вся твоя радость тутъ, и нѣтъ тебѣ исхода иного“... Семья у насъ была не малая,—два брата и теперь хозяйствуютъ рядомъ со мною въ деревнѣ,—одинъ даже міроѣдомъ числится; да еще братъ родной—живетъ съ семьей въ Петербургѣ; а выродкомъ вышелъ я.. Бывало, меня покойный родитель за питье-то и такъ, и этакъ училъ, и трубочкой-то вотъ той самой, что затерялась гдѣ-то, въ зубы меня, бывало, въ суставы... Учитъ, бывало, меня, а самъ плачетъ и кричитъ: „Такой-сякой сынъ, гибнешь ты, подлецъ, отъ косушки... Брось косушку анаѳемскую и вознесешься высоко!..“ А я и по сію пору отцовскій завѣтъ

не исполнилъ. Одолѣло меня чортово хлебово съ ранней поры, и не отстать мнѣ до смерти... За то, братъ, на работу я—сущій песъ! Это ужъ я откроюсь безъ хвастовства: ежели возьмусь за что—изъ чертей бамбошекъ надѣлаю! Мнѣ еще въ Москвѣ, у Бромлея на заводѣ, бывало, нѣмецъ-мастеръ говаривалъ анекдотъ: „Мокель, твой карошъ работа, но скверна пьяницъ твой! Твой бы былъ въ нашъ Золингенъ карошъ пьяницъ... У насъ въ Золингенъ малшикъ ушитъ грамотъ сперва, потомъ работать ушитъ, а потомъ, рослій, пиль пиво минога, для отдыха... А у васъ на Москва въ оборотъ: прежде дѣло—малшикъ по двору бѣгалъ, а потомъ пиль миного, а потомъ больше пиль и еще пиль!.. Москва: старикъ пиль минога, старушка пиль, тѣвушка пиль, малшикъ пиль,—всѣ пиль минога... А грамотѣ мало ушиль, молитвъ не ушиль, работать худо ушиль, какъ жить не ушиль; и карошій у васъ дуракомъ биль, и онъ все пиль-пиль, и его за то караддавой биль и кутузка садиль!.. А онъ аппять пиль минога? И аппять его караддавой ловиль и биль, и кутузовъ садиль, и еще биль... А онъ пашоль вонъ кутузка: и пиль, и стекла въ окнѣ биль, и старушку миного биль... А караддавой его опять хватиль, кулакомъ ему далъ биль, и въ кутузку аппять садиль два недѣля!.. О, Мокель, ошень дорогъ два недѣля въ нашъ Золингенъ,—два недѣля работы ошень минога!..“ Эй, дядя Фролъ, не видалъ ли, братъ, на дорогѣ кисетъ съ зелеными кисточками? Кисетъ я потерялъ, а въ немъ трубка родительская.

— Нѣтъ, дядя Мокей, не видалъ я кисета. А вонъ, зайца сейчасъ поглядѣлъ,—вонъ пробѣжалъ въ эту сторону!..

Потерявъ окончательно надежду отыскать кисетъ съ трубкой, Мокей продолжалъ:

— По рукамъ моимъ—я профессоръ... За работу слѣдуетъ усадить меня подъ стекло, чтобы не запылился; а за вино—истолочь въ ступѣ надо! Хорошую деньгу зашибить могу, а сколько годовъ—больше рубля въ кошелькѣ не бывало, да и того сутокъ не продержишь! Все въ кабакъ уплываетъ... Ужъ на какія штуки ни подымался: молотки и па-

яльники обливалъ крещенской водой, и молитвы творилъ надъ ними, чтобы отъ труда прокъ былъ; и кошельки промѣнивалъ, сургучомъ ихъ печаталъ, а крестомъ съ груди припечатывалъ, подъ образа клалъ,—чтобы, значитъ, поддержать въ цѣнности трудовую копейку на черные дни жизни, такъ нѣтъ!—опять всѣ расползутся, какъ раки... Отчего это? Думаю я—оттого, что вѣсовъ въ башкѣ нѣту. До того иной разъ на себя обидно станетъ, что хоть прошиби високъ молоткомъ! А какъ выпьешь—и все забудешь, и будто лучше твоего житья нѣтъ на свѣтѣ! Все обманъ сатаны,—онъ дырки замазываетъ въ душѣ, чтобы она не пищала. По-настоящему, мнѣ бы слѣдовало пройтись въ Золингенъ, отдышаться на ихнемъ положеніи, коли нѣмецъ не вралъ... А здѣсь, въ какой край ни сунься—все на кабакъ наскочишь, ну и нѣтъ тебѣ отдышки до конца вѣка! Да вотъ и еще одна причина завелась въ груди: душить стало... Какъ пройдусь маленько пошибче, сейчасъ весь духъ и запретъ въ машинѣ!.. А намедни пришлось въ Салтыковой деревнѣ подыматься вверхъ на гору, такъ чуть съ душой не разстался; захолонуло вотъ тутъ у горла, а въ лѣвомъ боку словно мѣхи работаютъ,—въ глазахъ помутнѣло, и я свалился. Вѣдь этакъ считать и до концовъ не далечко? А я жизнь на землѣ абажаю; на томъ свѣтѣ лучшей жизни мнѣ не дадутъ, не заслужилъ... Теперь, братъ, и пѣсню мнѣ не вытянуть, какъ должно, а, бывало, по пѣснямъ я славился,—изъ-за однѣхъ пѣсенъ мнѣ почетъ былъ вездѣ... Вонъ, тамъ докторъ есть за селомъ, такъ пугалъ меня: „Пить будешь, говоритъ, такъ долго не проживешь!“ Ну, а я полагаю, что вретъ онъ... Про мою смерть съ Богомъ онъ не бесѣдовалъ... Здѣсь есть такіе старики, что пьютъ вино, какъ быки, и живутъ по седьмому да по восьмому десятку, а мнѣ всего на всего пять съ половиной.

Мы подошли къ сельской околицѣ и вошли въ Подберезово. Налѣво, нѣсколько въ сторонѣ отъ жилья, высилась церковь, главы ея, окрашенныя подъ цвѣтъ неба, красиво выступали изъ-за деревьевъ и словно глядѣли задумчиво

на тихую ширь села, которое неправильной линіей раскинулось близъ нея и однимъ краемъ опускалось въ низину, окруженное со всѣхъ сторонъ зелеными огородами и сѣрыми изгородями. Широкая улица была пустынна: всѣ обѣдали и отдыхали послѣ молитвъ.

Но около сельской лавки съ краснымъ товаромъ было присутствіе жизни: у крыльца стояли дѣвушки, а въ раскрытыя двери—въ серединѣ лавочки—была видна толчея. Отзывалось жизнью и близъ харчевни, помѣщавшейся въ новомъ двухъэтажномъ домѣ,—стояли у колоды двѣ запряженныхъ лошадки; три мужика въ однѣхъ рубахахъ, безъ шапокъ, вышли изъ харчевни, при чемъ одинъ держалъ въ рукѣ бутылку водки, а въ другой селедку и хлѣбъ. Мужики внимательно оглядѣли мѣстность и усѣлись на солнопекѣ, на травяномъ бугоркѣ, поставивъ въ середину бутылку.

Какая-то старуха съ дѣвчонкой, сидя въ телѣгѣ, пересчитывала баранки, нанизанныя въ видѣ бусъ на мочалку, и громко спорила... По старухиному выходило, что баранокъ „двадцать двѣ—ровно“, и она говорила внучкѣ: „Не проси, Дунька, не дамъ портить счетъ!.. Когда доѣдемъ съ батькой до дому, тамъ раздѣлимъ всѣмъ пополамъ, ты и съѣшь свою долю...“

Дѣвочка принималась считать сама, чтобы найти лишку, но послѣ десяти у ней выходило „шестнадцать, четырнадцать“, и она, опустивъ ручонки, глядѣла съ горестью на пучокъ баранокъ, а потомъ начинала кричать съ телѣги, глядясь на раскрытыя окна харчевни, изъ которыхъ доносился веселый говоръ: „Ба-атьшка-а! а, ба-тьшка-а! Выходи поскорѣе... Поѣдемъ домой поскорѣе!..“ И опять принималась считать баранки, глядѣла на нихъ жаднымъ взоромъ... Но упрямая формалистка старуха держалась за свое, громко пересчитывала сама, и выходило ровно двадцать двѣ... Приходилось ждать. Дѣвочка со слезами въ голосѣ опять обращалась къ окнамъ харчевни: „Ба-атьшка-а! а, ба-атьшка-а!.. Выходи поскорѣе!..“

Слышавъ весь разговоръ, я остановился и, обозлясь на

старуху, хотѣлъ постыдить ее за ребенка; но Мокей, взявъ меня за руку, заговорилъ жалостно:

— Другъ золотой, пройдемъ на часокъ въ ресторацію, пропустимъ по махонькой, поговоримъ по душѣ!..

— Да я, братъ, водки не пью.

— Ну, пивка хлобыснешь!.. Тутъ есть и пиво у насъ. А то продернешь малиновой?.. И я съ тобой продерну на радостяхъ, отведу грусть...

Въ это время на широкомъ крыльцѣ харчевни показался солиднаго вида человѣкъ и внимательно окинулъ взглядомъ всю улицу. Онъ былъ въ бѣлой цвѣтной рубашкѣ, при цвѣтномъ жилетѣ съ серебряной цѣпью, въ щегольскихъ начищенныхъ сапогахъ; густая черная борода его, расчесанная вѣеромъ, красиво раскидывалась по груди; глаза бородача-щеголя скользнули по мнѣ и Мокею, по старухѣ съ дѣвчонкой и остановились на трехъ мужикахъ...

— Вотъ это самый здѣшній силачъ и есть!—сказалъ мнѣ тихо Мокей.—Ишь, какъ онъ озрѣлъ тебя, словно ястребъ... Мирону Ермилычу два съ кисточкой!..

— Ты опять здѣсь!..—сказалъ харчевникъ, какъ бы только-что завидѣвъ Мокея.—А, слышь, сороки давечь стрекотали, что будто ты ушелъ изъ села въ свое мѣсто?.. Завертѣла тебя нелегкая вкругъ села... Тебѣ, пожалуй, и умереть означено у насъ въ Подберезовѣ?.. Хе-хе-хе!..

— Коли означено, такъ и ладно!—шутливо отвѣтилъ Мокей, глядя съ какой-то неопредѣленной усмѣшкой на Мирона Ермилыча.—Скончаюсь, вотъ, у тебя въ хоромахъ за скляницей, и придется, братъ, тебѣ погребсти меня съ достояніемъ на свой счетъ!.. Придется тебѣ тогда, Миронъ Ермилычъ, развязывать твою суму-дуру съ бабушкиными лобанчиками... Эхъ, миленькой мой, погодя неизвѣстное—и ты опрокинешь брюшко пупцомъ кверху, а ноженьки въ сапоженькахъ протянешь ко Господу! — это намъ обоимъ означено...

— Да оно вѣрно, вѣрно!..—сказалъ харчевникъ, и зло сверкнулъ на Мокея глазами.

— Вотъ я и говорю про то, изъ писанія извлекъ я рацею эту!..—подтвердилъ Мокей.—А ужъ тамъ Господь разберетъ: кому надо надавать подзатыльниковъ: Мокею Пузырю аль Мирону Ермилычу. Теперь, братъ, непримѣтно, кто изъ насъ грѣшнѣе на этомъ свѣтѣ? А тамъ все разберутъ досконально!

— Эй, вы!—крикнулъ Миронъ Ермилычъ, забросивъ Мокея и обращаясь къ тремъ лежащимъ на бугоркѣ мужикамъ и къ лежащей между ними бутылкѣ.—Вы чего здѣсь расхарчились, аль мѣста нѣтъ повиднѣе?.. Ежели духовное лицо пойдетъ, али начальство поѣдетъ, чего мнѣ скажутъ?

Постарше изъ мужиковъ подынулся на локти, вылилъ изъ бутылки послѣдки, перекрестился, поднесъ стаканчикъ къ губамъ, пилъ долго-долго, потомъ осторожно положилъ его на бурую траву, взглянулъ на солнышко и, протянувъ къ небу перстъ, отвѣтилъ степенно Мирону Ермилычу:

— Грѣемся на святомъ солнцѣ и пьемъ трудовое!.. Воровать грѣхъ гдѣ попало, а пить вездѣ можно. Окромя того, у насъ разговоръ одиношный... А начальство, братъ, насъ не устращаетъ: ежели за правду дѣло идетъ, оно само къ правдѣ и приставлено, чтобы ее соблюдать!.. Пьемъ мы на чистыя, и оброки у насъ въ аккуратѣ!.. А хошь на споръ: эта бутылка пустая—вчерашняя?..—И старый мужикъ, привскочивъ, схватилъ пустой полуштофъ за горловинку и экспертивно потрясъ имъ въ горячемъ воздухѣ.—Да, аль нѣтъ: кто доказать сможетъ—когда было здѣсь добро хмельное?..

Харчевникъ скрылся.

— Терпѣть не могу на Мироново рыло глядѣть!—сказалъ Мокей.—Мы враги... А по душѣ скажу: умнѣющій мужичокъ на землѣ, шельма въ человѣчьемъ обличіи! Есть ангелъ у тебя для продажи—купитъ, и цѣну собьетъ до грошей... Ну, а только жить мнѣ безъ него не способно: по питейной части онъ съ этого края стоитъ для меня на первой истанцыи. Человѣкъ видный: бывшій голова нашъ... Можетъ, я изъ-за него, подлеца, и въ деревнѣ живу,—подпа-

костилъ онъ мнѣ, кажись, въ свое время... Только точно я въ томъ не увѣренъ... Ужъ годовъ восемь, какъ смѣщенъ онъ изъ головы, да ему что? Наскребали денегъ вмѣстѣ съ писаремъ, да и живутъ теперь, аки черти... А подошло узломъ, оба, подлецы, завопили: „У насъ своего горькаго грошика нѣтъ, у насъ—бабушкины!..“;

Три мужика, глядя на Мокея, смѣялись и хвалили его за удаль... Старуха и дѣвочка, сидя въ телѣгѣ, глядѣли на насъ съ глубокимъ вниманіемъ. Мокей будто не примѣчалъ и, дергая меня за одежду рукой, говорилъ съ жаромъ:

— Въ каменномъ мѣшкѣ сидѣли: *этотъ*—годъ, а *тотъ*—два! Думали мы, что тамъ и застрянутъ, да нѣтъ—вынырнули оба! А теперь Миронъ Ермилычъ—силачъ здѣшній, воротяга, Еруслан-Бова Лазаревичъ. Съ начальствомъ рука за руку, уста въ уста, всѣ у него пьютъ, ѣдятъ и ночуютъ. Пистолетку, слышь, держитъ для безопасности? Погоди маленько, я тебѣ про него ха-а-рошую разскажу побасенку! А у писарька былого кабакъ стоитъ далѣ, вонъ въ ту сторону, четыре версты за село. Какъ рыболовы, значитъ, закинули съ двухъ сторонъ невода, и я ихній лещъ постоянно... Всегда я, подлый, въ ихней неводинѣ застряну! Пойдемъ, умный, на лѣсенку?.. У Ермилыча теперь всякой снѣди настряпано: карась ожаренъ, гусь отпаренъ, пирогъ съ полѣномъ, а расчетъ, слышь, безменомъ?.. Хе-хе-хе!..

Послѣднее замѣчаніе у Мокея, вѣроятно, вышло очень красиво и поучительно: смѣялись не только три мужика, а и старуха съ дѣвочкой; и особенно радостно смѣялась дѣвочка, голосокъ ея визжалъ, какъ у поросенка.

— Тебѣ, братъ, надо оглядѣть всѣ углы,—говорилъ мнѣ Мокей:—сподручнѣе отдыхать съ разумѣньемъ; а въ деревенской харчевнѣ подчасъ найдешь много смаку... Вѣдь давечь я уже заходилъ сюда, косушечку опустилъ въ душу, а все невесело на душѣ: одинъ! Да на прибавку—поспорилъ съ Ермилычемъ... А теперь лучше пойдетъ наше дѣло, теперь мы такую бесѣду заведемъ—любо! Я тебѣ такихъ

побасенокъ разскажу, хоть печатай въ вѣдомостяхъ!.. Пополземъ въ вышину?..

— Да я же тебѣ сказалъ, что не пью!

— Ну, мало ли ты мнѣ чего скажешь!—выпьемъ по махонькой. Какой же ты свой братъ послѣ этого, ежели своего брата поддержать не согласенъ? Помни писаніе: „Едина чара не претитъ и игумену, и онъ, старичокъ, тяпаетъ иной часъ ее во смиреніи, и кряхтитъ въ умиленіи“... Я, миленькой, и самъ не пилъ, а вотъ — потребляю... Къ кабаку теперь такъ и волокетъ меня, будто правитъ вожжа невидимая. И я до такой штуки домыслился одинъ разъ, что вожжа эта—чортъ да я, оба вмѣстѣ! Спаси меня, Господи, дурака!.. Ну, а ты не бойся: къ пьянству я тебя обучать не стану. Мнѣ твое сердце надо... Закисъ, братъ, я въ здѣшнихъ мѣстахъ, растрепался въ устояхъ и ошеломѣлъ, аки быкъ! Да и то сказать надо: гдѣ устоитъ полированный человѣкъ въ стоеросѣ?.. Нѣтъ, ты мнѣ вынь изъ мѣшка образованнаго человѣка со смысломъ въ чердакѣ, вотъ я и поговорю тогда... Душа, братъ Ваня, была у меня по природѣ существа очень дѣльная въ свое время, да затолкли ее въ ступѣ черти... Махаемъ!..

Мы вошли въ харчевню. У столовъ сидѣло десятка полтора мужиковъ; по двумъ большимъ комнатамъ звучалъ непринужденный говоръ, иные—пили чай, иные сидѣли по сосѣдству съ бутылочками. Слышался запахъ хорошихъ щей и чего-то жаренаго. Самъ хозяинъ стоялъ за прилавкомъ и большимъ пальцемъ лѣвой руки откидывалъ на счетахъ косточки.

— Мирону Ермилычу, господину головѣ Сутулову, почетъ и уваженье агромаднѣйшіе!—сказалъ Мокей, поклонясь въ сторону хозяина, помолился истово на большой образъ и, окинувъ всѣхъ сидящихъ взглядомъ, поклонился всѣмъ, приговаривая: — Отъ стараго мастерового—поклонъ землякамъ!

Пронесся общій гулъ привѣта. Изъ угла послышался чей-то голосъ: „Настоящій бы былъ орелъ, кабы крылья!.“

— Еще здравствуй!..—проговорилъ сердито Миронъ Ермилычъ, и бросивъ кидать костяшки, тѣмъ же большимъ пальцемъ, какъ рычагомъ, принялся скрести въ правомъ боку, а глазами непривѣтливо глядѣлъ на Мокея.

Тотъ обернулся къ стойкѣ и, замѣтивъ свирѣпый взглядъ хозяина, спросилъ со смѣхомъ:

— Родненькій, что пѣтушкомъ старичка озираешь?.. Сверху этакъ берешь, али клюнуть старичка хочешь?

— Гдѣ намъ клевать—носъ не доросъ...

Старый заводскій промолчалъ и, вынувъ изъ-за голенища кошелекъ, оглядѣвъ его внутренность, спросилъ вѣжливо:

— Возвесели, Миронъ Ермилычъ, насъ, грѣшныхъ... Господину этому выставь малиновой, только самой что ни есть ягодной, а мнѣ самаго огорченнаго!..

Миронъ Ермилычъ пытливо поглядѣлъ на меня.

— Да не бойся, не бойся—свой!—сказалъ Мокей.—Какъ и меня,—люби его и жалуй: мой новый другъ, изъ Москвы! Живетъ тамъ, слышь, у Бутырской заставы, имѣетъ хорошее сердце въ себѣ, душу, смыселъ и всѣ суставы!

Опять послышался шопотъ одобренія,—всѣ глядѣли дружески на Мокея.

Миронъ Ермилычъ сердито стукнулъ косушкой объ стойку, опять почесалъ пальцемъ бокъ и, взглянувъ на меня съ улыбкой, спросилъ:

— А вамъ сладенькой велите подать? Пожалуйте... Вотъ я вамъ изъ уголка выну, отборной... У меня которая первый сортъ, та установлена въ глубину, потому—не всякому пузу она пользительна-съ... Хе-хе-хе!..

Миронъ Ермилычъ однимъ глазомъ поглядѣлъ на Мокея. Мокей понялъ намекъ и спросилъ:

— Въ глубину-то, братъ, не отъ акцизнаго ли хоронишь?

— А вотъ будь акцизнымъ, тогда узнаешь!.. Хе-хе-хе!..

Мокей налилъ стаканчикъ и собрался выпить его содержимое, но заслушался рѣчью харчевника, обращенной ко мнѣ:

— Всякаго слуха не слушайте!..—говорилъ Миронъ Ермилычъ.—Во етикетъ на боку...—поповка? Только отцу іерею,

да кому еще повыше подаемъ эту... А только, господинъ, вотъ мое слово: совсѣмъ вы напрасно съ этимъ смутьяномъ въ компаніи,—подальше бы вамъ отъ евоной персоны,—непристойная персона эта... смутьянъ умовъ, одно слово!

Мокей поднялъ стаканчикъ и, разомъ опрокинувъ его, похвалилъ:

— Эхъ, славно, будто на телѣжкѣ проѣхала! Уважилъ на этотъ разъ до нутра... А то вѣдь бываетъ у него такая, что съ двухъ полуштофовъ не охмелѣешь... Онъ—фимикъ!

— Дура глупая!—сказалъ харчевникъ и, собравъ посуду на подносъ, отнесъ все на столикъ къ окну.

— Эй, дядя Мокей, здравствуй!—крикнулъ вдругъ сидѣвшій въ углу молодой парень.—Загулялъ, братъ, и я... Валяй веселѣе!..

— А, удалой!..—отозвался Мокей.—Чирикаешь помаленьку?

— Ва-а-ляю, братъ, во весь скусъ!..

— Ну, валяй на здоровье!.. А я тебѣ что скажу! Сердце сердцу вѣсть подаетъ: за двѣ версты отсюдова сталъ чесаться у меня носъ... И думаю я: „Откуда мнѣ клевъ будетъ, кто меня угоститъ винцомъ?“ А вышло, что это ты!

— Ну, и садись, брратъ, за столъ,—пей какъ свое! Дядя Мокей, знаешь что?.. Я, братъ, тебя почитаю!.. Я, братъ, тебѣ, ежели что,—всегда... Вотъ, пей сейчасъ, сколько влѣзетъ!.. Я, братъ, для тебя не жалѣю! Хорошіе мы оба съ тобой, а только головы у насъ съ тобой не съ того краю придѣланы... На-ко пей!

— Теперь не надо, спасибо! Теперь у меня своего дѣвать некуда... Я и самъ, братъ, такой: когда богатъ—ничего не жалѣю! Ежели у Мокея финанса въ карманѣ — купайся въ его добрѣ другъ и врагъ! А отчего? Широта есть въ душѣ,—рассейская душа у Мокея!.. А ты, братъ Митька, хоть и удалой парень, а слабъ въ своей душегрѣйкѣ, сѣроватъ въ нашемъ смыслѣ...

— Я сѣроватъ? Я!..—закричалъ Митюха и, разсердясь, вскочилъ съ мѣста, свирѣпымъ взглядомъ окинувъ сидящаго спокойно Мокея.—Я сѣроватъ, что ль?—кричалъ онъ.—

Да что ты, старый чортъ, аль ошалѣлъ спозаранокъ? Я тебя, какъ хорошаго, попоштовать хотѣлъ отъ души, какъ отца... А ты меня срамишь при народѣ! Ты, вѣрно, захотѣлъ вотъ этого послѣ обѣдни Господней?—И Митька, разсердясь окончательно, придвинулъ къ лицу Мокея страшеннаго вида кулакъ и, вертя имъ, какъ бы выписывая круги въ воздухѣ, спрашивалъ:—Хочешь, анаѳема, отвѣдать вотъ этого? Дьяволъ этакой, обсуди: у меня домъ есть, женка, мать сидитъ въ домѣ; корова есть, конь, двѣ овцы,—хозяинъ я во всѣхъ смыслахъ... А ты, анаѳема, кто такой на землѣ,—хозяинъ?.. Одна мразь!..

— Бей меня за правду!—говорилъ Мокей. — Луйми меня братъ Митька, сколь охота взялась... Тѣла своего мнѣ не жаль, тѣло мое — футляръ старый; а душа моя золотая въ глубинѣ сидитъ и страдаетъ... Дуй, Митя, по футляру меня, нѣтъ запрета... Только одно помни, отъ души глаголю тебѣ,—часто ходишь къ Мирону Ермилычу... И хоть самъ онъ приману не дѣлаетъ, да у него магнитъ есть за стойкой... А не послушаешь меня—засохнутъ вѣтки на твоей яблонѣ!..

— Чортъ, да гдѣ яблони у меня? У меня только хмель въ огородѣ...

— На душѣ... Отъ вина, говорю, и золотая душа чернѣетъ,—вино сушитъ корень въ душѣ... Понялъ? Любя тебя, говорю мое слово... А на меня не гляди, я—пузырь!

— Я душу вышибу изъ тебя!—грозилъ Митька.—И хоть другъ ты мнѣ, а будь проклятъ сейчасъ... Изотру я, старый чортъ, въ порошки твою душу и дамъ нюхать собакѣ, чтобы она почихала...

Столь неожиданный оборотъ разговора и рѣшеніе Митьки—получить нюхательные порошки изъ души стараго заводскаго человѣка,—вызвали общее веселое настроеніе; самъ Миронъ Ермилычъ хохоталъ отъ души.

Мокей, съ серьезнымъ лицомъ, поднявшись съ мѣста и раскинувъ для объятій руки, проговорилъ Митькѣ:

— Митюня!.. облобызай меня, старичка... Превзошелъ ты

самого меня этимъ разомъ, спасибо! Люблю за хватку. Вѣрю теперь: въ футлярѣ у тебя сидитъ смыслъ!

Два врага очутились вдругъ въ объятіяхъ другъ у друга и всенародно „лобызались“ пріятельски. Въ харчевнѣ произошло сочувственное движеніе въ пользу мира, и вскорѣ близъ нашего стола сосредоточился центръ праздника; стало шумно... Къ столу придвинулось нѣсколько мужиковъ со своими стаканчиками; на серединѣ стола появился молодой зажаренный пѣтушокъ... Разговоръ шелъ общій. Спрашивали меня о Москвѣ; говорили о мѣстныхъ печаляхъ и благополучіяхъ. Но Мокей былъ, видимо, гвоздемъ дня,—я видѣлъ, что онъ дѣйствительно „всѣмъ извѣстенъ“ на округѣ, и всѣ относятся къ нему доброжелательно, кромѣ Мирона Ермилыча.

— Степанычъ!—говорилъ одинъ мужикъ, подставляя Мокею свой стаканчикъ и наливая въ него изъ бутылки:— хлобысни, братъ, отъ моего желанья... Всегда я за правду тебя абажаю!..

— И пить буду, и правду молвлю, коли дойдетъ до того!— сказалъ Мокей, принимая радушный стаканчикъ мужика.— Братцы, ѣшьте нашего пѣтуха на здоровье и держитесь за меня, пока живъ я!.. Старый конь борозды не испортитъ...

— Да когда ты въ старые кони попалъ?—спросилъ харчевникъ. — Я полагаю: ежели тебя къ хорошему хозяину обязать, да приструнить тебя хорошенько, вотъ бы ты и заигралъ тогда въ старики, какъ должно...

— Пятьдесятъ шестой годъ живу на землѣ!—отвѣтилъ Мокей. — Понюхалъ всякаго пороху. И кабы въ Москвѣ жилъ—давно бы былъ на томъ свѣтѣ, а здѣсь Господь держитъ меня вольнымъ духомъ! Вотъ, перестану ходить въ гости къ тебѣ, остепенюсь и подымусь на здѣшней окружности, аки столпъ... Заведу сапоги изъ опойка, часы на жилетку, въ ходъ пущу всю механику!

— Охъ, пожалуй, не подынуться!—сказалъ харчевникъ.— Полагаю я, что будетъ только шлепанье языкомъ на пространствѣ...

— Мнѣ не подняться?—загорячился Мокей.—Нѣтъ, братъ, подняться мнѣ легко очень, только бы охота дошла до Мокея! Самые хорошіе люди, при случаѣ, мнѣ подпорку дадутъ съ трехъ сторонъ... Всѣ здѣсь меня абажаютъ, никого я здѣсь не обидѣлъ, не обманулъ. Правильно я говорю, али зря?

— Христосъ тебя вѣдаетъ!.. Одна старуха свою печку хвалила, а печка-то ее и придавила до смерти... Можетъ, и ты хорошій человѣкъ, когда спишь ночью, а днемъ — погодить надо. Скажу, братъ, въ глаза: ты смутьянъ и завистникъ!

— А отчего же другіе люди меня не такъ понимаютъ? Есть такіе люди, которые всегда видятъ во мнѣ человѣка. А ты толкуешь: „не подынуться Мокею!“ Нѣтъ, ты за меня не берись второпяхъ, ежели рукавицъ нѣтъ въ запасѣ, а то обожжешь пальчики!.. Вотъ, братцы, я примѣръ скажу всей компаніи: Илью Иваныча, чай, знаете всѣ?

— Первый господинъ по губерніи!—сказалъ кто-то.

— Такого барина и въ трехъ губерніяхъ не найдешь!—сказалъ другой мужикъ.—Чиновъ, оргеновъ, добра разнаго—не перечесть и на счетахъ!.. А всегда онъ за маленькаго человѣка горой стоитъ; имъ мы дышимъ...

— Вѣрно-истинно!—воскликнулъ Мокей.—И вотъ, братцы, этотъ самый человѣкъ показалъ мнѣ вниманье... Иду я прошлый разъ мимо сада, а онъ завидѣлъ меня сквозь сирень да и кричитъ: „Эй, Мокеюшка! Здравствуй, братецъ мой! Какъ живешь?“ А я гляжу въ кусты, думаю: „кто говоритъ этакъ?“ Глядь—енералъ самъ! Я долой шапку: „Здравія, говорю, желаю, ваше превосходительство Илья Иванычъ! И какъ васъ Господь-Богъ милуетъ?“—„А, говоритъ, милуетъ, ничего; спасибо Ему за это. А тебя какъ?“—„Да, говорю, тоже и меня, старика, поддерживаетъ маленько. Вотъ только голова побаливаетъ, какъ бы сверло въ ней застряло...“ А Илья Иванычъ: „Иди въ домъ, дамъ снадобья, и оно облегчитъ твою боль“. Да, слышь, завелъ меня въ столовую залу, взялъ изъ буфета вотъ этакого роста рюмку, да и на-

цѣдилъ своеручно березоваго аликёра, а потомъ еще этакую... Такого настоя у царя развѣ—мягокъ, душистъ, забористъ и очень пользителенъ! А на блюдѣ, слышь, индѣйская курица лежитъ врастяжку, на другомъ — лежитъ пирогъ дюймовъ въ сорокъ... „Пей, говоритъ, и поѣшь хорошенько". А курица, братцы, вся соковая, на зубахъ словно масло,—сама въ ротъ скачетъ; а пирогъ... Такого пирога самъ Миронъ Ермилычъ не видалъ во сняхъ отъ рожденья: плыветъ на языкѣ въ разныя стороны и утекаетъ, и что ѣшь больше—плыветъ и таетъ весь, будто утренній туманъ отъ солнца... Тутъ Илья Иванычъ мнѣ третью... Да уперся и я: „Покорно, говорю, спасибо, ваше превосходительство, а только дальше въ этакомъ родѣ продолжать невозможно; теперь я—ни-ни! И безъ того я понимаю, да и всѣ мы понимаемъ добро ваше"... Смѣется,—похлопалъ меня по плечу. „Налегай, говоритъ, на пирогъ понажимистѣе!" А за что абажаетъ? За дѣла, за смекалку, за простоту! Крантъ ли испортится, самоваръ, али въ экипажномъ составѣ—къ Мокею посланника... Предлагалъ мнѣ житье въ своемъ домѣ, да не хочу я тѣснить енерала... Буду трудиться честно и жить во дворцѣ, въ деревнѣ Кривухиной. Слышь, Миронъ Ермилычъ, побратимъ мой хорошій, какія дѣются дѣла въ нашемъ мѣстѣ?..

Харчевникъ, наливавшій изъ бутылки вина, заслышавъ окрикъ Мокея, взглянулъ въ нашу сторону и крикнулъ громко:

— Волкъ тебѣ побратимъ, а не я!

— Ты погоди браниться, а слушай дальше... Илья Иванычъ спрашиваетъ: „Мокеюшка, какъ дѣла?" Да отъ этого слова и пошелъ, и пошелъ: „какъ да что?" И все я ему разсказалъ окончательно... Теперь онъ не только про меня, а и про дѣдушку моего и про бабушку всю хренологію вѣдаетъ; и любитъ меня того пуще... Да обглядѣлся: нѣтъ ли барыни близко—и самъ хлобыснулъ въ аппетитъ, да такъ, что любо поглядѣть было!.. И говорилъ мнѣ про кузницу: отчего я кузницу не заведу въ здѣшнемъ мѣстѣ?..

— Оттого и говорилъ, — объяснилъ харчевникъ,— что повѣрилъ тебѣ на языкъ, а въ головѣ въ твоей не потрогалъ!..

— Нѣтъ, ты погоди, голова,—поперечилъ Мокей:—дошло до того подъ конецъ, что Илья-то Иванычъ и тебя вспомнилъ, и говоритъ: „А какъ живетъ въ вашемъ мѣстѣ Миронъ Сутуловъ?..“ И тутъ, братецъ ты мой, я распечаталъ про тебя все-е окончательно...

— Неужли и про меня рѣчи были?—спросилъ, насторожась, харчевникъ.

— А какъ же!.. Про тебя главнѣе всего велась рѣчь... И ужъ, братъ, не взыщи: какъ добрался я до тебя, остервенѣлъ, разложилъ тебя на столѣ по суставамъ... Говорю: „Ваше превосходительство, самимъ вамъ извѣстно, что сатаніилъ королевство свое имѣетъ въ аду, а въ Подберезовѣ—чище дѣло“...

— Да что ты, Иродъ!..—воскликнулъ не своимъ голосомъ Миронъ Ермилычъ:—аль съ ума спятилъ? Чѣмъ я тебѣ помѣшалъ на землѣ? Зачѣмъ ты меня приплелъ къ разговору? Господа-крестьяне, кому я зло сдѣялъ? Я самъ за простоту мою пострадалъ много, а онъ... Иродъ, взгляни на ликъ Царя небеснаго и опомнись!.. Я...

— Да не бойся, не бойся!—сказалъ Мокей.—Никто не трогалъ тебя... Я, братъ, не охотникъ на кляузы; у меня, коли что, влетитъ прямо въ глазъ... Всякій за себя будь въ отвѣтѣ! И помни: самый грязный человѣкъ въ свѣтѣ—кляузникъ, да кумъ его—донощикъ, да сватъ его—подслушиватель, да племянникъ его—подглядыватель... Я къ тому веду хренологію: какіе со мною у хорошихъ людей обиходы. Таковъ ужъ я есть человѣкъ на землѣ, что всякому умному по душѣ буду. Не воръ, не облыжникъ...

— А самоварецъ кто скралъ отъ куфарки?—спросилъ нечаянно Миронъ Ермилычъ.

Мокей не отвѣтилъ, а погодя, взглянувъ на меня, сказалъ:

— Самоваръ, братъ-Ваня, своровалъ я... Это Миронъ

Ермилычъ говоритъ правильно! Былъ такой грѣхъ въ моей жизни...

— Укралъ?—спросилъ Митька.—А говоришь: „Я!..“

— Былъ, Митя, такой грѣхъ въ жизни... Одна утѣха: впрокъ онъ мнѣ не пошелъ, а только очернилъ мою душу. Большой грѣхъ сдѣлалъ, за который и теперь прошу отъ Бога милованья. Не по натурѣ мнѣ дѣла эти,—червь угрызаетъ внутри...

— Это у тебя-то червь! —вмѣшался харчевникъ. — Берешь очень тонко... Гляди, не рѣпа ли завелась въ серединѣ?

— Истинно говорю!—вскрикнулъ старый заводскій и сердито взглянулъ къ стойкѣ.—Душевный червь меня сокрушаетъ, и бываетъ, братцы, молюсь я, и слезы у меня сыплютъ градомъ... А вотъ, пущай-ко мнѣ объяснятъ одно дѣло умники: кто отъ нищихъ котомки отбиралъ, кто сиротъ по-міру пущалъ голышемъ, кто „бабушкины капиталы“ объявилъ нежданно,—угрызаетъ ли такихъ людей червь?

— Сиротъ голышемъ никто не пущалъ по землѣ, — сказалъ харчевникъ:—однѣ враки!..

— Не натурально голышемъ, знаемъ, а въ обобраніи начисто... Эхъ, сватъ ты мой разлюбезный, на этотъ разъ промолчать надо!

— Какой я тебѣ „сватъ“, угорѣлъ ты, что ль?—обидѣлся Миронъ Ермилычъ.—Тебѣ сватъ—медвѣдь!..

— А что ты станешь дѣлать со мной? Запретить не можешь, худого нѣтъ въ этомъ словѣ.

Мужики засмѣялись.

Харчевникъ прошелъ внутрь жилья. Мокей умолкъ и опустилъ голову. Скопившійся народъ сидѣлъ тихо, всѣ, видимо, прислушивались съ интересомъ къ разговору мастерового съ харчевникомъ. Такъ прошло минутъ пять. Вдругъ Мокей снова обратился ко мнѣ:

— Другъ!—заговорилъ онъ,—все бы надо разсказать тебѣ по порядку, пока кипѣнье въ душѣ, да въ головѣ раздробилось... И худое и доброе сошлось въ одну кучу!.. Говорю

вѣрно: коли крѣпость есть въ человѣкѣ, вездѣ ему прожить можно, а слабый человѣкъ—пропадаетъ. Вспомяну я тебѣ, городское житье мое... Товарищей, бывало, кругомъ стѣна! Заводскій народъ былъ покладный: на работу кучей валитъ, въ кабакъ кучей и, ежели драться съ сосѣдними, тоже кучей... У насъ такіе ребятки были, что въ одиночку пили по четверти, на это вся удаль шла... И въ этакомъ-то мерцаніи жизни держался я годовъ восемь, аки булатъ! Бывало, въ деревню пріѣду,—вотъ какъ и ты,—чистякомъ, отецъ покойный отъ довольства радехонекъ, мать по головѣ гладитъ, глаза цѣлуетъ; сосѣди любуются. Въ Москвѣ живу—зависть людей беретъ на Мокея!... Эхъ, миленькой мой, вѣдь это я теперь обросъ мохомъ и словно окостенѣлъ въ сердцѣ... Надо было поглядѣть на меня въ тѣ поры: былъ орелъ, а не парень! Самъ я начисто по-нѣмецки одѣвался въ тѣ дни, какъ механикъ... Деньга всегда въ кошелькѣ, вездѣ почетъ-уваженье. По улицѣ иду, бывало, да подмигну какой черномазой, разъ семь обернется на радостяхъ... Много, братъ, у Мокея добра было, да растерялось; лошадиная сила была, да ушла! И когда задумаюсь въ тишинѣ, такая охватитъ грусть, хоть дуй молоткомъ по темю... Всего было дадено человѣку отъ Бога, да скотъ-человѣкъ потопталъ!... Была, миленькой, у меня дѣвица одна, сдружились мы съ ней всей душой; года два жили... Поглядѣть, бывало, на мою Надьку, такъ и у крѣпкаго глаза перекашивало, ей-ей не вру!.. Этакихъ и въ Москвѣ-то, пожалуй, теперь не найдешь нигдѣ? Глаза большіе темные, щеки съ зарей, брови дугами, груди—во, и коса до пятъ, какъ смола... Бывало, какъ распуститъ косу, да какъ развернется, какъ подмигнетъ глазомъ—духъ запретъ въ горловинѣ!.. Да случилась оказія: поѣхалъ я въ гости домой, а батюшка покойный взялъ да и женилъ меня на Маринѣ, и ничего я тутъ подѣлать не могъ,—законъ былъ такой неуклонный... А тѣмъ временемъ взялся молодой купчикъ, подманилъ, окаянная сила, мою Надежду Ивановну,—и въ одинъ разъ все испортилось у меня... До сей поры помню я явственно всю смуту въ душѣ, всю обиду!

— Да,—сказалъ сидѣвшій неподалеку отъ насъ старичокъ:—загвоздка обидная! Коли любишь начисто̀, то этакое дѣло—хуже разбойничанья; а коли не любишь—мертвецъ дѣло!.. Слова нѣтъ, все на землѣ улегается, ну, а только шибко лягается!

— Съ этого случая пошли у меня дѣла внизъ,— продолжалъ Мокей.—Кинулся я на пріятельство отъ своего горя, заигралъ на всѣ дудки, попыталъ пить отъ душевной натуги малиновую, а погодя—къ ряду все... И какъ бы бездна раскрылась въ нутрѣ, что больше наработаю денегъ, то больше пью да гуляю, словно попрошай засѣлъ въ глоткѣ: „давай, давай!“ А послѣ въ головѣ фабрика: въ ушахъ гудитъ, во лбу трещитъ, въ затылкѣ ноетъ, а на груди страхъ... И опустился я совсѣмъ книзу! Вотъ тутъ у меня и подошло къ самовару... Пилъ я напролетъ всю недѣлю, до опорокъ дошелъ, опухъ въ лицѣ, какъ утопленный; одно средство требовалось—опохмелка хорошая, да расшибъ пьяный Мокей въ людяхъ вѣру: туда-сюда кинулся за полтинникомъ—вѣры нѣтъ!.. Вотъ тутъ, миленькой мой, и подошло плохо. До сей поры я не помню: какимъ манеромъ водворилъ меня сатана въ чужой кухнѣ? Одно помню: стоитъ кухня и рыжій котъ лежитъ на окнѣ, а на полкахъ жаромъ горятъ кастрюльки, самовары, сотейники... Я прибралъ самоварчикъ съ края да въ дверь, самъ молюсь Богу: „помоги, Господи!..“

— Неужто Бога звалъ помогать?—сказалъ хмельной Митька.—Ты бы ужъ звалъ того... сатану!..

— Осатанѣлъ самъ, вотъ въ чемъ дѣло!.. Вышелъ я, братцы, на лѣстницу, а ноги-то и не идутъ книзу. Я двигаю ногами, а онѣ стоятъ на ступенькѣ! А снизу какой-то баринъ идетъ, пыхтитъ, глядитъ на меня... А у меня и голова завертѣлась на шеѣ сама собой, трясенье взяло... „Пропалъ, думаю,—подошелъ мнѣ капутъ!“ А баринъ спрашиваетъ: „Откуда несешь эту штучку?“—„Да вотъ, говорю, господинъ, какое у меня дѣло!—несу самоваръ изъ починки: кухарка мнѣ самоваръ починила!.. У кухарки, значитъ, въ

третьемъ этажѣ, рѣшетка треснула въ поддувалѣ"... А у самого въ горлѣ будто сапогъ застрялъ: хриплю хрипомъ... Баринъ глядитъ на меня, головой качаетъ и палку этакъ держитъ передъ собой... „А чего жъ, говоритъ, пѣтуховъ сынъ, сотрясеніе въ твоемъ тѣлѣ?.. Дарьи! Марьи!—воръ стоитъ съ самоваромъ..." Тутъ я самоваръ-то на ступеньку, да внизъ, да бѣгомъ за вороты...

Мокей умолкъ и тяжело дышалъ. Казалось, что и въ эту минуту тяжело ему было такое воспоминаніе.

— Все грѣхъ руководствуетъ!—сказалъ старичокъ.—Тутъ ты, значитъ, почитай, дошелъ до предѣла. Дальше бы два шага и тюрьма!..

— Хуже!—сказалъ Мокей.—И теперь больно вспоминать, и теперь страшно... А вспоминаю нарочно: „На, молъ, дядя Мокей, любуйся, каковъ ты есть въ подлинности! Ну-ко, братцы, пригубимъ винца изъ бутылочки, ужъ теперь все одно... Миронъ Ермилычъ, миленькой дружокъ, будемъ мы помирать съ тобой али нѣтъ? Мнѣ, братъ, помирать не страшно,—каменныхъ палатъ не оставлю!..

— А можетъ, и выстроишь!—отозвался харчевникъ.—Ты дядя верткій: стукъ-грохъ—и палаты! Хи-хи-хи!..

— Что жъ, можетъ статься, и въ самомъ дѣлѣ выстрою!—отвѣтилъ Мокей.—Да нѣтъ, постой, братцы, другая мысль у меня зародилась!..—сказалъ Мокей, обращаясь къ мужицкой компаніи.—Вѣдь ежели все говорить, то палата у меня выведена давно по конекъ...

— Гдѣ жъ это?—спросилъ благодушный старикъ, за нѣсколько минутъ передъ этимъ угостившій стараго заводскаго раздѣльнымъ стаканчикомъ.—Когда и въ чьей деревнѣ ты соорудилъ этакую?

— Зачѣмъ въ деревнѣ—въ селѣ Подберезовѣ! Оглядись—цѣлая половина хоромъ у Мирона Ермилыча на мои капиталы къ небу выдвинута...

— Какъ такъ на твои капиталы?—спросилъ недоумѣвающе харчевникъ.—Какимъ такимъ покусомъ?

— А вотъ, давай подсчитаемъ... Клади на счетахъ: полы

мои! Клади еще: потолки мои! Клади еще: двери-вонмемъ и подоконники мои тоже...

Миронъ Ермилычъ заколыхался отъ смѣха и проговорилъ умышленно-громко, чтобы всѣ ясно слышали:

— Дохлебался, слава Те, Господи! Сшелъ съ ума ранѣ время... Поостерегитесь, ребята, человѣка въ бѣломъ обгорячении!..

— Погоди, погоди маленько!—перебилъ Мокей.—Давай считать досконально... Выдвигай счеты ближе! Кидай вотъ этакъ: ежели по двугривенному въ день за осьмнадцать лѣтъ пропилъ я у тебя, будетъ сколько?.. Считай—десять дней—десять двугривенниковъ, въ круглышѣ два рубля?.. Считай сто дней—двѣсти двугривенниковъ, въ кругляшѣ двадцать рубликовъ!.. Считай—тыщу дней... въ кругляшѣ двѣсти рубликовъ! Положи еще—десять тысячъ дней,—кажись будетъ ровно двѣ тысячи?.. Да прибавь сорокъ тысячъ дней и ночей...

Въ харчевнѣ до того стало тихо, что ясно слышалось сопѣніе спящаго человѣка, опочивающаго гдѣ-то вдали... Миронъ Ермилычъ стоялъ блѣдный, опершись руками на стойку и свирѣпо глядѣлъ на разсказчика. „Кругляши“ Мокея произвели ошеломительное воздѣйствіе на всѣхъ слушателей,—было видно, что мужики поняли его мысль и поразились ею... Счетоводъ-Мокей разомъ какъ бы на высоту подынулся, сталъ пунктомъ напряженной, безмолвной внимательности; глаза всѣхъ переходили съ вопросомъ отъ Мокея къ харчевнику, отъ харчевника опять къ Мокею. Тишину нарушилъ Миронъ Ермилычъ, крикнувъ въ озлобленіи на Мокея:

— Смутьянъ, соборне девять разъ растреклятый, ты это что же?.. Ты въ моихъ хоромахъ гласишь раздѣлюцыю? Я тебя, подлеца, выучу хлебать щи!.. Подожди часъ...

— Другъ, не пужайся!—сказалъ Мокей.—И меня, старика, не загоняй въ страхи... Назадъ не спрошу, все пропито на хренологическомъ положеніи, по доброй волѣ!..

— Ахъ, цыганья душа!—завопила супруга харчевника, по-

чтенныхъ лѣтъ и пріятнаго вида женщина, нежданно выступившая изъ-за жилой двери.—Ахъ, бунтило проклятый, онъ намъ двери-вонмемъ, полы и потолки смилосердовалъ?!. Ахъ, охалъ!.. Ермилычъ, шпыняй ты его полѣномъ отсель, онъ бунтитъ весь народъ! Ѣзжай сейчасъ жалиться на него становому... Становой давно на него скрипитъ зубомъ. Ты цыкни на него, на смутьяна, и Иванъ Григорьичъ его ошарашитъ...

— Ну, ладно, ладно!..—сказалъ ей харчевникъ.—Поди въ свое мѣсто, не гонись со всякимъ дуракомъ тянуть стихъ! Вишь, въ горячкѣ человѣкъ, чего жъ самимъ горячиться? Не ударить же въ кулачки на полоумнаго! Сказано: „Обойди дурака мимо, и извлекешь изъ того свою пользу“...

— Нѣтъ, братъ Миронъ Ермилычъ, не дуракъ я! Пожалуй, что я не глупѣй тебя, да не такіе у меня въ душѣ обороты... Аль думаешь, что въ головахъ сидѣлъ, такъ умнѣй тебя и не выискать? Можетъ статься, и я бы посидѣлъ головой не хуже...

— Согласенъ, согласенъ!..—говорилъ съ злой ироніей Миронъ Ермилычъ.—Господа-выборщики, сади Пузыря головой!.. А еще совѣтъ добрый: господа-выборщики, сади его шеей, да по шеѣ-то шлепъ-хломъ-тили-бомъ!

— Что жъ? Можно и по шеѣ, коли такая заслуга будетъ!.. Только одно скажу: наши тебя по шеѣ не трогали, а добросердно вознесли на горбахъ, хоромы возвели на фундаментахъ, распивочно на выносъ устроили. Эхъ, Миронъ! дорого стоишь ты міру, коли вспомянуть всю истинную, да если вожжи присчитать и осину...

— Изыди, анаѳема, вонъ!—завопилъ въ бѣшенствѣ харчевникъ.—Маршъ, злодѣй, отъ моего стола прочь, въ поле, въ лѣсъ, къ чертямъ на поминки!..

— Ермилычъ!—визжала харчевница: — ѣзжай сейчасъ къ становому... Пущай онъ дастъ намъ спасенье отъ Ирода! Гони Ирода вонъ полѣномъ!

— Не боюсь!—кричалъ Мокей.—За правду меня самъ губернаторъ приголубитъ рукой... Старъ футляръ у меня, а

душа у меня не изъ робкихъ! Свое пью-ѣмъ за столомъ,— плачу мѣдью и серебромъ... Обидѣть васъ не хотѣлъ,— грѣхъ обижать людей съ умысломъ. А вы сами на обиду наѣхали!.. Правда до конца земли будетъ правда, всякъ дастъ за нее одобренье...

Глаза стараго заводскаго засвѣтились дѣтскою увѣренностью въ достославность и несокрушимость правды... Но вдругъ по лицу его прошла судорога; горько усмѣхнувшись, онъ сказалъ окружающимъ:

— Братцы, вотъ и на гладкомъ мѣстѣ разговоръ можетъ дойти до предѣла... А только Мирона Ермилыча обидѣть я не хотѣлъ. Миронъ Ермилычъ, брось сердиться... Тетка Марья, и ты... Простите меня, дурака, Христа ради! Не мнѣ возноситься собой, я шучу... Я—червь! Ни на себѣ нѣтъ ничего у Мокея, ни вкругъ себя, вся суть моя—пузырь! Все доброе позабылъ Мокей, отъ всего откоснулся, заснулъ мертвымъ сномъ... А вѣдь тоже жена есть, сынъ... Гдѣ они?.. Какъ живутъ?.. Все, братцы, соскочило у меня со шпинделя!.. Али душа моя изъ глины сформована? И не люблю я свѣта Христова, и не чувствую, какъ надо жить по-хорошему? Все понимаю и чувствую, да сердце не лежитъ къ ровной жизни. А ужъ ежели не лежитъ—ничего не подѣлаешь! Эхъ, душа моя золотая, потускнѣла, изоржавѣла ты зря въ этомъ свѣтѣ! Миронъ Ермилычъ, извини, братъ, меня за слова... Я...

Мокей что-то еще хотѣлъ сказать, но опустилъ къ груди голову и умолкъ. Харчевникъ, не отвѣчая мастеровому, стоялъ, ухвативши въ горсть бороду, и глядѣлъ въ потолокъ, будто изготовясь терпѣливо слушать дальнѣйшее.

Я вышелъ изъ харчевни. На сельской улицѣ кипѣла жизнь и переливалъ теплый воздухъ. Доносились звуки гармоникъ; вдали улицы танцовали кадриль... Мужики среднихъ лѣтъ, неподалеку отъ церкви, играли въ городки и шумно смѣялись на побѣжденную сторону, переносившую на закоркахъ своихъ побѣдителей въ разбитый край.

Отодвинувшись отъ колоды, понуря голову, стояла одинокая лошадка, а позади нея, на телѣгѣ, спала старуха; а дѣвочка сидѣла столбушкой возлѣ нея, держась за веревочныя вожжи, и глядѣла безнадежно на раскрытыя окна харчевни.

Когда я возвращался къ дому отъ подберезовскаго знакомца, на селѣ все заснуло. Только Миронъ Ермилычъ звякалъ желѣзнымъ затворомъ, укрѣпляя на ночь свое жилье; въ хоромахъ его лишь изъ одного окна слабо отсвѣчивалъ красноватый огонь, единственный огонь на селѣ.

Чудная ночная жизнь была за сельской околицей,—мягкій полумракъ залегъ безъ конца и верхушки на недвижномъ просторѣ яровой нивы; среди вольной тишины носился легкій ароматъ созрѣвшей травы; доносились со всѣхъ сторонъ гулкіе крики коростелей, гдѣ-то вдали отзывался „Божій барашекъ"; совсѣмъ изъ дали приносились отклики человѣческихъ голосовъ, и яркой точкой блестѣлъ на горѣ огонь,—тамъ царствовали въ ночномъ конюшата. Временами охватывали меня слои теплаго воздуха, и вновь обнимало легкой прохладой.

Глянувъ въ сторону отъ дороги, я вздрогнулъ отъ неожиданности. За канавою, на гладинкѣ, лежало что-то темное, длинное... Всмотрѣвшись, я призналъ человѣка и подошелъ къ нему. То спалъ мой дневной собесѣдникъ, старый заводскій.

— Мокей Степанычъ... Дядя Мокей!

Мокей дышалъ тяжело и не шевелился. Я принялся поталкивать его и трясти, да не помогало и это. Пришлось тереть уши...

— Что такое... Кто здѣсь!..—заговорилъ, пробуждаясь, Мокей.—Кой чортъ рветъ прочь мои уши?..

— Это я...

— Да и я тоже—я! За какимъ ты дьяволомъ путаешься въ чужой избѣ среди ночи? Али къ сотскому захотѣлъ на бесѣду?..

— Опомнись, Мокей Степанычъ...

— Вотъ я тебѣ дамъ—опомнись!.. Сейчасъ я тебя полѣномъ огрѣю... Изыди вонъ изъ дворца!

Вдругъ Мокей быстро приподнялся отъ земли и широко закрестился:

— Да воскреснетъ Богъ... Очумѣлъ я, кажись, аль заснулъ?.. Господи, оборони... Поле! Эй, ты кто?

Торопливо вставъ на ноги, оглядѣвъ и узнавъ меня, старый заводскій сказалъ громко:

— Эхъ, миленькой мой, это ты? Ну и хорошо, славно... а то бы я проспалъ до утра! Пойдемъ вмѣстѣ. Да нѣтъ... обожди! Перекрестись сперва и помяни имя Божье. Нельзя ночью въ полѣ вѣрить всему... Меня въ третьемъ годѣ колобродъ водилъ-водилъ по чащѣ, да заманилъ въ такую трясину, что на вторыя сутки вылѣзъ едва... Крестись, а нѣтъ, такъ наотмашь и садану, и зааминю!..

Я перекрестился.

— Ну, теперь вѣрно: ты человѣкъ! — сказалъ Мокей.— Теперь, братъ, поплывемъ къ нашей сторонѣ... Ишь, на какомъ мѣстѣ спать угораздило! И какъ залегъ — не упомню...

Мы шли молча, прислушиваясь къ бодрымъ возгласамъ коростелей. Со стороны охватили насъ недвижныя стѣны лѣса, а дорогу застлалъ туманъ.

— Что такое колобродъ?—спросилъ я.

— А чортъ,—примѣрно сказать, — на манеръ человѣка... Возьмется невѣсть откуда, заговоритъ-загуторитъ, пойдетъ рядомъ съ тобой, отведетъ прочь глаза, заведетъ въ омутъ и сгинетъ вдругъ... И я, говорю, былъ заведенъ въ трясину, да только не видѣлъ его самого... А одного мужика, сказываютъ, онъ этакъ-то водилъ по мхамъ да по лѣсу семьдесятъ верстъ,—довелъ до чьей-то риги—усадилъ въ ригу и приперъ коломъ дверь... А мужикъ, какъ очухался, и давай ревѣть благимъ матомъ. Собралась ночью къ ригѣ вся деревня... Едва справились съ мужикомъ: и въ ригѣ сидѣть боится, и вонъ не идетъ,—съ ума сшелъ отъ страху!.. Ну, а только иной разъ, думаю я, что это враки? Заплу-

гается человѣкъ спьяна, да потомъ и наваливаетъ на колоброда. Однако, чудо не маленькое, когда мужика-то коломъ приперло въ ригѣ? Разбери-ко умомъ: могъ ли самъ мужикъ припереться?

Разговоръ оборвался.

— За что ты не любишь Мирона Ермилыча?—заговорилъ я снова.—Онъ, кажется, человѣкъ ничего...

— Онъ антихристъ! — крикнулъ Мокей. — Вся волость у него съ бывшимъ писаремъ подъ рукою,—всѣ у нихъ въ долгу, въ кабалѣ!.. Всѣ ошалѣли въ жизни, затрусили; и правду про Мирона боятся держать на языкѣ, держатъ ее въ помышленьи! Кабацкіе именинники опутали весь народъ; привлекли всѣ силы къ распивочной. Всѣ силы встали передъ ней на корачки—бухъ въ ноги: „ты наша, матушка!..“ Я старый пьяница, а кабацкихъ именинниковъ не люблю,—всѣ они, почитай, мошенники поголовные!.. Нѣтъ зла у меня на нихъ, а стою я горой противъ нихъ, что напустили они тумана кругомъ, какъ вотъ на дорогѣ сейчасъ, и отымаютъ отъ младенцевъ вселенскую кашу въ чашкѣ!.. Другой справы съ Мирономъ нѣтъ на землѣ,—съ семи сторонъ у нихъ подпоры дубовыя... А кромѣ того, Миронъ скрутилъ мою бабу...

— Какъ скрутилъ?..

— А просто оченно!.. Погладилъ по головкѣ, по грудкѣ, да и скрутилъ помаленьку... Одна бѣда, всего я точно не знаю; да и давно это было! Вѣдь онъ, подлецъ, такой ерникъ, какихъ нѣтъ... Это для слабыхъ бабъ и до сей поры—чортъ въ сметанѣ! Тутъ, братъ, въ старину такія дѣла творились въ моемъ огородѣ, что и оглянуться на огородъ — тяжко сердцу... Анаѳема этотъ въ тѣ поры былъ притянутъ у меня къ дереву на вожжахъ; да, къ его счастью, помѣшали концу наши бабы. И жилъ бы я, пожалуй, въ другихъ мѣстахъ на вольготѣ. Вѣрно, молитва материна спасла меня отъ бѣды. Вотъ, назови-ко ты невзначай Мирона „осинникомъ“, такъ онъ споетъ тебѣ пѣсню! Гораздъ на выдержку, чортъ, а этого сдержать нѣтъ пружины: взбеленится, аки

звѣрь лютый. Самъ я остерегаюсь твердить ему это слово: своей рукой не убьетъ, другого науськаетъ!

— Да что же такое было?

— А было, значитъ, столкновеніе подъ Полтавой; ничего особеннаго. И, кажется, что я-то больше всѣхъ тогда сдураканилъ... Миронъ Ермиловъ мнѣ былой сосѣдъ по деревнѣ. Теперь онъ живетъ на покупной землѣ въ Подберезовѣ; а прежде—хоромы наши стояли рядомъ... Жилъ я въ Москвѣ тогда и сокрушался по своей черной Надькѣ; такой у меня случай былъ въ жизни, дѣвица одна распрекрасная... А законная молодушка жила въ деревнѣ. И хоть я не любилъ ее, а бабочка была приглядненькая, и шибко горячая въ чувствахъ сердца. Ну, вотъ, тары-бары... какъ было дѣло — не знаю того, а прошелъ слухъ, что будто подалась она на Мирошкинъ огонь... И заварилась тутъ каша съ дегтемъ!

— Вотъ, Мокей Степанычъ, какія у тебя дѣла были!..

— Да, родной, дѣлъ разныхъ была охапка; да я помалкиваю. Одна статья—людей винить невозможно, ежели самъ—сплошная вина передъ Богомъ. Пущай Богъ и судитъ!.. Ну, а только въ настоящемъ человѣкѣ должна быть своя сила въ нутрѣ,—безъ этого нѣтъ человѣка. И черти дери Мирона,—сильный онъ, дьяволъ, во внутренностяхъ и жуликъ въ квадратѣ... Такіе люди тыщу лѣтъ проживутъ на землѣ—не затронутъ струны святой, замараютъ все бѣлое,—залѣзутъ съ ногами младенцамъ на головы...

Мокей вдругъ перемѣнилъ разговоръ и спросилъ у меня:

— А ты не шутя мнѣ сказывалъ вчера, что работаешь въ Москвѣ на заводѣ? У какого хозяина?

Я объяснилъ; но старый заводскій не помнилъ такой фамиліи, да не сталъ и разспрашивать меня, а шагалъ молча. Дыханіе его замѣтно стало слышнѣе и обрывистѣе.

— Духъ у меня запираетъ, — проговорилъ онъ глухо.— Штука эта у меня завелась не очень давно,—возьмется, значитъ, изъ ничего и задвинетъ, хоть бѣги дышать у сосѣда... А благодать-то какая въ небѣ! Погляди,—роса-то какъ пе-

лена легла на травѣ?.. Слышь, птичка-то какъ радостно подала голосокъ въ кустахъ? Господи, сколько хорошаго есть на землѣ, коли бы примѣчать все!..

Съ версту мы прошли молча... И деревня, въ которой я жилъ на отдыхѣ, виднѣлась въ туманной дали на горѣ. Мнѣ почему-то больно стало за моего спутника, устало шагающаго возлѣ меня къ деревнѣ Кривухиной. Богъ вѣсть—какими путями водилъ его лихой „колобродъ“ въ лѣсу жизни и довелъ до круглаго сиротства, до потери желаній и вѣры въ лучшее.

— Да, братъ, всяко бываетъ въ жизни!—заговорилъ Мокей,—и у премудраго можетъ повернуть вкривь; а если не примѣтишь того въ хренологіи—пеняй на себя! И ты, братъ-Ваня, остерегайся... Бойся, значитъ, чтобы и у тебя вкривь не заѣхало! Молодость подчасъ глупѣй старости. Москва такое мѣсто, гдѣ жернововъ много, и коли духу мало—измелетъ каменнаго! Бойся, братъ, питья всего болѣ,—человѣкомъ до смерти останешься, вѣрь мнѣ! Я хоть и плохой съ виду, да людей много видѣлъ. А половина моихъ знакомцевъ сократила долю свою отъ вина...

— Какъ же ты самъ-то въ такомъ положеніи?

— Ослабъ! Съ собой управиться не могу,—въ душѣ повалился. Вижу — худо, а лѣзу... Одолѣла, братъ, меня нечистая сила! Намедни до того упитался въ кабакѣ у Миронова друга—писаря, что чуть не умеръ...

— А ты удерживайся!

— Да не учи... Я и самъ понимаю все, да воля въ головѣ износилась! Вотъ, выпилъ лишнее у Мирона, и запираетъ мнѣ духъ... Ну, да ужъ теперь все одно,— прятаться отъ бѣды—нѣту мѣста! Хоть сто годовъ проживу—никому не дамъ счастья, а потому,—вали въ ямку!..

— Надо на Бога надѣяться.

— Нѣтъ, пріятель, это не для нашей губерніи сказано... Коли Богъ пересталъ на человѣка надѣяться, такъ ужъ гдѣ тутъ закидывать удой въ глубину? Тутъ—завертывай въ рогожку всѣ проповѣди!.. Человѣка шатаютъ злыя силы, какъ

вѣтеръ одинокую иву, а онъ—„надѣйся!“ Да и кому говоришь ты? Можетъ статься, что человѣка-то и нѣтъ вовсе рядомъ съ тобой, а одинъ обликъ?.. Мнѣ разъ влѣзла мысль въ голову, что я умеръ давно, а на землѣ болтается мой футляръ!.. Это такая, братъ, хренологія, въ которой разберетъ одинъ Богъ. Того-то ради я и говорю тебѣ: держись въ серединѣ! Молодцомъ, миленькой, и я бывалъ на землѣ, да вотъ дошелъ до ошметка... Пилъ-гулялъ, думалъ, что и конца не будетъ моей вольной долѣ, и не убудетъ сила во вѣкъ; а сила была — лошадиная! Да, глядь,—пачпорта изъ деревни не выслали... Пишутъ вакларацыю: „Приходи домой хоть босой, — оченно мы всѣ объ тебѣ, миленькой нашъ, встосковались; и стало вѣдомо намъ, что ты Бога забылъ, а благословеніе родительское запамятовалъ“. И вѣрно!.. не по Божьи жилось, а какъ вздумалось; какъ жили всѣ кругомъ. Считалось тогда у насъ въ обиходѣ, что по каковски-то „по-Божьи“ обязаны жить раки да окуни; а человѣкъ со смысломъ — самъ разберетъ, какъ удобнѣй! Зато, когда добрался до деревни, то сразу очуялъ, что огрузѣла душа; и мѣсто родное показалось мнѣ глухой чужеземщиной. Вотъ тогда покойный родитель и усадилъ меня въ школу; а въ вразумленіе пустилъ трубку и кулаки. Покойничку думалось, что кулакомъ можно умъ вернуть,—а пошло хуже! Настасья моя, жена-то значитъ, тоже пошла мнѣ въ лобъ... Все пошло мнѣ въ лобъ да въ затылокъ. Родительница заболѣла съ горя... А батька претъ меня къ стѣнѣ, аки чорта... И подъ конецъ надумалъ меня въ хлѣвъ сажать, подъ арестъ. Этимъ онъ меня прошибъ окончательно... Сижу, бывало, въ хлѣвѣ, думаю-гадаю и зареву въ голосъ: „Что такое сдѣялось со мной въ моей жизни? Усадили въ стѣнахъ на навозѣ, словно блудливую курицу... Что я?..“ И помогъ мнѣ Господь. Очухался я, держался больше года картинкой; уѣхалъ опять въ Москву. Пошло дѣло ладно,— одежу завелъ щегольскую; отцу два пакета бумажекъ послалъ въ полу-сотню... Да стоялъ чортъ на моемъ пути... Встрѣтилъ Надьку на улицѣ — гляжу: панельная во весь

ходъ... Заболѣла у меня душа отъ обиды, — пошелъ облегчиться малиновой. А въ это самое время антихристъ-то Мирошка—шасть къ моей Настасьѣ... Какъ дошли до меня эти ішашни,—все во мнѣ закипѣло... „Стой, думаю,—подошелъ конецъ моей долѣ,—чортъ съ ней, съ этой проклятой долей!“ И хоть Настасью свою я не обижалъ въ душѣ, а пріѣхалъ домой въ грозномъ видѣ... Тутъ у меня и самъ упругій родитель пошелъ на попятки, — учуялъ, что духа Божьяго у меня не осталось,—сдачи дамъ хоть угоднику... Тутъ у насъ не только дымъ былъ въ жизни, а и огонь... Будь проклято это время! Теперь одинъ я, какъ пень. А вотъ тебѣ свидѣтель Богъ: иной часъ задумаюсь я обо всемъ прошломъ, и до того мнѣ всего жалко станетъ, что коли будетъ подходить этакъ—обопьюсь разомъ, али убью себя безпремѣнно!..

Старый заводскій взялся руками за грудь,—отъ сильнаго возбужденія припадокъ удушья усилился.

— Сядемъ...—сказалъ онъ,—запираетъ дыханіе.

Мы сѣли на бугрѣ близъ канавы, среди освѣщенныхъ зарею росистыхъ далей.

— Утро засвѣтилось,—сказалъ Мокей.—Какіе, братъ, мы гуляки съ тобою—напролетъ темну ноченьку... Хе-хе!.. Ишь, опять захолонуло... пожалуй, сейчасъ околѣю!.. Спаси меня, Богъ...—Онъ снова взялся руками за грудь, побагровѣлъ и выкатившимися глазами уставился на дорожный песокъ.

Ясное утро развернулось во всей красѣ по зеленой полевой мѣстности. Роса, будто матовое серебро, тонкой пеленою насѣла на придорожныя луговинки... Слышался бойкій пискъ птичекъ. Слѣва виднѣлся въ синей дымкѣ пройденный нами лѣсъ, и съ этой же стороны, на краю залѣсья, выступила огненная солнечная горбовина... Правѣе виднѣлась совсѣмъ близко деревня, гдѣ я жилъ, а въ едва примѣтной дали тумановъ виднѣлась деревня Кривухина. Надъ всѣмъ широкимъ просторомъ замелькали радостные лучи солнца; пробудилась жизнь.

Мокей обернулъ лицо ко мнѣ и заговорилъ:

— Тутъ ходилъ я недавно къ одному вѣдающему въ болѣзняхъ толкъ старику... То же самое говоритъ, какъ и дохторъ: „брось пить, дядя!“ А я говорю: „Вотъ и ноги опухать стали,—иной разъ сапогъ не обуть. И въ груди будто задвигаломъ припираетъ дыханіе“.—„А это, говоритъ, у тебя отъ косушечнаго питанія идетъ такъ! Въ твоей болѣзни одно средство — толченыхъ таракановъ принимать внутрь...“ Послалъ я къ дьяволу старика. Ужъ если нѣтъ средства, то и это, пожалуй, озорство одно?

— Плохо, Мокей Степанычъ!

— Да, не много хорошаго... Вѣдь я отъ роду не болѣлъ ничѣмъ; я, бывало, черезъ амбаръ швырялъ пудовой гирей... А теперь ослабъ окончательно,—куда вѣтеръ, туда и вся моя хренологія!.. И всякая муть въ чердакъ лѣзетъ,—все, что было особливаго въ жизни—растетъ горой, давитъ; заснешь—и во снѣ то же... Помилуй Богъ, какъ подходитъ! Полагалъ раньше, что такъ на роду мнѣ написано: отмѣрена кривая доля, а не то! Отбился отъ Бога, и все пошло криво...

— Успокойся,—сказалъ я:—не все потеряно въ жизни, если самъ сознаешь ошибки свои; Богъ поможетъ, да самъ умомъ тронешь - и пойдетъ дѣло въ ходъ... Опытъ каждому дорого въ жизни обходится! Одно горе, что каждому почти житейскій опытъ достается изучать своимъ лбомъ...

— Охъ, не говори!.. Для меня прошла пора добрая, и не вернется. Если бы ты сказалъ мнѣ это пораньше, я бы повѣрилъ тебѣ; а теперь—старъ. Не нашему брату это... Тутъ надо душевную цѣлоту. Мокею теперь на спокой время, въ сырую землю... Такимъ, какъ я, на землѣ дѣлать нечего!

Голосъ стараго заводскаго дрогнулъ; слезы выступили на глазахъ. Поглядѣвъ въ даль полей, онъ продолжалъ:

— Богъ наказалъ меня по заслугѣ,—прежде сѣялъ, а теперь жну!.. Думалось, бывало, что меня и верстой не достать, что и самому чорту за мной не угнаться... А вотъ, пришли дни—достала баба рукой, да настукала по затылку клюкой,—вся и честь за старанье!.. Теперь явственно вижу все. И

думалъ я не разъ о себѣ: „Для какой прибыли я за полвѣка отмахалъ на землѣ? Для чего мать меня родила, вскормила, а сырая земля выносила?.. На курій носъ не сдѣлалъ я никому добра, въ свѣтѣ живучи...“ Это крѣпко меня ожимаетъ въ душѣ... Только и спасенья—когда по міру болтаюсь, аль въ кабакѣ сижу. Опустошилась, значитъ, душа безъ остатка? Крѣпкая душа—сама себѣ радость!

Мокей глухо и долго кашлялъ; отдышавшись, онъ сказалъ мнѣ съ легкой усмѣшкой:

— Теперь, братъ, я тебѣ не попутчикъ... Поди одинъ съ Богомъ. Я просижу здѣсь долго. Да, слышь, безпремѣнно зайди ко мнѣ! Вонъ деревня наша стоитъ на пригоркѣ!— первый дворецъ на лѣвой рукѣ—мой. А можетъ, слягу—посѣтишь болящаго слесаря... Ко мнѣ лишняго народу не соберется на хворь; а ты порадуешь меня. Поговоримъ про дѣла... А ежели не увидимся, не поминай меня лихомъ. Лихимъ человѣкомъ я не былъ; калѣчилъ только себя. Поди съ Богомъ!

Пройдя немного, я оглянулся: старый заводскій сидѣлъ на бугрѣ, обхвативъ руками колѣни и опустивъ голову.

Солнце довольно высоко поднялось надъ землею; раздольный зеленый просторъ раскидывался во всѣ стороны. По дорогѣ, навстрѣчу мнѣ, съ косами и граблями на плечахъ шли крестьяне и дѣвушки, одѣтые какъ бы въ праздникъ, съ веселыми лицами, съ веселымъ говоромъ. Былъ первый день сѣнокоса...

Я снова оглянулся назадъ, но бугоръ съ Мокеемъ пропалъ за поворотомъ дороги; и вдругъ съ той стороны донеслось ко мнѣ кукушкино гореванье: „ку-ку! ку-ку!..“

Занятый разными хлопотами, а болѣе того—веселыми походами по подберезовской округѣ, я все откладывалъ на послѣдки визитъ въ деревню Кривухину, въ Мокеевъ „дворецъ“, да такъ и въ Москву уѣхалъ, не повидавъ бѣдняка.

И лишь черезъ три года удалось мнѣ, при новой поѣздкѣ въ деревню, навѣстить забытаго друга. Развѣдавъ, что ста-

рый заводскій „живъ пока“, я пошелъ навѣстить его первѣй всѣхъ.

Отыскать Мокеево жилье мнѣ не представило трудности: на лѣвой сторонѣ, на краю деревни стояла полураскрытая, вросшая бокомъ въ землю изба, съ косымъ и окончательно раскрытымъ дворомъ... Казалось, что это не жилье человѣка, а грустное позорище человѣческой лѣни и духовной придавленности. Злое чувство проснулось во мнѣ, когда я взбирался по скрипучимъ ступенькамъ въ сѣни... Сѣнная дверь подалась на толчокъ, но такъ противно завыла въ пятникахъ, что я озлился до крайности и на первое привѣтствіе заготовилъ хозяину жилья горькое слово...

Осторожно перешагнувъ черезъ высокій порогъ въ избу, я оглядѣлся кругомъ и понялъ, что избушка необитаема. Образовъ не было въ переднемъ углу,—на ихъ мѣстѣ виднѣлось буроватое, не захваченное дымомъ пятно; грязныя полинялыя стекла едва пропускали свѣтъ съ улицы; сквозь потолокъ просвѣчивало, и съ этихъ просвѣтовъ сыпался на черный полъ соръ, который и лежалъ мирно на полу узкими грядками. Было какое-то первобытное логово: все голо, черно, страшно... Сѣрый глиняный горшокъ стоялъ на шесткѣ, а вблизи него—двѣ березовыхъ головни да зола.

Я вышелъ на улицу и сталъ оглядывать „дворецъ“ со всѣхъ сторонъ. И нежданно передо мною мелькнуло то время, когда хоромы были крѣпки и плотно укрыты отъ непогодъ, а внутри ихъ—живые люди, съ живыми радостями, глядѣли другъ на друга веселыми взорами и имѣли въ душахъ свѣтлоту. Хлѣвъ, узилище Мокеево, стоялъ на концѣ раскрытаго двора, съ крохотной прорубкою вмѣсто окна, задорно выпятивъ на огородъ гнилую стѣну. Я заглянулъ внутрь...

— Тебѣ кого, дяинька, надо?..

Я оглянулся. Черезъ ближайшій плетень глядѣла на меня бойкая, толстоголовая дѣвочка, годовъ десяти.

— Ежели дяиньку Мукея надо, такъ ево тута нѣту... Тутъ домовой живетъ, баютъ! А дяинька Мукей у бабки Анны

въ избѣ живетъ. Вотъ, поди-ко по нашей деревнѣ, и увидишь бабкину избу съ зеленымъ налишникомъ!..

— Такъ, такъ, милая... Спасибо тебѣ за указъ!

Дѣвочка выбѣжала изъ огорода на улицу и, показывая ручонкой впередъ, говорила бойко:

— Энъ налишникъ-то видать зеленый,—тута и живетъ бабка Анна!

— Спасибо, разумненькая...

Я подошелъ къ избушкѣ съ зеленымъ наличникомъ, и лишь только шагнулъ черезъ порогъ сѣней, какъ увидѣлъ пріятеля. Онъ стоялъ у верстака, пристроеннаго на лѣтній сезонъ близъ сѣнной двери, и обломкомъ напилка выглаживалъ ржавую желѣзную полосу... Мокей былъ въ набойчатой синей рубахѣ, въ синихъ домашнихъ штанахъ, въ берестовыхъ башмакахъ, безъ чулокъ,—не по-заводски.

— Дру-угъ!—закричалъ радостно Мокей и, бросивъ работу, кинулся мнѣ навстрѣчу.—Здравствуй, братъ, отъ всего сердца!.. Вотъ, когда тебя архангелы занесли въ наше мѣсто! А я тебя такими загинками вспоминалъ за мошенство, что и возговорить теперь страшно,—ну, извини старика... Ей-ей, Ваня, распрекрасный ты человѣкъ, право слово! Уважилъ ты, братъ, меня прямо въ сердце... А у меня на твой расчетъ какое было помышленіе въ умѣ: „Чортъ онъ, а не свой братъ; не другъ, а татаринъ! Жуликъ въ квадратѣ, ежели забылъ свово брата!“ А ты—вотъ... Ну, пойдемъ къ намъ въ палату. Теперь, миленькій, я на новомъ положеньи живу, въ уютѣ, у Николая Чудотворца за пазухой... Спаси насъ, грѣшниковъ, Господь-Богъ! Бабка Анна, гляди—гостя веду въ избу: наше заводское племя—молотокъ, шпиндель!..

„Бабка Анна“, морщинистая, но крѣпкая старушка, поднялась съ лавки и ласково отвѣтила на мой поклонъ. А того больше подобрѣла старуха, когда я помолился на ея образницу.

— Поди-тко, батюшко, поди-тко!.. Милости просимъ, садись на лавку!—говорила она.—Видно сейчасъ, что человѣкъ умный: и въ шляпѣ, и Господа-Бога чтешь...

— Мой другъ это, бабка Анна,—говорилъ Мокей,—пріѣхалъ сюда нарочно изъ Москвы-града... Садись, братъ, на лавку! А мы съ бабкой Анной наладимъ тебѣ селянку тѣстовскую:

Масла, лучку подложа,
Все изрубимъ въ три ножа...
Все ожаримъ, подрумянимъ,
И всѣ трое кушать станемъ!

— Бабушка, шевелись, многолѣтняя,—уважимъ дружка московскаго до отвала!.. Сейчасъ я, бабушка, растопокъ тебѣ налажу, а ты...

— Да не егози,- сказала старуха,—знаю я свое дѣло! Ты мнѣ растопки-то подай, да и сядь...

Я не могъ разобраться въ мысляхъ... Идя въ деревню Кривухину, мнѣ представлялось, что я увижу стараго заводскаго въ окончательномъ разрушеніи. Но Мокей былъ бодръ, выглядѣлъ крѣпкимъ и, видимо, не былъ подогрѣтъ косушечнымъ снадобьемъ...

Въ избѣ было свѣтло и уютно,—все тщательно вымыто, выметено; пахло горячимъ молокомъ и хлѣбомъ. У образницы висѣло бѣлое, расшитое полотенце, для красоты; на стѣнахъ было налѣплено нѣсколько яркихъ картинъ; особенно рѣзко выдѣлялись двѣ, съ надписями: „Страшный судъ Господень“ и „Вино есть кровь сатаны“. На первой картинѣ весь низъ былъ занятъ адскими сценами, переполненъ чертями и грѣшниками, терпящими мученія въ расплавленномъ жупелѣ; а верхняя часть изображала яркое небо, блаженство праведныхъ среди кущей рая, окружающихъ густыми, нарядными толпами престолъ Божества. Вторая картина представляла сцены изъ жизни спивающагося до петли человѣка.

Самъ я, не замѣчая того, залюбовался на уютъ и порядокъ въ свѣтлой избушкѣ, на самое бабку Анну, шаркавшую берестовыми башмаками по полу и возившуюся близъ шестка съ желѣзной сковородой; глядѣлъ на Мокея...

— Уразумѣлъ я мысли твои!—сказалъ мнѣ Мокей:—вѣдь и самъ я, къ слову сказать, проходимецъ былъ... Садись,

другъ, на лавку, отдохни съ дороги. А потомъ развѣдаешь всю хренологію! Небось, диву дался? Обожди, миленькій,— еще и не такъ подивишься! Вѣдь бабка-то Анна за меня замужъ вышла, а?.. И, слышь, большія тыщи у ней подъ печкой уложены... Хе-хе-хе!..

— Степанычъ, не шути этакъ!—вмѣшалась старуха:—ужъ коли говоришь, пришелъ гость хорошій, ты ему и говори про хорошее! Вотъ разскажи-ка ты ему про десную Господню...—она серьезно поглядѣла на Мокея и, открывъ въ полу люкъ, опустилась съ чашкою въ рукѣ подъ полъ.

Старый заводскій стоялъ безмолвно на серединѣ избы и, видимо, о чемъ-то думалъ.

— А я въ твой домъ заходилъ,—заговорилъ я,—оглядѣлъ все внутри и снаружи—не жилище, а гробовище! Да, по совѣсти сказать, и въ Москвѣ живя, я о тебѣ не много думалъ веселаго,—выходило на мысляхъ, что давно лежишь ты за Мироновымъ кабакомъ, на подберезовскомъ кладбищѣ „пупцомъ вверхъ...“

— Подходило къ тому!—сказалъ серьезно Мокей.—Все, братъ, вертѣлось у меня колесомъ, и смертный часъ стоялъ близко... И вотъ въ чемъ откроюсь тебѣ... какой ни есть я отпѣтый человѣкъ, а сробѣлъ... Жутко умереть по-собачьи! Тутъ такое чудо было со мною, что и въ писаніяхъ не отчетистѣе. Господня рука потрясла меня здорово, да, знать, смилосердовала. Теперь я по новому закону живу,—не пью второй годъ... Что глядишь этакъ, аль не вѣришь? Вѣрно, братъ,—теперь все прошло окончательно. Ты вотъ на что погляди: бабка Анна мнѣ картинку купила для вразумленія: вино—хлебово для чертей... И я согласенъ,—пущай чортъ хлебаетъ его во всю глотку! А я теперь—ни-ни-ни!

— Эй, Степанычъ, не заносись такъ высоко!—сказала бабка Анна, выставляя изъ люка голову и неся въ чашкѣ яйца.—Ты лучше молись во смиреньи угодникамъ: Гурью, Самону и Авиву,—и они поднесутъ сатанѣ твою кабацкую чашу! Волчій духъ всегда сидитъ въ человѣкѣ, одно спасенье отъ него—вѣра съ мѣрой да Божьи угодники.

— Теперь я, бабка Анна, такую силу чую въ себѣ, что, кажись, пусти меня въ ладьѣ по винному озеру,—не зачерпну орѣховой скорлупой!

— И хорошо! — похвалила старуха.—А все жъ молись крѣпче Богу, чтобы Онъ закрѣпилъ тебя до конца... Да разскажи гостю про десную Господню: въ нашей жизни всего бываетъ, а этакое одинъ разъ посылается... Садись, батюшка, къ столу,—сказала мнѣ бабка Анна,—отвѣдай нашего хлѣба-соли. А ты, Степанычъ, принеси хорошему гостю енараловой аликеры... пущай побалуетъ!

Мокей прошелъ въ сѣни и вернулся обратно, неся въ рукѣ красивую бутылку съ желтоватою жидкостью.

— Даръ отъ Ильи Ивановича!—объяснилъ онъ, потрясая бутылкой:—да такъ подошло, что и высокому добру нѣтъ почета... Почти, братъ, хоть ты! Для болѣзни моей было прислано; а теперь бабка Анна натираетъ этимъ составомъ себѣ поясницу. Тутъ березовая почка въ чистомъ шпиртѣ расплавлена,—кто понимаетъ толкъ—цѣны нѣтъ настою!

Мы всѣ сѣли къ столу. Бабка Анна поставила передо мною яичницу на сковородѣ, сдобренную кусочками вяленой солонины, корявую рюмку и „аликеру". А себѣ и Мокею, по случаю середы, налила въ чашку супу съ плотвицами. Для меня было сдѣлано рѣдкое исключеніе.

— Выкушай на здоровье, батюшка,—говорила старуха, своеручно поднося мнѣ налитую до верха рюмку:—это и въ нутрѣ пользу даетъ... А для поясницы—нѣтъ лучше въ свѣтѣ!..

Я поглядѣлъ на Мокея... Въ былое время онъ, навѣрное не считался съ середами и пятницами, но теперь попалъ въ дисциплину: благодушно и степенно кушалъ плотвичный супъ... Поглядѣлъ я на бабку Анну,—сквозь всѣ морщины ея лица сквозила суровая выдержка, стойкая неуступчивость, но въ цѣломъ—лицо старушки производило хорошее впечатлѣніе. Кисельнаго вида старухи—обрастаютъ подъ конецъ мохомъ, покрываются пылью, и уличные ребята на такихъ старухъ „ухаютъ". Мокей поймалъ мой взглядъ и сказалъ тихо

— Вотъ, другъ, устроились мы теперь съ бабкой вмѣстѣ! Пожалѣла меня въ бѣдѣ бабка Анна, и далъ я ей зарокъ— не пить до самой кончины вѣка! Теперь на этомъ и держится житье наше. Я на хлѣбъ добываю, на дрова, а она въ хозяйствѣ орудуетъ за механика... Вонъ, погляди, на стѣнѣ страшный судъ,—судомъ бабка Анна мнѣ угрожаетъ... А я сдѣлаю батькѣ замокъ новый, чтобы деньги цѣлѣе хранились въ сундукѣ, вотъ ужъ и будетъ заначка... Въ адъ-то меня и не такъ легко будетъ сцапать, коли я свой человѣкъ съ духовенствомъ?

— Не грѣши, дядя!—сказала старуха строго:—помни Бога, да то, что настоящій судъ вверху будетъ! Вотъ, разскажика ты ему про десную...

— Дѣло вотъ съ чего началось,—заговорилъ Мокей,—была отмѣнная работа у дохтора,—заработалъ я въ четыре дня шесть рублей... Ну, и подумалъ я тогда, чтобы не бѣгать въ кабаки часто,—купилъ себѣ полведерку... Буду, молъ, употреблять по два шкалика въ день и баста!—уподоблюсь хоть разъ въ жизни барину...“ Да вышло у меня не побарски... Черезъ пять дней въ полведеркѣ осталось на донышкѣ, а у самого у меня—зашелъ умъ за разумъ... Сижу у стола на лавкѣ, пью... гляжу—дверь отворяется... Гляжу—лѣзетъ чортъ въ избу: въ шерсти весь, рогатый, глаза кровяные, а лапы, что у старой медвѣдицы!.. Походилъ по избѣ, заглянулъ въ подпечье, подъ лавками поискалъ чего-то, и ушелъ вонъ... А я сижу, какъ на шпинделѣ, и рюмку не могу взять рукой, чтобы саданутъ ради храбрости... А въ сѣняхъ голоса гудятъ... „Гдѣ онъ, подлецъ, схоронился? Робята, ищи его,—онъ нашъ давно, онъ душу свою промѣнялъ на вино... Лови его, тащи его душу въ адъ,—толочь въ ступѣ!..“— „Ну, думаю, разговоръ идетъ обо мнѣ... Подошло нежданно, да такъ, что не приведи Господь и татарину!..“ Самъ съ мѣста стронуться не могу; волосы на головѣ ходятъ; духъ сперло въ нутрѣ окончательно... Гляжу—опять чортъ въ избу лѣзетъ, опять шаритъ кругомъ и лапами этакъ разводитъ, и нюхаетъ хоботомъ... Вдругъ остановился передо

мной...—„А, говоритъ, ты дома!..“ И какъ заскрипитъ зубами, какъ подниметъ вверхъ лапы, да ко мнѣ обниматься... „Милый, говоритъ, другъ: вотъ когда подошелъ часъ побрататься намъ окончательно!.. Я старый дьяволъ, а ты будешь у насъ за анаѳему... Мерзавецъ, облобызай меня и пойдемъ вмѣстѣ!..“ Вижу: конецъ!.. Ошалѣлъ я отъ ужасти,—хвать бутылку, да бутылкой-то его—бацъ въ образину! Кричу: „Со мной Богъ!“ А ихъ два взялось отъ удара... Я второго-то—хлесь въ рыло!.. А ихъ—три... Осатанѣлъ я, схватилъ столъ въ руки, да ихъ столомъ... А самъ хриплю: „Со мной Богъ!..“ А чертей набралось полъ-избы, гляжу—выдергиваютъ они бревна изъ стѣнъ, берутъ въ лапы лавки, чтобы этими штуками меня бить... Тутъ услышалъ я голосъ откуда-то: „Мокее, Мокее, изыди вонъ поскорѣе!..“ Я сотворилъ молитву, да на улицу, да вдоль деревни, да бухъ въ колодезь, чтобы укрыться отъ лютой силы... Вотъ тутъ, братецъ мой, и проявилась надо мною десная небесная!—сказалъ торжественно старый слесарь:—колодезь былъ въ глубину три сажени, а воды въ немъ мнѣ по губу... Кабы еще на вершокъ воды—не было бы Мокея на бѣломъ свѣтѣ! Вытащили меня мужики чуть живого... И пролежалъ я на лавкѣ отъ Николина дня до Петровокъ... Илья Иванычъ три раза самого дохтора присылалъ. А послѣ говорилъ: „Ну, Мокеюшка, теперь брось окончательно... Здоровъ ты былъ въ комплекціи въ свое время,—только это и спасло тебя отъ бѣды. Второй разъ шутить неудобно“. Первое дѣло—я Богу молебенъ отслужилъ за спасенье. А чорту говорю: „Шалишь, негодяй,—больше не объегоришь меня вовѣкъ!“

Старушка набожно перекрестилась на образа и сказала Мокею:

— Степанычъ, помолись и ты еще Богу!.. Вѣдь у меня и теперь бываетъ въ мысляхъ: „Господи, устоитъ ли до конца сей человѣкъ?“ Вѣдь не даромъ пословица есть: „повадился кувшинъ по воду, тамъ ему оставить и голову?..“ А по душѣ—ты человѣкъ не худой!..

Мокей ласково поглядѣлъ на меня, на бабку Анну и, поднявшись съ мѣста, крестясь на образа, сказалъ твердо:

— Устою, бабка Анна! Старое прошло навсегда. Христа чувствую я близъ себя... Не знаю,—въ которой сторонѣ Онъ, а чую близость свѣта небеснаго... Теперь у меня что на мысляхъ? Подкопить денегъ—разсадить въ огородѣ яблонника, поставить ульи?.. А тебѣ, бабка Анна, будетъ сарафанъ съ позументами!

Я сталъ собираться къ дому.

— Побудь у насъ подолѣ, ночуй!—говорилъ Мокей.—У насъ, братъ, здѣсь хорошо... Оба мы съ бабкой у Николая Чудотворца за пазухой. Ну, а только угодникъ строгій,—требуетъ выдержку, а безъ ней—сейчасъ же выгонитъ изъ-за пазухи!

Бабка Анна глядѣла на меня дружелюбно. И мнѣ было хорошо въ свѣтлой избушкѣ. Нужды нѣтъ, что жизнь дожигала тутъ свои послѣдки,—она дожигала ихъ при ясномъ свѣтѣ заката...

Я понялъ, что и Мокей и бабка Анна отнеслись ко мнѣ, какъ къ родному, что я понималъ душою ихъ несложныя радости, и что сами они уловили за волосинку смыслъ жизни... Какой этотъ смыслъ, что онъ? Въ избушкѣ не задавались такими вопросами, да и не умѣли, а только „чувствовали“... Похоже было, что и въ самомъ дѣлѣ Христосъ былъ неподалеку отъ того мѣста, гдѣ я ждалъ увидѣть одно мертвое разрушеніе, безъ тепла, безъ просвѣта.

Далеко въ поле проводили меня мои друзья, и прощанье наше было истинно пріятельское.

Прошло уже четыре года, какъ гостилъ я въ деревнѣ Кривухиной, и все не могъ выбраться изъ Москвы. Но друзья мои здравствовали, писали письма мнѣ, и я зналъ, что на огородѣ у нихъ растутъ шесть яблоней; а ульи „не дались“. И у бабки Анны такой сарафанъ завелся, что подберезовскую попадью взялò диво!..

Въ письмахъ сквозила душа диктовальщика: какъ въ зеркалѣ отражался передо мною старый заводскій, разбитной, душевный, а главное съ трезвой головой, съ здоровыми разсужденіями, съ сердцемъ, которое освободилось отъ черной грусти, накладываемой излишествами. Только въ простой, въ трезвой, трудовой жизни почувствовалъ себя Мокей „дома“, хоть слишкомъ поздно...

Изъ писемъ я зналъ, что въ избушкѣ на стѣнахъ наклеены новыя картинки въ подмогу старымъ—смерть грѣшника и праведника и камаринскій мужикъ въ лицахъ. И что „выдержка“ стоитъ неуклонно, а благодаря этому, Николай Чудотворецъ ни Мокея, ни бабку Анну не выгонялъ изъ-за пазухи и самъ радовался на нихъ.

Аника воинъ.

(КАРТИНКА МИНУВШАГО.)

Посвящается С. А. Венгерову.

I.

Вечернее солнце затопило своими густыми багровыми лучами праздничное село; всѣ сельскіе обыватели высыпали на улицу, всюду несся говоръ, смѣхъ, шутки. Въ глубинѣ улицы, будто гирлянда цвѣтная яркая передвигалась изъ стороны въ сторону, то кружился—развертывался хороводъ дѣвичій, отъ хоровода неслись по тихому воздуху стройные звуки пѣсни, звуки рожковъ, балалайки и еще какой-то голосистой музыкальной свистули... И хорошо было слушать издалека этотъ гулъ музыкальный и пѣсенный,—издалека было видно, что тамъ жизнь идетъ нараспашку и въ распояску!

Кое-гдѣ стояла кучками молодежь, бабы-пріятельницы; ребячій гомонъ доносился откуда-то изъ задворковъ. На нагрѣтыхъ солнцемъ завалахъ бесѣдовали старухи древнія,—передъ ихъ уже слабѣющими взорами развертывался, живою, пестрою лентой переплетался новый міръ, молодой, полный надеждъ радостныхъ, нутряной могуты и плечевой крѣпости!.. И чуялось старухамъ, что немного времени осталось имъ быть на землѣ, что скоро ихъ позовутъ туда... къ Богу, а жизнь на землѣ останется, пойдетъ своей чередой и, быть-можетъ, лучше пойдетъ, счастливѣе! А давно ли, кажется, и онѣ этакъ же беззаботно кружились

въ шумныхъ дѣвичьихъ хороводахъ? Словно и по сейчасъ въ ушахъ ихъ гудитъ—гулъ своихъ громкихъ пѣсенъ... Анъ—жизнь прошла! Незамѣтно новые люди надвинулись, заполонили самую середину улицы!

Нѣсколько мужиковъ приспособились на толстомъ суковатомъ бревнѣ подъ окнами самой крайней избы села, близъ выгона. Хорошо было и у крайней избы: вся сельская улица напролетъ видна со всѣми хозяйствами; виднѣлись изъ-за только-что распустившихся кленовъ три церковныя главы, колокольня; надъ трехъоконною избою, на тонкой сосновой жердочкѣ, высилось помело... указывая прохожему, что тутъ подъ горячую руку можно изъ сапоговъ выскочить и изъ кафтана наружу вывернуться...

Черезъ выгонъ, за пологимъ его уклономъ, тянулось на версты яровое поле, виднѣлась на полѣ дорожка узенькая,—пролегала она въ приходъ отъ погоста и, кривляя и виляя на зеленомъ раздольѣ, терялась, наконецъ, въ неоглядной дали, сплошь залитой вечернимъ розовымъ отблескомъ.

Ефимъ Дмитріевъ, старшой изъ брательниковъ Митиныхъ, закупивъ „папушку“ свѣжей махорки, тутъ же, на глазахъ у сосѣдей, искрашивалъ ее на суковатомъ бревнѣ кривымъ желѣзнымъ ножомъ въ мелкія мелочи и ссыпалъ осторожно въ кисетъ. Всѣ мужики отвѣдали „свѣжаго“ табака и остались имъ всѣ довольны: сразу горло захватываетъ и такой отмѣнный запахъ даетъ, что ни одной молодицѣ на селѣ не перенести его, чтобы не запершило въ носу и въ горлѣ!..

— Да,—говорили мужики,—это самый настоящій турецкій табакъ... Не даромъ эти самые турки бѣдовый народъ на свѣтѣ,—табакъ злой курятъ. Хе-хе-хе!..

Погодя, разговоръ перешелъ на яровые и озимые всходы—святое и больное мѣсто всякой деревни. Ефимъ Митинъ, какъ самый старый изъ мужицкой компаніи,—ему шелъ семьдесятъ первый годъ, давалъ направленіе общему разговору, и всѣ слушали его съ большимъ вниманіемъ. Ефимъ былъ пріят-

наго вида сѣдой старикъ, невысокій, съ длинною узкою бородою, веселый, всегда и со всѣми ласковый. Смышленые и привѣтливые глаза его, давно потерявшіе свой первоначальный голубой цвѣтъ, довѣрчиво глядѣли на мужиковъ,— было видно, что жизнь этого человѣка прошла въ трудахъ и заботахъ, но не было въ ней такой непогоды, которая разбиваетъ сердце. Тутъ же среди компаніи находился и меньшой брательникъ — Прохоръ Дмитріевичъ. Прохоръ былъ тоже средняго роста, но коренастый, съ кудрявыми полусѣдыми, полурыжими волосами, съ курчавой окладистой бородою, онъ выглядѣлъ лѣтъ на двѣнадцать моложе Ефима, и ничѣмъ не напоминалъ родства, но и на лицѣ Прохора и въ глазахъ его виднѣлась та же доброта нутряная, та же привѣтность, какъ черта фамильная, митинская. Митинская семья изстари считалась одною изъ лучшихъ семей на селѣ Воздвиженскомъ,—и на доброту и на порядочность Митиныхъ люди крѣпко надѣялись. И если подѣлились братья, то изъ-за женъ затѣялось дѣло, жены ихъ не могли въ мирѣ жить подъ одной кровлей. Иринья - Ефимиха все норовила подъ себя забрать, чтобы ея власть была, а меньшуха Анна - Прохориха не хотѣла поддаться невѣсткѣ, и тоже норовила, чтобы все подъ себя забрать, потому что изъ богатой породы была взята, шелковый сарафанъ да два мериносовыхъ въ домъ принесла... А бываетъ, что и отъ малой искорки весь сыръ-боръ задымится, задымится—разгорится, развернется широкимъ, знойнымъ пожарищемъ!..

Вечерѣло... Но сельская улица все гуще заполнялась праздничными сельчанами, все веселѣй, шумнѣй катились по ней смѣхъ, пѣсни, вольныя рѣчи. Среди хоровода кто-то ходилъ лихимъ гоголемъ, присѣдалъ и выкидывалъ пятками такіе смѣшные козыри, что все покатывалось кругомъ дружнымъ смѣхомъ, что и самое солнце, совсѣмъ уже было собравшееся окунуться въ синѣющій за полями дубовый лѣсъ, остановилось, залюбовалось на плясуна, на всю пеструю ленту шумнаго хоровода и, казалось, забыло про свой ночной отдыхъ...

И пока такъ гулко и дружно праздновало село теплый воскресный вечеръ, незамѣтно ни для кого подошелъ изъ полей къ сельской околицѣ старый служивый.

Въ кучкѣ мужиковъ, что сидѣли у крайней избы на суковатомъ бревнѣ, произошло движеніе, всѣ уставили глаза на выгонъ.

— Э, сосѣди,—заговорилъ дядя Яковъ,—глядите—воинъ христолюбивый съ котомкой за плечами подходитъ къ околицѣ! Не ницій, кажись... Откуда бы этакой?..

А „воинъ христолюбивый", пройдя сельскія ворота,—бодро зашагалъ къ компаніи собесѣдниковъ и, сдѣлавъ фронтъ, отбивъ ногою и взявши руку подъ козырекъ, громко сказалъ воздвиженцамъ:

— Здравія желаю, господа мужички! Сколько лѣтъ, сколько зимъ не приводилъ Господь поглядѣть на васъ, а вотъ дошло время...

— Здорово, старичокъ! Здорово, дѣдушко! — отвѣчали мужики на привѣтъ, и въ то же время переглядывались между собою: откуда-де такой верткій объявился нежданно?

А старый солдатъ уже и свой дорожный мѣшокъ опустилъ на землю, снялъ шинель, свернутую на манеръ хомута и одѣтую черезъ плечо, положилъ на шинель черемуховый посошокъ, кепь, и сталъ охорашиваться: поправлять сѣдые волосы на вискахъ, протирать ладонями загорѣлое щетинистое лицо, оправлять не то сѣрые, не то сѣдые усы. А самъ такъ и кидаетъ на мужиковъ внимательные зоркіе взгляды, и стоитъ передъ ними во всей походной формѣ своей: чернобурый мундиръ съ линялыми пуговицами подпоясанъ чернымъ, забурѣвшимъ ремнемъ, черный галстукъ повязанъ у шеи, по рукаву мундира желтыя нашивки идутъ,—все побурѣло, все запылилось отъ времени и полевой дороги, зато грудь старика выглядѣла совершенно по праздничному: блестѣли на груди ясные знаки былыхъ военныхъ отличій—кавказскій крестъ, серебряная и бронзовыя медали на цвѣтныхъ пестрыхъ ленточкахъ.

— Али все еще не признаете?—спросилъ солдатъ, снова

зорко оглядывая мужиковъ, и, подойдя къ брательнику Митину, къ Прохору, хлопнулъ его по плечу рукою и сказалъ заволновавшимся голосомъ:

— Братко!.. Прохоръ Митричъ, живъ...—Но тутъ у стараго солдата остальная рѣчь застряла на языкѣ, лишь погодя мигъ онъ могъ добавить:—живы... любезные!..—и повисъ сухенькимъ тѣломъ на широкой груди могучаго Прохора.

— Э, кто солдатъ-то!—догадался старикъ дядя Яковъ,—Аника Митинъ! Вѣдь сколько годовъ и слуху не было про него. Я полжизни изжилъ... Онъ, право онъ,—Аника!.. Дядя Ефимъ, гляди, твой брательникъ... воинъ христолюбивый... вашъ солдатъ!

Но Ефимъ уже держалъ воина-брата въ охапкѣ, цѣловалъ его на-крестъ въ усы и чуть не плакалъ отъ нечаянной и радостной встрѣчи. Минуту спустя и самъ догадливый старикъ—дядя Яковъ потянулся обниматься съ солдатомъ, и другіе сосѣди потянулись вслѣдъ Якову. Всѣ были рады, было лестно всѣмъ обняться и почеломкаться съ давно невиданнымъ, неслыханнымъ, но заслуженнымъ сельчаниномъ. Все давно позабытое кипучимъ вешнимъ ручьемъ хлынуло въ воздвиженскія сердца... Въ колодкахъ увезли Аникія изъ родного села „брить въ губернію". То-то было воздыханій да слезъ на селѣ!.. Не только родная мать—Митиха—до безпамятства плакала, а и родня дальняя, и чужіе,—такія тяжкія времена тогда были для простого русскаго человѣка. Послѣ того уже никто изъ воздвиженскихъ жителей не видѣлъ Аникія; а время шло мѣсяцами, годами, десятками лѣтъ... Правда, до Митиныхъ дошло два письма, да два-три обрывка слуховъ, что живъ солдатъ—слава Богу! что загнанъ онъ подъ самую Персію. А что Персія? Христосъ ее вѣдаетъ! Лѣтъ двадцать прошло—еще слухъ дошелъ, что Аника „смиритъ венгерца",—потомъ дошелъ слухъ, что рѣжется Аника съ басурманами-турками на окаянной горѣ—на Кавказѣ; что переплываетъ онъ Дунай-рѣку... А про эту рѣку у старинныхъ солдатъ и пѣсня была складена особенная:

А кто не былъ, братцы, за Дунаемъ—
Тотъ бѣды не знаетъ!
А мы были—бились за Дунаемъ—
Горе понимаемъ,
Холодъ-голодъ знаемъ!

Послѣ Дуная-рѣки, лѣтъ на пятнадцать, закончились всякіе слухи про Анику солдата, словно плитой свинцовой прикрылось все, пока самъ онъ цѣлъ-невредимъ не показался на сельской улицѣ.

Вѣсть побѣжала по селу о солдатѣ. У крайней избы народъ собирался десятками, всѣмъ любопытно было поглядѣть на него, и все село, какъ родное, привѣтствовало старика добрыми пожеланіями. На глазахъ солдата блестѣли радостныя слезы, онъ не ждалъ того, что увидѣлъ. Старухи дивились въ глаза ему, что онъ живъ-цѣлъ остался, исходивъ „такіе походы!..“

— Мы такъ и думали,—говорили старухи,—что ты, Аникушка, умерши давно!.. Заколотъ ёнъ туркой али чеченцей въ самое сердце, думали мы... А тебя Богъ принесъ,—слава Богу!

Солдатъ въ свой чередъ дивился старухамъ, что онѣ—цѣлы-живы, хоть многія гораздо старѣе его, что онъ едва помнитъ ихъ, и что онъ тоже надумывалъ иногда, что старухи давно на томъ свѣтѣ живутъ, Адаму да Ною лепешки пекутъ!—насмѣшилъ старухъ прибауткой. А про остальныхъ говорилъ:

— Эка, народу сколько, да все бравый какой! А мнѣ и не признать никого...

Наскочили изъ-за угла ребята, и ребятамъ не столько любопытенъ показался старый солдатъ, а медали на немъ.

— Гляди-кось, гляди!—кричали ребята другъ другу:—медали-то какія золотыя висятъ!.. Гляди—крестъ! словно жукъ!.. И у попа этакого креста нѣту...—И ребята, громко крича и радуясь чужому кресту, десятками перстовъ указывали на грудь солдата.

Аникія окружили стѣною братья и свойственники и повели съ почетомъ вдоль затемнѣвшей улицы, въ избу къ

Ефиму. Ребята протискались въ избу межъ большихъ, и въ ихъ числѣ два сельскихъ грамотника, Гришка да Яшка.

Не успѣлъ солдатъ Богу помолиться на образа, поздороваться съ невѣсткой Ириной - Ефимихой, какъ уже грамотники окружили его съ двухъ сторонъ и принялись по складамъ читать на медаляхъ.

„За турецкую вой... войну... за туречину...“—читалъ и перевиралъ Яшка.

„За-по-ко-ре...—читалъ Гришка:—за-по-ко-ре... за... покоряющче!.. за-по-ко-ре“...—но такъ какъ надпись шла по медали дугою, а его „*по дугѣ* читать не учили“, а прямо, то онъ и не узналъ про какое „запокоре“ въ дугѣ писано.

„За взятіе при... приступомъ, при... на приступкѣ!..“—читалъ Яшка. Но тутъ грамотниковъ оттиснули къ печкѣ.

Дорогого гостя усадили за столъ, кругомъ усѣлись всѣ родичи, Ирина Федоровна загремѣла заслонкой, ухватами, объявилась скляница на столѣ, чашка соленыхъ ершей, творогъ, масло.

— Эко, братецъ родимый,—говорили брательники,—когда Господь сподобилъ увидѣться? Вѣдь такъ и думали, что нѣту тебя, и въ поминанье тебя давно записали!.. Какъ родительская суббота, нашъ дьяконъ тебя сейчасъ и помянетъ: „Аникія воина!“ А ты, какъ орелъ сѣрый налетѣлъ изъ-за облака... Слава Те, Господи! А точно, братецъ, больно у тебя хорошо рагаліями-то изукрашено на груди, сіяетъ инда!.. Гордыня всему селу нашему!

— Сватъ Аника,—вмѣшался въ разговоръ свойственникъ дядя Герасимъ, тоже старикъ лѣтъ шестидесяти-пяти,—а этотъ крестъ честной означаетъ что? Ишь, перьевъ-то на немъ сколько... разъ перо, два, три... восьмиперый! Тоже, значитъ, за храбрость украшаетъ грудь?

— За Шамиля...

— За Шамиля! За того за самаго Шамиля—на Кавказѣ?..

— За этого самаго,—безъ подмѣсу...

— Ахъ, жукъ его, разбойника, забодай!—всплеснувъ руками, сказалъ Герасимъ,—чтобы кабы намъ раньше, съ по-

койницей бабой знать, что ты тамъ орудуешь... А вѣдь изъ-за него, изъ-за шельмеца, въ тѣ поры я почитай двѣ зимы не спалъ безъ опаски. Втемяшилось тогда моей Анисьѣ-покойницѣ, что онъ къ намъ на село пріѣдетъ рѣзать ее... Вѣдь съ тѣмъ и умерла, помяни ее Богъ. Какъ ночь, бывало, на нее, на покойницу, и нападутъ страхи. „А ну-ко, говоритъ, батя, пріѣдетъ сюда Шамиль и отрѣжетъ намъ головы“? И вѣдь до того, бывало, окаянная, помяни ее Богъ, наплететъ, что и меня одолѣютъ страхи, да такъ оба и просидимъ на печи до утра... А вишь, у тебя крестъ честной на груди!.. Что же, точно онъ шибко опасенъ? Грозенъ?

— Да, сватъ, не больно онъ миловиденъ. Сатана не страшнѣе!..

— О-о?.. Да ты пей, сватъ Аника, закусывай, на насъ не гляди, мы свои люди. Я хоть и за чужимъ столомъ, а ужъ у меня повадка такая, до смерти люблю человѣка запотчевать, таковъ я отъ природы есть!.. Говоришь: сатана?..

— Сатана—одно слово!—говорилъ солдатъ, закусывая выпитый шкаликъ соленымъ ершомъ:—усатый этакой, бородастый, приземистый, бородища рыжая—во! Усы—этакіе... брови нависли, и весь въ кинжалахъ кругомъ!..—И старикъ принялся рисовать Шамиля, да такъ ярко-отчетисто, какъ ни въ одной книгѣ не писано; всѣ насторожились, все смолкло... Кавказскіе генералы Барятинскій, Евдокимовъ, Эмануель, „Башкевичъ“, Менщиковъ,—будто живые, будто родные, поднялись во весь ростъ передъ удивленными слушателями, а того больше—мужички русскіе, солдатушки храбрые, что усыпали костями, полили горячей кровью дальнія стороны!.. Простая солдатская рѣчь, будто сѣкира острая, вырубала картины диковинныя. Стоитъ турецкая земля, басурманская, а тоже люди живутъ! пить-ѣсть хотятъ, по-своему Богу молятся. Тамъ и проливалась кровь... На тѣхъ-то поляхъ и уложены тысячами, сотнями тысячей кости мужицкія—солдатскія, кости турецкія,—будто родныя полегли онѣ другъ на дружкѣ, и такъ будутъ ле-

жать до суда Божія, возстанутъ при гулкой трубѣ архангельской!.. А ложились онѣ—все дымомъ заволокло, только гулъ-гудитъ... свиститъ, воетъ кругомъ... Дрожитъ политая кровью земля, сотни людей валятся подъ шальными пулями, новыя сотни выступаютъ на смѣну имъ, и новыя пули кладутъ ихъ, и опять новыя сотни растутъ изъ дыма, уходятъ въ дымъ... Временами у старика вспыхивали зловѣщимъ огнемъ глаза сѣрые, да у слушателей холодѣло въ спинѣ... А вотъ и медаль есть за тѣ бои смертные... Вотъ первая, вотъ вторая „на память", и написано на ней: „за турецкую войну... за храбрость...", а на другой сторонѣ крестъ Христовъ стоитъ на опрокинутомъ полумѣсяцѣ.

— А вотъ и рубецъ на ногѣ пониже колѣнки... — говорилъ солдатъ,—а вотъ и другой повыше колѣнки! Вотъ тутъ тоже есть штучка одна, еще выше...

То басурманы отъ себя Аникію зарубокъ на память наставили, чтобы ужъ онъ совсѣмъ никогда не запамятовалъ, что былъ у нихъ: Карсъ городъ бралъ, Араратъ гору видѣлъ! И какъ зайдетъ непогода, заноютъ-запилятъ тѣ зарубки турецкія, да такъ, что старому солдату все станетъ памятно... Аникій снялъ сапогъ съ ноги и сталъ засучивать вверхъ штанину съ краснымъ казеннымъ кантомъ, чтобы всѣмъ показать, что имѣетъ онъ... И когда все стало видно всѣмъ, сватъ Герасимъ далъ общее заключеніе, сказалъ глядя на заживленныя язвы:

— Ишь, братецъ ты мой, какъ раздѣлали тебя, подлецы, словно у медвѣдя оглодано?.. жалко инда!..

У бабъ текли слезы.

— Гранаткой въ это мѣсто царапнуто, — объяснялъ спокойно Аника.—А вотъ это мѣсто штычкомъ прободено... она сквозная, гляди—и съ этой стороны есть примѣта! А тутъ вотъ шрапнелью, должно, хватило...

— Ну, сватъ, ну...—говорилъ Герасимъ: — заслуга! Вотъ это, бабы, заслуга, словно рѣшето весь!.. Это настоящій солдатъ, безъ подмѣсу... А вы что?..

— Дѣдушка-солдатъ,—говорилъ забравшійся подъ столъ

и протискавшійся межъ солдатскихъ колѣней Яшка:—а дайко я на крестѣ про Шамиля почитаю...

Но тутъ всѣхъ мальчишекъ и вмѣстѣ съ ними двухъ грамотниковъ тетка Ирина погнала вонъ изъ избы и, какъ ни упирались они, а черезъ минуту уже были на улицѣ, и не прошло еще минуты, какъ загудѣло по всей стихшей и затемнѣвшей улицѣ, что „за турецкую войну, за Туречину!“ за „покоре“, „за взятіе приступомъ на приступкѣ!“ И что солдатъ сидитъ за столомъ, вино пьетъ изъ рюмки, ершомъ закусываетъ, про войну говоритъ и сорокъ ранъ въ боку у него!—Дугой писано... Самъ царь того, Митинаго солдата, изъ своей руки крестомъ и медалью жаловалъ, и Шамиля онъ держалъ за усы, и оттого солдатъ не побоится ни Микиты соцкаго, ни волостного, ни станового!.. И долго еще гудѣло всякое разное на темной улицѣ.

А въ избѣ Ефима шла рѣчь про Кавказъ распогибельный, и того больше диву дались простые люди, слыша разсказы неслыханные, и даже входили мѣстами въ сомнѣнье великое, хоть и нельзя было не вѣрить бывалому-старому, „во всю грудь изукрашенному“.

— Да полно, такъ ли, братецъ!—вмѣшался Ефимъ, самъ человѣкъ не мало чего повидавшій.—Какъ же такъ, примѣрно сказать, лѣтомъ снѣгъ лежитъ на горѣ?.. У насъ положенье отъ Бога: какъ только дунетъ вешнимъ тепломъ,—первое дѣло—погонитъ снѣги съ пригорковъ, еще въ долинахъ снѣгъ лежитъ на аршинъ, а ужъ по горамъ плѣшаки давно! Къ солнцу ближе...

— Сторона такая, отъ Бога такъ, — говорилъ Аникій, и самъ не умѣя объяснить того, что и въ холодъ лютый и въ зной нестерпимый лежатъ на тѣхъ горахъ заоблачно-каменныхъ, вѣчно лежатъ снѣги пушистые бѣлые...—Отъ Бога такъ!.. А еще есть тамъ Араратъ гора двуголовая. И-и, Господи, спаси-помилуй, какая гора!.. Какъ поглядишь на нее, такъ весь и осядешь книзу, будто въ небеса ушла бѣлыми маковками, будто въ ризѣ серебряной—горитъ-переливается она на утреннемъ солнышкѣ; а то ударитъ по серебру цвѣт-

ной радугой, глаза бы проглядѣлъ—не наглядѣлся бы ввѣкъ!.. А сердце все тише-тише бьется въ груди и вдругъ замретъ словно! И вдругъ тучка сѣрая затуманится надъ горой, въ ширь кругомъ пойдетъ, нахмурится, закрутитъ кругомъ, окутаетъ святыя маковки и ударитъ громовой непогодой!

— А ковчегъ Ноевъ?—спрашивали невѣстки.

— Никакого ковчега нѣту... да хоть бы и было—не видно,—говорилъ солдатъ:—такая вышь, что и орлинымъ глазомъ не оглядишь всего.

А самъ уже и набрюшникъ снялъ, чтобы способнѣй было казать роднѣ боевые рубцы кавказскіе... И на бедрѣ былъ рубецъ, и около соска тычокъ, и въ лѣвомъ плечѣ замѣтка побольше пятака мѣднаго, и тоже сквозная—на обѣ стороны!.. Казалось, все солдатское тѣло было осыпано тычками, рубцами и зазубринами „для памяти...“

— Ну, сватъ Аника, ну!.. — говорилъ Герасимъ: — какъ только въ тебѣ душа продержалась? Вѣдь ты, примѣрно сказать, грохотъ!.. Вѣдь ты, примѣрно говоря, весь—насквозь!.. Ей-Богу, мы тебя такъ грохотомъ и обзовемъ на селѣ, ты весь можно сказать усѣченъ, устрѣленъ... Обнимемся!.. Теперь ежели крестный ходъ, али другое что, сейчасъ мы тебя въ первую голову, первую святыню въ руки тебѣ, крестъ тамъ, али Мать Божію... Гордыня всему селу!—И оглядѣвъ разомъ всю фамилію, сватъ Герасимъ добавилъ внушительно:

— Вотъ какъ устрояетъ Христосъ: и турочекъ покололъ, и черныя моря переплылъ, и Шамиля забралъ, и Араратъ гору видѣлъ, и на насъ глядитъ!.. А мы, бабы, видѣли что? Кого закололи, что переплыли, что слышали?..

Но бабы не отвѣчали дядѣ Герасиму, онѣ стояли кругомъ стола, облокотясь на руки, и не сводили дружескихъ, наполненныхъ слезами, глазъ со стараго воина. Во всю жизнь, всей роднѣ, никому того и въ сонныхъ грезахъ не видѣлось, что наяву есть, что въ свѣтѣ дѣется! И все любовнѣе, почтеннѣе представлялся родной компаніи щетинистый старичокъ. Казалось, и самъ онъ, какъ Араратъ-гора, повитъ цвѣтной радугой,—и „грудь горитъ рагаліями“, и волоса

серебрятся на вискахъ, и широкая лысина на головѣ блеститъ, отражая на себѣ свѣтъ горящей въ свѣтцѣ лучины...

— Да глядѣть что!—поправилъ Аникій Герасима:—воевать заставляли!.. Коли скомандуютъ, бывало,—пли!.. ты и плишь... и ничего не видишь въ дыму, и первое время ждешь, замирая сердцемъ: вотъ-вотъ самого сейчасъ плюнутъ!.. Да какъ свалили рядомъ котораго, какъ увидѣлъ кровь,—всѣ страхи отыметъ прочь,—хоть одинъ на сто!.. А то, бывало, этихъ чертей пошлютъ въ дугу гнуть, черкесовъ... Соберутъ всѣхъ, разставятъ колоннами, да какъ скомандуютъ: штрафованные впередъ!.. Да ружья возьмутъ, этакъ, на перевѣсъ, да и пошли-пошли, побѣжали!.. А они-то кишмя-кишатъ за камнями, тучей засѣли они... Кричатъ: „Алла!.. Алла!.. Алла—га!..“ А тутъ наскочутъ первымъ дѣломъ „штрафованные“.—Урра, братцы-ребятушки!.. И пойдетъ чесать... Кругомъ только и есть, что ревъ страшный, дымъ, кровь да говядина... Какъ Пречистая выносила вонъ и самъ не знаешь того, не помнишь... и долго ничего не помнишь, а всѣ жилочки такъ и подергиваетъ, и будто ледъ въ серединѣ... Вотъ и медаль есть за взятіе Ахульго, вотъ эта... Много костей уложено... спаси, Господи!

— Братецъ милый,—говорилъ Ефимъ, — ты теперь изъ моей одворицы ни ногой! Тутъ ты у меня въ избѣ и кончину примешь, если сподобитъ Господь... Живи здѣсь до самой смерти. Вотъ тебѣ столъ отцовскій, вотъ тебѣ лавка, вонъ тебѣ—печка,—вся изба тебѣ, братецъ!

— А я-то на что?—перебилъ Прохоръ.—Да я за брата-солдата душу свою положу, я тоже отцовская кровь!.. И хоть изба у меня, братъ Ефимъ, похуже твоей, а печь лучше... всѣ старухи мою печку хвалятъ. А ты дѣлай по-братски, по-настоящему: пущай братъ Аника у меня полгода живетъ, да у тебя полгода и такъ до самой нашей кончины... А придетъ часъ, уговоримся, чтобы похоронили насъ рядомъ всѣхъ. Пущай говорятъ люди: „Вотъ три брата въ пескѣ лежатъ—мужики по бокамъ, а солдатъ въ серединѣ; хорошо жили братья, дружно, чтобы и всякому молодому было примѣрно!“.

— Хорошо, ловко, сватъ Прохоръ! Мѣтко сказалъ, хвалю!—вмѣшался дядя Герасимъ.—А только, Аника Митричъ, и мое слово выслушай: ужъ ты съ братьями какъ знаешь дѣлайся, а мой домишко не обойди, милости прошу, пожалуй, живи хоть все лѣто... Хоть два лѣта живи, хоть четыре! Гороху у меня осталось отъ прошлаго года четыре мѣры, да жита есть съ полсусѣка... Будемъ сыты до новаго. А какъ внучонка Терешку женю, пойдетъ и лучше того!.. Я, сватъ Аника, хоть и не слыву богачомъ, а Господа Бога благодарю каждый день по три раза.

— И къ намъ, дядюшка Аника, милости просимъ! И къ намъ, дѣдушко Аника, не позабудь!—говорили другіе свойственники въ одинъ голосъ.

Солдатъ только кланялся, благодарилъ родичей да расправлялъ самодовольно усы. Въ глазахъ его горѣли огни веселые, не даромъ онъ за десятки лѣтъ, почти каждый день, оживлялъ въ памяти воспоминанія о родной сторонѣ, рвался душою къ ней. И вотъ она, родимая, ласковая сторона! Въявѣ сидитъ онъ на родительской лавкѣ, за родимымъ столомъ, увѣшанный въ полугрудь боевыми отличіями, вино пьетъ, закусываетъ, кругомъ вся фамилія; всѣ любуются на него, всѣ зовутъ нарасхватъ. Вотъ она родина милая, привѣтливая! И все давнишнее позабытое, вдругъ всколыхнулось на старой памяти, колыхнулось—ходуномъ заходило!.. Вотъ и столъ тотъ самый, на которомъ онъ ѣлъ блинки махонькій, вонъ и закоптѣлый горбатый образъ стоитъ въ образницѣ, которому онъ уже пятилѣткомъ такъ крѣпко-усердно молился...

— Друзья мои, братья мои родимые, невѣстки, свойственники, благодарю отъ сердца!—говорилъ солдатъ дрогнувшимъ голосомъ.—Не побрезгуйте, дайте боевому солдату еще поцѣловать васъ въ уста за добрыя рѣчи...—И солдатъ, поднявшись изъ-за стола, обнялъ и поцѣловалъ первѣе другихъ невѣстку Ирину Федоровну, а потомъ всѣхъ другихъ по порядку.

II.

Подошли сѣнокосы, веселая и горячая пора для деревенскаго люда; мужицкая рать выбралась изъ села въ луга, на честной бой съ травой-муравой, съ цвѣтами лазоревыми. И пошла потѣха по рѣчнымъ заливнымъ берегамъ, по лѣснымъ лядинамъ и по долинамъ!.. На селѣ остались подростки неумные, да старики, да старухи ветхіе. И какъ ни храбръ былъ по духу и по виду солдатъ, а сдался... не пригодился онъ въ мужицкую рать—луговую, несмотря на то, что и Ефимъ, и еще этакихъ же пять стариковъ, легко управлялись съ косами въ лугахъ, и всталъ въ ряды со старухами да съ подростками; и сноровки мужицкой не было въ немъ, и силы не было. И на огородѣ-то горе съ нимъ: чуть поворочаетъ граблями, анъ и умыкался! Знать, осталась сила на поляхъ на турецкіихъ, у горъ Араратскіихъ?.. Одна Анна-Прохориха не вѣрила этому, говорила она своимъ пріятельницамъ:

— Ёнъ, бабыньки, все сможетъ, коли захочетъ, да хотѣнья-то у него къ дѣлу нѣту!.. И сила у него есть большая, да ёнъ не кажетъ ея... Ёнъ привыкъ на всемъ на готовомъ!

А можетъ, баба по своей глупости зря брехнула жестокое слово, поклепала лѣнью на стараго воина? Ладно, что не много на селѣ людей было, которые Аннѣ вѣрили, хоть едва ли солдатскую славу, долгими годами накопленную, кирпичнымъ столбомъ поставленную могла свалить баба,—того, кажись, и на свѣтѣ не было...

Однако, всего семь недѣль прошло, какъ проживалъ Аникій на родной сторонѣ, а ужъ извѣдалъ языка Анны-Прохорихи. Гостя у брата Прохора, старый солдатъ былъ такъ зазорно обруганъ невѣсткой Прохорихой, что въ тотъ же часъ, забравъ свою котомку съ фигурной шкатулкой внутри, гдѣ береглось имѣніе солдатское, забравъ шинель, черемуховый посошокъ,—ушелъ гостить къ свату Герасиму; а черезъ недѣлю—опять къ Ефиму. Да и тутъ, проживъ двѣ

недѣльки, старый солдатъ примѣтилъ что-то неладное. Раза три Ефимиха такъ косо поглядѣла на гостя-воина, что тотъ не зналъ, куда и дѣться отъ этихъ взглядовъ.

Да и не показалось ли это солдату, не примерещилось ли? Можетъ статься, у Ирины Федоровны такой непривѣтный взглядъ отъ природы? Да и чего Иринѣ коситься на старика? Онъ никого не трогаетъ, живетъ себѣ тихо-смирно. Правда, толкуютъ глухо сосѣди, что если онъ дѣлиться задумаетъ, то возьметъ сполна свою „отцовскую“ долю. Да то брешутъ праздные долгоязычные люди!.. Можетъ статься, у стараго солдата и въ мысляхъ про дѣлежъ не бывало? И точно,—не было этого на мысляхъ; старикъ видѣлъ, что братья ему ни въ чемъ не отказываютъ, послѣднимъ дѣлятся; другое совсѣмъ дѣло — невѣстки, ихнія жены. Ну, да ужъ если съ тысячами разныхъ людей привелось на вѣку уживаться, то не будетъ труда ужиться съ единой Ириньей Федоровной; того больше можно ужиться, что хоть взглядъ и косоватъ-сердитъ у ней подъ часъ — отъ природы, да собачиться по-собачьи она не умѣетъ, а если кого норовитъ донять, то тишкомъ дойметъ, изъ-за чужой спины глядя...

А на Анну онъ, старый солдатъ, послѣ ссоры и чихать не захочетъ! Не даромъ онъ, когда уходилъ съ котомкою изъ ея избы,—погрозилъ, что „во вѣки вѣковъ къ ней и носа въ избу не просунетъ!“

Всѣ полюбили старика за его доброту, за веселость души; шутками подчасъ онъ такъ и сыпалъ на разныя стороны, и все такими, что никого не обидитъ, не зацѣпитъ. Ужъ точно, пожилъ человѣкъ не зря на землѣ, походилъ по ней незадаромъ!.. А какъ увѣситъ грудь „арденами“, какъ пройдетъ къ церкви улицей,—глядѣть любо-дорого!.. Да это одна сторона человѣческая, а и другая есть... Конечно, все зависѣть будетъ, кто и какъ поглядитъ на нее.

Уже и три мѣсяца прошло, и четыре, какъ жилъ солдатъ на селѣ. И не только черезъ Ирину-Ефимиху, у которой онъ всего больше жилъ, а черезъ Анну-Прохориху многое-

другое стало вѣдомо селу про солдата. Узнали, что онъ не до однихъ крестовъ-медалей „достукался“ своей службой, а и повыше того!

Прохориха говорила пріятельницамъ:

— Передъ тѣмъ, бабыньки, какъ принесло его на наше горе въ село, жилъ онъ за свои выслуги,—да и выслуги-то вѣрно фальшивыя,—у царя въ Божьемъ домѣ, пилъ-ѣлъ государское—дармовое! Да бѣсъ большой сидитъ въ немъ... Я-то испознала этого бѣса,—такой онъ, что клюкою до роговъ не достанешь!.. И тамъ солдатъ такъ же, какъ у меня въ избѣ,—не ужился?.. Пенсіенъ, вишь, приходился ему большой, и пенсіенъ назадъ взяли. И пошло у него то самое дѣло изъ-за гороха! Наварили, вишь, въ Божьемь домѣ гороха котелъ, а въ горохѣ-то жукъ... Нашъ-то боецъ взялъ да и заперъ жука съ горохомъ въ бутылку, да съ бутылкой-то шасть къ царю!.. На его бѣду—царя дома въ тотъ часъ не случилось, онъ къ набольшому побѣжалъ, который послѣ царя, сейчасъ разбудилъ того ночью о вторыхъ пѣтухахъ... „Жить, говоритъ, нельзя вовсе,—то кисло наварятъ, то горько, а то, вотъ, и самого жука заварили“!.. Сейчасъ назвали тутъ дохторей, жука посадили въ шпиртъ, потрошить стали, и какъ испотрошили всего, объявилось, что жукъ—былъ не жукъ, а тоже горошина, только съ крыльями!.. Тутъ за нашего-то и уцѣпились всѣ: вожжали его, вожжали, да за бунтъ и выгнали вонъ изъ Божьяго дома... Вотъ онъ и вспомянулъ насъ въ ту пору, и объявился здѣсь! А что рагаліи эти у него на груди, такъ и на меня ихъ можно прицѣпить, и не будетъ хуже...

— То-то вотъ мы умны заднимъ временемъ! — говорили бабы,—до этакихъ чиновъ достукаться, до Божьяго дома дойти и прахомъ все! Да насъ бы туда засадили, мы бы слова ввѣкъ не промолвили, сидѣли бы, будто мухи... Тоже вѣдь и у васъ свои семьи, своихъ ртовъ довольно. Еще кабы капиталу принесъ, разговоръ бы другой. А то, баютъ мужики, что чего добраго заведетъ онъ раздѣлюцію съ братьями... Иринья Федоровна и то скорбитъ сердцемъ, говоритъ: „Хоть какое

бы ни на есть рукомесло ему, чтобы на глазахъ въ избѣ не вертѣлся!..“

Повстрѣчала Анна Ирину Федоровну на улицѣ.

— Ну, что,—говоритъ,—какъ солдатище живетъ у тебя? Не воюетъ? Не проситъ ли отцовской доли? Вчера бабы сказывали, что надумалъ онъ затѣвать раздѣлюцію, чтобы изъ отцовскаго наслѣдья дали ему по всякой штукѣ, и тогда выстроится онъ на краю села самъ собою...

Подошли бабы-пріятельницы, повторили отчетисто догадку какого-то мужика о раздѣлѣ Аникія съ братьями...

Ирина Федоровна во все лицо вспыхнула. Это была костлявая сѣдая старушка, лѣтъ шестидесяти-семи; на селѣ ее если и не ставили образцомъ хозяйки и первоумной бабой, то и изъ десятка ее нельзя было выкинуть; домъ она „держала въ рукѣ“, языкомъ не молола много и даже невѣстку, жену большака-сына, умѣла заставить остерегаться себя,—словомъ, старушка была не послѣдняя.

— То-то онъ, песъ бритый, такъ косо и поглядѣлъ на меня вчера!—воскликнула, догадавшись во всемъ, Ефимиха.— Вонъ у него что на мысляхъ лежитъ?.. того и ждала за хлѣбъ, за соль!.. Не даромъ у меня голова чешется третій день,—самая маковка такъ и зудитъ-зудьмя, вотъ тебѣ и радость на маковку!.. Да подумалъ бы онъ, губобривецъ, дѣлить-то что? Вѣдь, бабуньки, когда его забривали подъ красную шапку, такъ у свекра-то, у покойника, всего одна избенка была, съ однимъ окошкомъ, а народу одиннадцать человѣкъ въ избѣ жило! Еще меня только за годъ до этого къ вамъ на село привели, какъ теперь оглядаю все: коровенка пѣгая на дворѣ, подтелокъ, двѣ овцы, да кобыленка хромая... Вотъ!.. А въ амбарѣ хлѣбномъ—хоть шаромъ покати! Если и прахъ-то собрать отъ прежняго, такъ на лопатѣ мало мѣста ему. Да у меня своихъ—роженныхъ трое, да у невѣстки трое... да невѣстка, да дѣдъ, да я,—девятеро!.. Пущай потягается съ нами... А я и на судѣ такъ скажу: судъ правильный, мы отрѣзанные ломти отъ солдата, и что видятъ люди у насъ, все своимъ горбомъ выставлено!—

Ирина заплакала.—Вотъ, бабуньки,—говорила она сквозь злыя слезы:—не даромъ пословица складена: „не поивши, не кормивши—змѣю не вырастишь...“ Вотъ... покормила четыре мѣсяца, и змѣя съ ухватъ выросла, ухватить хочетъ все!..

— Такъ, такъ, Федоровна!—соглашались бабы.—А есть и другая пословица: „храбрый самъ наскочитъ, а на тихаго сатана нанесетъ“... Вотъ и вы: жили тихо-неслышно, все шло хорошо у васъ...

Но Ирина Федоровна уже не слушала бабъ, поглотилась горемъ своимъ и сыпала горячей ѣдкой рѣчью на всю сельскую улицу. На кучку бабъ еще пришли бабы; мужикъ одинъ подошелъ, тотъ самый, что надумалъ о „раздѣлюціи“...

— Нѣтъ, солдатское сердце, постой, обожди! Шалишь, не объѣдешь меня! Дай-ко я перво сама поведу разговоръ: что въ домъ отъ тебя? Что ты намъ—косецъ аль орецъ? Аль любоваться намъ на тебя будто въ зеркало? А вѣдь кусокъ-то, бабуньки, онъ поѣдаетъ не меньше Ефима, еще у Ефима трехъ зубовъ нѣту, а у солдата всѣ цѣлы, да вотъ какіе широкіе!.. У меня Ефимъ трубку курить ходитъ въ сѣни, и сынъ Яковъ—въ сѣни, а онъ, щетина, нарочно усядется подъ самые образа и задымитъ, какъ труба попова, ядищемъ горькимъ... Охъ, надоѣлъ по горло! Смолоду я не любила солдатовъ, и теперь не люблю, да вотъ нанесла нелегкая подъ старость лѣтъ—живи, не своди глазъ съ него!.. Не знаю, за что только Царь небесный прогнѣвался на грѣшницу, ни у кого, кажись, не украла, никого не убила?.. Намедни я ему намѣтку дала: „Ты бы, говорю, Аника Митричъ, хоть какое ни на есть рукомесло изобрѣлъ себѣ, хоть немного тебѣ и надо, да и рукомесло не сидитъ за плечами. Вотъ хорошо бы, говорю, кабы взяли тебя звонить въ святые колокола, али бы на мельницу—глядѣть за умоломъ?..“ —А на что мнѣ, говоритъ, мельница твоя, Федоровна?—Такъ-таки и сказалъ, бабуньки, слово въ слово...—Али я, говоритъ, затѣмъ отечество заступалъ животомъ, чтобы покончить жизнь въ мельничной шестернѣ, али сверзиться съ коло-

кольни? Спасибо, говоритъ, что заботу имѣешь!—А самъ-то на лавкѣ сидитъ, и будто у него выпитое въ головѣ... потому что куда-то ходилъ на село передъ этимъ...—А рукомесла, говоритъ, я и безъ того знаю всякія: и бороды брить, и рубахи шить, и сапоги чеботарить; да только кого я брить буду, кому сапоги тачать? Коли вся сторона здѣшняя въ лаптяхъ ходитъ, а бороды не только не бреютъ, а и не чешутъ! Да и рубахи шить не къ лицу: бабамъ и дѣвкамъ зазорно будетъ... А самое главное рукомесло у меня—война! Воевать—хоть сейчасъ готовъ! Пущай только царь слово молвитъ: „А ну-ко, старики, тряхните костылями въ заступу отечеству!"—„И сейчасъ бы, говоритъ, взяли мы штыки въ руки, и пошли бы съ флейтами, съ барабанами,—барабанить врага отечества! Э-эхъ, говоритъ, Федоровна, кабы я тебя у Араратъ горы въ тѣ поры стрѣнулъ!.." Самъ смѣется. А у самого-то, бабуньки, и усы ходятъ, и глаза свѣтятъ, индо страхи меня обуяли. Никого въ избѣ нѣту... пырнетъ, думаю, наединѣ меня, грѣшницу, ухватомъ али сковородникомъ въ бокъ, тутъ и конецъ мнѣ безъ покаянія! А ему что?.. Ему живыхъ людей бить не диво, ихъ пріучали на это. Вотъ, сердешныя, какого гостя нанесла поганая сила!..

— Обусурманился, знать?..

— И-и, обусурманился какъ, и усы ходятъ, и глаза свѣтятъ, инда морозъ по спинѣ заходилъ у меня!—„Какъ начнемъ, говоритъ, барабанить, такъ только пухъ да перья посыпются, вотъ наше рукомесло!"

— А войны-то неслышно близко?

— То-то и горе, ласковыя, что не слыхать про нее... Ужъ я и то молюсь Богу: „завари, молюсь, уху, Батюшка, чтобы и нашему ершу было мѣсто!.."

— Ну, Федоровна, будутъ у васъ дѣла!

— Ой, будутъ,—соглашалась Ирина,—такія будутъ дѣла, какихъ и не было никогда! Чуетъ сердце-вѣщунъ... Вѣдь насѣлъ, какъ жерновъ на шею,—у Прохора недѣлю выжилъ, у Герасима восемь денъ, а ко мнѣ прилипъ, безъ конца... Этакъ, пожалуй, задумаетъ весь вѣкъ изжить у меня? Да

нѣтъ, обожди, молодецъ, и я устрою конецъ... Не велика мнѣ отъ тебя радость!

— Охъ, правда, какая радость, коли самъ на зло подымается!—говорили бабы.—Ужъ коли всѣ братья по отцу-матери, такъ у всѣхъ и жить надо поровну: у васъ мѣсяцъ да у Прохора мѣсяцъ, а тамъ бы и на свои хлѣбы сѣсть! А онъ ваши углы разносить собирается! Ой, быть грѣху неизмѣрному!

III.

Вечеромъ въ избѣ Ефима Митина разыгралась такая буря, какой отъ постановки избы и не было въ ней. Самъ мирный и покладистый старикъ Ефимъ вѣроломствомъ брата-солдата былъ задѣтъ „за самое за живое"; онъ ходилъ, горячась, взадъ-впередъ по избѣ, отъ стола къ печкѣ, грудь у него дрожала, глаза нехорошимъ отсвѣчивали. А Ирина Федоровна, будто колонна „штрафованныхъ" съ ружьями наперевѣсъ, бѣгомъ-скачками наступала къ заробѣвшему непріятелю... „Непріятель", старый солдатъ, совсѣмъ опѣшилъ отъ неожиданности, забылъ боевую выправку, и сидѣлъ на чуракѣ близъ дверей съ опущенною внизъ головою, съ уставленными въ полъ глазами.

— Недобросовѣстно этакъ!—говорилъ Ефимъ глухимъ голосомъ:—этакъ считать будемъ, мало ли до чего насчитаемъ! И я бы этакъ пришелъ бы, примѣрно сказать, къ свату Герасиму, али къ куму Захару:—давай половину мнѣ! А Господь-то, примѣрно сказать, для чего есть? Ты, братъ Аника, подумай перво: я отказалъ тебѣ въ чемъ, не поступился чѣмъ? Эхъ, совѣстно... довольно совѣстно!

— Да что ты, братко,—говорилъ Аникій:—самъ ты одумайся!.. Али ты думаешь, что я двадцать-четыре года съ полками ходилъ, такъ и оскотинѣлъ совсѣмъ?.. Ни за что вы на меня съ бабой взъѣлись! Палаты я видѣлъ, дворцы золотыхъ много видѣлъ, и ничему не завидовалъ, всякому, знать, свое счастье дано!.. Такъ неужто я послѣ этого на вашъ убогій уголокъ воззрился?

— Воззрился!.. Воззрился!—кричала осиплымъ отъ брани голосомъ Ирина Федоровна:—всѣ бабы сказываютъ, Селифанъ-мужикъ сказывалъ, и голова у меня чесалась три дня, и сонъ я видѣла—змѣя!.. Будто змѣй вотъ изъ этой самой щелки въ полу кажетъ голову... а самъ все шипитъ-шипитъ, и будто самъ укусить меня хочетъ... Твои дѣла, бритогубецъ, ты змѣй! Мало тебя Ефимъ пробираетъ, не этакъ надо тебя! Вѣдь мнѣ даже улицы стыдно было, амбаровъ стыдно, какъ бабы да Селифанъ сказывали про тебя... Не отпирайся, все знаю! Хочешь ты у насъ половину хозяйства отнять, да у Прохора половину... Отъ насъ свинью да овцу, да корову забрать собираешься, а отъ Прохора—нетель, двухъ курицъ и пѣтуна! И чтобы отъ ржи, отъ овса, отъ жита, отъ бревна—отъ всего по долькѣ тебѣ, и выстроишься ты на краю села намъ въ насмѣшку... Чьи это слова? Чьи задумки?

— Арина Федоровна, невѣстка, да я и въ мысляхъ этого не держалъ никогда, хе-хе-хе!..—оправдывался солдатъ, засмѣявшись сквозь слезы,—на что мнѣ изба на краю, да еще съ пѣтухомъ, со свининой?.. Я не привыкъ къ хозяйству, я привыкъ вольной птицей жить: шинель подъ бокомъ, кулакъ подъ головой, а сверху небо... Вотъ моя жизнь! И съ чего ты повѣрила этой сплеткѣ? Съ Селифаномъ я и трехъ словъ не молвилъ. Я не пайщикъ въ вашемъ домѣ. И за то спасибо отъ сердца, что бережете меня, на улицѣ не оставили... Экую сплетку нехорошую выдумали, экій грѣхъ завели пустые люди! Вотъ, Федоровна, крещусь,—гляди!.. Ничего не знаю, не вѣдаю. И ничего мнѣ по самую смерть не надо отъ васъ, только сами вы меня уголка теплаго не рѣшите. Зима скоро, холода грянутъ, вьюги; заноютъ кости солдатскія, тепла захотятъ на печкѣ...—Солдатъ вдругъ зарыдалъ глухо, обидно было ему переносить напраслину.

— Не повѣрю тебѣ, бритая губа, не повѣрю!..—говорила Ефимиха:—хоть ты коровой реви, хоть ногой крестись на святыхъ, не повѣрю, ты это глаза намъ отводишь!

Сынъ Ефима—Яковъ, бородатый мужикъ, вступился за

дядю, пожалѣлъ старика. Буря утихла, но послѣ нея у всѣхъ было горько внутри. Такъ прошла ночь, а на утро солдатъ захватилъ имѣнье свое: мѣшокъ со шкатулкой, шинель, черемуховый посошокъ, и перебрался въ избу къ брату Прохору. Ни Ефимъ, ни Ефимиха слова ему вслѣдъ не молвили.

IV.

Прохоръ, развѣдавъ дѣло, не повѣрилъ и съ пылинку грязной уличной выдумкѣ. Осудилъ невѣстку Иринью, а того больше брата Ефима, что умный человѣкъ замѣшался въ самое дурацкое дѣло, повѣрилъ глупой брехнѣ... Анна молчала.

— Не тужи, братко,—говорилъ Прохоръ;—будемъ жить помаленьку! Вѣдь и тогда, кабы не погорячился ты самъ, все бы хорошо было!

И все у братьевъ хорошо пошло. И время пошло за недѣлей-недѣля. Настала глухая, хмурая осень, зима за нею; зима удалась холодная, вьюжливая. Да, хорошо была складена печка у Прохора: какъ заляжетъ исколотый штыками солдатъ на эту теплую печку, будто въ рай попадетъ; и кости не ноютъ, и на душѣ мягко! И понимало солдатское сердце, что за десятки лѣтъ, за тысячи верстъ, тянуло его не куда-куда, а въ это самое мѣсто, на широкую печку, на разостланную по печкѣ лучину... А по улицѣ гуляетъ вьюга-метелица, шумитъ-гудитъ, громыхаетъ на крышахъ тесинами; до того дико свиститъ шальной вѣтеръ, пробѣгая сквозь сельскіе частоколы и изгороди, словно вѣдьма плачетъ по лѣшему, будто покойники-грѣшники на раскаленныхъ свистулькахъ наигрываютъ!.. Да никому не страшно въ Прохоровой избѣ: горитъ дубовая лучина въ свѣтцѣ,—свѣтло кругомъ, тепло кругомъ, тихо, мирно...

И долго тянулась зима та морозная, вьюжная; лишь подъ Марью Египетскую первымъ тепломъ завѣяло, да и завѣяло—не обрадовало; изъ-за теплыхъ морей весна куриными шагами подвигалась къ селу. Извелись кормовые запасы, хлѣбъ извелся, огородные запасы на убыль пошли; а по оврагамъ

горами лежали снѣговые завалы. Бѣдные люди сами на себя стали раздражаться отъ недостатковъ. Подобралась недостача и къ Прохору Митину, и у него урѣзка пошла во всемъ. Но и весь постъ Великій, и Святая, и Ѳомина недѣля прошли хорошо. Кипѣло гдѣ-то, бурлило, рвалось наружу, да не могло вырваться. И, можетъ статься, такъ бы и не вырвалось никогда, если бы не вздумалось свату Герасиму, спустя недѣлю по Красной Горкѣ, внука Терешку женить. Кажется, и не время было, по недостачѣ во всемъ, да мало ли чего на свѣтѣ не вó-время дѣется!..

Сватъ Герасимъ изловчился въ голодушную пору удивить „всю окружную". Запродалъ сорокъ дубовыхъ бревенъ, восемь кросновъ холста женина, въ долги набралъ, гдѣ только вѣрили, и даже тамъ захватилъ, гдѣ и самъ тому за недѣлю не вѣрилъ... По пословицѣ: одной пулей шесть медвѣдей зашибъ! Зато и праздникъ вышелъ, до осени вспоминали люди объ этомъ праздникѣ!.. Нашлись и такіе, что и посмѣялись отъ сердца, ну, да вѣдь мало ли чему не смѣются иные люди!

Герасимъ созвалъ всю родню, какая только была въ приходѣ: племянницъ, племянниковъ, свояковъ, шуряковъ, крестниковъ, сватовъ, сватій, такъ разныхъ друзей и хорошихъ знакомцевъ. Въ головѣ гостей были брательники Митины: Ефимъ съ Ириной, Прохоръ да Аника Дмитріевичъ. Паренымъ, запеченымъ, ужареннымъ — были два стола изукрашены-убраны; водки три ведра выдвинуто! Аникія, какъ самаго почетнаго, „увѣшаннаго", посадили за столъ подъ самые образа. Любо поглядѣть было на нарядное свадебное застолье! Одной только Анны-Прохорихи не было на пиру, были у свата Герасима съ нею какія-то перетычки давнишнія. Зато тутъ же при всѣхъ гостяхъ и при самомъ Прохорѣ Герасимъ сталъ похваляться, что ни на какой пиръ во вѣки вѣковъ онъ Анну-Прохориху не позоветъ къ себѣ, и самъ къ ней въ избу не заглянетъ глазомъ до самой Анниной смерти.

— Ужъ ты, сватъ, Прохоръ Митричъ, хочешь на меня сер-

дись, хочешь нѣтъ, — говорилъ въ простотѣ чувствъ Герасимъ,—а я правду отрѣжу: никогда твоя женка въ ладахъ съ людями на селѣ не живала! Ядъ она, змѣя моховая!.. Тогда, въ глаза при благочинномъ отцѣ Никанорѣ, при всемъ мірѣ, меня, стараго человѣка, она остригла словно бритвой... во вѣки вѣковъ не забуду!.. И хоть самъ знаю,— великій грѣхъ беру на душу, а пущай! Змѣя моховая!..

— Да, оно... вѣрно, вѣрно! — согласился Прохоръ,— есть отъ ихней природы въ Аннѣ, моховой змѣевщины... А только, стало-быть, сватъ, ау!.. Стало-быть, вѣкъ коротать надо вмѣстѣ, никуда мнѣ отъ ней ни уйти, ни уѣхать!..

Пиръ подымался горою; гостямъ поминутно дѣлалось „горько", молодые подслащивали ту горечь стыдливыми поцѣлуями. Пироги подавались на столъ охапками, чарка ходила кругомъ неустанно. Сватъ Герасимъ охрипъ, потчуя и упрашивая гостей. Брательники Митины не отставали отъ общей честной компаніи, тоже выпили сколько душа могла.

Охмелѣвшій Ефимъ Дмитріевичъ цѣловалъ брата Аникія въ щетинистые усы, восхвалялъ его боевыя заслуги и пенялъ, что солдатъ за всю зиму морозливую, за всю весну вѣтряную не побывалъ въ избѣ у него.

— Братецъ-солнышко,—говорилъ Ефимъ,—коли что злое я сдѣлалъ—сдѣлалъ безъ умысла, прости меня Христа ради! Я не только тебя—родного, я всякаго человѣка жалѣю сердцемъ, всякому уступку дамъ, потому — всѣ мы люди, всѣ братья, всѣ на время здѣсь на землѣ, будто въ гостяхъ на станціи!.. А придетъ часъ, позовутъ насъ отсюда, и спросятъ... Про все спросятъ!.. А что я отвѣчу, коли даже кровь свою, родного брата приберечь не смогъ? Братецъ, всю зиму я, какъ залягу на печку, какъ завоетъ буря на улицѣ, про тебя и задумаюсь: какъ-то братко Аника тамъ? И заболитъ у меня душа, и заболитъ!.. А гордыня проклятая: гордился къ тебѣ придти поклониться... А вотъ на же ей... поклонюсь!.. При всемъ міру поклонюсь!..

— Не надо, не надо!—кричалъ Аника:—я и такъ не сержусь... Спасибо!

Гости заполошились, но Ефимъ уже стоялъ посреди избы на колѣняхъ:

— Родимый, Аника Митричъ, братъ! Прости меня,—говорилъ онъ,—прости отъ чистаго сердца... за гордыню. На міру прости, что въ избѣ было осенью!.. Пойдемъ сейчасъ ко мнѣ на одворицу: ворота открою настежь передъ тобой, избу открою... И будемъ мы жить безъ зацѣпокъ на этой станціи!..

Полюбилось гостямъ слово Ефимово, подняли они старика съ почетомъ, посадили за столъ, и того пуще пошло веселье братское, дружное. Одна Ирина Федоровна сидѣла угрюмо близъ печки и не пустила на душу братскую мировую, но и она, погодя, умягчилась и запѣла съ бабами пѣсню...

Хорошо стало Аникію отъ словъ брата, обнялись, поцѣловались они, и забыли навѣки шалую ссору. А сватъ Герасимъ, будто ерыга криводушный, будто сатана черный, ходилъ вкругъ стола со скляницею въ рукѣ, потчевалъ гостей, кого добромъ, кого нахрапомъ и силою. Одинъ изъ крестниковъ „не бралъ въ ротъ хмельного",—сватъ Герасимъ уже девять рюмокъ вылилъ ему за пазуху...

— Пейте, друзья закадычные! — говорилъ онъ гостямъ,— на то оно и вино есть. А кто не будетъ пить — за шиворотъ буду лить! Живой души не выпущу вонъ изъ избы, пока двухведерная не усохнетъ... а завтра еще ведерную! Пущай обо мнѣ слава идетъ по приходу: вотъ-де есть человѣкъ на округѣ!..

Но всему бываетъ конецъ на землѣ; ноги свата Герасима стали гнуться, угощальная ярость его сама собой ослабѣла; гости двинулись къ выходу; молодыхъ повели въ отдѣльную горницу.

А сватъ Герасимъ крѣпко держался за свата Аникія, еще просилъ пить на здоровье, хвалилъ его, ощупывалъ его раны, считалъ медали на груди, крестъ и жалѣлъ, что „одного у тебя не хватаетъ, сватъ, Егорія"... Насилу старый солдатъ вырвался изъ объятій хлѣбосольнаго свата, и когда

вышелъ на крыльцо—уже смеркалось на улицѣ, и замѣтно было, что качаетъ виномъ солдата на разныя стороны.

Идя улицей, къ дому Прохора, Аникій запѣлъ тихонько старинную рекрутскую пѣсню:

Ужъ какъ шли-прошли солдаты молодые,
За солдатами шли матери родныя.
Шли... слезами путь-дорогу поливали,
За слезами свово горя не видали...
Говорили тутъ солдаты молодые:
„Полно плакать, наши матушки родныя!..
Не угнаться вамъ въ путинушкѣ за нами,
Не полить вамъ всю путинушку слезами“...

Подходя ближе къ дому, Аникій Дмитричъ задумчивый и жалостный мотивъ пѣсни смѣнилъ на громкій-воинственный, запѣлъ такъ, что слышно стало по всѣмъ задворьямъ:

Авдокимовъ генералъ
Много турокъ въ плѣнъ забралъ.
По горамъ твоимъ, Кавказъ,
Гремитъ славушка про насъ!..
За рѣкою за Лабой
Мы дрались, турка, съ тобой.
По горамъ твоимъ, Кавказъ,
Гремитъ славушка про насъ!..
Гремитъ слава трубой
За Курой и за Лабой,
Гремитъ на весь Кавказъ—
Всему свѣту на показъ!..

И чѣмъ дальше пѣлъ старый воинъ, тѣмъ сильнѣе крѣпчалъ его обрывчатый голосъ, плотнѣе охватывали сердце боевыя воспоминанія, кровь разжигалась, „усы ходили, глаза свѣтили“ и глядѣли куда-то вдаль черезъ сѣрое, подернутое вечернею дымкою поле, словно видѣли тамъ „силу турецкую“. Подойдя къ избѣ и занося свою, исходившую треть Турціи, ногу на ступеньки крыльца, чтобы идти на верхъ въ сѣни,—Аникій заигралъ наступленіе:

Та-ти—та-та! Та-ти—та-та!
Та-ти—та-а—та-а!..

И пока такъ наигрывалъ старикъ, держась рукою за переметку, ловя ногою ступень, какъ заслышалъ, что кто-то изъ подсѣнья обозвалъ его „пьяницей“.

Солдатъ нагнулся подъ крыльцо и увидѣлъ ругателя: въ подсѣньѣ ходила изогнувшаяся дугою Анна, ловя отбившагося отъ насѣдки цыпленка.

— Змѣя моховая!—сказалъ солдатъ, и больше ничего не прибавивъ, молча и упорно сталъ глядѣть въ лицо Прохорихи, будто сто лѣтъ не видѣлъ ея, а и увидѣлъ—не шибко обрадовался.

— Ну, чего глазищи дурацкіе выпятилъ!.. — забранилась Анна, нестерпѣвшая солдатскаго взора:—аль не узналъ меня спьяна?

— Узналъ!.. Какъ не узнать,—змѣя моховая! Та-ти-та-та! Та-ти-та-та! Та-ти-та-та-а!

— Чего горло-то дерешь, крупоѣдъ царевъ! Чего баламутишь всю надземельную! Аль обрадовался, что дармового вина налопался?

— Сватово пилъ, не твое... Пирогами закусывалъ. Во, гляди, какъ брюхо пирогами упичкано? На, потрогай меня за пирожное брюхо, хе-хе!..

— Тьфу, песъ!..

— Гляди-гляди: барабанъ словно!.. Хе-хе-хе!.. А у тебя подвело отъ зависти, какъ у щуки... Зависть тебя забираетъ, что не позвали туда. Хе-хе!.. Вотъ, ты бы не бранила свата Герасима, онъ бы и тебя употчевалъ до отвалу...

— Да хоть бы онъ мнѣ въ ноги кланялся, и то бы я не пошла къ нему въ домъ. Пущай къ мошельнику ходятъ мошельники!..

— Я царевъ слуга, баба!—сказалъ солдатъ строго.

— Ты — мошельникъ!— вскричала Анна, задорясь солдатской строгостью:—ты—разбойникъ! Ты живыхъ людей билъ до смерти... Крупоѣдъ!.. Стукни-те въ лобъ обухомъ, косаремъ-те задѣнь, лежебока, въ сердце... А я почестная баба...

— Эй, Анютка!—завопилъ задѣтый за живое Аникій:—ты эти слова про себя держи! Я солдатъ смиренный до времени, а придетъ время — начну рубить такъ, что отъ тебя только щепа полетитъ!

— Попробуй, головорѣзъ, рубить! — пуще закричала выскочившая изъ подсѣнья Прохориха, и обернувшись лицомъ въ глубь улицы, гдѣ виднѣлась чья-то понуро стоявшая лошадь, завопила изо всей силы:

— Люди добрые, помогите! Зарубить хотятъ бѣдную бабу до смерти... Руби, песъ!.. Вотъ голова—руби въ темя! Люди добрые, заступитесь!

— Я тебѣ покажу, шилохвостка!—кричалъ разгоряченный солдатъ, засучивая рукава мундира...—Я тебя—разнесу! Я изъ чертей дуги гнулъ, а изъ тебя бубликовъ чертямъ наверчу!...

— Убей, убей!—визжала Анна, наскакивая на Аникія грудью,—убей, дармоѣдъ, за мою хлѣбъ-соль, за добро!... На, рѣжь по горлу меня, тебѣ не въ диво!...

— Я почти тридцать лѣтъ царю прослужилъ вѣрой-правдой, знаки отличія имѣю, указъ имѣю такой, что и офицеру не всякому, да я объ тебя буду руки марать? Шалишь, вѣдьма, не отвѣдаешь солдатскаго кулака!... Это я тебя только постращать хотѣлъ.

— Нѣтъ, лысый, ты бей!—кричала, задыхаясь отъ злобы, Анна:—ты меня долбони... хоть стукни чуть-чуть, хоть только колупни меня, губобривецъ!... Люди добрые, поглядите, у своей избы хотятъ убить бабу...—жаловалась Анна скопившемуся на ея крикъ народу:—хотѣлъ топоромъ меня стегонуть за хлѣбъ за соль!...

Голосъ Прохорихи катился до самаго выгона.

На церковной колокольнѣ показался человѣкъ и принялся зорко оглядывать все село: гдѣ кричатъ—у кого задымило?... чтобы ударить пожарный набатъ на всю окружную...

Полсела собралось на шумъ. И хоть сердито бранился старикъ, но куда мягче Анны. А Анна сыпала на солдата всякимъ обиднымъ и горькимъ, будто изъ вѣялки. Двѣ ста-

рухи, слыша ея брань ядовитую, приняли сторону Аники Дмитрича, говоря, что и топора нигдѣ нѣту! Заступа старухъ больше того озлила Прохориху, вся злоба, накопившаяся въ бабѣ годами, вся желчь-горечь наслоившаяся десятками лѣтъ на печени, хлынули изъ невѣстки, какъ застоялая вода изъ болота. Всей улицѣ стало вѣдомо, что старый Аникій „братскіе куски доѣдать пришелъ на село, что онъ такой дармоѣдъ-лѣнивецъ, какихъ и не было никогда; и что спитъ онъ со свистомъ и медали на немъ фальшивыя, самъ онъ — Аника воинъ сказочный! Ничего никогда онъ не забиралъ въ полонъ, другіе за него забирали, а онъ только царскую крупу да сухари ѣлъ, да казенное вино пилъ изъ манерочной кружки, да шинель полковую дралъ зря... И чѣмъ дальше бранилась Анна, выходило все забористѣе, поганѣе. До того дошло, что бѣдный старикъ весь затрясся и со слезами на глазахъ тѣмъ только и отвѣчалъ невѣсткѣ, что махалъ руками, да приговаривалъ одной рѣчью:

— А и врешь ты, зубастая баба, на всю улицу срамишь ни за что! Я заслуженный солдатъ, всѣ люди видятъ заслуги мои...

— Ты не солдатъ!—кричала Анна:—ты—дармоѣдъ!.. Самъ онъ, бабыньки, говорилъ Прохору, какой онъ солдатъ хорошій... Послали ихъ воевать, анералъ кричитъ: пали, ребята, по туркіѣ! Они—хвать палить изъ ружья, а курковъ-то у ружей и нѣту, на печкѣ вояки лежали, да тамъ и оставили курки эти...

— А и врешь ты, Анютка,—оправдывался солдатъ,—совсѣмъ не про себя я это разсказывалъ!...

Прохоръ лежалъ въ избѣ на лежанкѣ, въ сладкой хмельной дремѣ, но и онъ заслышалъ гулкій шумъ подъ окошками, въ хмельномъ просоньѣ кинулся онъ изъ избы на улицу и, пожалѣвъ жену Анну, хотѣлъ заушить Аникія, кричалъ ему:

— Ты мнѣ не братъ! Ты медвѣдю братъ, всѣмъ звѣрямъ!.. Не смѣй обижать мою Анну... Не смѣй близко подходить

къ избѣ нашей; недостоинъ ты у насъ въ избѣ жить! Ходи по деревнѣ, какъ пастухъ, али нищій,—отъ дома къ дому!..

Тутъ ужъ не только старухи, а и всѣ молодицы и мужики вступились за воина, разсказали все Прохору. И Прохоръ, не долго думая, заушилъ въ ухо Аннѣ... А солдата схватилъ за руки и сталъ тянуть его въ избу, чтобы жить тамъ тихо-согласно до самой смерти... Но грѣхъ изъ невеличкаго ростка обернулся въ вѣтвистое-кряковистое дерево, зашумѣлъ листвой. Про мирную согласную жизнь не время было разговоръ вести; Анна вопила и причитала на всю улицу всякое жалостное.

Не прошло и часу времени, какъ солдатъ, съ котомкою на плечѣ, съ шинелью, съ посошкомъ въ рукѣ, среди сгустившейся вечерней темени, шагалъ улицей рядомъ съ братомъ Ефимомъ, въ избу къ Ефиму.

V.

— Охъ, ужъ надоѣли мнѣ эти гости бритые!—ворчала Ирина-Ефимиха, спустя недѣлю по Терешкиной свадьбѣ, но такъ ворчала старуха на первыхъ порахъ, что только сама и слышала свою рѣчь.

А Анна всѣ темныя силы своей души перенесла на солдата, при всякомъ случаѣ срамила старика на селѣ и травила на него Ирину. Хорошимъ пособникомъ въ этомъ подломъ дѣлѣ Аннѣ-Прохорихѣ была сельская голодуха. Все пріѣдалось у всѣхъ, и у Ефима на нѣтъ выходило въ сусѣкѣ.

— Объѣстъ онъ васъ въ круговую!—говорила Анна Иринѣ Федоровнѣ.—Я теперь и руками и ногами молюсь, что Богъ отнесъ отъ меня объѣдалу... А ты погорюешь, вотъ увидишь, какъ погорюешь! Мой совѣтъ: гони ты его вонъ помаленьку, на Ефима не гляди, сама гони!... Сегодня облай—на чемъ свѣтъ, завтра облай—на чемъ свѣтъ, послѣ завтра... онъ и выйдетъ! Пущай опять на войну идетъ. Одно горе, Иришенька: ты баба тихая. Вотъ кабы я,—я бы его опять

въ три дня выжила!.. На что другое Богъ не далъ мнѣ таланту большого, а на это далъ вволю... Дай-ко я зайду въ избу къ тебѣ, пособачу его хорошенько!...

— Да нѣту его въ избѣ,—говорила Ирина,—ушелъ на озеро рыбу ловить... Ужъ Богъ съ нимъ, пущай живетъ, сыты будемъ.

Но дня черезъ три Анна опять уловила Ефимиху... И не прошло и недѣли послѣ встрѣчи невѣстокъ, какъ между Ефимомъ и Ириной велся такой разговоръ:

— Все село смѣется на насъ,—говорила старуха,—всѣ бабы говорятъ въ одинъ голосъ: „у васъ своихъ девятеро, а вы еще нахлѣбника подцѣпили!“ Невѣстка Анна говоритъ, что онъ царю служилъ службу,—то пущай къ царю и обѣдать идетъ!...

— Глупая баба, да вѣдь онъ царю служилъ за насъ, братьевъ! Вѣдь, можетъ статься, кабы братъ Аника не попалъ на службу, то мнѣ бы забрили лобъ?

— И пущай бы тебѣ, дураку, забрили!... Умнѣе бы сталъ отъ того... А то борода, что метла, а ума нѣту. Этакіе хомуты надѣваешь, на цѣлый вѣкъ ѣдуна берешь!

— Грѣхъ тебѣ будетъ, Иринья, большой грѣхъ будетъ! Вѣдь какъ ни раскидывай, а братъ Аника воинъ почтенный, за всѣхъ за насъ стоялъ грудью, вѣрой-правдой служилъ! Можетъ, кабы не онъ да не другіе съ нимъ,—давно бы насъ турки забрали подъ свою власть? И ѣла бы ты маханину, а вѣровать бы тебя заставили мѣсяцу!...

— Перестань, Ефимъ! Это тебѣ солдата жалко; а я солдатовъ и смолоду никогда не любила... Ты за солдата горой стоишь, а меня хоть въ бучило готовъ?...

— Что мнѣ—въ бучило тебя? Я всѣхъ жалѣю—большого и малаго. А онъ старецъ бѣдный, изъяны у него на всемъ тѣлѣ. Вѣдь всѣ мы гости на этой станціи! А придетъ часъ, затрубятъ Христовы архангелы во рожки: „собирайтесь, православные, дошло у васъ до предѣла!“ И поведутъ насъ въ гробахъ на кладбище, а вся суета, жадность вся наша останется на этой станціи. Вотъ ты и пойми мозговиной!...

Братко Аника, можетъ статься, и двухъ годовъ не протянетъ...

— А ежели до ста годовъ протянетъ? А теперь ему всего шестьдесятъ седьмой идетъ.

— Никогда этого не бывало, Иринья! Это тебя жадность да грѣхи обуяли. Зло тебѣ глаза заслѣпило!..

— Это тебѣ, дураку, заслѣпило! Бабы сказываютъ, что иные и по двѣсти, и по триста годовъ живали!...

Ефимъ опустилъ голову.

— Ну, Иринья!—сказалъ онъ раздумчиво,—полвѣка я прожилъ съ тобой, а только теперь испозналъ, что ты сатана съ рогами!...

— Въ бучило кинусь!—вдругъ завопила старуха:—не хочу больше жить съ тобой, коли ты, старый быкъ, промѣнялъ меня на солдата!...

— Валяй въ бучило!—загорячился Ефимъ.

— И побѣгу!... Обожди маленько — сейчасъ!... Радуйся, песъ этакой, моей смерти. Вотъ, обмотаю тряпицей голову и кинусь сейчасъ съ обрыва!... Полно маяться мнѣ, настрадалась я на этомъ свѣтѣ съ тобой...

Ирина Федоровна стала искать тряпицу въ углу, чтобы обмотать голову.

— Живи, прохлаждайся!...—кричала она сквозь слезы,—радуйся на ширинѣ безъ меня. Набери еще лоботрясовъ этакихъ и разметай домъ по щепкѣ... они помогутъ, они умѣютъ!... Ни сѣютъ, ни вѣютъ они, а за столъ садятся въ первую голову. Сейчасъ вотъ соберусь, какъ на праздникъ, и убѣгу изъ села безъ оглядки...

— Да куда ты побѣжишь, вѣдьма? Вѣдь коли тебя узнаютъ, тебя и съ придачей не возьмутъ нигдѣ!

— Возьмутъ, разбойникъ, меня всѣ возьмутъ, да я-то никому не дамся! Я вѣкъ здѣсь буду... я только попытать тебя захотѣла, что покажется изъ тебя. Давно я примѣчаю, что ты меня хочешь изъ дома выжить, да нѣтъ, двои вѣки проживу—не уйду никуда, не на таковскую старушку наѣхалъ, дѣдъ!... Сама я васъ съ солдатомъ выживу помаленьку,

сегодня чуть-чуть, да завтра чуть-чуть, да еще этакъ... Вотъ сяду на лавку и буду сидѣть попадьей до вечера. Вотъ, погляди, какъ я сѣла!...

Ирина сѣла въ передній уголъ и стала прихорашиваться: одергивала фартукъ, рукава на рубахѣ, приглаживала выбившіеся изъ-подъ повойника волосы и вызывающе глядѣла въ глаза Ефиму.

Старикъ понялъ, что въ этомъ дѣлѣ не совладать ему со старухой, что завершитъ она зло, какъ задумала, и ничѣмъ не помѣшаешь ей въ томъ. Онъ ушелъ изъ избы, хлопнувъ сердито дверью.

Жалко было Ефиму брата Аникія, да и себя жалко; чуялъ старикъ, что не будетъ покоя ему отъ Ирины, а онъ долгіе годы все грезилъ о спокойной жизни, объ отдыхѣ сердца, и, казалось, спокой былъ близко... Да брата Аникія выдвинула жизнь издали. Теперь опять все надо начинать сызнова, сызнова Ирина, какъ ржа, будетъ ѣсть его, ѣсть не торопясь, но и не останавливаясь... Улучивъ часокъ—одинъ на одинъ—Ефимъ открылся во всемъ Аникію.

Отслушавъ Ефимовы рѣчи, старый солдатъ серьезно призадумался надъ своей горькой долей; и чѣмъ больше раскидывалъ въ головѣ мыслями, того нерадостнѣй дѣлалось на душѣ. Тамъ—позади, никакой опоры не было у солдата: минувшіе походы, бои кровавые, тысячи знакомыхъ лицъ,—все сномъ казалось теперь. Ужъ тамъ новые люди стоятъ, готовые на новые бои и походы, и въ старомъ солдатѣ тамъ не имѣютъ нужды! Незримо ушли годы, жизнь ушла, и въ головѣ отъ всего этого—сбродъ неразборный! Разсчитывалъ отдохнуть солдатъ отъ былой маяты на родной сторонѣ, отдохнувши — мирно залечь на воздвиженскомъ кладбищѣ, рядомъ съ родителями, да и тутъ ошибся на много!... Старику совсѣмъ ясно стало, что онъ „одинъ“ остался на свѣтѣ, хоть много родни кругомъ. И до того не по себѣ стало ему отъ думъ, что хоть бѣги опять въ линейные батальоны, и начинай служить—„новую!...“

А не послѣднимъ былъ Аникій Митинъ въ полкахъ госу-

даревыхъ, не даромъ и медали и нашивки дали ему, а попалъ въ бабьи лапы, и не видно стало заслуженнаго воина! Не великъ звѣрь—баба, да поди-ко съ ней: коли захочетъ, такъ ни крестовъ, ни медалей не признаетъ она, одно дѣло—будетъ грызть безустанно... И будь ты съ этакой лихой бабой хоть семи пядей во лбу, а затоскуешь тоскою смертной!

VI.

Годъ съ мѣсяцемъ прошли, какъ жилъ старикъ на селѣ, и видѣли его только разъ во хмелю, въ Терешкину свадьбу, но пришли дни, что всякую недѣлю не диво было увидѣть хмельного солдата на улицѣ.

— Ну, что, дѣдушко,—говорили сердобольныя бабы, встрѣчая старика въ такомъ видѣ на сельской улицѣ:—знать, не съ радости качаетъ тебя, какъ былинку? Знать, только зеленымъ виномъ и разводишь тоску? Охъ, на горе ты попалъ въ наше мѣсто!.. Охъ, на горькое-горюшко, на соленое!.. За твои бы заслуги тебя бы на рукахъ носить, а они въ грязь тебя топчутъ.

— Ничего—пройдетъ!—отвѣчалъ солдатъ бабамъ.—Богъ не безъ милости, казакъ не безъ счастья!

— Эхъ, родимый, какое счастіе тутъ!—дивились бабы.—Ужъ сирота ты горькая, ужъ поглядѣть на тебя—сейчасъ слеза прошибаетъ! Хоть бы умереть тебѣ!..

— Видали мы смерть!—отвѣчалъ солдатъ.—Дастъ Богъ до ста годовъ дожить—слава Богу, не дастъ—хоть сейчасъ!..

Тошно ему было съ избными бабами, тошно—съ уличными. Все у нихъ слова... слова, а души почти не было. Только и сталъ видѣть старый Аника сладкія минуты, когда въ кабакѣ засидится, или возьметъ бродничекъ и уйдетъ на озеро ловить плотву серебряную.

VII.

Тихо въ избѣ,—ни бабъ, ни ребятъ нѣту въ ней, всѣ по дѣламъ разбрелись. Только Аникій сидитъ на лавкѣ у стола,

изогнувшись надъ своей фигурной шкатулкой, и все раздумываетъ тѣ же старыя надоѣвшія думы: коли выгонятъ совсѣмъ изъ избы—куда дѣваться на старости? Ужели и впрямь, какъ пастуху, отъ дома къ дому ходить?

Перебираетъ солдатъ въ шкатулкѣ приборы походные: чугунную бритву, игольникъ, ножницы, кривыя блестящія шилья, пуговицы. Тутъ же, на днѣ шкатулки лежатъ десятка три старинныхъ пятикопеечниковъ, съ десятокъ серебрянниковъ, трехрублевка бумажная рыжая,—вотъ и все имущество стариковское, если не считать шинель, мундиръ съ медалями, да посошокъ черемуховый. Куда дѣваться съ такимъ имѣньемъ: какъ наладить новую жизнь со старыми пятаками, со старыми надорванными силами? И что ни возьметъ солдатъ въ руки, все напоминаетъ ему былую подневольную жизнь; не много радостей помнилось ему отъ той жизни, но лишь примѣритъ теперешнее,—выходитъ горчѣе прежняго! Тамъ хоть и приходилось ложку за голенищемъ носить, да смѣло подходи къ котелку, ѣшь во всѣ зубы, что Богъ послалъ да кашеваръ сварилъ; а тутъ какъ глянетъ Ирина Федоровна, какъ обмѣритъ отъ рта до брюха, такъ и масляный кусокъ застрянетъ въ горлѣ. Думаетъ такъ солдатъ, а самъ все осматриваетъ кривыя шилья, да перебираетъ мѣдныя пуговицы,—только и осталось друзей вѣрныхъ отъ долгой походной жизни, что лежатъ здѣсь—на днѣ шкатулки!

— Одна, двѣ, три... десять, восемнадцать, двадцать три, двадцать четыре, да вотъ еще одна, съ гранатой попалась, антирелійская... Эко, накопилось добра!.. Буду-ка теперь деньги считать; сосчитаю, пойду въ кабакъ—прогуляю все до послѣдокъ, раздерусь на послѣдокъ съ Иришкой, а тамъ видно будетъ, что затѣвать послѣ драки!.. Эхъ, пятачки, пятачки, полтиннички! Вѣдь сколько за жизнь денегъ прошло между рукъ, кабы запруда этакая была на деньги, копить бы ихъ,—вотъ бы я показалъ Иришкѣ себя! Взялъ бы этакъ пукетъ сторублевыхъ, да по носу ее, по носу,—чувствуй, молъ, ядовитая вѣдьма! Хе-хе-хе!...

— Разъ пятакъ, два пятака, три... Нѣтъ, буду лучше на копейки считать—больше окажетъ! Три пятака—пятнадцать, еще пятакъ—двадцать; еще—двадцать пять! Тридцать... сорокъ, семьдесятъ, сто! Вотъ оно, какъ хорошо пошло... Сто двадцать пять, сто сорокъ!

Тихо въ избѣ, никого нѣтъ въ избѣ близъ солдата, и въ то же время чего-то неловко стало солдату, словно кто незримый сидитъ недалечко... солдатъ даже оглянулся кругомъ, но никого не было. Онъ придвинулся плотнѣе къ столу, разгорячился, будто и впрямь считалъ „сотенныя“.

— Сто сорокъ пять, сто шестьдесятъ!.. да бумажками—три ста... Серебромъ есть тоже...

Въ дверную щелку Аникію померещился чей-то внимательный глазъ... Старикъ искоса услѣдилъ его хорошенько: точно блеститъ глазъ за дверной щелью! То Ирина Федоровна подглядывала.

Ненарокомъ толкнулась старуха на солдатскіе счеты, и только теперь ясно вспомнила, и оцѣнила шкатулку солдатскую, что валялась взабросѣ, засунутая въ парусинный мѣшокъ, подъ лавкою.

— То-то хитеръ, щетина!—говорила себѣ Ирина Федоровна:—тамъ-де нѣтъ ничего, отъ того и уложена просто!.. Вѣдь и у Прохора жилъ, и у Герасима, и вездѣ проглядѣли на наше счастье! Я все открыла... Вотъ какъ люди живутъ умѣючи: чужіе хлѣбы ѣдятъ, а какъ хозяева вонъ изъ избы, начинаютъ усчитывать казну серебряную!

Заслышавъ про „сто шестьдесятъ“, да про „три ста бумажками“, Ирина Федоровна обомлѣла на мѣстѣ, плотнѣе прильнула къ щели и боялась дыхнуть всей грудью, чтобы не пропустить чего.

Солдатъ сидѣлъ бокомъ къ столу, и не видно было всего, что онъ дѣлаетъ, зато слышно,—такъ и гремитъ, такъ и звенитъ на столѣ серебро печатное! Старикъ опять внимательно покосился на щель, и совсѣмъ увѣрился, что точно блеститъ глазъ за дверью. Злая шутка мелькнула у него въ головѣ.

— Сто семьдесятъ!—сказалъ онъ громко!—сто девяносто!.. двѣсти пятьдесятъ, триста!—И Аникій такъ забрякалъ тяжелыми пятаками, что затрещала столешница.—Триста девяносто одинъ, четыреста!

Ирину Федоровну за дверной щелью охватило баннымъ тепломъ, въ потъ кинуло; она прилегала къ щели то правымъ глазомъ, то лѣвымъ, то одно ухо прикладывала къ ней, то другое, и жалѣла, что у ней глаза и уши не вмѣстѣ прилажены...

— Родители-батюшки!—говорила себѣ старуха,—казны-то, казны-то сколько накоплено!.. Этакой казны во всю жизнь не изжить! А я, подлая, хотѣла солдата вонъ выживать! Да его надо беречь пуще глаза, его послалъ ко мнѣ самъ Христосъ за простоту мою.

— Четыреста сорокъ, семьдесятъ... пятьсотъ десять! — И опять грохъ-брякъ пятаками, опять затрещала столешница...

У Ирины оборвалось терпѣнье, она какъ шальная растворила скрипучую дверь и скакнула въ избу, и тутъ же опомнилась, что промашку дала... А солдатъ, съ быстротою вѣтра смелъ со стола „казну“, и шкатулка его вмигъ очутилась подъ лавкою, словно и не было ничего...

„Исполохался, вишь, что застигла“, — подумала Ирина, и чтобы не показать виду, стала шарить рукою за печкой, будто разыскивала что по хозяйству, и погодя заговорила равнодушно къ Аникію:

— Ты бы, Митричъ, на огородъ сходилъ, огуречки бы полилъ, да и поѣлъ бы ихъ заодно... Нынче, слава Богу, уродилось много огуречковъ. Въ службѣ-то царской, небось, васъ огуречками баловали не часто?

— Да ужъ не часто, Федоровна, таить не буду! Развѣ, бывало, на походѣ гдѣ-нибудь забѣжишь въ огородъ, въ Турціи тамъ, али на горѣ Араратской...

— Вотъ, вотъ!.. Я хоть въ солдатахъ и не служила, а понимаю все, и всякому солдату я вѣрю. Я вѣдь только снаружи собакой выгляжу въ иной часъ, а внутри у меня

всегда одна дума: кабы не солдаты, думаю, такъ, можетъ статься, давно бы насъ турки забрали подъ свою силу?

— Все можетъ быть!..—согласился солдатъ, а самъ глядѣлъ куда-то въ запечье.

— Такъ сходи, Митричъ, полей огуречки, сколь не трудно, да и поѣшь на здоровье. А рѣпки захочешь, и рѣпку выдерни изъ гряды, и коли устанешь—прилягъ на травку!.. Теперь хорошо на травѣ: сверху солнце, а съ боковъ вѣтерки теплые раздуваютъ!.. Годы твои не ребячьи, да и сама я не дѣвчонка, вѣрю старости по себѣ. Вѣрю по пословицѣ: „всякому звѣрю, только ежу—погожу"!.. Это я невѣстку — Прохориху ежомъ прозываю; лукавая баба, а языкъ—хвостъ овечій!

Солдатъ вышелъ на огородъ. Послѣ своей неожиданной выходки старику до того стало весело, что онъ и про кабакъ позабылъ, и грузную тоску съ него будто чудодѣйной рукою сняло; поливалъ огурцы, а самъ все посмѣивался въ усы да въ брови...

— Эко натворилъ ловко,—говорилъ солдатъ,—эко надумалъ выдумку! Пущай вотъ теперь потѣетъ да думаетъ, да зарится на мои капиталы, хе-хе!

Ирина Федоровна вынула изъ-подъ лавки шкатулку солдатскую: не велика шкатулочка, будто игрушка ребячья—сундучокъ ихній: иное мѣсто жестью обложено, иное мѣдью, а иное серебромъ, словно! Сейчасъ видно—затѣя барская, да только въ рукахъ у солдата... И ни ключа, ни замка нѣтъ нигдѣ, а заперта, словно запаяна! Повернула старуха такъ, повернула этакъ, а въ серединѣ шкатулки на разные тоны звонъ гудитъ, бередитъ черезъ уши Иринино ретивóе...

— Наша будетъ!—говорила Ирина.—Теперь, хоть убей меня, а Анику Митрича я не отпущу изъ рукъ!..—И она снова принялась облюбовывать заброшенную шкатулку, и до того залюбовалась ею, что жалко стало изъ рукъ выпускать, такъ бы вотъ весь вѣкъ и держала ее близъ сердца, словно дитю ласковую...

— Кабы съ огурцовъ-то его разнесло!... вотъ бы хорошо было!..—Мелькнуло вдругъ у старухи въ мозгу...—Похоронили бы его всей родней, а щикатулочка бы мнѣ, грѣшницѣ... Вотъ хорошо бы! Тогда бы и Ефимъ у меня не шибко вертѣлся, да и другіе бы не вертѣлись... А то велика ли шишка—невѣстка, и то норовитъ подкопаться. Ишь, какъ хорошо звенитъ въ серединѣ!.. ишь—ухъ, какъ бренчитъ сладко!..

Ирину опять охватило ознобомъ кругомъ, а внутри какъ вода въ котелкѣ ключомъ закипаетъ, брызжетъ черезъ края на всѣ стороны.

„Крѣпиться надо, отъ себя таить надо! — раздумывала Ирина:—такъ казать, что и сама ничего не знаю, не понимаю..“

Ефимъ шагнулъ въ избу изъ сѣней. Старуха оторопѣла, но не выпустила изъ рукъ шкатулку, а крѣпче прижала ее къ груди.

— Ты чего?—спросилъ Ефимъ, оглядывая зорко жену, и самъ въ первый разъ заглядѣлся фигурной шкатулкой.

— Во-отъ...—заговорила Ирина Федоровна,— она... щикатулка самая эта!.. Какъ быть теперь?—и голосъ ея захрипѣлъ, слезы брызнули изъ глазъ дождемъ осеннимъ.—Ужъ и не знаю, Ефи-имъ,—заголосила старуха: — приведетъ ли Господь дождать радостей! Измызгалась я, бѣдная, за часъ время...

— Да чего ты? Чего?—спрашивалъ Ефимъ, самъ норовя потрогать руками шкатулку, но Ирина ловко увернулась отъ старика.

— Тьфу!—сплюнулъ Ефимъ. — Никакъ ошалѣла баба на старости!.. Чего ты, вѣдьма, ее охватила этакъ?

— Не гони вонъ А-анику!.. Береги его пуще глаза...

— Ай, батюшки, старуха ума рехнулась!.. — говорилъ заробѣвшій Ефимъ и, уставясь на жену испуганными глазами, сталъ отступать къ избной двери, чтобы въ случаѣ чего— шмыгнуть на улицу.

— Не рехнулась я, дѣдъ... Цѣлехонька я, какъ смолоду. А только не гони... стереги!..

— Да развѣ я гналъ когда-нибудь брата Анику? — спросилъ того болѣе удивленный Ефимъ.—Это ты поѣдаешь его да Анна.

— Грѣшила, Ефимушка, по дурости моей грѣшила... теперь не буду! Теперь я ему худого слова не молвлю. Теперь пущай онъ хоть на головѣ въ избѣ ходитъ и то не заикнусь поперечить! Вѣдь коли тебѣ братъ родной, то и мнѣ не чужой. Онъ страдунецъ... Шутка ли, эстолько годовъ отбрякать со штыкомъ въ рукѣ?

— Окаянная баба, да ты говори толкомъ мнѣ!—горячился Ефимъ, а дыханіе въ груди дѣлалось все учащеннѣе, старикъ чего-то догадывался, но чего?—не могъ догадаться.

— Сбивала я масло въ сѣняхъ... Только ты, Ефимъ, держи мои слова на запорѣ, вся наша жизнь въ словахъ этихъ! Сижу этакъ, сама вертъ-вертъ рогаткой въ горшкѣ, а онъ-то въ избѣ сидитъ...

— Кто онъ?

— Эхъ, ты какой, да все Аника!.. Сидитъ онъ этакъ въ избѣ, а мнѣ все что-то въ ушахъ звенитъ: динь-динь! динь-динь! Ну, думаю, быть непогодѣ! Да и еще думаю: а нуко-сь погляжу, что Аника одинъ въ избѣ дѣлаетъ? Приставила глазъ къ щелкѣ, а онъ сидитъ за столомъ, вотъ этакъ, и звенитъ на столѣ серебро печатное, червонное золото...

Ефимъ открылъ глаза шире, попятился отъ жены къ печкѣ; дыханіе у него затѣснило въ груди. Вотъ она, догадка—куда шарахнулась?

— И слышу я, родимый ты мой Ефимушка: „сто семьдесятъ, двѣсти, триста! Полтораста—четыреста!..“ Меня-то всю словно кипяткомъ обдало... и боязно мнѣ, и радостно. Стронуться съ мѣста хочу—стронуться не могу, закричать хочу благимъ матомъ,—зажало въ горлѣ!.. А онъ такъ и названиваетъ червонными, такъ и грохаетъ, индо столъ трещитъ!

Ефимъ опять попробовалъ подойти къ женѣ, подержать руками шкатулку, но Ирина опять вывернулась отъ него. Въ груди старика такъ и настукивало, будто два кузнеца

работали въ ней, наваривая новые лемеши къ сохѣ; въ головѣ проснулись такія мысли, какихъ, казалось, тамъ и на ночлегѣ не было никогда. Первая мысль была—вырвать изъ рукъ Ирины шкатулку фигурную и бѣжать съ нею изъ уѣзда вонъ!.. Или такъ сдѣлать, чтобы спровадить Ирину вонъ изъ уѣзда! Ефимъ чуялъ сердцемъ, что не ужиться имъ теперь вмѣстѣ: ему, шкатулкѣ и бабѣ Иринѣ; что если раньше они съ Ириной согласно жили, то жили до времени... Старикъ уже не правилъ мыслями, а онѣ имъ: завожжали, сѣли-поѣхали!.. Черныя силы охватили старика такъ неожиданно, что онъ не успѣлъ дать отчета себѣ: на что ему капиталы? Никогда онъ и на мысляхъ не держалъ этакого, весь вѣкъ свой прожилъ въ трудѣ упорномъ, находилъ въ немъ отраду и смыслъ жизни. Да налетѣла зараза и затуманила свѣтлоту ума... Безотчетно мыслилось Ефиму, что капиталы дадутъ „льготу“ ему, что онъ хоть передъ самой смертью, а поживетъ на капиталахъ съ радостнымъ сердцемъ... Зараза затемнила свѣтлоту. Онъ поглядѣлъ въ лицо Ирины, лицо ея было блѣдно, глаза горѣли; самъ онъ чувствовалъ, что и у него жаръ въ глазахъ, жаръ во всемъ тѣлѣ... Нежданно объявившіеся „капиталы“, недобытые трудомъ и терпѣніемъ, сразу всѣ стариковскіе устои набокъ накренили...

Но тутъ Ирина разомъ поставила мужа отъ разымчивыхъ мыслей къ дѣйствительности.

— Гляди, Аника съ огорода идетъ!—сказала она, торопливо укладывая въ мѣшокъ шкатулку.—И помни, дѣдъ: до самой смерти никому ни полслова! Пущай Аника Митричъ первый человѣкъ въ избѣ, будто ни тебя, ни меня нѣту въ ней, а есть онъ одинъ—воевода!.. А то разнюхаетъ невѣстка Анна, да сватъ Герасимъ, смутятъ Анику, и все наше кровное пропадетъ пропадомъ!

Долгіе годы жили на селѣ Воздвиженскомъ Ефимъ съ Ефимихою, переживали и горе и радости, иное время ночей не спали, но такая имъ ночь подошла въ этотъ день, какой за всю жизнь ихъ не было. Сновъ не снится, глаза не смыкаются, всякія разныя думы ходятъ по головѣ, и на сердцѣ

не столько радостно, сколько боязно, что вотъ-вотъ „разнюхаетъ“ Анна-Прохориха, сватъ Герасимъ, другіе разнюхаютъ, и пойдетъ муть по селу, и переманятъ солдата съ червонными, тѣ переманятъ, у кого языкъ ласковѣе. И будетъ близко локоть, да не укусишь его!

Бѣдный Ефимъ всю ночь такъ и не додумался, что дѣлать ему. Раза два мелькало у него въ головѣ, что лучше, кабы у брата Аникія не было ничего, совсѣмъ бы тогда на душѣ легко было, а теперь словно брусъ навалило на сердце! Старикъ поднялся утромъ съ лавки разбитый, умаянный горячешною безсонницей, словно всю ночь лѣтнюю онъ запряженъ былъ въ телѣгу...

Ирина Федоровна бодрѣе выглядѣла, она просвѣтлилась... надумала на лежанкѣ, что умѣнье да ласка все возьмутъ: ласковое телятя двухъ матокъ сосетъ! А гибкости душевной и въ ту, и въ ту сторону у Ирины было не мало и смолоду.

Съ того же утра „умѣнье и ласка“ пошли рука объ руку, поддерживая другъ друга, зорко, неукоснительно стремясь къ намѣченной цѣли,—къ солдату съ его шкатулкой.

Годами сложившіеся „порядки“ въ избѣ стали быстро мѣняться. Первымъ дѣломъ—завтракъ, который всегда и всѣмъ устраивался на скорую руку и „что ни попало на зубы“, былъ налаженъ для Аникія по особенному.

— Ты, Аника Митричъ, не садись съ артелью,—говорила Ирина Федоровна,—вѣдь имъ-то перекусить поскорѣй да и за дѣла браться, а тебѣ, слава Богу, торопиться некуда, ты на своемъ солдатскомъ вѣку поторопился вволю... Теперь и отдохнуть не грѣхъ! Ужотко я тебѣ яичекъ печеныхъ да творожку изготовлю...

Большакъ-сынъ поглядѣлъ на мать удивленно и качнулъ головой, невѣстка покосилась и на солдата и на свекровь вмѣстѣ; Ефимъ скоблилъ рукою въ затылкѣ и силился уразумѣть задумку Иринину. Но Ирина Федоровна такъ стояла въ семьѣ, что никому не было охоты переходить ей дорогу.

— Ой ли!—говорилъ солдатъ:—ужъ не будетъ ли шибко жирно, Федоровна?—Въ глазахъ его блестѣло что-то лукавое, которое Иринѣ Федоровнѣ, занятой своими мыслями, было совсѣмъ не въ примѣту.

— Не будетъ, не будетъ, родимый!—отвѣчала она:—творожокъ у насъ свой, да и курочки свои—не чужія, десятокъ ихъ, да пѣтунъ одиннадцатый; а ты во всей избѣ одинъ—разъединственный! Не даромъ у тебя вся грудь изукрашена.

И какъ солдатъ ни упирался, черезъ малое время на столѣ передъ нимъ очутились три яйца печеныхъ, чашка съ творогомъ и поверхъ творога—комъ масла.

Для Аникія настала новая жизнь, жизнь упитыванія стараго солдатскаго тѣла всякой отборной снѣдью. Но какъ ни огрубѣла человѣческая натура на далекихъ походахъ, а подчасъ становилось ей не подъ силу... За себя стыдно было, за другихъ стыдно. Отъ молодыхъ пошла глухая вражда противъ Ирины Федоровны, противъ солдата, всѣ чего-то догадывались, но разгадать не могли. И Богъ вѣсть чего въ иной головѣ не было продумано на ихъ счетъ!

Невѣстка первая пустила слухъ по селу, что межъ ея свекровью и дядей Аникой „нехорошее есть". Многіе тому не повѣрили, но многіе, наоборотъ, слишкомъ повѣрили, сознавая, что злая сила и горами ворочаетъ, повѣривъ — ужаснулись грѣху небывалому! И проходя улицей, мимо избы Ефима норовили прошмыгнуть скорѣй, словно въ подпольѣ у старика развелось гнѣздовище змѣиное.

Ирина Федоровна совсѣмъ сбилась съ ногъ, и сны ей грезились самые нехорошіе. То снилось, что домовой ее душить лѣзетъ, то будто деверь Прохоръ и сватъ Герасимъ выводятъ Анику Дмитрича изъ ея избы подъ руки, а невѣстка Анна идетъ позади ихъ, поетъ пѣсню веселую и несетъ черезъ плечо въ парусинномъ мѣшкѣ шкатулку фигурную, сама глядитъ насмѣшливо на Ирину. То грезилось, что Аника живетъ какъ жилъ въ ея избѣ тихо-ладно, да шкатулки не было съ нимъ, будто Ефимъ уцапалъ ее!.. Старуха просыпалась съ замирающимъ сердцемъ, обливаясь хо-

лоднымъ потомъ и, осторожно спускаясь съ лежанки, трясущимися руками ощупывала шкатулку.

Теперь всѣ ея старческія заботы ударились въ одну сторону—утрафить солдату-деверю.

Чуть свѣтъ брезжитъ... Ирина топила печь, налаживала обмачки сметанныя, гремѣла сковородами, и хоть въ избѣ были и дѣти и внуки ея, не видѣла ихъ, видѣла она только двѣ вещи, неразрывно связанныя съ ея душою крѣпкими узами—солдата да шкатулку его, да себя въ серединѣ ихъ...

— Эй, ребятки,—будила она молодыхъ:—вставать пора, будетъ дрыхнуть! Ефимъ, чего колодой лежишь: люди работать пошли! Аника Митричъ, подымайся, ласковый, блинками закусывать...

Невѣстка встала и злорадно посмѣивалась. Ефимъ поднялся съ лавки и, оглядѣвъ стряпню, поглядѣлъ на Ирину такими глазами, что, казалось, будь у него еще два глаза—и этихъ бы стало мало.

— Охъ, Федоровна,—говорилъ солдатъ:—да вѣдь сегодня середа, кажись? Грѣшно, пожалуй? А у тебя вона сколько обмачекъ скоромныхъ налажено!

— Ничего, ласковый, Богъ проститъ! Въ дняхъ сбилась я... Садись, Аника Митричъ, садись, Ефимъ! Садитесь, Яковъ, Егоръ, Андрей, Степанида... А вы, ребятки, обождите часокъ, пущай большаки поѣдятъ. Середы-то нонче, Аника Митричъ, не всѣ соблюдаютъ; иной только оттого соблюдаетъ, что скороми лишней нѣтъ въ домѣ, а у насъ—слава Богу!

Невѣстка фыркнула на всю избу и сказала тихонько, но такъ, что всѣ слышали: „Столовѣры завелись въ домѣ, середу, пятницу почитать перестали, да и другихъ сманиваютъ!..“ Ирина Федоровна будто не слышала и терла отымалкой сковороду.

Ефимъ краснѣлъ, силясь проглотить скоромный блинъ въ „неуказанный день“, но у него першило въ горлѣ. Невѣстка нацѣдила квасу въ корецъ, отрѣзала ломоть хлѣба, посолила его и, опершись на печку спиной, стала завтракать. Яковъ,

мужъ ея, тоже не сѣлъ за блины и, уходя куда-то вонъ изъ избы, такъ хлопнулъ дверью, что стекла въ окнахъ задребезжали. Одни Степанидины ребята радовались блинамъ, да Аникій Дмитричъ ѣлъ ихъ съ большимъ аппетитомъ, помакивая въ яичную обмачку разомъ двумя блинами.

А Ирина Федоровна, работая по сковородамъ отымалкой, повернула лицо къ солдату, и забывъ свою тонкую осторожность, заговорила ему:

— Что я, Аника Митричъ, собираюсь сказать тебѣ...— Солдатъ насторожилъ уши. — Собираюсь я сказать, что щикатулочка у тебя подъ лавкой стоитъ... Въ подполье бы ее, али въ хлѣбный амбаръ убрать?

— Да зачѣмъ, Федоровна, ее такъ далеко?—спросилъ солдатъ и добавилъ:—вѣдь въ шкатулкѣ ничего нѣту.

— Нужды нѣтъ, Митричъ, что нѣтъ ничего! Вишь, она у тебя какая затѣйная: иное мѣсто серебромъ околочено, иное мѣдью, а по угламъ сталью? Мало ль чего не сдѣется съ ней: ребята чужіе ходятъ въ избу,—тяпнетъ иной озорникъ косаремъ по ней, зазубрина будетъ!..

— Да оно — вѣрно... А только шкатулка пущай стоитъ здѣсь подъ лавкой; она всю жизнь мою близко ко мнѣ была, и теперь я съ ней не разстанусь... Подарилъ мнѣ ее нашъ ротный, капитанъ Яшинъ, — любилъ, покойникъ, меня, берегъ... Наканунѣ штурмы у Карса позвалъ онъ меня въ палатку къ себѣ и говоритъ мнѣ: „Митинъ, возьми шкатулку себѣ, и при шкатулкѣ два червонца возьми. Дарю на память отъ меня,—мнѣ не надо. Да помни—полковницкая, отъ полковника Черенкова въ карты выиграна!“ А на другой день пошли мы на штурму... И, помяни его Царь небесный, такъ-таки пластикомъ и уложили сердешнаго въ первую голову. Какъ теперь гляжу: лежитъ, руки раскинулъ, глаза закатываетъ подъ лобъ, а самъ все говоритъ: „впередъ, братцы! впередъ, ребятушки“!.. Тутъ мы двинулись, и капитанъ потерялся навѣки изъ виду...

— Ай, Митричъ, какія страсти разсказываешь!—всполошилась старуха:—ажно у печки стоять—беретъ жуть... Эко,

ты повидалъ чего! Ну, пущай твоя щикатулка подъ лавкой лежитъ... твоя воля въ томъ, а я такъ, къ слову, чтобы грѣха не вышло изъ-за ребятъ. Кабы ты былъ чужой намъ?.. На-ко, еще два горяченькихъ, а вотъ третій—поджаристый,—умасливай ихъ погуще!.. Ефимъ, будетъ тебѣ объѣдаться! Ты, кажись, девятнадцатый блинъ лопаешь,—оставь ребятамъ. Вотъ, Митричъ, еще два румяныхъ...

— Будетъ, будетъ, благодарю—спасибо!..—говорилъ солдатъ:—сытъ я.

Ефимъ вздохнулъ тяжко, поглядѣлъ себѣ на животъ, и выйдя смиренно изъ-за стола, сталъ креститься на закоптѣлый горбатый образъ.

VIII.

— Да полно, такъ ли?—говорилъ Ефимъ, подобравъ уединенный часокъ, своей старухѣ.—Вижу я, убиваешься ты, на себя непохожа стала. На тебя глядѣвши—у меня вся душа изболѣлась. Ужъ коли судьбой намъ означено, такъ никуда *они* не уйдутъ! А можетъ, и нѣтъ ничего у брата? Можетъ, приснилось тебѣ, а ты убиваешься? И идетъ по всему селу слухъ нехорошій, всѣ догадались, только про другое совсѣмъ.

— Да пущай говорятъ!—отвѣчала Ирина Федоровна.—А солдатъ нашъ, и щикатулка наша... На вилы, на ножи пойду, а Анику Митрича не уступлю Прошкѣ!

— Тьфу, дура! Да я про то и говорю тебѣ, что, можетъ статься, ты зря напущаешь на себя славу, можетъ, у брата—чихъ въ щикатулкѣ? Я и самъ пробовалъ заглянуть въ нее, да больно хитрецки заперта: ни ключа, ни замка, а словно запаяна!.. И точно, звонъ идетъ въ серединѣ.

— „Звонъ въ серединѣ“... А ты послушай, когда онъ высчитываетъ, вотъ тогда бы и понялъ ты про „звонъ въ серединѣ“!.. Тогда повѣришь, каково сладко мнѣ,—самъ дугой изогнешься!.. Улови часокъ, когда онъ одинешенекъ въ избѣ сидитъ, да и прислушай изъ сѣней въ щель... Вотъ щелка хорошая есть, тутъ я и гляжу всегда... Вѣдь и намъ, и вну-

камъ нашимъ, и правнукамъ не прожить того. Пустошь бы купили... Идетъ!..

Старики оборвали свой разговоръ; въ сѣняхъ заслышался скрипъ половицъ, солдатъ шелъ въ избу, а позади него— гурьбою внучатки Иринины.

Въ Ефимовомъ домѣ все пошло „вверхъ ногами“, сынъ-большакъ почти не жилъ въ избѣ, раза два схватывался браниться съ матерью, невѣстка отбилась отъ рукъ, забирала все подъ свою власть, все дѣлала поперекъ свекрови, а свекровь, занятая своими думами, будто и не примѣчала того. Внуки казали языки бабкѣ и ругали ее „солдатихой“. Ефимъ, укарауливая когда пустѣетъ отъ народа изба, забирался въ нее—трясти шкатулку... Не разъ глаза его вдумчиво останавливались на торчащемъ за лавкою топорѣ, чтобы раздробить все обухомъ. Но устои долгой добросовѣстной жизни были еще крѣпки въ мужицкомъ нутрѣ, всякій разъ Ефимъ поборалъ сатану, съ стыдливымъ чувствомъ уходилъ изъ избы, оставляя въ мѣшкѣ шкатулку.

А между солдатомъ и Ириной Федоровной завязалось какъ бы сродство душевное, игра небывалая... Какъ только солдатъ оставался одинъ въ избѣ, онъ чувствовалъ, что глядитъ на него недреманный глазъ, и старикъ вынималъ изъ мѣшка шкатулку и начиналъ считать... Онъ уже и самъ пересталъ понимать: для чего высчитываетъ? Но что-то тянуло его. Чувствовалъ старикъ, что недреманный глазъ имъ доволенъ, его считаньемъ чуткое ухо сыто, и солдату дѣлалось въ нутрѣ какъ-то особенно...

Теперь для Ирины Федоровны уже никакихъ сомнѣній не оставалось: есть деньги, большія деньжищи, огромныя! Одинъ разъ до восьми сотъ дошло... И въ дверную щель, и въ дымовое окошко, со всѣхъ сторонъ подслушивала за солдатомъ старуха, и хоть немного увидѣла, за то все-все выслушала... А уши ея не могли обмануть, всю жизнь служили они старухѣ „вѣрой и правдой“: такъ-таки до восьми сотъ ровно—копейка въ копейку вогнано!

„Ужъ чтобы ему до тысячи прикопить?—раздумывала

съ сожалѣніемъ Ирина,—тогда бы... Когда все ко мнѣ перейдетъ, всѣ бы такъ и величали меня Ориной тысяшницей... А теперь буду восьмисотельница!.. Ну, да и то хорошо, слава Богу".

Въ такія минуты Ирина Федоровна забывала и Прохора съ Анной, и свата Герасима, всѣхъ на свѣтѣ! И алчность ея росла все выше.

Ефимъ—наоборотъ, день ото дня терялъ вѣру, и ему легче становилось отъ своего безвѣрія, что „все это однѣ Иринины выдумки". Онъ самъ раза три усаживался въ сѣняхъ подъ дверью, но ничего „не выходило" ему; солдатъ или недвижно сидѣлъ, или также недвижно лежалъ на лавкѣ. Тогда Ирина Федоровна надумала послушать вмѣстѣ. Ефиму она велѣла лечь въ сундукѣ, который стоялъ въ сѣняхъ и былъ складочнымъ мѣстомъ всякой хозяйственной всячины, а сама усѣлась подъ дверью. И не прошло минуты, какъ забренчало въ избѣ, зазвенѣло, загрохало!.. Вскорѣ солдатскій голосъ заслышался въ сѣняхъ совсѣмъ явственно:

— Полтораста, триста, четыреста! Шесть сотъ, семь сотъ, семь сотъ семьдесятъ!..

Ефиму сдѣлалось неловко внутри сундука, коротко, тѣсно, удушливо; онъ потихоньку сталъ выбираться вонъ, чтобы и дыхнуть повольнѣй, и ближе къ счету, но нечаянно зацѣпился ногою за стоявшую вблизи кадку, кадка упала съ грохотомъ, самъ старикъ съ шумомъ рухнулся на полъ... Въ избѣ все смолкло...

Ефимъ опрометью бросился изъ сѣней на задворье, съ задворья къ гумну. Ирина Федоровна бѣжала слѣдомъ за нимъ, кричала ему:

— Ну, что, Ѳомка невѣрный, вѣришь теперь Ориньѣ! Сколько наслушался?

— До восьми сотъ почитай...—говорилъ Ефимъ и уткнулся разгоряченной головою въ соломенный стогъ.—Теперь вѣрю!.. А только, я думалъ, что полегче на душѣ будетъ, но чую, что будетъ хуже... Грѣха-то сколько!

— Замолимъ грѣхи! Свѣчей купимъ, попу дадимъ денегъ;

не этакіе грѣхи откупаются, а у насъ свое—кровное... Молись крѣпче Богу, да помни: кромѣ меня съ тобой—нѣтъ наслѣдниковъ у солдата! Пущай вся родня что хочетъ дѣлаетъ... Я хоть на рогачъ, хоть на топоръ полѣзу, а щикатулка моя... Я наслѣдница у Аники!..

— А я-то?—спросилъ Ефимъ.

— Ну... и ты... И ты—тоже! Только давай вмѣстѣ держать уши чутко, а глаза востро.

И Ирина Федоровна стала объяснять мужу, какъ надо держать „уши чутко, а глаза востро", чтобы ни родня, ни сосѣди, ни самъ Аника ничего не подумали. Долго тянулись совѣщанія старика со старухою, все они взвѣсили, все порѣшили, стоя за стогомъ соломы, но въ концѣ вышло, что прибавить къ тому, что было, ничего не прибавили. Будетъ жить солдатъ, все хорошо пойдетъ; уйдетъ солдатъ—сманитъ его кто-нибудь лучшей жизнью,—все пропало у Ефима съ Ефимихой!

Ефимъ, неторопливый и разсудительный во всякомъ дѣлѣ, за стогомъ соломы заторопился мыслями, сбился съ линіи окончательно и весь отдался въ управу своей старухѣ.

Невѣстка всю власть въ избѣ забрала въ свои руки. Старики совсѣмъ отбились отъ распорядковъ: то любовно шушукались за угломъ, то схватывались и пушили другъ друга горячей бранью. Зараза пуще охватывала бѣдныхъ людей, глушила послѣдки живого чутья, выѣдала сокъ душъ. А Богъ все отходилъ далѣ, далѣ...

Невѣстка вслухъ говорила про стариковъ: „не дурачки они, а безбожники... Одурѣлъ и ослѣпъ одинъ батя!.."

Передъ солдатомъ зачернѣлись снова буревыя тучи вдали... Раза три невѣстка поглядывала на дядю-солдата до того выразительно, что чудилось старику, будто онъ и ниже ростомъ, и тоньше и старѣе дѣлается отъ ея взглядовъ. Новая метла мететъ чисто, чего добраго, скоро въ домѣ, кромѣ самой метлы, и не останется ничего, всѣхъ стариковъ развоюетъ на стороны! Куда дѣваться тогда? А за мѣсяцъ сладкаго житья—на особливомъ совсѣмъ положеніи—сол-

датъ до того набаловался около блиновъ да обмачекъ, что разстаться съ этимъ не легко было...

Но стоило Иринѣ Федоровнѣ „захотѣть послушать“, и солдатъ, влекомый какой-то незримой силой, вынималъ изъ мѣшка шкатулку, нажималъ потайные затворы и принимался высчитывать... Только эти подслушиванья и бодрили старуху. Но проходилъ часъ, и снова сомнѣнія одолѣвали ее; и днемъ и ночью стало казаться ей, что солдатъ глядитъ свысока, пыхтитъ богатствомъ своимъ, не признаетъ ихъ родными; и что Прохоръ и сватъ Герасимъ развѣдали все.

Страшныя мысли западали минутами въ Иринину голову: изжить со свѣта Аникія! Да Анику сживешь—Ефимъ останется, Прохоръ съ Анной останутся,—сживешь Ефима да Прохора,—сватъ Герасимъ есть... А всѣхъ изжить не подъ силу!..

Время шло. Боль накипала на сердцѣ, тоска пригнетала душу. Ирина Федоровна, замѣтно для всѣхъ сельчанъ, костенѣть стала, сохнуть тѣломъ и выдвигаться на видъ мостолыжками. Все это было слѣдствіемъ нутряного огня, повседневной натуги сердца. Зато душа старухи закалялась все тверже... Уже ни сна, ни ѣды почти вовсе для старухи не требовалось, она жила какимъ-то *духомъ* и даже невѣстку свою приводила тѣмъ въ удивленье великое.

— О-хти!...—отвѣчала старуха на разспросы бабъ сельскихъ:—до того неможется, до того отбилась я, бабуньки, отъ ѣды, что и просвиру бы не съѣсть, кабы просвиру дали... И отъ чего немочь такая—сама не придумаю!

На Прохора напало раздумье. Многое ему пришлось услышать за это время... Многому онъ вѣрилъ лишь въ половину, но все же понималъ, что у брата Ефима неладно въ домѣ, что тамъ чего-то недостаетъ, чего-то есть большіе залишки... Но ничего придумать не могъ, и положилъ все на время, время де все окажетъ!

IX.

Невѣсткины ребята добрались-таки до солдатской шкатулки... Они хорошо запомнили бабкины рѣчи, оглядѣли ее всю вокругъ... Солдатъ былъ на озерѣ, старуха съ не-

вѣсткой дожинали въ полѣ остатки овса, сыновья помогали имъ. Ефимъ налаживалъ поломанное колесо, заколачивалъ въ ступицу дубовыя спицы; вдругъ онъ замѣтилъ, что внукъ его, пятилѣтокъ Тимошка, носитъ что-то въ рукахъ по улицѣ... Приглядѣлся Ефимъ хорошенько—шкатулку Тимошка носитъ, ребятамъ кажетъ... Духъ захолонуло у старика, онъ подбѣжалъ къ Тимошкѣ, вырвалъ у него шкатулку изъ рукъ, прикрылъ ее полой балахона и пустился безъ оглядки черезъ огороды, въ гумно къ себѣ...

Раздольно было внутри гумна, ничей посторонній глазъ не вздумаетъ заглянуть туда; давно бы надо занести шкатулку сюда! Да какъ ни вертѣлъ старикъ дрожащими руками шкатулку, шкатулка лишь издавала жалобный звонъ внутри, но оставалась попрежнему запертой. Въ стѣнѣ торчалъ обломокъ косы, Ефимъ выдернулъ изъ стѣны стальной обломокъ и сталъ просовывать его въ створъ шкатулки. Употѣлъ старикъ, измаялся ровно надъ молотьбой, потъ съ него лилъ ручьями, а шкатулка не открывалась, берегла свои тайны.

— Хоть въ Сибирь пойду, а ужъ такъ не разстанусь теперь!—говорилъ Ефимъ, то туда, то сюда засовывая въ створъ обломокъ.—Пропадай все! Измучила ты меня, проклятая, сна, спокоя рѣшила...

Шкатулка не открывалась. Старикъ озвѣрѣлъ отъ заразы...

— Вдребезги разобью!..—бормоталъ онъ, трепеща всѣмъ тѣломъ, негодуя и задыхаясь, и билъ обломкомъ косы по шкатулкѣ, шпынялъ колѣномъ ее. — Погибну, пропаду!.. Все равно.

Вдругъ колѣномъ нажало по чему-то „завѣтному“, послышался тонкій звонъ, и шкатулка раскрылась сама собою... Воспаленнымъ глазамъ Ефима ясно представилось нутро шкатулки. Имѣніе солдатское лежало въ ней во всемъ сборѣ: игольникъ, шилья, вару кусокъ, бритва, пуговицы, гребешокъ и четыре серебряника.

Охолодѣвшій старикъ сидѣлъ теперь безмолвно и неподвижно надъ „своимъ дѣломъ“, уставясь глазами на солдат-

скіе инструменты, сердце его учащенно билось въ грудную стѣну... Но чѣмъ онъ дальше глядѣлъ внутрь шкатулки, тѣмъ легче, мягче дѣлалось на душѣ.

— Господи-Батюшка! — проговорилъ старикъ, ограждая себя широкимъ крестомъ:—спасибо, что устроилъ такъ хорошо, жить можно будетъ!..

И отложивъ въ кучу непровѣяннаго зерна шкатулку, сталъ креститься и молиться на гуменную стѣну. Въ стѣнѣ былъ сукъ, этотъ сукъ и выбралъ Ефимъ исходною точкою своихъ моленій. И казалось ему, что то не сукъ въ бревнѣ, а что-то живое, доброе, которое, чѣмъ онъ крѣпче и жалостнѣй молился, тѣмъ больше вытягиваетъ въ себя черноту его души старой. Корыстное чувство, такъ нежданно и такъ плотно охватившее старика, стало понемногу распускать свои змѣиныя кольца; Ефиму дѣлалось все легче, отраднѣе. И когда онъ намолился до изнеможенія, заглушилъ совѣсть свою, то опять склонился надъ раскрытой шкатулкой.

— Какъ просто внутри у ней, какъ жалостно!..—говорилъ онъ:—а я-то надумалъ что? Широкой жизнью пожить захотѣлъ на чужое, на горькое...—И вдругъ все нутро заходило опять, слезы набѣжали на глаза, покатились, посыпались однѣ за другими...—Какое имѣнье убогое скоплено!..

Онъ, Ефимъ—богатѣй, король въ сравненіи съ этимъ бѣднымъ, бездомнымъ солдатомъ! И какъ должно быть нелегко было этому сѣдому муштрованному старику, видавшему всякіе виды на бѣломъ свѣтѣ, играть въ негожую игру съ бабой Ириной, чтобы умягчить ее маленько хоть ложью, хоть обманомъ ребяческимъ защитить свою догорающую жизнь отъ людской безпощадности... А еще славились Митины! Самъ Ефимъ десятки разъ слышалъ не лицемѣрныя похвалы себѣ отъ сосѣдей, похвалы брату Прохору.

Старикъ долго, не отводя глазъ, смотрѣлъ на дно раскрытой шкатулки, будто внутрь книги таинственной, отъ чернокнижника добытой. Жалко, до боли ѣдкой стало жалко

ему Аникія, себя жалко, самому себя стыдно! Онъ чувствовалъ, что оправданія нѣтъ, что будь въ шкатулкѣ все то, о чемъ Ирина такъ много нашептывала ему, и онъ бы сгибъ... Онъ понималъ, что не сразу же въѣлась въ него эта чернь, а копилась годами долгими, ждя время,—выхода вонъ—наружу! И вотъ дожилъ... сѣдой, уважаемый на селѣ, но страшный себѣ, стоитъ онъ теперь на срамномъ позорищѣ: передъ своей неудачей разбуженной совѣстью!

Потемнѣло на гумнѣ; потемнѣло на огородахъ. Но Ефимъ сидѣлъ, выжидалъ полной темени; зазорно было ему и сумерокъ. Въ полночь онъ вернулся въ избу къ себѣ и сталъ осторожно шарить подъ лавкою, отыскивая парусинный мѣшокъ, чтобы уложить шкатулку въ него и... тутъ же почуялъ, что кто-то крѣпко ухватилъ его костяными пальцами за волосы... То была баба Ирина.

— Воры въ избѣ! Воры!..—закричала она страшнымъ голосомъ.—Подымайтесь, ребята, вздувайте огонь... Всю избу ограбить хотятъ!..

Ефимъ рвался изъ рукъ жены втихомолку, но не могъ вырваться... Откуда сила да ловкость взялись у старухи: и волосы Ефима, и длинная борода его, все мигомъ очутилось въ ея рукахъ цѣпкихъ... Вздули огонь, и тутъ только ясно увидѣли, что никакихъ воровъ нѣту, а стоятъ среди избы свои—кровные люди, на людей не похожіе...

Два младшихъ сына принялись разнимать стариковъ, но это не легко было: пальцы старухи окостенѣли.

— Ошалѣла ты, что ль, окаянная?—бормоталъ Ефимъ:—брось!.. Своихъ хватаешь за волосы...

— Не винти, песъ!—кричала Ирина.—Насквозь тебя вижу! Свои хуже чужихъ стали нынче... Нынче самой себя бояться надо. Да я цѣлыя ночи не сплю, не объегоришь меня!..

Невѣстка пришла на шумъ изъ другой избы, мужъ ея, Яковъ,—всѣ глядѣли, не понимая ночной загадки... Исполоханные внучатки сидѣли по угламъ на постелькахъ, громко рыдая и деря въ головенкахъ ногтями. Ирина тряслась вся, сѣдые волосы ея растрепались и безобразными прядями

спускались на плечи, на лицо... Ефимъ освободился, наконецъ, изъ ея рукъ и торопливо поднялся на печку, тамъ и легъ.

Солдатъ сидѣлъ раздѣтый на лавкѣ и грустно-вдумчиво смотрѣлъ на суматоху въ избѣ, хоть не до брата съ невѣсткой было ему, а самому до себя,—что-то нехорошее гуляло у него подъ кожей съ самаго вечера, до нутра ледянымъ сверломъ доходило... Днемъ онъ былъ на озерѣ съ бродничкомъ, ловилъ рыбу, да потерялъ равновѣсіе и вывалился вонъ изъ челна, измокъ, иззябся въ осенней водѣ, едва челнъ поймалъ, едва къ берегу выбрался... Но не въ первый разъ пришлось солдату окунаться въ воду: купался онъ и въ венгерскихъ рѣкахъ, и въ кавказскихъ бывалъ, и въ турецкихъ, да все было здо́рово... А вотъ за грѣхи тяжкіе захватило, знать, на родномъ озерѣ!..

Аникій только теперь ясно понялъ, до чего дошли старики; такимъ ребромъ стало дѣло, что и приступиться къ нему было страшно; надо выбрать другое время, покончить грѣхи, растолковать все толкомъ. Да хоть и зачинится дѣло, все же большіе рубцы останутся... Случайной взбалмошной шуткой довелъ онъ любимаго брата „до самаго до послѣдняго...“ довелъ онъ, заслуженный, увѣшанный „отличіями“, отбрякавшій двадцать четыре года „вѣрой и правдой“, не бывшій никогда подлецомъ и съ чужими. А вотъ, довелось на краю жизни сбить, соблазнить своихъ кровныхъ, темныхъ, бѣдныхъ людей, пустить ядовитые корни на всю семью молодую!.. Да, мудреная штука—жизнь, и шутка въ ней иной часъ—горькой бѣдой оборотится.

Едва успокоили бабу Ирину, ребятъ неумныхъ; едва всѣ успокоились. Да и было дивиться чему: ни брани, ни ссоры не было во весь день, тишина была тихая, и вдругъ въ полночь глухую—драка?.. А и смолоду Ефимъ съ Ефимихой не доходили до такого позорища. Знать, не даромъ говорятъ люди, что въ полночь силы нечистыя подымаются, крещенымъ людямъ ступаютъ на головы, креста не признаютъ, образовъ тоже, и хо́зяйничаютъ свободно на землѣ до перваго пѣтушинаго окрика... Передъ невѣсткой, да передъ

Яковомъ раскрылась вдругъ иная завѣса... не старикъ старуху поймалъ въ „грѣхѣ“ темною ночью, а она старика... Они поняли что-то... но что?.. И оба заснуть не могли до утра.

Ефимъ будто крѣпко спалъ на печи; Ирина Федоровна будто заснула крѣпко... А на дѣлѣ—ни одинъ изъ старыхъ людей въ избѣ и не думалъ спать. Ефимиха говорила себѣ въ мысляхъ: „Давно я примѣчала за нимъ, что у него зло на умѣ, да нѣтъ, шалишь, батя, я буду наслѣдница у Аники!“ Ефимъ думалъ: „Эка срамота! Эко позорище неслыханное, неизживное... Такъ и надо... Мало мнѣ, мало!..“

А старый солдатъ разнемогся совсѣмъ: будто ходятъ у него подъ кожей горячія мурашки, и будто вода родниковая ключевая нѣтъ-нѣтъ ударитъ холодной струей прямо къ сердцу! Дрожь охватывала все тѣло, отъ сердца начиналась она, проходила по всѣмъ жиламъ, по всѣмъ суставамъ. Подъ утро онъ уже метался на лавкѣ въ бреду, вскакивалъ, собирался бѣжать куда-то.

Всѣ молодые, и Ефимъ съ ними, поднялись съ пятыми пѣтухами и ушли молотить на гумно. Старуха, возбужденная ночнымъ событіемъ, побѣжала къ своей пріятельницѣ, къ одинокой старой бобылкѣ, Завьялихѣ, отвести душу...

— Ахъ, ягода, да на тебѣ и лица совсѣмъ нѣту!—говорила проснувшаяся Завьялиха, увидя раннюю гостью въ избѣ.—Аль случилось что нехорошее? Спаси насъ, Господи!..

— Случилось, Матвѣевна... Только давно случилось, а теперь доходить стало!.. Измоталась я вся!.. Измучилъ онъ меня, до могилы довелъ... А ужъ я ли не ублажаю его, не берегу его! И ни заботы, ни работы ему, все сами дѣлаемъ... одна забота ему оставлена—ѣшь да пей, сколько душа захочетъ, да не уходи никуда. Такъ нѣтъ! Всего человѣку мало, всѣмъ онъ не ублаженъ... А придетъ хмельной изъ-подъ елки, какъ колесо кривое за все зацѣпляетъ, все ему стоитъ на дорогѣ, не по-нутру все ему. Тутъ къ нему и приступиться не смѣй не умѣючи!.. Тутъ я, какъ раба безотвѣтная, и такъ, и такъ передъ нимъ лебежу... иной разъ, коли

въ избѣ большого народа нѣтъ, а малыши одни, я и на корячкахъ около него обойду... Засмѣется, „довольно, молвитъ, Федоровна, уважила!“ и взглядъ этакъ поласковѣй словно сдѣлается...

— Неужто Ефимъ Митричъ этакъ блажитъ?—спросила въ удивленьи Завьялиха.

— Эко шибанула куда—Ефимъ! Ефимъ—воръ, Ефимъ—песъ! вотъ кто твой Ефимъ объявился... Меня обокрасть хотѣлъ. Аника-богатей ворочаетъ этакъ, вотъ кто! Носъ кверху, глаза въ потолокъ, руки въ боки... да какъ засядетъ подъ образа, какъ пуститъ разными винтилками-разводами изъ своей трубки, хоть изъ избы бѣги вонъ... Да и нелюбо, а помалкиваю. Пришелъ вчера съ рыболовли: мокрехонекъ, весь трясется, въ озеро, вишь, ввалился... Я ему сейчасъ рубаху чистую, порты чистыя, онучки, все новенькое!.. Да ужъ все бы я истерпѣла, посеструшка, только бы онъ не уходилъ никуда, только бы жилъ, а жить-то онъ и не хочетъ! Вотъ только за малый часокъ до теперешняго, лежитъ на лавкѣ и говоритъ самъ себѣ, а я слушаю:—„Окаянство!.. Окаянство, говоритъ, одолѣло... Бѣжать надо изъ этихъ мѣстовъ безъ оглядки! Жарко здѣсь, страшно. На святомъ мѣстѣ сатана сплелъ гнѣздо... Окаянство!..“— А какое, посеструшка, въ моей избѣ окаянство? И образа у меня, и вода крещенская, все, какъ у прочихъ людей на селѣ... Сама я — лобъ разбиваю въ угоду ему, и ребятишекъ своихъ, внучатъ, заставляю: „кланяйтесь, заставляю, дѣдкѣ-солдату ниже, подлещайтесь ласковѣе!“ И щикатулочку-то возьму въ руки: этакъ поверну и такъ, и гвоздочкомъ поковыряю,—ничто не беретъ, знать, заклятье положено!.. А только, какъ всѣ изъ избы уйдутъ, онъ считать начнетъ казну золотую...

— Казну золотую?..

— Золотую, золотую, посеструшка! Всякую недѣлю онъ все свое богачество заново пересчитываетъ!.. На запрошлой недѣлѣ мы съ Ефимомъ до восьми сотъ наслушали, и все червонными—золотыми...

— Червонными... до восьми сотенъ?.. — переспросила Завьялиха, широко открытыми глазами озирая Ирину.

— До восьми, до восьми, ласковая!—твердо отвѣчала Ирина.—А на прошлой недѣлѣ до восьми сотъ съ половиной дошелъ!.. И бумажкой, и мѣдью и всячиной.

— До восьми съ половиной? Ай, батюшки родненькіе!.. Ай, миліенщикъ какой у васъ!..

— Миліенщикъ, Матвѣевна... Стою я вотъ, этакъ притулившись за дверью, а онъ думаетъ нѣтъ никого за дверью. Раскрылъ щикатулку и давай брякать... брякаетъ-звонитъ, а самъ присчитываетъ: „полтораста, триста, четыреста!“ И что насчитаетъ сотельную, возьметъ пригоршнями и грохъ опять въ щикатулку! А оттуда опять вынимаетъ новенькіе... Только я хочу въ избу заглянуть, а онъ—хвать все въ охапку, будто и нѣтъ ничего! И такъ запретъ безъ замка, что хоть полдня отмыкай не отмыкнешь ничѣмъ!.. Думаю въ Оселкино къ Матренѣ-ворожейкѣ сходить... Душа у меня, какъ кремень стала. Иные подумаютъ: отчего я такая, что и просвиры мнѣ не съѣсть, кабы дали? Окаменѣла я... А ну-кося разсердится на меня, али на кого другого въ семьѣ, да и уйдетъ къ Прошкѣ? А вѣдь хлѣба одного солдату куля два скормлено...

— Потрафлять надо...

— Рыбой бьюсь! Рабой безотвѣтной маюсь!.. Измоталась вся, хоть завтра въ песокъ клади... Только ты, посестра, нини!.. Держи ты мои рѣчи за пазухой... разгорячилась я, наболтала... А что станешь дѣлать? Одна я, а одной-то вотъ съ мыслями и не управиться, вотъ и разбѣжались онѣ у меня, какъ цыплята... Да кабы еще на Ефима надежа была, а то Ефимъ-то хуже разбойника подорожнаго...

— Не грѣши, Оринья! Ефимъ твой Митричъ хорошій мужикъ, я всегда радуюсь на него!

— Худой!.. Ой, худой, ласковая! Хуже его, пожалуй, и на свѣтѣ нѣтъ... Чуетъ мое ретивое—обманетъ меня Ефимъ, какъ только задремлю крѣпко, сейчасъ обманетъ! Унесетъ все скопленное, золотое... Вѣдь ужъ я его ловила у щикатулки!

— Ефима Митрича ты изловила у щикатулки?

— Э!.. Чего только не было у насъ, ласковая!—говорила Ирина, озираясь кругомъ:—чего только не было... Да вотъ, не далеко за правдой бѣгать: сею вотъ ночью... слышу я: „скрипъ-скрипъ! скрипъ-скрипъ!..“ по избѣ, а въ избѣ-то темно, хоть глаза выколи... „Скрипъ-скрипъ!..“ Тутъ я кошачьимъ манеромъ съ лежанки на полъ, хвать рукой!—анъ за волосы человѣка схватила, анъ—воръ въ рукахъ! Кричу благимъ матомъ: „дуй, ребята, огонь,—воры въ избѣ!„ Вздули огонь, а воръ-отъ Ефимка!..

— Экія у васъ дѣла были!—дивилась старая и набожная Завьялиха, и въ удивленіи чувствъ качала головою и всплескивала ладошками.

— Да то ли еще было, посеструшка!—говорила потерявшая голову Ирина Федоровна:—хуже было, въ три миліена хуже!.. Вотъ только душа у меня окаменѣла болѣвши, вотъ мнѣ и не придумать всего, что было.

Завьялиха опять всплеснула ладонями;—до того показались ей дивны рѣчи Иринины, что вотъ бы сейчасъ, сію минуту, Илія пророкъ въ своей огненной колесницѣ проѣхалъ бы, загремѣлъ бы ядренымъ громомъ на потолкѣ,—дивнѣе бы не было! Кто бы могъ на мысляхъ держать, что у дряхлаго солдата эстолько скоплено? Не даромъ онъ украшенный весь орденами да нашивками пришелъ на село... И такъ тихо-тихо, словно сирота горькая, а вонъ она—сирота показалась!

— Только ты, посестра, держи мои слова подъ замкомъ: растерялась я, разболталась... Настанетъ время—и тебѣ дамъ червоннаго!..

И, сказавъ это, старуха побѣжала варить похлебку для молотильщиковъ. На улицѣ разсвѣло совсѣмъ явственно. А старая Завьялиха все стояла на серединѣ избы, разбитая мыслями, наполоханная солдатской денежной силищей. Въ ея головѣ одно яснѣй всего складывалось: какъ послѣ Аники „загремятъ“ братья Митины, рожномъ на все село выступятъ! А вѣдь смерть у человѣка не за горами, а за плечами. Не мало тоже и Анику Митрича на землѣ поломали,

и вдругъ,—ходитъ онъ, ходитъ земляной улицей, да и уйдетъ совсѣмъ въ землю, а нетлѣнное золото останется на землѣ... То-то живымъ будетъ радостей!.. Старухѣ не приходило и въ голову, что какъ ни копаютъ люди золото отъ сотворенія бѣлаго свѣта, какъ ни берутъ его, а все его нѣтъ, да мало!.. Утекаетъ—усыхаетъ оно, а гдѣ?.. Самый жадный человѣкъ того никогда не замѣтитъ... Какъ родилось оно неизвѣстно, такъ и сотрется оно не въ примѣту...

А къ вечеру того же дня старой Завьялихѣ стало вѣдомо, что Аника-солдатъ послѣдніе часы коротаетъ,—бредитъ, горитъ весь горьмя и все куда-то бѣжать собирается. Такъ прошла ночь, другая ночь, третья... На четвертый день вѣсть прошла по селу, что умеръ солдатъ Аника. Но смерть солдата никому не показалась на селѣ дивомъ особеннымъ,—и до него умирали люди, да и послѣ него умретъ ихъ не мало!

Но въ этотъ день старой Завьялихѣ совсѣмъ невтерпежъ подошло... Зайдя къ „посестрѣ“ Иринѣ, она Ефимиху и признать побоялась,—та была величава и самоувѣренна, и подругу свою, Завьялиху, совсѣмъ не примѣтила.

Солдатъ лежалъ на столѣ вымытый, одѣтый въ бѣлую рубаху, въ порты, подпоясанный краснымъ гаруснымъ пояскомъ. Лицо его было серьезно-спокойное, только около глазъ, отъ висковъ, сложились какія-то морщинки особенныя, будто старикъ наморщилъ лицо, собираясь сказать кому-то свои завѣтныя думы, но раздумался зря болтать, закрылъ глаза, да такъ и оставилъ на лицѣ выраженіе—изжитаго, недосказаннаго!

Ирина Федоровна плясала въ душѣ... Не даромъ прожила она время на свѣтѣ... умнешенько прибрала она „щикатулку“ солдатскую, въ тотъ самый мигъ прибрала, когда душа изъ тѣла трогалась у солдата... унесла ее изъ избы осторожнымъ манеромъ въ хлѣбный амбаръ, закопала въ сусѣкѣ, въ сѣмянной ржи...

Старая Завьялиха пошла къ Аннѣ-Прохорихѣ. Ея наболѣвшее за эти дни сердце тоже хотѣло высказаться, и ея

думы, какъ цыплята малые, разбѣжались въ разныя стороны. Не прошло и часу послѣ того, какъ была у „посестры“ Завьялиха, а въ избѣ Прохора—„дымъ коромысломъ стоялъ“, и брань, и слезы—все смѣшалось въ одну неразборную... Еще черезъ часъ „дымъ коромысломъ“ перешелъ въ избу къ свату Герасиму, и въ ту же минуту по всему селу, до глухого нутра поповой горницы.

Завечерѣло. Ефимъ строгалъ скобелкой сосновыя доски на гробъ; невеселая была работа, но все же обыкновенная мужику; въ деревнѣ „ученыхъ“ мастеровъ-гробовщиковъ нѣту... Ребята полегли спать; вся молодежь полегла. Ирина Федоровна въ первый разъ за полгода такъ хорошо, сладко спала, какъ не спала и въ молодости. Пѣтухъ пропѣлъ на насѣстѣ... Ефимъ все строгалъ да подпиливалъ. Солдатъ лежалъ на столѣ. Вдругъ Ефиму заслышались голоса; голоса откуда-то изъ осенней мглы все надвигались ближе къ избѣ и черезъ малое время совсѣмъ стали явственны... Въ сѣняхъ послышалась топотня... Старикъ оробѣлъ, уставился взглядомъ на растворившуюся дверь избы, но въ тотъ же мигъ успокоился,—живые люди входили въ избу. Первый попался ему на глаза братъ Прохоръ, позади него—сельскій,—дѣдъ Яковъ, сватъ Герасимъ, а еще позади—еще мужики.

Прохоръ, за все время какъ жилъ солдатъ у Ефима, не бывалъ въ избѣ у Ефима. Теперь на лицѣ его было что-то злое, нахальное.

— Здравствуй, братецъ родимый!—заговорилъ Прохоръ, не снимая шапки и не покрестясь на образъ: — съ наслѣдствомъ тебя!.. Да не косись, не косись!.. вѣдь и мы не чужіе, тоже покойничка почитаемъ... Чай, и намъ червончиковъ съ десятокъ перепадетъ отъ милости твоей?.. всѣ родные. Гдѣ шкатулка братняя съ золотыми?

Мужики стояли въ рядъ, подлѣ двери, одинъ сельскій староста присѣлъ на лавку и глядѣлъ сурово на засуетившагося Ефима, словно и самъ былъ наслѣдникомъ не послѣднимъ.

— Эхъ, братецъ, какое горе!.. — бормоталъ умиленно Ефимъ, глядя печально въ Прохорово лицо.—Вотъ... умеръ бѣдняга, и такъ тихо-тихо!.. А передъ этимъ все прощенья чего-то просилъ, и тебя поминалъ два раза!.. И тебя, сватъ Герасимъ, поминалъ тоже... Экое горе!..

— Дѣдъ Ефимъ, щикатулку на столъ!—сказалъ сельскій:—буде тебѣ зубы-то заговаривать намъ... Такъ какъ наслѣдство осталось большое, то всѣмъ надо законную часть удѣлить!

— Да вотъ, ребятушки, щикатулка братняя здѣсь стоитъ... Все время подъ лавкой она, съ первыхъ дней.

Голосъ старика задрожалъ, лицо вспыхнуло. Онъ наклонился подъ лавку, пошарилъ рукой, но шкатулки не было въ этомъ мѣстѣ. Ефимъ вынулъ изъ свѣтца лучину, съ лучиной сталъ подъ лавку оглядывать, но подъ лавкой лежалъ одинъ мѣшокъ парусинный.

— Да что за притча!—говорилъ Ефимъ:—все время стояла она здѣсь подъ лавкой, а теперь нѣту?..

— Какую щикатулку ищешь, дуракъ старый?—заговорила, вскакивая съ лежанки, Ефимиха:—шпыняй ихъ, пьяницъ, вонъ по затылку!.. Никакой щикатулки и не было никогда, это тебѣ, дураку, во сняхъ померещилось!

Ефимъ остановился съ горящею лучиной въ рукѣ, другою опирался на только-что сколоченный гробъ, и то глядѣлъ на сосѣдей, то на расходившуюся Ирину.

— Сватъ Ефимъ, буде-те младенца играть!—сказалъ Герасимъ:—не къ твоимъ волосамъ это... Говори лучше всю истинную! Али не видишь, что пришла ипутація?

— Бѣсъ!.. Бѣсъ плѣшивый!—кричала на Герасима Ирина Федоровна:—съ чего ты взялъ щикатулку? Ошалѣлъ ты вѣрно, аль подъ елкой налакался хмельного?.. Ишь, глаза-то у тебя... Ишь!.. Мотыга этакой!.. Ишь, глаза, какъ у волка!..

— Я знаю, гдѣ шкатулка!—сказалъ, самодовольно усмѣхаясь, Прохоръ.—Небось, тоже и мы не дураками родились! Пойдемте, сосѣди! Шкатулка въ амбарѣ стоитъ; моя баба всѣ полусутки подкарауливала... Невѣстка Оринья что-то въ амбаръ снесла.

— Песъ! Волкъ!..—завопила Ирина:—я въ амбаръ курицу несла подъ фартукомъ...

Мужики всѣ разомъ захохотали:

— Экое слово молвила: курицу въ хлѣбный амбаръ снесла!.. Ха-ха-ха!... Ай-да, тетка Оринья, ловко умѣешь вывертываться!

— Курицу, курицу!—стояла на своемъ Ирина:—а вы всѣ—мошельники, пьяницы всѣ, дураки!.. А я почестная баба...

Долго „ипутаты“ розыскивали въ амбарѣ шкатулку. У дверей амбара слышался шумный говоръ множества голосовъ, но всѣ они покрывались голосами невѣстокъ Митиныхъ.

— Вотъ она... Эво!..—кричалъ торжествующе сватъ Герасимъ, вынимая изъ глубины ржи шкатулку.—Эво... во!.. Господа ипутаты, гляди!..

Но когда принесли шкатулку въ избу къ Ефиму, да оглядѣли ее хорошенько, то всѣ увидѣли, что вся она новешенько исковырена чѣмъ-то острымъ, а когда засунули въ створъ лезвіе топора, раскрыли ее,—всѣ отступили назадъ...

Жадными глазами глянула внутрь шкатулки Ефимиха... и, какъ взглянула, всплеснула отчаянно руками и завопила дико на всю избу:

— Ахъ, разбойникъ, ахъ, воръ треклятый, все выгребъ!..

И зарыдавъ истерически, ухвативъ себя за сѣдые волосы, старуха яростно затопотала ногами о полъ и хрипло причитала, глядясь въ одно мѣсто:

— Были деньги... Были!.. Много было тутъ денегъ!.. Сама я сто разъ видѣла—слышала, какъ покойникъ считалъ золотые. Отсчитаетъ тыщу—и грохъ!.. Отсчитаетъ другую—опять грохъ ее въ щикатулку! Воръ... воръ!.. воръ!.. Охъ, смередушка моя подошла... помогите...

Ирина грохнулась на полъ; невѣстка и сыновья подхватили ее и уложили на лавку; но старуха дрыгала ногами, рвала на груди рубаху свою, скрипѣла обломками зубовъ во рту...

— Ну, сватъ, гдѣ же *они*, показывай!—приступилъ къ Ефиму Герасимъ.—Хоть ты и ловко задумалъ, да не вышло

по-твоему, такъ ужъ кажи міру всю истинную!.. Изъ большого, стало-быть, надо подѣлиться и съ маленькими; не ты одинъ любишь деньги, можетъ статься, и я люблю ихъ...

— Сватъ!—заговорилъ Ефимъ, обращаясь къ Герасиму:— жили мы съ тобой всю жизнь дружно, вѣрно жили... И ни у тебя, ни у меня не было лихой напасти, вотъ такъ, чтобы на все село срамоту слышали люди, чтобы сердце у тебя рвалось на куски!.. Да вотъ... Меня напасть посѣтила, пустая, можно сказать, напасть, ребятамъ малымъ забава... Да вотъ... Часы-то такіе страшные, душа евоная еще здѣсь по избѣ летаетъ, еще мѣсто не указано ей...

— Злодѣй, воръ... Грабитель!—кричала Ирина Федоровна, брыкаясь въ рукахъ сыновей, будто щука, застрявшая въ неводѣ.—Пустите меня къ нему ближе... Воръ!.. Отводить глаза хочешь міру... Пустите меня... Искусаю!..

— Повѣрь мнѣ, сватъ... Повѣрь, вотъ, Господу Богу: не было ничего, нѣтъ, и не будетъ вовѣки... Вотъ!—И Ефимъ, широко покрестясь на образъ, передъ которымъ тихо горѣла желтая восковая свѣча „за упокой души“, окинулъ яснымъ взоромъ въ глаза всѣхъ сосѣдей:—Неповинна душа у меня, не было ничего!..

— Запирается! — кричалъ Прохоръ. — Дѣлай повальный обыскъ, господа ипутаты! Шарь сперва въ подпечьѣ... а потомъ рой все, что ни попадетъ подъ руку! Изъ дому не выносили,—моя жена караулила...

Грубо, неумѣло, но рѣшительно принялись мужики за повальный обыскъ,—ощупали первѣй всѣхъ Ефима... Но проискавъ вездѣ до бѣлаго утра, переполошивъ всѣхъ, перерывъ все на потолкѣ, въ сундукѣ, въ подпольѣ,—депутаты не нашли ни копейки изъ солдатскаго золота.

Прохоръ скрежеталъ зубами и кидалъ на Ефима злобные взгляды.

— Ловкачъ!—говорилъ онъ,—мастакъ, умно схоронилъ!.. Да и мы, братъ, тоже не дураки уродились... Измотаемъ!..

— Ай, сватъ! Ай, Ефимъ Митричъ!—говорилъ сватъ Герасимъ:—не думалъ я, что ты проворный такой!.. Шутка ли,—

всю родню на кривомъ колесѣ объѣхалъ, до червончика все обчистилъ!.. Ай, сватъ!.. Плутъ старый, воръ! Вѣдь и у меня есть внучатки махонькіе... вѣдь и имъ хочется... Дай имъ хоть по одному золотому! Хоть на всѣхъ шестерыхъ два дай!

Герасимъ готовъ былъ расплакаться. Добрая, простая душа его до глубины возмутилась Ефимовой „ловкостью“.

Ефимъ, торопясь, обрываясь и спутываясь, сталъ объяснять депутатамъ „всю притчу отъ самаго зачала и до самаго края“, не пожалѣлъ и себя въ разсказѣ, какъ на гумнѣ обломкомъ косы работалъ... Но разсказъ этотъ еще яснѣй доказалъ мужикамъ, что старикъ отводитъ глаза міру, что онъ такой „песъ“, какого они въ немъ и не думали за всю жизнь.

А оправившаяся Ирина Федоровна кричала на всю избу сиплымъ голосомъ:

— Міръ православный, не вѣрьте ему! Онъ—воръ! Онъ всю жизнь потихоньку воровствомъ промышлялъ... Онъ—человѣка убилъ!..

Ефимъ поглядѣлъ на жену, грустно покачалъ головой, но ничего не отвѣтилъ и сѣлъ, уничтоженный, подъ образами на лавку.

— Вишь, сватъ, ты, примѣрно сказать, и почище дѣла раздѣлывалъ!—говорилъ сватъ Герасимъ:—человѣка убилъ... Съ тобой, значитъ, разговоры коротки!.. Вотъ оно... Когда Богъ выворотилъ изъ тебя все наружу!..

— Кандалаши ему надѣть!—кричалъ Прохоръ.—Дядя Назаръ, бѣги къ сотскому въ избу, бруслетки возьми...

— Гдѣ деньги, песъ, сказывай?—кричала Ирина Федоровна, наскакивая на старика и тормоша его за рубаху:—я наслѣдница у Аники!

Подъ окнами шумѣлъ народъ; мальчишки вскарабкивались на наличники, заглядывали съ улицы внутрь избы. Шкатулку опечатали сельской печатью, на которой значилось: „воздвиженскій сельскій староста“, и убрали до времени въ избу къ сотскому.

Въ день похоронъ Аникія, Ефима „забрали“ и на собственной телѣгѣ увезли вмѣстѣ со шкатулкою въ уѣздъ, для расправы.

До Масляной Ефимъ былъ въ уѣздѣ. Тягали туда и Ирину Федоровну и Завьялиху; Прохора, Анну, свата Герасима и многихъ другихъ „тягали“ туда, но ничего не добились. Начальство навело бумагой справки по мѣстамъ прежняго жительства „отставного рядового Аникія Митина“, но съ прежнихъ мѣстъ тоже бумагой отвѣтили, что старикъ былъ такъ же убогъ и бѣденъ, какъ библейскій Іовъ на кучѣ навоза за чертой города... А про „смертоубійство“,—изрывъ за сорокъ лѣтъ всѣ ахлаботья въ уѣздномъ архивѣ, ничего не нашли. Были опиванцы, были висѣльники, угарники, утопленики,но убитаго Ефимомъ Митинымъ ни на одной бумагѣ не значилось. Да и сама Ирина Федоровна отперлась отъ своего оговора.

— Прогорѣло ваше!..—говорили воздвиженцы, встрѣчая Прохора да Герасима.—Объегорилъ старикъ всю фамилію!..

— Этакаго солдата хорошаго повалили... Тутъ нечистое дѣло!..—говорили между собою сельскія бабы:—креста у нихъ нѣту...

— Щикатулочку захотѣли скорѣй...

— И вывернулись!

— Вѣрно, дали кому что надо...

— А Прохориха-то какого маху дала!.. Рысь-баба, а вотъ дала-таки маху!

Встрѣчая Прохориху, бабы говорили участливо:

— Да какъ же ты, Анна Федотьевна, прозѣвала этакое? Вѣдь ужъ на все ты шустра, а тутъ—на-ко!..

— Руки грызу, сердешныя бабыньки,—отвѣчала Анна:—сатана, знать, попуталъ, не пустилъ... И сама не знаю, какъ проглядѣла!

— Близко локоть, да вотъ не укусишь его...

— Охъ, не укусишь, сердешныя!—соглашалась Анна и принималась утирать фартукомъ набѣгавшія горькія слезы.

X.

Ефима „выпустили на волю“, онъ пришелъ на село исхудалый, больной. „Село“ глядѣло на Ефима не прежнимъ „глазомъ“. Всѣ были твердо увѣрены, что „хитрый“ старикъ выгребъ все солдатское „заблаговремя“ и гдѣ-нибудь засунулъ между хоромами. Двѣ-три души брезгливо отнеслись къ старику: столько лѣтъ знали они его по-хорошему, примѣръ съ него брали, а и онъ—песъ! Но большинство „хвалило въ душѣ“ старика за проворство, готово было ему при первомъ случаѣ кланяться въ поясъ. Умный человѣкъ, одно слово! Кто нынче отъ себя отпихнетъ? Всѣ сельскіе богатеи этакъ же работали, не съ неба валилось имъ, а отъ простоты людской!

Ефимъ былъ до того потрясенъ „бѣдой“ и новымъ отношеніемъ къ нему многихъ сельчанъ, особливо неукротимыхъ родственниковъ, что началъ сторониться людей, норовилъ „крюками“ ходить, домашнюю работу справлялъ не подъ окнами избы, какъ заведено было, а на задворьѣ, чтобы порѣже сталкиваться съ сосѣдями.

Ирина Федоровна, казалось, совсѣмъ успокоилась; казалось, она одна на селѣ выработала правильный взглядъ на мужа!.. Стала неизмѣннымъ, вѣрнымъ другомъ изломанному душевно Ефиму, будто и не было ничего между ними... Да не долго то продолжалось: неугомонный бѣсъ вылѣзъ опять наружу...

— Не тужи, дѣдъ!—говорила ободряюще Ирина Федоровна:—перемелется—мука будетъ! Хоть и терпишь, да есть за что!.. И внучкамъ нашимъ, и правнучкамъ уготовимъ вольготнаго житья до конца вѣка... Гдѣ заложено у тебя?..

— Подлая!—говорилъ брезгливо старикъ:—отвяжись!.. И безъ того я умаянъ сердцемъ... Припомни,—концы сводить скоро, умирать скоро!..

— Да ужъ бранись!.. Лайся... Твой верхъ. Ты забралъ вожжи въ руки! Отъ умнаго человѣка и брани послушать лестно... Я—раба... Я отъ тебя ни шагу теперь, хоть ты

меня цѣпомъ бей, смолчу я... окостенѣла! Собакой буду твоей... Пустошку купимъ.

Прохоръ „загулялъ“ съ горя,—сталъ пропивать все домашнее и при встрѣчѣ съ Ефимомъ кричалъ ему:

— Богачъ, здравствуй! Воръ—грабитель! Аль на тотъ свѣтъ золото понесешь? Хапуга, загребало!.. А вотъ покажи мнѣ богатство свое, а я-то сейчасъ и подъ орестъ тебя... Въ темную тебя засажу, клоповъ кормить твоей шкурой! Да какой же ты богачъ послѣ этого? Этакаго богача я портами могу застегать!..

И чуть свечерѣетъ на селѣ, чуть ночь займется, возвращаясь „изъ-подъ елки“, пьяный Прохоръ заглядывалъ черезъ окошки въ избу Ефима и, коли замѣчалъ старика въ избѣ, принимался хлестать по стекламъ снятыми съ ногъ портами, кричалъ насмѣшливо:

— Сторонись, богачъ, застегаю!.. Гра-абитель!.. Воръ!—И Прохоръ начиналъ плакать и вопить дико на всю затихшую улицу:—Господа сосѣди, вотъ гдѣ хапуга живетъ... Эво его изба!.. Вотъ онъ на лавкѣ сидитъ... Шарапъ! Огребей! Застегаю!..

Время шло... Въ селѣ Воздвиженскомъ давно похоронили всѣхъ „старыхъ Митиныхъ“,—и Ирину, и Ефима, и Прохора, всѣ они лежали въ пескѣ, на кладбищѣ. А у „новыхъ Митиныхъ“ все еще *пустоши* не было. Многое измѣнилось на селѣ за то время: что сгорѣло, что выставилось наружу заново, сама улица была заново вычищена, обрыта канавами, дубками обсажена, старые *богачи* извелись, новые пришли имъ на смѣну; лишь *люди* остались на селѣ „въ томъ же видѣ—по-старому“: бѣдные, темные, предоставленные игрѣ шальныхъ нежданныхъ случайностей, безсмысленныхъ, ни для кого не полезныхъ страданій. Глухо на селѣ, грустно!

И невѣдомо, когда могучія живыя силы подойдутъ къ селу, разбудятъ его отъ вѣковыхъ мертвящихъ сновъ, освѣтятъ ясными лучами окружающую его темноту, воскресятъ къ жизни жизнь...

ТРИ СОСѢДА.

(ДЕРЕВНЯ ПРОШЛАГО.)

Посвящается П. Н. Златовратскому.

I.

Разъ случилось въ Рѣшетиловой деревнѣ
Послѣ праздника пивного, годового
Очень горестное дѣло съ мужиками,
Да на счастье не со всѣми, лишь съ двоими...

Раннимъ утречкомъ, на зоренькѣ румяной,
Пробудился дядя Сидоръ, оглядѣлся—
Нѣтъ въ избѣ вчерашняго веселья,
Только лобушко болитъ съ похмелья.
И не дѣвицы, не бабы, не сосѣди—
Прусаки одни по потолку гуляли,
Да сверчки въ запечьѣ пѣсни распѣвали.
И въ ту жъ пору тетка Акулина,—
Дяди Сидора степенная супруга,—
На полатяхъ сладко почивала,
Гулко фыркала и въ носъ свистала...
Сладкій, радостный сонъ Акулины
Объяснялся просто: люди жили
И „часинки хмельныя ловили“—
Дорываясь,—„ковшикомъ лупили“...
По-иному тетка поступала:
Ни вина, ни пива въ ротъ не брала.

Дядя Сидоръ, лежа, забранился:
— Съ этихъ поръ я, дурень, пробудился!
Ну-ко, съ горя, погляжу въ оконце,
Не творится ль что на улицѣ широкой?..—
Да на грѣхъ и улица дремала:
Тишь недвижная на ней стояла,
Только солнышко сквозило межъ построекъ
Золотистыми, веселыми лучами;
Да сосѣдова валетка, растянувшись
Вдоль завалины, какъ мертвая лежала;
Да сосѣдова избушка, прикурнувши
На одинъ бочекъ, задумчиво стояла.
Да вдали, за полемъ надъ горою,
Пріукрытый сизой пеленою,
Лѣсъ вздымался къ небу головою.
— Эка рань еще!.. Чай, пѣтуха четыре?—
Загадалъ кручинно дядя Сидоръ
И вновь пробовалъ заснуть—не засыпалось!
Все болитъ: виски и лобъ и темя;
И невѣсть какъ долго тянетъ время,—
Словно въ жизни „все“ остановилось
И горой на Сидора свалилось!..
— Чу!.. аль дѣвки пѣсни распѣваютъ?..
Али бабы?.. Аль мужики богатые гуляютъ?..
Навостривши ухо, къ гулкимъ пѣснямъ
Сталъ прислушиваться дядя Сидоръ,—
Слушалъ-слушалъ—оробѣлъ нежданно:
Пѣсни пѣлись у него въ затылкѣ.
Разомъ въ потъ ударило сердягу,
Разомъ въ дрожь, въ мурашки, въ помирашки...
То бѣдовое похмелье бушевало,
Пѣло, выло, молотомъ ковало.
— Охъ, родители, какая притча!—
Говорилъ болящій дядя Сидоръ:—
Съ этихъ пѣсенъ храбрый заробѣетъ,
Съ этихъ воевъ мерзлый запотѣетъ;

Послабѣй кто—грохнетъ, околѣетъ!..—
Покряхтѣвъ, усѣвшись на постелѣ,
Дядя Сидоръ Богу помолился;
Вышелъ въ сѣни—до воды добрался:
Окатилъ изъ ковшика затылокъ,
Окатилъ и шею—гдѣ проходитъ
Становая жила въ голову и въ темя,—
Окатилъ и темя...
Дядя Сидоръ
„Былъ мужикъ ученый въ этомъ родѣ...“

— — —

Въ Рѣшетиловой деревнѣ Акулина
Прозывалася „вострухой“. И не диво:
„Торговала водочкой тихонько,
Загребала денежку легонько“.
Ей прижиму не было отъ міра:
„Міръ“—добрякъ, да не дуракъ и выпить...
И тогда, и ранѣе, и нынѣ
О такой „общественной причинѣ“
Говорилъ міръ теткѣ Акулинѣ:
— „Наше дѣло—сторона, сосѣдка!
Про цыплятокъ вѣдаетъ сама насѣдка.
Вѣдь грѣхи чужіе примѣчаютъ
Только тѣ, которые... не согрѣшаютъ;
Мы же—грѣшники отъ головы до пятокъ!
Коли что—прибереги робятокъ
Облегченьемъ въ грузную минуту...“

Налетали грозные „фискалы“
Въ домѣ Сидора „бутылочку искали“;
Шарили и въ печкѣ и подъ печкой;
Шарили и днемъ и вечеромъ со свѣчкой;
И, промолвить надо,—*не Матюхи были*,
А бутылочку не находили...
А бутылочка была близенько,
Да хозяюшка шустра, востренька!

II.

— Озорно, безбожно перегнали!..
Словно медъ безъ удержу лакали...—
Такъ вдали отъ тетки Акулины,—
На краю заснувшей деревнюшки,
Говорилъ бѣдняга Тарасеичъ,
Ухвативъ затылокъ въ обѣ руки:
— Гдѣ бы рюмочкой вкушать винцо-то,
Двѣ бы, три бы выпить, ну—четыре...
Такъ вѣдь нѣтъ, озорники, ковшомъ лупили!..—

Тарасеичу вдвойнѣ отъ праздника досталось,—
Въ темну ноченьку минутки не поспалось:
Чуть задремлетъ—лѣзетъ окаянный
Къ головѣ его—къ очамъ, къ затылку,
Норовитъ во что ни есть вцѣпиться,
Норовитъ копытомъ двинуть по лбу,
Норовитъ въ запазуху просунуть лапу,
Чтобы вытянуть наружу душу...
— Тьфу ты, гадъ!—бранился Тарасеичъ
И творилъ молитву и крестился,—
Нѣтъ спасенья, лѣзетъ окаянный,
Словно нѣтъ ему ни тучъ, ни грома!
Такъ всю ночь то къ печкѣ, то отъ печки
И плуталъ старикъ да на святыхъ крестился,
Да „на пса подземнаго“ косился,
И завидовалъ старушкѣ Маврѣ,
Хорошо испытанной подругѣ,
Что лежала на печи бревушкой...
— Ловко спитъ!.. какъ дѣвка молодая:
Ни пыхтитъ, ни дышетъ, а живая!..
Почему такъ?
Ото дня рожденья
Мавра трезваго держалась поведенья.
Было вѣдомо всему народу,

Что пила она лишь квасъ да изъ колодца воду.
— Ну, вино, ты—чортово варенье!—
Тарасеичъ молвилъ въ изступленьи:—
Изобрелъ тебя не кто иной—тотъ самый,
Что всю ночь пужалъ меня когтями...
Ишь, нажариваетъ бубенъ въ темѣ!
Ишь, телѣга въ ухѣ заскрипѣла!
Н-на... изба поѣхала вдоль печки?..
Н-на... кажись, самъ ѣду вдоль избы я?..
Такъ и есть—я ѣду... ѣду... ѣду...
Охъ!..
— Вотъ, значитъ, и пріѣхалъ...
Чуть всю печку не разнесъ вискомъ-то!..—
И старикъ, отъ пола подынувшись,
Поскребавъ въ затылкѣ, тихо молвилъ:
— Побѣгу скорѣе къ Акулинѣ,
Починю тамъ темя и затылокъ,
И виски, и лобъ, и всяку штуку...
Ужъ давно валяется пятакъ-то,—
Порѣшу, чтобъ не было соблазна!—
И рукой пошаривъ на божницѣ,—
Пятачокъ поймавши въ пятерицу,
Тарасеичъ вышелъ изъ избушки.

Да чутка на ухо баба Мавра:
Съ печки кошачьей ухваткой соскакнула,
Щукой-рыбиной въ дверяхъ мелькнула;
Старика догнавши, ухватила
За кафтанъ и гулко завопила:
— Ты зачѣмъ изъ дома увернулся?
Ты куда, разбойникъ, потянулся?
Спятъ всѣ люди на честной деревнѣ;
Спятъ собаки, курицы, коровы;
Спятъ младенцы, ежели здоровы...
Только ты, хабарникъ, сна не знаешь,
Ночью блудишь да людей пужаешь!

И пошло, поѣхало...
Проснулись
Всѣ живущіе въ деревнѣ разомъ;
Всѣ испуганно глядѣлись въ окна
И въ умахъ съ просонья порѣшили,
Что „не люди въ ранній часъ грѣшили,
А старикъ да баба—привидѣнья,
Чтобъ пугнуть похмельное селенье...“
Но скоренько дѣло разъяснилось,
Рѣшетиловцы узнали разомъ,
Что „опять Маврутка забѣсилась“...

Старика свово на улицѣ шпыняла,
Животомъ и горломъ вопіяла:
— Борода дурацка, пропилъ ты свой разумъ,
Потерялъ коротенькій умишко!..
Раззоряешь женку и домишко:
Надѣваешь тайно кафтанишко,
Шаришь лапой на святой божницѣ
И бѣжишь къ Акулькѣ-озорницѣ?
Стой! Опомнись чуть, перекрестися...
Повернись назадъ и спать, злодѣй, ложися!—

Да нашелся старичокъ въ отвѣтѣ,
Какъ налимъ предъ Маврой извернулся,
Взговорилъ резонно и степенно:
— Будетъ те грѣшить, старуха!
Полно те задорить сердце
Да разстраивать свои суставы...
Аль не видишь, дура, въ лѣсъ иду я?
Въ лѣсъ по лыки—вотъ те и грѣхи всѣ!
Во... гляди, я къ лѣсу зашагаю...
Во—гляди... Вотъ—на и зашагалъ я!..—
И пошелъ старикъ отъ Мавры на задворья,
Отъ задворьевъ къ лѣсу, въ царство лыка.
Баба Мавра въ слѣдъ ему глядѣла,

Головой туда-сюда вертѣла,—
Разобраться въ дѣлѣ не сумѣла...

А въ душѣ у старика „бурлило“,
Къ сердцу злость заслономъ подвалила.
Говорилъ онъ, подвигаясь къ лѣсу:
— Этой жизни не стерпѣть и бѣсу!
Да постой, зубатая шалава,
Я устрою „дѣло подъ Полтавой“:
Разнесу поганую жизнь въ щепки;
Расшатаю разомъ всѣ закрѣпки!..
Ужъ всего я вволю натерпѣлся:
И бревномъ лежалъ и кубаремъ вертѣлся;
Камнемъ промолчалъ съ-полвѣка,
Потрафлялъ тебѣ и въ праздники и въ будни,
Батракомъ твоимъ стоялъ лѣтъ сорокъ...
Да постой! тебя я награжу обновой,
Заревешь ты у меня коровой;
Закручу тебя съ ногами и съ руками,
Завяжу тебя семью узлами!—

И пока кипѣлъ да горячился,
Старичокъ близъ лѣса очутился...
И свернулъ обратно къ деревнюшкѣ,
Но вошелъ въ нее „съ другого края“,
Тетку Акулину вспоминая,
Бабу Мавру крѣпко порицая,
О своихъ невзгодахъ вспоминая;
„Путь на волю“ стойко расчищая:
— Рразъ—довольно... Получай—спасибо!..
Насъ учили, такъ и мы поучимъ...
Канитель всю разомъ размотаемъ,
Привлекемъ законы изъ-подъ спуда
И прижмемъ злодѣйку къ частоколу!..
Только какъ бы покруглѣй обладить,
Чтобы не было ни слезъ, ни брани,

По душевному, безъ потасовки?..
„Ты вольготы хочешь?—На̀ вольготу!
Ты свободы хочешь?—На̀ свободу!
Только... и меня пусти, пусти хоть въ воду!..“
Будетъ мыкаться мнѣ горюномъ въ деревнѣ,
Быть у бабы Мавры забѣгалкой,
А самой ей—важной енералкой!
Эка жизнь, а?.. Господи, помилуй
И пошли мнѣ ловкость—изъ деревни
Улизнуть куда-нибудь подалѣй,
Чтобы очи Мавру не видали,
Чтобы уши Мавру не слыхали!

Подойдя къ сосѣднему крылечку,
Пріумолкъ бѣдовый Тарасеичъ;
Растворилъ неспѣшно дверь въ избушку,
Скинулъ шапку, покрестился въ уголъ.

III.

Одинокъ, безъ тетки Акулины,
Жалостный сидѣлъ на лавкѣ дядя Сидоръ,
Свѣсивъ книзу голову больную.
Думалъ думушку онъ очень злую:
Разойтись навѣки съ Акулиной,
„Вѣкъ дожить въ болотѣ, подъ осиной...“
Но завидѣвши въ избѣ сосѣда,
И уму и языку далъ волю—
Зароптал на тягостную долю:
— Охъ, братъ-Тарасеичъ, худо!..
Жду-сижу, когда затылокъ трещетъ
И душа ускочитъ вонъ изъ тѣла...
И еще невзгода налетѣла,
Слышь: Акулька-то моя сшалѣла.
А взялось съ чего? Я молвилъ слово:
„Дядю Сидора прибереги, Акуля,

Поднеси для здравія стаканецъ.
Всѣхъ сосѣдей ты жалѣешь: ходятъ
И по шкалику пущаютъ въ душу...“
Такъ она, шальная-то Акулька,
Врѣзалась въ меня, какъ пуля:
Побѣлѣла вся, зубами заскрипѣла,
Пестъ взяла—пестомъ убить хотѣла...
Замахала имъ надъ головой—вотъ этакъ—
И кричитъ: „Плѣшивый малолѣтокъ,
Пикни разъ—и двину я тебя вотъ этимъ по овину!..“

Тарасеичъ постоялъ, прослушалъ
Рѣчи Сидора и сѣлъ близъ двери
Словно каменный иль безъязыкій.
Вспомянулось старику про лыки;
Вспомянулась ноченька лихая,
Образина дьявольская злая...
Онъ вскочилъ и, шапкою махая,
Закричалъ про общія невзгоды:
— Дядя Сидоръ, трудные, братъ, нынче годы!
Что ни день—идетъ житье тошнѣе;
Что ни праздникъ—хуже, озорнѣе...
Будто катимся мы съ кручи въ яму,
Гдѣ полно—бѣды, нужды и сраму.
Праздникъ-отъ устроенъ на усладу нашу,
На отдышку мужику, коли въ умѣ онъ:
„Полежи на лавкѣ, протянися,
Отъ заботъ, отъ горя отрѣшися,
Закуси послаще... Выпей рюмку,
Выпей двѣ... ну, три...“
— Сосѣдъ, умолкни!..—
Закричалъ сердито дядя Сидоръ:—
Безъ тебя о праздникахъ я знаю;
Про отдышку тоже понимаю...
Ты насчетъ Акульки мнѣ совѣтъ дай:
Выведи меня изъ бѣдъ наружу,
А ее, Акульку-то, на стужу?—

Тарасеичъ постоялъ, подумалъ,
Съ маху шапкою объ столъ ударилъ
И отвѣтилъ Сидору пространно:
— Хошь винти, хошь не винти—все тоже!..
Барабанъ, значитъ, обтянутъ кожей
Для того, кто палкой его тронетъ,
Онъ сейчасъ загрохчетъ, загомонитъ...
Тоже—камень... молчаливъ и тихъ онъ,
А ударитъ въ темя—сразу дыхъ вонъ...
Слушай правду не моргая глазомъ:
Намъ обоимъ взбунтоваться надо
Противъ Мавры и Акульки разомъ!
Показать имъ досконально надо,
Что не мы стоимъ подъ ихней властью,
А онѣ сидятъ подъ нашей силой.
Вспомни-ка, какъ насъ вѣнчали,
Что въ писаніи дьячки читали?
Въ книгѣ сказано для бабы хуже:
„Пусть боится баба свово мужа".
А? Аль вотъ другое избавленье:
Стронемся отъ бабъ на поселенье?
Пусть цвѣты на луговинкахъ вянутъ,
Божьи рѣченьки пущай усохнутъ,
А злодѣйки въ горестяхъ заглохнутъ...
Коли путь нашъ—ямы да ухабы:
Прр-о-падай домишки, прр-о-падай и бабы!—
Тарасеичъ въ мигъ разгорячился,
Съ маху шапкою объ столъ ударилъ
И, притопнувъ въ половицу пяткой,
Завопилъ съ отчаянной ухваткой:
— Коли путь нашъ ямы да ухабы—
Пропадай домишки, пррр-о-падай и бабы!—

Дядя Сидоръ слушалъ и дивился,
И робѣлъ, и въ тотъ же часъ храбрился,
Разводилъ руками и ногами,

Шевелилъ губами и бровями...
Но прослушавъ, взговорилъ несмѣло:
— Тарасеичъ, это, братъ, не дѣло!
По бревенцу вѣдь домы скопляли,
Животы и силы надрывали;
Въ нихъ живутъ душой родители и дѣды;
Ими складены тутъ радости свои и бѣды,
Все!.. И вдругъ такое, другъ мой, разоренье?..
Разговоръ подобный не подходитъ,
Да и тò запомни: старики мы!..
Въ нашей линіи—бери другое!

— Эка старость!—крикнулъ Тарасеичъ:—
Было время, что въ солдаты брили
Насъ, такихъ-то, воевать водили!
Не пеняй, сосѣдъ, коль правдой я обмолвлюсь:
Обойди всю округу со свѣчкой,
Пить вино моложе не подыщешь!..
А ты вотъ что... Обувай лаптишки,
Одѣвай кафтанъ да шапку на затылокъ,
И пойдемъ искать себѣ вольготу.
Коли нѣтъ ея въ деревнѣ нашей,
То въ другой найдется али въ третьей!
Всѣхъ „языкъ до Кіева доводитъ“.
И за всякимъ ангелъ Божій ходитъ,—
При нуждѣ наставитъ и научитъ.
Помни: „храбрый въ жизни коноводитъ;
Смѣлый въ жизни—толстое получитъ!“

IV.

Дверь раскрылась. Тетка Акулина,
Будто пава, изъ сѣней шагнула,
На сосѣда ласково взглянула.
Тарасеичъ пуще ободрился,
Акулинѣ низко поклонился,

А лицо его усмѣшкой ясной
Освѣтилось, какъ у дѣвки красной.
И привѣтъ, привѣтной Акулинѣ,
Онъ сказалъ не хуже господина:
— Акулинѣ Гурьевной почтенье
Съ хохолкомъ и кистью отъ сосѣда,
Отъ души, отъ сердца, не отъ лести!..
Каково, сударка, поживаешь?
Все въ трудахъ часинки коротаешь
Да на праведничковъ уповаешь?
— Н... ничего себѣ... Живу тихонько,
День потяжелѣй, да два легонько...
— Да ужъ знаю, знаю, удала̀я!
Подлинно ты пчелка трудовая...
Говорятъ всѣ люди: „Акулина
Первая въ деревнѣ молодчина!..“
— За хвальбу спасибо, Тарасеичъ!
Только мыслю я, что все пустое,
Что я этакой хвальбы не стою...
Ну, а ты легко ли проживаешь?
— Какъ травинка лѣтомъ въ огородѣ,
Такъ и я, сударка, на народѣ:
Колочусь, что шабала объ кочку,
Утрафляю линію на точку.
Живъ пока—чужого не хватаю,
Своего чужимъ не оставляю...
Будто конь, терплю и работа̀ю,
Бабу Мавру хлѣбушкомъ питаю,
Говорю ей: „Трескай, Мавра, вдвое!..“
Гурьевна... есть дѣльце небольшое:
На-ко въ руку...
— Не мели пустого!..

— Въ головѣ, слышь, маленькій изъянецъ.
Ты мнѣ жиденькаго удружи стаканецъ...
— Нѣтъ ни жиденькаго, ни густова!

Съ мѣсяцъ ужъ, какъ этимъ не займаюсь,
И за прошлое займанье каюсь...
На рубли раскокаешь посуды;
А корысть—грѣхи да пересуды;
Да кажинную минуту страхи,
Что останешься въ одной рубахѣ...
— Гурьевна! Мнѣ чуточный налей стаканецъ,
Вотъ... въ вершокъ аль въ полтора, не болѣ...
Ты послушай, каково мнѣ сладко:
Въ головѣ-то, какъ въ рѣкѣ, бушуетъ,
Что расходится подъ осень въ вѣтеръ...
Хочешь, я сейчасъ те побожуся:

Ночью, думалъ, разума рѣшуся!
Идолъ на меня устрѐмился, треклятый,
Ростомъ—во! рогатый и мохнатый...
— Нѣту, Тарасеичъ, нѣту!..
Я не лгу; я кинула торговлю эту.
Самъ ты умный: какова торговля?
Коли правду молвить—мухоловля!..
— Буде врать-то безъ нужды охапку!
Прозакладую кафтанъ и шапку—
Безпремѣнно четвертуха дома
Гдѣ-нибудь въ подсѣньѣ аль въ соломѣ?
Н-на... бери-ко... загребай десницей!
Пятачокъ поганый заболтался,
Порѣшимъ, чтобъ не было соблазна...
На, имай-ко... Да имай же, полно
Кочевряжить надъ своимъ сосѣдомъ!..
— Отвяжись, безстыжій!
— Акулина!
— Уходи, не майся!
— Что ты, тетка,
Разума рехнулась, что ли:
Взять задаромъ пятачка не хочешь?..
Отчего ты въ этакомъ упорѣ?

Ты не вѣришь человѣку въ горѣ;
Ты—каленая душа, Акулька!..—

Подъ окномъ визжали ребятишки.
Пѣсни слышались и гулъ гармоникъ.
Дядя Сидоръ повернулъ къ окошку:
Пѣсни онъ любилъ и пѣть и слушать.

Говорилъ хозяйкѣ Тарасеичъ
И махалъ передъ глазами шапкой:
— У тебя за мѣсто сердца—камень,
Ты—жидовка, Акулина, вотъ что!
Вотъ тебѣ совѣтъ съ сурьезомъ:
Ты торгуй не водкой, а навозомъ!

Запылила тетка Акулина,
Закричала:
— Всякая скотина
Забредетъ къ те въ хату, словно къ брату,
Да и ну, учить повсячески, какъ дуру.
Ты-то что ломаешь изъ себя фигуру?
Безъ тебя я грамотки всѣ знаю;
На такихъ-то умныхъ я чихаю!
Ты съ умомъ-то носишься, какъ баринъ,
А въ душѣ—мытарникъ и татаринъ...
Ты да Сидоръ—первые лѣнтяи,
Дармоѣды, лоси, шалабаи!
— Ты не лопни, тетка, ото злости,
Пожалѣй пупокъ свой, сердце, кости!—
Говорилъ хозяйкѣ Тарасеичъ.
— Ты не баба—дьявольская кошка!—
Отозвался Сидоръ отъ окошка.—
Грѣхъ мнѣ навязалъ тебя, сутягу...
Вотъ, на зло, вдоль лавки я залягу
И просплю, какъ боровъ, всю недѣлю.
А сколь тронешь—разомъ раскудѣлю

Все жилье, да и тебя, чернавку!..—
И, сказавши это, Сидоръ легъ на лавку.

Тарасеичъ уходить собрался,
Понялъ онъ, что не добьется толку.
Но не вытерпѣлъ и показалъ иголку,
На прощанье молвилъ Акулинѣ:
— Будешь помнить ты меня отнынѣ!..
Донесу сейчасъ все дѣло по начальству,
„Что торгуешь ты безъ пошлины, безъ дани;
Продаешь крещенымъ всякой дряни...
Что большого ты туману напущаешь
Этой штукой въ Рѣшетиловой деревнѣ!
Что, молъ, ежели начальство не нагрянетъ,
Вся деревенька, какъ цвѣтъ, завянетъ,
Прро-о-падетъ!.. Останется, родная наша,
Безъ лаптей, безъ толокна, безъ каши...
Всѣ пропьются и пойдутъ съ котомкой:—
Сельскій староста-Власъ, сотскій Ѳомка,
Гришка, Федоръ, Пантелей, Ермила,
Прохоръ, Сидоръ, я и сватъ Гаврила;
Дѣвки, бабы, малыши, старухи...
Курицы—и тѣ ударятъ въ побирухи!..“
И прибавлю съ горькими слезами:
„Коль начальство съ сердцемъ и съ глазами—
Чтобы не было деревнѣ сраму —
Пусть усадитъ язву эту въ яму...
Пусть она тамъ, въ ямѣ-то, попрѣетъ
Да въ башкѣ маленько поумнѣетъ!..“
— Уходи-ко изъ избы-то, дурачина! —
Говорила тетка Акулина. —
Не пужливаго десятка я родилась;
Я сама себѣ начальство—не оно мнѣ.
Ты поди-ко, поучи-ко бабу Мавру...
Уходи, аль шкворнемъ обогрѣю!..
— Не бранись... Все будетъ по-людскому.

Закурю вотъ трубку и отправлюсь
По своей дорогѣ... Прощевайте!

V.

Въ это время заскрипѣло въ сѣнцахъ,
А въ дверяхъ дѣвицы показались.
— Можно, тетка Акулина, нашимъ
Погулять въ твоей избѣ маленько?—
Говорили дѣвушки хозяйкѣ.
Акулина дѣвушкамъ сказала:
— Аль на улицѣ вамъ мѣста мало?
— Да глянь—дождикъ... Дождикомъ загнало!..
— Ну, гуляйте, коли есть охота,
Коль на мысли вамъ нейдетъ забота...
Тарасеичъ, вонъ!..
— Ну, ладно, ладно!..
Не сердись... Дай поглядѣть маленько,
Какъ играютъ дѣвки въ хороводы.
Вспомни: сами мы такіе были,
Хороводы этакъ же водили
И поменьше,—помнится,—грѣшили?..
Все равно и дома зря болтаться:
Не работникъ я для бабы Мавры,—
Пусть теперь сама поработаетъ!—

Дядя-Сидоръ богатырскимъ храпомъ
Всю избу наполнилъ,—отъ дубины,
Отъ кола—коль спитъ—онъ не проснется,
Развѣ чуточку пошевельнется...
Въ Рѣшетиловой онъ слылъ:—„работникъ,
Да и пить и спать—большой охотникъ!“

Не прошло и часу, а избушка
Стала въ дѣвичьихъ рукахъ игрушкой:

Словно адъ кромѣшный, вся гудѣла,—
Печка дрыгала, слега скрипѣла,
Столъ плясалъ, всѣ лавки изогнулись,
Образа въ божницѣ всколыхнулись.—
Гармонисты разомъ всѣ играли,
Разомъ дѣвицы всѣ распѣвали,
Тарасеича къ ларю прижали.
Кто-то взлѣзъ съ ногами на кадушку;
Кто-то сѣлъ на Сидора, какъ на подушку;
Семеро забрались на лежанку.
Тарасеичъ опрокинулъ съ солью банку.
Съ печки сыпались горшки, полѣнья...
Акулина выла: „свѣта-преставленье!..“
А въ окошки, съ улицы, глядѣли
Ребятни огромныя артели;
На наличники взбирались, обрывались,
Изъ-за мѣстъ и спорили и дрались;
Ни дождя, ни вѣтра не боялись!
Видѣла все тетка Акулина,
Да засѣла въ гущѣ въ родѣ клина:
Головой туда-сюда мотала,
Палецъ свой отъ горести глодала
И кричала жалобно: „потише!“
Да никто ее въ избѣ не слышалъ.—
Все поетъ въ избѣ, играетъ и горланитъ,
На дальнѣйшую шумиху манитъ;
Все—живетъ, гуляетъ, веселится,
Въ звукахъ голоса куда-то вдаль стремится,—
Въ даль незнамую—какъ бы въ могилу—
Вырваться хотѣла въ пѣсняхъ сила,
Сила дѐнная, густая, молодая,
Та,—которая, вѣка переживая,—
Изнесетъ на раменахъ костистыхъ
Тьму обидъ и бѣдъ и пѣсенъ голосистыхъ,
И уйдетъ—незримая—въ могилу,
За собой оставивъ жизнь и силу...

Ребятишки съ улицы глядѣли
Въ хату теткину и слушали, какъ дѣвки пѣсни пѣли:

Пѣсня.

„Шелъ высокій, бѣлолицый нашей улицей,—
Кудри русыя по вѣтру развѣвалися.
Изъ окошекъ на молодчика пригожаго
Красны дѣвицы тихонько любовалися:
— Чей такой идетъ по улочкѣ, откудова?
Какъ зовется онъ по имени-изочеству?
Ужъ такого ли дѣтинушки пригожаго
На широкой нашей улицѣ ввѣкъ не было...
Никогда такой хорошій не разгуливалъ,
Красныхъ дѣвушекъ, какъ пташекъ, не испугивалъ!
— Ой, Матрёнка, али сердце встрепенулося?
Отчего ты словно въ воду окунулася?..
„Это мой идетъ... Мой суженый и ряженый,
Красно-солнышко—надёжа—Иванъ Тихонычъ...
Охъ, прощай-прощай ты, долюшка гульливая,
Доля дѣвичья—святая, не спѣсивая!
Въ дальней жизни мы съ тобою не повстрѣтимся...
У меня теперь иная есть заботушка,
У меня теперь иная есть дороженька!..“

Пѣсня стихла. Рѣчью ровною
Отозвалась красна-дѣвица:
— Три спасиба вамъ, подруженьки!
Три поклона вамъ, молодчики!
А всѣмъ вмѣстѣ—слово дѣвичье:
Коли пѣсня величальная,
То пѣть надо всѣмъ за очередь,
А не мнѣ одной, по выбору,
За богачество отцовское...
Не одна летаетъ въ облакѣ
Божья птица лебедь-бѣлая, —

Не одна въ деревнѣ дѣвица:
Много дѣвицъ, много краше есть!
Да и пара ли Ивану я?
Ванька Тихоновъ вдали живетъ,—
Безъ призора молодая кровь
Горяча и неуемчива...
Можетъ статься, Ванька Тихоновъ
Ужъ слюбился съ иной дѣвицей,
Съ франтоватой горожанкою?..
Вѣдь гдѣ ихне обѣщаньице,
Тамъ кружитъ и разставаньице...
А намедни дядя Тихонъ самъ
Былъ у батюшки, тужилъ по немъ:
„Больше года духа-слуха нѣтъ
Про Ванюшу! Лишь Богъ вѣдаетъ:
Живъ ли малый аль въ землѣ лежитъ!“
Только я... не потаюсь, скажу:
Я... пошла бъ за Ваньку съ радостью!..
— Ай да, дѣвка, молодчина, вѣрно слово!..
Ай, Матрёнка, разуважила до сердца...
Ужъ по крайности выходитъ не облыжно,
Изъ души наружу выпираетъ:
„Сколь люблю, такъ и люблю, всѣ знайте!..“
А иная—этакъ—заеферитъ,
Языкомъ, душой залицемѣритъ:
За столомъ сироткой прикурнется,
За угломъ—какъ вихорь развернется,—
Старика на всякое научитъ
Такъ, что голову, какъ брюхо, вспучитъ...
Вотъ и—я! люблю вино и каюсь:
Плачу отъ него, терплю и маюсь!
Назюзюкаюсь—прощай, охота...
Назюзюкаюсь—прощай, забота...
И, какъ волкъ, страшна тогда работа.—
Осуждай меня, дѣвчата, сколь охота!..
— Тарасеичъ! ты чего здѣсь заболтался? —

Закричала шустрая Паранька,
Ѳомки-сотскаго меньшая дочка: —
Хоронись скорѣе... Не гляди въ окошко!..
— А чего есть страшнаго въ окошкѣ? —
Далъ вопросъ Паранькѣ Тарасеичъ.—
Я въ гостяхъ у тетки Акулины;
А окошко для другой причины...
— Я вѣдь правду, Тарасеичъ, баю:
Отъ большой бѣды тебя спасаю!..
Погляди: вонъ баба Мавра ходитъ
И глаза свои сюда наводитъ...
— А мнѣ что такое, думаешь ты, Мавра? —
Озадачилъ дѣвку Тарасеичъ,
И добавилъ, объясняя толще: —
Не впервой мнѣ Мавра-то извѣстна,
Лѣтъ ужъ сорокъ, ежели не болѣ...
По закону—дадено намъ право
Бабъ держать въ ежовыхъ рукавицахъ,
Чтобы помнили житье свое въ дѣвицахъ!
Только... вышла у меня ошибка:
Смолоду я жилъ, какъ и теперь, не шибко—
Былъ я тихъ, что брюквенное сѣмя,
Все терпѣлъ... А Мавра въ это время
Забирала силу надо мною;
Оцѣпила все хозяйство, какъ петлею...
Самого меня утюжила клюкою!..
Да пришелъ конецъ молчанью и терпѣнью—
Заведу я свѣтопреставленье:
Подъ себя упрячу все хозяйство,
А супругу-Мавру на полати—
Прусаковъ на потолкѣ шпыняти!..
— Ты бы хвасталъ, Тарасеичъ, гдѣ подалѣ!—
Поперечила Паранька, усмѣхаясь. —
Вся деревня знаетъ, что „и въ подѣ,
И въ избѣ ты, и во-сняхъ—въ неволѣ!..“
— Ой, дѣвчонка, погоди смѣяться! —

Говорилъ Паранькѣ Тарасеичъ:—
Хоть родилась ты востра, рѣчиста,
А тебѣ я дамъ совѣтъ съ отвѣтомъ:
Не кажись умнѣй всѣхъ передъ свѣтомъ...
Мало ли чего гдѣ не бывало?
Мало ли чего прошло да перебыло?
Не всегда держи наружу шило—
Это вещь хорошая при дѣлѣ,
А безъ дѣла уколоть имъ можно
И сосѣда и себя близъ сердца...

VI.

— Не житье мнѣ, горькой, удалось, а тяга...
Навязался взамужъ мнѣ—бродяга!—
То, раскрывши дверку, баба Мавра
Со своей душою говорила.—
Такъ и знало сердце, что енъ здѣся...

— А чего такого знало твое сердце?—
Закричалъ изъ щели Тарасеичъ,—
Черезъ головы дѣвицъ веселыхъ,
Озирая грозно бабу Мавру.—
Аль я здѣсь хозяина зарѣзалъ?
Аль избу поджегъ у тетки Акулины?..
— Чтобъ те стукнуло по шеѣ громомъ,
Чтобъ праликъ тебя въ затылокъ двинулъ!..—
Отвѣчала Мавра въ огорченьи.—
Всю ты душу изъ меня вонъ вынулъ,
Затуманилъ мысли и разсуды...
Съ самой свадьбы маюсь я, страдаю,
Дѣться въ старости куда—не знаю!..

Тутъ, махнувши шапкой предъ глазами,
Растолкавъ всѣхъ дѣвушекъ локтями,
Тарасеичъ завопилъ съ слезами:

— Стой, Маврушка, не мути народа!
Подожди... дай правды я отрѣжу:
Замужъ ты взята изъ бѣшеной породы—
Вся порода ваша—ироды, буяны!
Знаютъ всѣ: твой дядя умеръ пьяный;
Дѣдъ твой, Гавреилъ, съ пономаремъ подрался;
Братъ твой—Амподистъ—пять разъ проворовался;
Братъ другой—Еремка—на ружьѣ стрѣлялся...
Батя твой—кулашникомъ считался.
Сватъ твой... Да не въ томъ и дѣло!
Вижу я тебя наскрозь: ты сраму захотѣла,
Да не гдѣ-нибудь тайкомъ, на огородѣ,
А при дѣвицахъ, при всемъ народѣ?
Да—шалишь!.. Не буду я срамиться,
Надъ собой не дамъ тебѣ глумиться.
Отвѣчай мнѣ, вѣдьма, на опросы:
Разъ—ты отъ какой причины
И себѣ и мнѣ житьишко загвоздила?..
Два: я на душѣ печали
И невзгоды и болѣзни всякой
Износилъ пудами, какъ женился
На тебѣ, разбойницкая баба?..
Дай отвѣтъ мнѣ при честной компаньѣ:
За какія вины дадено мнѣ наказанье?
Можетъ статься, кабы не тебя, задиру,
А другую дѣвицу я взялъ въ тѣ поры—
Не пятакъ бы былъ въ горсти моей, а гривенишны горы?..
Можетъ статься, въ волостной конторѣ
Межъ судьями засѣдалъ я первый:
Дураковъ судилъ бы да смутьянокъ?..
Можетъ статься, вотъ, сію минуту
Не въ лаптяхъ стоялъ бы я, сердешный,
А въ козловыхъ сапогахъ и въ шляпѣ?..
— Босикомъ бы ты, дуракъ, стоялъ-то!..
Голышемъ бы ты въ грязи валялся.—

Отвѣчала Мавра, и у ней слезинки
Изъ очей скакали, какъ дробинки.—
Я... тебѣ-ѣ... души край удѣлила-а...
Я-а... тебѣ пол... сердца отломила...
Ка-а-бы знала я тебя въ тѣ поры—
Не сманилъ бы ты меня вѣнчаться.
Тьфу! скорѣй пошла бы за жида я...
— Обожди плеваться, баба Мавра!—
Завопилъ озленный Тарасеичъ, —
Подошелъ конецъ всей вашей власти:
Давечь съ Сидоромъ мы порѣшили
Брата вашего глушить въ затылокъ,
Чтобъ вы нашего-то брата понимали...
Уходи, постылая, покеда
Не вклеилъ тебѣ я на затылокъ пробу!..
— Ошалѣлъ ты, что ли, окаянный?—
Лепетала Мавра въ перепугѣ,
И хоть храбрая была старушка,
А продвинулась поближе къ двери...
— Нѣтъ, небось, не шибко ошалѣлъ я,
А скорѣй—на много поумнѣлъ я!..
Хоть стою сейчасъ немытый и въ заплатахъ,
Да въ затылкѣ разума палата.
Слава Богу, нажилъ въ часъ единый!
Я тебѣ всѣ крылья обломаю...
Я тебѣ всю храбрость сколупаю...
Маршъ съ очей моихъ и сгинь въ подземной!..—
Говорилъ угрюмо Тарасеичъ
И, плечами двинувъ вправо, влѣво,
Закричалъ:—Эй, дѣвицы, посторонись маленько,
Чтобъ ее мнѣ уцѣпить ловчѣе...

VII.

Зазвенѣли подъ оконцами
Колокольчики, бубенчики.

Всей толпой гуляки кинулись
Изъ избушки вонъ—на улицу.
Баба Мавра впереди другихъ
Ускокнула, страхъ забросивши.
Баба Мавра отъ рожденія
Была нрава любопытнаго,—
Отъ пожара убѣжитъ бѣгомъ,
Коли новость гдѣ зачувствуетъ.
Да чего!—старикъ не вытерпѣлъ:
Сквозь окно взглянулъ на улицу.
Только Сидоръ неотзывчивый
Продолжалъ свой сонъ забывчивый.
А хозяйка въ колокольчикахъ
Уловила смыслъ особенный:
Всполохнулась непорядками—
Загремѣла въ сѣняхъ кадками,
И куда-то мигомъ сгинула,
Словно Божій свѣтъ покинула...
Тарасеичъ былъ колдунъ-старикъ:
Тетка прятала „бутылицу—
Грѣховодницу-кормилицу...—
Во бубенцахъ ей почудилась
Сила дѐнная, нечистая,—
Въ хлопотахъ она молилася:
„Заступи-спаси, Пречистая!
Пронеси помимо идола,
Чтобъ и глазомъ я не взвидѣла...
Чтобъ и *енъ* не повидалъ меня!..“

VIII.

Въ эту пору растворилася
Дверь во горенку хозяйскую,—
На порогѣ объявился гость,
Городской дѣтина, видимо.
На „дѣтинѣ“ чуйка синяя

Отъ дождя была мокрехонька.
На дѣтинѣ былъ жилетъ цвѣтной:
Средь малины съ земляникою
Прорастали макъ съ гвоздикою!
Самъ дѣтина—словно бронзовый,—
Загорѣлый, сытый, холеный,
Вѣкъ не битый, лишь мирволеный;
Носъ какъ рѣпа, очи—щелочки;
Борода въ четыре волоса
И, какъ баба, безъ усовъ совсѣмъ...
Уши будто у коровушки
И въ одномъ изъ нихъ серьга была;
Кулачищи, что пудовики,
Волоса—одни ежовики,—
Курамъ на-смѣхъ былъ остриженъ онъ—
По башкѣ-то, какъ косой пройденъ;
Брюхо бочкою раздулося,
И поверхъ него толстенная
Часовая цѣпь тянулася.—
Словомъ, выглядѣлъ дѣтинушка,
Какъ отборная скотинушка,
Для убоя припасенная,
Всякимъ сладкимъ угощенная.

— Ты хозяинъ?—зарыкалъ пріѣзжій,
Старика окинувъ грознымъ взоромъ,
Словно былъ онъ разомъ—пять разъ воромъ.
Тарасеичъ струсилъ отъ рыканья,
Разомъ впалъ въ зябушки и въ молчанье,—
Шапку мялъ руками, задыхался,
Въ мысляхъ—съ жизнію своей прощался...
— Я хозяйка здѣся, ваша милость!—
Взговорила тетка Акулина,
Тихо вплывшая сквозь дверь въ избушку.—
Самъ хозяинъ-отъ лежитъ на лавкѣ.

А вотъ—этотъ... сватъ нашъ, Тарасеичъ...
Что занадобилось вашей чести?—
Сколь къ отвѣту дѣло—я въ отвѣтѣ!
Я тихохонько живу на свѣтѣ,
Все имаю лаской да терпѣньемъ,
Да молитвами, да усмиреньемъ.
Прилещаю всякаго мальчишку...
Бьюсь, какъ рыбина, а все нѣтъ лишку!..

— Разогрѣй-ко мнѣ воды для чаю...
Я жъ пока пожду, поотдыхаю,
А потомъ ужъ разберу всѣ точки!
Ну, верти ногами, какъ живая;
Да смотри—безъ мухъ, безъ таракановъ,
Чтобы не было тебѣ изъяновъ!..—
Говорилъ пріѣзжій.—Я ужъ школенъ
Вашей братіей да такъ, что боленъ
Былъ два мѣсяца отъ той науки,—
Чуть не умеръ я отъ тяжкой муки.—
Дѣло этакъ же въ дорогѣ было
И, вотъ этакъ же, какъ ты теперь,—
Старуха мнѣ уху варила
Да ужа межъ рыбой и ввалила,
И меня ужомъ-то накормила?!..
А когда я заигралъ съ ней *въ прятки,*
Взмолилась: „Батюшка, прости старуху:
Не зря сварился ужъ, отъ недоглядки!..“
Одна утѣха мнѣ, что помнятъ про ужа
Стряпухины бока, микитки и лопатки...
Фу-у!.. смаялся, какъ чортъ въ обѣдню!
Перемокъ, какъ курица въ похлебкѣ...

И пріѣзжій, шумно распыхтѣвшись,
Что копна, средь хаты завертѣлся:
Снялъ картузъ и чуйку и жилетъ свой,
Сапоги, штаны—все на клинки повѣсилъ,

И засѣлъ на лавку предъ святыми,
Заслонилъ ихъ жиромъ и нагуломъ.

Тарасеичъ мыслилъ, озираясь,
Незамѣтно къ двери придвигаясь:
„Экій—сытый, голосистый, строгій!..
Уносите-ко меня вы, ноги,
Поскорѣй отседа, къ бабѣ Маврѣ...
Не ровенъ часъ—толстый осерчаетъ,
Кулачиной брызнетъ по затылку—
Разнесетъ въ осколки, какъ бутылку!..
Сила, значитъ, пребольшая въ тѣлѣ,
Коль ужа сожралъ и не издохъ, а живъ доселѣ?..
А хозяйка торопко и спѣшно
Разводила на шесткѣ горѣнье:
Вздувала угольки, хваталась за полѣнья,
Сгребала щепочки, растопочки искала,
Въ мысляхъ запуталась и въ тѣлесахъ дрожала,—
Хваталась за ухватъ, за рѣшето, за ситко
И—въ спѣшкѣ—на таганъ поставила корытко...
Но въ тотъ же мигъ мыслями просвѣтилась,
За горшокъ руками уцѣпилась
И наполнила его водой до края.
А огонь горѣлъ—мелькая, потухая,
Шипъ и свистъ изъ щепокъ извлекая.

Мухъ ручищею сердито отмахнувши,
Тарасеичу на лобъ взглянувши,
Слово грозное сказалъ пріѣзжій:
— Чортово, старикъ, здѣсь мѣсто,
Да и сами вы на видъ, какъ черти!..
Что трясешь козлиной бороденкой?
Ты спроси: какъ здѣсь я очутился?—
На „угодьяхъ“ вашихъ заблудился,
А во мхахъ—чуть жизни не лишился!—
Здѣсь медвѣдю жить—медвѣдь заплачетъ.

Дьяволъ здѣсь на лѣшемъ не проскачетъ
Полверсты—сломаетъ роги, ноги!
В-вѣкъ не видывалъ такой дороги—
Озорства надъ Божьими путями:
Колдобины, ямы да каменья,
Лужи, кочки да гнилье лѣсное.—
Дѣдъ, скажи: вы черти, али люди?..
— К-акъ же... люди, батюшка! Мы—люди...—
Отвѣчалъ несмѣло Тарасеичъ,—
Но одно—запужанные люди,
Затуряканые, одно слово!..
А насчетъ дорожки—кинь сумленье:
Анамнясь дорогу мы чинили,
Всякой штуки взяли-навалили...
Можетъ статься, что оно—не крѣпко,
Да зато примѣтливо и цѣпко.—
Съ этакой дороги не заблудишь,
Хоть недѣлю ѣхать—все тутъ будешь!..

А пріѣзжій мухъ гонялъ руками,
Комаровъ отпихивалъ ногами,—
Ухомъ слушая разсказы дѣда,
Разговоръ повелъ съ своей душою...
— Сорокъ верстъ безъ сна и передоху
Черти мыкали меня средь пней и моху.—
Боль слышна во всей моей природѣ:
Черёва встряхнуты, исполоскались кишки,
На бокахъ и на сидѣньѣ шишки
Отросли, какъ рѣпы въ огородѣ.—
На такой дорогѣ очумѣешь,
На такой дорогѣ околѣешь,—
И никто объ этомъ не узнаетъ,
И никто-никто не возрыдаетъ!—
Набѣгутъ Степашки да Лукашки—
Вышарятъ до дна кармашки
И къ себѣ въ-запазухи попрячутъ,

Побѣгутъ въ кабакъ—тамъ съ радости заплачутъ...
Тетка, эй!—горшокъ-то всполоснула?
Да живѣй!.. Аль у шестка заснула?
— Поспѣшаю шибко, ваша милость,—
Да растопки-то на-грѣхъ сырыя.
Вишь, погодки-то все дождевыя!
— А сушиться некогда отъ лѣни?
Все бы жрать вамъ да лежать на сѣнѣ?..
Все на Бога склали: „Господи, помилуй
Да подай,—взрасти небесной силой,—
Пронеси невзгоды и печали,
Чтобы крѣпче на деревнѣ спали?..“—
Вопрошалъ пріѣзжій Акулину
И добавилъ, почесавши спину:
— Я сижу и мыслю, на васъ глядя:
„Одичали люди въ здѣшней чащѣ,
Облѣнились всѣ, спились всѣ до едина!..
Самъ сельскій староста у нихъ—дубина!
Есть спасеніе: стегать почаще
Всѣхъ ихъ слѣдуетъ,—гремѣть грозою!..
Просвѣщать—полѣномъ да лозою!..“

Гость умолкъ... Но погодя немножко
Взоръ направилъ въ поле, сквозь окошко,
И увидя за-полемъ боръ дальній,
Взволновался снова, зарыкалъ печально:
— Эко мѣсто лѣшіе селили—
Сорокъ верстъ лѣсами заростили,
Межъ лѣсовъ—трясинами пустили,—
Пней, корягъ, облома накидали,
Мужиковъ лохматыхъ насовали—
Тамъ и сямъ въ копченыя избушки...
Неужли и это—деревнюшка,
А не куча хламу да соломы?..
— Деревнюха... Деревнюха это,
Рѣшетиловой зовется, какъ же!..—

Объяснять пустился Тарасеичъ:—
Аль не видѣлъ—на столбѣ доска есть?
На доскѣ написано: „Деревня
Рѣшетилова, седьмого стана,
Волости Суши-Мочильской,
Зажимай-Лупцовскаго уѣзда,
Сорокъ душъ вмѣщаетъ человѣчьихъ
Да близъ сотни—дѣвичьихъ и бабьихъ".
Я-то самъ про грамоту не знаю,
Ну, а это наизусть читаю.

Объяснивъ все толкомъ, Тарасеичъ
Посмѣлѣлъ, ударился въ разспросы:
— Вотъ... А самъ ты по какому дѣлу
Блудишь здѣся, господинъ умнѣйшій?
— Изъ подъ Кіева на Нижній жарю.
— Изъ подъ Кеева?.. Святое мѣсто!
Тамъ святыхъ-то, сказываютъ бабы,
Уготовлено въ печорахъ столько,
Какъ въ раю!—конца и счета нѣту.—
Тутъ старикъ совсѣмъ пріободрился,
Пятачокъ за пазуху засунулъ
И, присѣвъ у двери на скамейку,
Задушевною ударилъ рѣчью:
— Я и самъ пытался на свободѣ
До печоръ дойти и поклониться
Всѣмъ угодникамъ святымъ отъ сердца,
Да поди-ка ускокни изъ дома!—
То сѣва̀ приспѣютъ въ это время,
То навозы, сѣнокосы, жнитва,
Молотьба настанетъ, дроворубля.
Тамъ подушно надо, поголовно...
Такъ что,—ошалѣвши словно,—
Весь уѣздъ и въ тугѣ и въ напорѣ.
Тамъ снѣгами занесетъ дороги,
И мужикъ складетъ на печку руки-ноги,

Спитъ и мается, умомъ разводитъ,
Глядь—весна изъ-за лѣсовъ приходитъ,
Грачъ Христовъ летитъ изъ тепломорья...
Такова ужъ, миленькой, мужичья доля:
Все оретъ онъ, сѣетъ да молотитъ,
Да на волю Божію охотитъ.
Круглый годъ онъ, будто паутиной,
Весь запутанъ дѣломъ да заботой,
Упованіемъ, надеждой-вѣрой...
Насъ одно всѣхъ пуще облегчаетъ:
На землѣ сидимъ мы въ родѣ рѣдьки,
На аршинъ въ кормилицу вросли мы.
Тутъ рождаемся, живемъ и ляжемъ.
Какъ живемъ? Про то лишь Богу скажемъ!

Гость пріѣзжій доставалъ изъ сумки
Узелки, посуду и въ аршинникъ
Длинную бутылку съ пойломъ.
Кабы грамотенъ былъ Тарасеичъ,
Онъ легко бы прочиталъ и надпись
На бутылкѣ длинной „Ромъ ямайскій“.

Вскипятила Акулина воду
И на столъ поставила съ поклономъ.
Гость умѣлою рукой все справилъ:
Чай распаренный ромцомъ разбавилъ,
Отхлебнулъ, еще ромцу прибавилъ.
Угощаясь, сердцемъ умилился,
Съ Тарасеичемъ разговорился:
— Дѣдъ, побаимъ-ка насчетъ житьишка:
Много отъ трудовъ-то остается лишка?
— Сыты всѣ. Живемъ всѣ помаленьку
Ничего не вѣдаемъ иного,
Какъ труды, труды безъ останова!
Вѣдь нашъ братъ лишь въ старости вольготенъ,
Какъ всѣ силы вытрясъ вонъ изъ жилы...

А сыны у мужика найдутся,
Да невѣстки если удадутся—
Все забудетъ горькое, что было...
Въ этомъ разѣ не житье, а мыло!..
Ну, зато теперечь достается,
Такъ ино умаешься, какъ лѣшій.
Да и то бы ничего, да бабы
Допекаютъ мужиковъ, какъ жабы;
Какъ веревками всѣхъ насъ скрутили,
Умъ въ башкѣ иному помутили...

Акулина слушала и головой качала,
На обиду язвой отвѣчала:
— Дуракамъ и курица помѣха,
Дуракамъ и въ нёбушкѣ прорѣха!
А кто съ разумомъ—тотъ бабу цѣнитъ,
На коня тотъ бабу не промѣнитъ...

Замахалъ руками Тарасеичъ,
Перебилъ хозяйку на полсловѣ:
— Погоди-ко, *сватья* Акулина,
Побесѣдовать дай съ господиномъ!
Облегчить дай загнанную душу,
Растѣснить притиснутое сердце...
Аль не правду господинъ промолвилъ:
„Дѣдъ, вы—дурни, бабы ваши—черти?“
Вотъ... Я самъ, сейчасъ же, бабу Мавру,
Не задумавшись, къ чертямъ приставлю!..
Образовъ она въ божницѣ не боится,
Мужиковъ въ деревнѣ не стыдится;
Съ утра до ночи все рветъ и мечетъ;
На меня кидается, какъ кречетъ...
Я жъ терплю! Я порѣшилъ мыслями:
„Отдохну вверху, за облаками...“
Ну, а ежели за облака не пустятъ,
Ежели внизу все дѣло раскапустятъ,

Гдѣ тогда останется моя потачка?..
— На-ко, выпей!—говорилъ пріѣзжій
Тарасеичу и налилъ въ рюмку
Рому горькаго безъ сожалѣнья.
— Не хмельно ли, господинъ хорошій?—
Боязливо молвилъ Тарасеичъ:—
Я хмельного иногда пужаюсь...
Я сперва лишь на̀ вино кидаюсь
И дня три безъ устали сражаюсь,
А какъ глянетъ рыло изъ-подъ печья,
Понимай—доѣхалъ до увѣчья!
— Пей! „пужаюсь...“ Чучело лѣсное!
Не простое это, заказное,
Для дворянъ сготовлено въ усладу.
А для васъ сготовлено иное:
Хуже дьявола съ боковъ и съ заду,
Какъ хлебнешь—приблизишься вдругъ къ аду,
Какъ еще—весь разумъ потеряешь
И ножомъ туда-сюда спыряешь...—

Тарасеичъ опрокинулъ рюмку,
Закряхтѣлъ, заморщился, пригнулся,
Взговорилъ тоскливо и пытливо:
— Охъ, какой, братъ, живодерной налилъ,
Весь языкъ до ко̀рня опалила...
Экая въ проклятомъ сила!
Экая бутыль-то, что кобыла!..

Гость-пріѣзжій „отошелъ отъ сердца“,
Тарасеичемъ залюбовался,
Раскатился смѣхомъ, словно громомъ,
И другую рюмочку наполнилъ ромомъ.

Этимъ часомъ пробудился Сидоръ,
Сѣлъ прямехонько, глаза уставилъ
На бутылку, но не молвилъ слова.

Тарасеичъ же, какъ ручей вешній,
Раскатился широко и вольно:
— Наша жизнь, хорошій, не простая—
Коли все сойдетъ благополучно,
Ни дождемъ, ни жаромъ не охватитъ,
Градомъ рожь въ поляхъ не обмолотитъ,
Что мнѣ баринъ изъ Москвы-столицы?
Гдѣ тягаться барину со мною?
Загоняю я его, какъ зайца!
У меня все цѣло: и печенка,
И душа, и грудь, и селезенка;
А у барина вся суть—казенка!..
Не дадутъ, значитъ, казенныхъ денегъ
Барина и нѣтъ, онъ—вѣникъ!
У меня жъ, подъ осень, глянь въ сусѣки:
Ржи, льняного сѣмя и гороха,
Коноплянки, гречки и овсишка—
Наворочены святыя горы...
И своя изба и свой конишко!..
— Для коня овесъ-то засѣваешь?—
Любопытствовалъ у старика пріѣзжій.
— Нѣ-ѣ-тъ, другъ!.. Кто же для скотины сѣетъ?
Для скотовъ и Божьяго наспѣетъ.
Шибко жирно, масляно и толсто
Разнымъ сѣянымъ кормить скотину:
Набалуется—съ двора не съѣдетъ,
Съ озорства—копытомъ въ лобъ заѣдетъ!
У меня кобылкѣ хрыштыкъ—сѣно;
А не хватитъ сѣна—дамъ соломы,
Жрать захочетъ—скушаетъ, не фыркнетъ!
Мы, красавушка, овесъ-то паримъ,
Сушимъ да пестомъ толкаемъ,
Толокно, значитъ, уготовляемъ,
И питаемся въ посты безъ останова;
А какъ все—настряпаемъ опять такова...
Все жъ другое—продаемъ заѣзжимъ.

Разбери, вотъ, нашу променаду:
Сохи, косы, соль, серпы, телѣги,
Да съ боковъ тамъ разные набѣги...
А первѣй всѣхъ—подати сдать надо!
Не съ быка онѣ, а одолѣли,
Прутъ на мужика изъ всякой щели.
Вотъ... кабы вверху тамъ толокна поѣли...
Точно, было бы намъ облегченье въ этомъ...
Да поди-ка! курицъ тамъ ѣдятъ зимой и лѣтомъ.
А у насъ курятину вкушаетъ ястребъ,
А цыплятъ—сороки да вороны,
Да иныя разныя персоны...
Лишь ино̀,—заслышавъ курьи стоны,
Рѣзанетъ ее мужикъ да и пожаритъ,
Али тамъ во штяхъ чуть-чуть попаритъ,
Да и съѣстъ съ ребятками, и пожалѣетъ...

Покачалъ пріѣзжій головою,
На разсказчика взглянулъ печально
И закинулъ разомъ три вопроса:
— А блины гдѣ?—Колобки?—Кокоры?
Эхъ, старикъ! а хвастуешь: „въ сусѣкахъ горы!..“
Горе-горькое житьишко ваше;
Во арапіи живутъ покраше...
— Ну, нельзя сказать, что очень горько,
Хуже, ласковый, бываетъ въ жизни!
Ты припомни старую погудку:
„Безъ нужды и счастья не спознаешь,
Доброе, какъ скотъ, разворыпаешь“.
Вотъ, примѣрно, мы не видимъ счастья,
Да зато въ него мы крѣпко вѣримъ:
Пронесетъ его Христосъ и здѣся,
Тутъ иной, кто посмѣлѣй, и схватитъ...
— Шиломъ патоки?—спросилъ пріѣзжій
И умолкъ, и надъ столомъ склонился.

IX.

На порогѣ объявилась Мавра,
Отъ порога гулко завопила:
— У бутылицы сидишь, мошенникъ?
Празднуешь опять, нечиста сила?—

Дрогнулъ за столомъ пріѣзжій,
Поднялъ голову, взглянулъ на Мавру.
— По-о-до-о-жди, бра-а-тъ!
— Не бранись, старуха...
— Нѣ-ѣ-тъ, теперь я...
— Перестань грѣшить-то!
Аль не видишь: здѣсь честные люди?
— Бѣсъ честилъ васъ, пьяницъ забубенныхъ,
Сатана хвалилъ васъ, некрещеныхъ!
Нѣ-ѣ-тъ, не жди теперича потачки:
Хоть и баба, я пойду въ кулачки,
Разнесу тебя въ клочки и въ щепки!..—
Тарасеичъ разомъ сократился,
За пріѣзжаго въ жару схватился,
Какъ угоднику ему взмолился:
— Такъ вся жизнь ушла: подскоки да ухабы...
Миленькой, спаси отъ бабы!..

Тутъ другая каша заварилась,
Акулина въ Сидора вцѣпилась,
Закричала Сидору сердито:
— Ты давненько тоже у меня не битый...
Ну-ко, я тебя, лохматаго, пошколю,
Расчешу тебя и въ сласть и вволю!.

И настало свѣтопреставленье:
Шло упорное въ избѣ боренье—
Полетѣли съ полокъ крынки, латки;
Все смѣшалось въ рукопашной схваткѣ:
Дядя Сидоръ, крупный мужичище,

Тарасеичъ—курицына пища,
Баба Мавра длинная, какъ палка,
Акулина крѣпкая, какъ балка,
Наприбавку черная, какъ галка.
Не стерпѣлъ пріѣзжій, взволновался,
Подынулся, грозно раскричался:
— Стойте, бестіи!.. Аль ошалѣли?..
Шумъ затѣяли въ избенкѣ оной,
Драку завели передъ моей персоной,
Будто въ праздничномъ пылу-разгарѣ
Гдѣ-нибудь на городскомъ базарѣ?..
Цыцъ, скверныя!..
— Своихъ колотимъ,
Не чужихъ какихъ, а богоданныхъ!—
Отвѣчали Мавра съ Акулиной:—
Тотъ и этотъ дадены намъ въ храмѣ...

На отпоръ и скорый и безспорный
Гость пріѣзжій не нашелъ отвѣта.
Но, качнувъ большенной головою,
Поглядѣвъ смѣшливо на сосѣдей,
Съ укоризною сосѣдямъ молвилъ:
— А-я-яй, какіе дураки вы!
Ну, гдѣ виданы такія чуды,
Чтобы бабы мужиковъ учили?..
Чтобы бабы ихъ въ затылокъ били?
Кабы я сидѣлъ на вашемъ мѣстѣ,
Я бы выкусилъ такую штуку,
Что самъ чортъ мнѣ подалъ бы, какъ брату, руку.—
Тарасеичъ не стерпѣлъ въ отвѣтѣ:
— Что бы сдѣлалъ ты на нашемъ мѣстѣ,
Голова ежова? Ничего, братъ,
Самъ уѣздный здѣся не наладитъ...
Здѣсь не только мужичокъ аль баринъ,
Соломонъ со шпонки не соскочитъ!..
— Кабы я сидѣлъ на вашемъ мѣстѣ,—

Повторилъ настойчиво пріѣзжій:—
Взялъ бы пашпортъ въ волостной конторѣ,
Загулялъ бы гусемъ на просторѣ!
Вотъ, берите пашпорта да въ городъ
И махайте подъ моей охраной!
Кумъ мой въ городѣ заводъ имѣетъ
Винокуренный, большой-огромный,
Онъ обоихъ васъ приставитъ къ бардѣ:
Все и дѣло—выпускай да черпай,
Да рубли укладывай въ кошелку!..

Будто громомъ грохнуло... Въ избушкѣ
Миръ и тишь мгновенно водворились.
Восемь глазъ на гостя устремились...
Баба Мавра за̀ сердце рукой схватилась,
Акулина книзу опустилась;
Тарасеичъ привскочилъ, какъ шарикъ,
Дядя Сидоръ ерзанулъ вдоль лавки...
— Дѣдъ, ты слушай-ка про городокъ нашъ,—
Тарасеичу сказалъ пріѣзжій,—
Ширь какая! Красота какая!
Божьихъ храмовъ далеко за сотню,
Хлѣбныхъ лавокъ тысяча, аль болѣ,
Кабаковъ три сотни съ половиной;
Да ножевыхъ фабрикъ два десятка...
Въ этомъ мѣстѣ и народъ ножевый:
Драный, мазаный и пить здоровый,
Что сработаетъ—въ кабакъ съ посылкой,
И сидитъ, какъ зюзя, надъ бутылкой!
А на винныхъ—тамъ народъ отборный:
Трезвый, набожный, хозяину покорный,
Сытый, денежный и домовитый,
И иной—въ годъ разу не побитый...
А дома-то въ городѣ, о—диво!—
Вышиной равняются съ церквями
И вокругъ обсажены садами..

И никто не вздумаетъ сердиться,
Коль захочешь въ домѣ тамъ селиться:
Хошь въ гостиной поселись, хошь—въ спальнѣ.
И вездѣ стеколушки зеркальны,
На подъѣздахъ—лампочки хрустальны...
Что большія села, при дорогѣ
Растянулись хлѣбные амбары;
Кладовыя съ солью, съ кожей, съ лыкомъ;
Съ версту рядъ—коляски и кареты,
Кучера въ парадное одѣты...
Надоѣло шлындать пѣхтурою,
Залѣзай въ карету, дуй горою!
Слова нѣтъ, задаромъ не катаютъ.
Да вѣдь чуть пошевели плечомъ тамъ—
Деньги сами на тебя наскочутъ...
А коль холостъ ты и разлюбезной
Не имѣешь близко подъ руками...
— Ну, братъ, это не подходитъ кстати!—
Перебилъ степенный дядя Сидоръ:—
Говори ужъ лучше про амбары...
— Что „амбары"—не велико диво!
Тамъ и нищій подъ святой сочельникъ
Толокна овсянаго не тронетъ,
Какъ увидитъ толокно—застонетъ:
„Не вкушаю!.. Дайте мнѣ ватрушки..."
— Это что же за похлебка будетъ,
Разварушка ваша городская?—
Примѣшалась къ разговору Мавра,
На деревнѣ „первая стряпуха".
— Не „похлебка" и не „разварушка",
А лепешка пшенная съ начинкой:
По верхушкѣ вымазана сладкимъ—
Творогомъ, сметаной, аль малиной...
Это, помни, нищій истребляетъ
И косушкой фрыштыкъ запиваетъ.
А купецъ почтенный, тотъ такую

Рыбку кушаетъ—одна потѣха!—
Рубликъ фунтикъ! Какова закуска?..

Дядя Сидоръ привскочилъ на лавкѣ,
Тарасеичъ запотѣлъ мгновенно,
У обѣихъ бабъ глаза свѣтились,—
У обѣихъ „смыслы“ помутились...
А заѣзжій думалъ самъ съ собою:
„Семъ-ка дѣльце я сейчасъ налажу,
И старухъ и стариковъ помажу...
Намъ народъ-то до зарѣзу нуженъ,
А гдѣ взять его въ такую пору?
Въ эту пору мужика изъ дома
И клешней не выдернешь: своя работа!
Поманю-ка стариковъ съ собою,
Подпою маленько изъ бутылки,
Заберу легонько, безъ разбою...“
И съ веселымъ смѣхомъ вновь промолвилъ:
— Что, аль въ рыбинѣ нашли вы диво?
Есть почище этого и подороже:
Балычекъ по полтора цѣлковыхъ,
Бѣлорыбица цѣлковыхъ на два,
Да не пудъ, а фунтъ... гляди не сбейся!..
Есть икра по трешницѣ и болѣ...
А селянки, рябчики, тетери—
Все, что вкуснаго есть въ Божьемъ мірѣ,
Подадутъ тебѣ въ любомъ трахтирѣ!
— Да неужто правда, ваша милость,
Чуды этакія есть на свѣтѣ?—
Говорили Мавра съ Акулиной.
— Точка въ точку вѣрно... Да и то ли
Въ городахъ есть дивнаго! Есть вволю
У купцовъ и сѐребра и злата,
И до облакъ высятся палаты...
Есть музея дивная: сидятъ въ ней аблезьяны,
Водяной сушоный, безъ изъяна...

Слонъ; двѣ тигры лютыя, какъ черти.
А въ углахъ стоятъ четыре смерти—
Отставныя, по просту шкилеты:
Люди, стра̀вленныя на коклеты...
Есть гусекъ повыше печки ростомъ.
А въ бутыляхъ заперты въ шпирту: короста,
Два родимца, прѝсуха и грыжа,
Лихорадка, сглаза, порча, пыжа...
— Тьфу!.. тьфу!.. Ай!..—сосѣдки закричали
И руками „слуханцы“ зажали,
И глаза зажмурили отъ страха.
А пріѣзжій говорилъ степенно:
— Коли сравнивать съ деревней городъ,
То и близко не дойдетъ „сосновка“;
Отъ стыда закутается дымомъ,
Въ толокно зароется отъ сраму...
Тамъ и свѣтъ на улицѣ, и сухо:
Не провалишься, какъ здѣсь, по брюхо
Подъ окномъ у старосты въ болото.
Эхъ, и сказывать-то не охота:
Все равно вы въ городъ не пойдете,
Здѣсь во мхахъ, какъ мухи, перемрете!..

Тутъ заѣзжій къ Сидору склонился,
Мужичокъ ему „смиренствомъ“ полюбился:
— Слушай, дядя, молвлю я про дѣло!
Станешь жить ты у купца въ заводѣ
Въ свѣтлотѣ, въ порядкѣ, въ обиходѣ.
А къ столу присядешь—супъ, картошка,
Ветчина, пельмени, и винца немножко...
До седьмого пота ѣшь—уприся!..
А коль сытъ—на образъ помолися
И ложись на койку, словно баринъ.
А еще: получка всякій мѣсяцъ!..
Заполучишь денежки—отложишь,
Заполучишь и еще отложишь,

Заграбастаешь еще—надбавишь...
Поглядишь въ копушку, а тамъ—груда!
А коль „груда“ завелась, ты можешь
Взяться самъ за всякое любое дѣло:
Торговать, маклачить аль мытàрить,
По чужимъ карманамъ гривны шарить...—

Замоталъ тутъ Сидоръ головою
И сказалъ упрямо:
— Богъ съ тобою!..
Это сродственно совсѣмъ разбою:
Разставаться надобно съ душою...
Тыщу золота къ себѣ приманишь,
А на страшномъ судбищѣ какъ станешь
Отвѣчать Создателю?.. Какъ глянешь
На Адама праведнаго, на сосѣдовъ,
На отца, на мать, на крестниковъ и дѣдовъ?
— Экъ поѣхалъ!.. Экъ заколесилъ далеко!..
Вижу, братъ: дѣляга ты и дока,—
Совѣстный, душевный, безобманный;
Будешь въ городѣ ты гость желанный.
Тамъ, братъ, строгая на все расцѣнка:
Кнутъ—плутỳ, а честному—вся пѣнка...
Вотъ, натужься, и отвѣть на это:
Есть старушечка у насъ такая:
И на умъ—не рѣдкость, и глухая,
Не мудро и прозвище у ней—„сметана“,
А извѣстностью взяла Османа...
Сорокъ тыщъ имѣетъ капитала,—
Пятачка нигдѣ не своровала,
Гдѣ жъ взяла?—сметанкой торговала,
Да честнò, увѣсно, безобманно!..
Пусть нагрянетъ страшный судъ нежданно,
Онъ узнаетъ, что чиста старушка
Какъ хрусталинка, какъ у попятъ игрушка...
А полѣзь-ка ты въ свою трясину,

Раздобудь-ка экую махину?..
— Точно... Вѣрно, бра-а-тъ!.. Однѣ лягухи
Да ужи, да кое-гдѣ волнухи...
Здѣсь копеечку добыть—до пота
Надо часъ аль болѣ проработать,
Съѣсть съ полхлѣбушка... Здѣсь сторона глухая.
Здѣсь копейка—барыня большая!

— Во... Глядите-ка на мой достатокъ!..—
Изъ-за пазухи пріѣзжій вынулъ
Въ родѣ книги кожаный бумажникъ,
Развернулъ...
Заахали старухи:
— Ахъ!.. Ахъ!.. Ахъ!..—въ глазахъ мелькаютъ мухи...—
Ахъ, родимые, какая сила...
Не бумажникъ это, а могила!..

Заглянулъ въ „бумажникъ“ Тарасеичъ,
Закрутилъ надъ головою шапкой...
Заглянулъ въ бумажникъ дядя Сидоръ,
Молвилъ вдумчиво, но не безъ жара:
— Кабы силу этакую на хозяйство!
Накупилъ бы я сейчасъ же лѣсу,
Кирпича, известки безъ подмѣсу,
Перестроилъ бы избу и сѣни,
Печь,—трубу бы вывелъ выше крыши!
Лемеши бы справилъ, косу, шины...
— Кто жъ мѣшаетъ? Поѣзжай со мною—
Наживешь и ты, да можетъ и поболѣ...
Хоть и сказано, что „деньги—черти“,
Да безъ денегъ-то, слышь, люди—черви!
И другое сказано: „слышь, подъ лежащій камень
И вода не катится, а мимо“.
Вотъ и вы—лежачіе каменья:
Нѣтъ у васъ сноровки и умѣнья
Жизнь свою наладить поскладнѣе,

Посвѣтлѣй, поглаже, похлѣбнѣе...
Во онѣ какія... На—понюхай!
Говорилъ пріѣзжій и подсунулъ
Къ носу Сидора свою „могилу“.—
Тетки, на-те-ка и вы нюхните!
Во—онѣ... Аль пахнутъ коноплею?..
И довольнымъ смѣхомъ раскатившись,
Онъ вложилъ за пузуху бумажникъ,
И проникшись добротой къ сосѣдямъ,
Угощенье предложилъ нежданно:
— На, ребята,—допивай въ бутылкѣ,
Чтобы жаромъ тронуло въ затылкѣ!..
Мнѣ ужъ время собираться къ дому,
Вновь страдать по мхамъ, по костолому.

X.

Два пріятеля по рюмочкѣ
Осторожно „опрокинули“,
А въ бутылицѣ—еще вино...
По другой сосѣди выпили,
И по третьей, и, поморщившись,
По четвертой чебурахнули!..
Въ это время кровь мужицкая
Раскипѣлась, разгорѣлася,
Вдоль спины—кнутомъ ударила,
Въ становыя жилы вдарила...
— Какъ же быть-то, другъ возлюбленный?—
Дядя-Сидоръ робко вымолвилъ,
Робко глянувъ на пріѣзжаго.
— „Какъ же быть-то!“—Ѣхать надобно,
А не думать да разгадывать.
Англичанинъ по натурѣ я,
Не люблю я зря языкъ чесать:
Коли ладно—расхвалю сейчасъ,
Коль не ладно—дуну по уху!

У меня есть слово—олово,
У меня есть слово—золото...
Говорю сейчасъ я золото:
Помолитесь крѣпче образу,
Чтобы тишь засѣла нà души,
Да и грянемъ завтра утречкомъ.
Полно съ бабами вамъ маяться,
Животы увѣчить въ старости
Да грѣхи копить корзинами!..—

У пріятелей отъ „золота“
Даже въ горлахъ поперхнулося;
На обоихъ зудъ и страхъ нашли;
У обоихъ завозилися
„Подъ душами“ силы темныя,
Предъ очами разомъ выросли
Чуды страшныя, огромныя!..
За полъ-вѣка оба „дёрнули“
На деревнѣ Рѣшетиловой—
Было всяко... горько, весело.
А тутъ—разомъ грузъ привѣсило,
Да такой, что трескъ по косточкамъ!
Изъ деревни страшно тронуться,
Пострашнѣй того—остаться въ ней
Рядомъ съ лютыми старухами,
Да съ ужами, да съ волнухами...
Чѣмъ бы кончилось—невѣдомо.
Да подсунула нелегкая
Сила Мавру съ Акулиною.—
Акулина сковородникомъ
Дядю-Сидора „огладила“.
Баба Мавра Тарасеича
„По особому обладила“:
Уцѣпила въ руки бороду,
Потянула прочь отъ города
И вопила громкимъ голосомъ:

— Ахъ, треклятый, что въ башку забралъ—
Покидать меня на старости?
Нѣтъ, братъ-Федька, не на ту напалъ,—
Коли ѣхать, такъ и я съ тобой!
Сяду, бѣдная, въ телѣгу я,
Обниму тебя, анаѳему,
И поѣду бокъ-о-бокъ съ тобой,
Хоть къ китайцамъ, хоть на край земной!..

— Васъ пузанъ-то, можетъ, съ умысломъ
Манитъ въ дали неизмѣрныя,
А вы, дурни, рты разинули,
Оба слуги ему вѣрные?..
Можетъ, воду повозить на васъ
Захотѣлось брюху толстому,
Крѣпко сжать васъ рукавицами,
А насъ выставить вдовицами?..

Дядя-Сидоръ далъ отвѣтъ женѣ:
— Ты мнѣ сказки не разсказывай,
И какъ жить мнѣ—не указывай!
Цѣлый вѣкъ ты надругалася,
Не давала мнѣ дыхать вольнò,
А теперечь испужалася?..
Не пужайся—все покончено...
Бр-рысь отседа, окаянная,
И во-вѣкъ не подходи ко мнѣ!..

Тарасеичъ говорилъ женѣ:
— Не просись, старуха, вдаль за мной:
Не бывать тому, хоть тресни ты,
Хоть убей меня, хоть съѣшь меня!
Малъ я ростомъ, и не жиренъ я,
А столбомъ стоять сумѣю я...
Поздно мудростью исполнилась,

Не къ случаю запаслась умомъ.
Брысь, немилая, съ очей долой!..

Двѣ сосѣдки вдругъ бробѣли,
Сѣли рядушкомъ на лавочкѣ,
Обнялися, какъ мать съ дочерью,
И горькошенько заплакали...

— Ну, братъ-Сидоръ, собирайся въ путь!—
Тарасеичъ говорилъ дружку.—
Коли тамъ житья не встрѣтится—
Здѣсь совсѣмъ его и не было...
Обувай лаптишки новыя
Да харчи въ кошель накладывай!
Я жъ—толкнусь покуда къ сельскому,
Подорожныя намъ выберу...

Тутъ заѣзжій сладко вымолвилъ:
— И условье кстати, дѣдушко,
Мы сварганимъ, припечатаемъ...
Будетъ мнѣ и вамъ спокойнѣе
Жизнь казаться въ градѣ Божіемъ.
Повѣрнѣе, какъ письмо въ рукахъ:
Не полѣземъ въ размышленія,
Не подвинемъ на попятное!

— Для чего условье, ваша милость?—
Тарасеичъ молвилъ отъ порога,—
Безъ него все сдѣлаемъ мы крѣпко...
Вѣдь и мы не дураки по темя,
Чтобъ бѣжать отъ счастья на попятный!
Такъ красно́, разумно насказалъ ты
Дядѣ-Сидору про всѣ вольготы,
Что и мертваго пройметъ охота
Съ мѣста стронуться... А мы—живые
И въ сердцахъ здоровые, и не кривые...

— Тарасеичъ!—крикнулъ дядя-Сидоръ,—
Коли дѣло дѣлать—не балякай!
Да впрягай ужъ кстати и кобылу...
У меня гнѣдой зашибъ копыто,
Да гнѣдой и лѣноватъ изрядно.
Я жъ возьмуся—покрошу махорки,
Чтобы было намъ въ пути не скушно...

— А и что жъ вы, старички родные,
Затѣваете въ такую пору?—
Стали спрашивать сосѣдки разомъ:—
Аль иного нѣту у васъ дѣла?
Али—впрямь—жить съ нами надоѣло?
— Старички! опомнитесь маленько
И на насъ пригляньте хорошенько:—
Ввѣкъ не выискать вамъ въ цѣломъ свѣтѣ
Противъ насъ—ни молодицъ, ни дѣвицъ...

— Бросьте выть—не будетъ поворота!—
Говорили строго два сосѣда:—
Миновало время насъ маячить,
Миновало время насъ калячить,
Миновало время насъ дурачить!..
Вишь, зарóбѣли, какъ двѣ дѣвицы!
А, бывало, васъ безъ рукавицы
И нетрожь, не подойди близенько?
Поучитесь-ко теперь маленько,
Буку-азбуку спознайте въ волѣ!
А объ нашей неудачной долѣ
Не печальтесь...

— А и что жъ вы, старички родные,
Говорите этакъ?.. Какъ чужіе...
— Вы оброки-то сперва отдайте,
Да тогда, пожалуй, и валяйте...
Охъ!.. охъ... смёртушки скорѣй подайте!..

— Перестаньте, бабы, не рыдайте!
Вамъ вѣдь сказано: „нѣтъ поворота...“—
Дядя-Сидоръ, открывай ворота:
Шевели телѣгой и вожжами;
Шевели въ башкиріи дрожжами!..
Обрубай все прошлое, что было.—
Баба Мавра,—приведи кобылу!..

XI.

Не велики сборы деревенскіе,
Въ часъ собраться можно хоть до Кіева.—
Два сосѣда этакъ же собралися:
Запрягли кобылку буро-пѣгую,
Кошели съ харчами заготовили
И въ рукахъ держали подорожныя.—
Хоть скоренько въ сказкахъ дѣло дѣется,
Да бываетъ въ жизни и того скорѣй!

Вся деревня скучилась на проводы,
Дивовались чуду небывалому
Дѣды, бабы и ребята малые,
Парни, дѣвицы и старицы.
Гудъ гудѣлъ въ деревнѣ Рѣшетиловой,
Прокатился эхомъ по полямъ-лѣсамъ
И уперся въ Божье небо маковкой.
Двѣ сосѣдки стали наголашивать,
Во слезахъ мужей своихъ выспрашивать:
— Вы куда летите, ясны-соколы?
На кого насъ, горькихъ, покидаете?
Поглядите ласково въ останній разъ,
На прощаньи ласковымъ обмолвитесь!
— Улетѣла наша бабья волюшка,
Подобралась къ бабамъ злая долюшка,
Лишь теперь маленько мы опомнились...

— Вѣдь на грѣхъ—и дровъ не заготовлено!
Каково въ морозы намъ достанется?..
А про зимушку самимъ вамъ вѣдомо:
Забушуетъ вьюга на околицѣ,
Засвиститъ подъ окнами метелица,
Раскидаетъ крышу въ мелки щепочки,
Занесетъ сугробами всѣ тропочки,—
Проклюетъ морозомъ потолочины...

Тарасеичъ вымолвилъ горюющимъ:
— Не въ дровахъ на бѣломъ свѣтѣ радости,
А въ душѣ и въ сердцѣ, сколь легко на нихъ!..
А морозы, вёдры и метелицы
Намъ не зря отъ Бога посылаются...—

Въ колымажкѣ сидя, гость изъ Кіева
Ожидалъ взволнованныхъ сопутниковъ,
Велъ съ своей душой бесѣдушку:
„Хорошо мнѣ будетъ отъ хозяина,—
Подыскалъ работниковъ упористыхъ.
Кабы пару этакихъ еще сыскать!..“

Уложивъ пожитки на телѣгу—
Кошели съ харчами да куль сѣна,
Оглядѣвши разомъ всю деревню,—
Разомъ всплакнули сосѣди горько...

— Трогай, милая!—сказалъ кобылкѣ
Потрясенный въ сердцѣ Тарасеичъ,
И слезинки скатывались градомъ
По лицу его, ожженному вѣтрами.

— А кобылу-то куда вы заведете?—
Спохватилась между горемъ баба Мавра.
Дядя-Сидоръ успокоилъ Мавру:

— Объ кобылѣ ты небось, не сумлѣвайся,
Мы пришлемъ ее къ тебѣ по поштѣ...

И поѣхали сосѣди вдоль деревни,
Шапки скинувъ—вправо и налѣво
Кланялись народу и постройкамъ:
— Прощевайте, добрые сосѣди!
— Прощевай, любезная деревня!..

XII.

Ночь въ лугахъ прошла.—Рѣшетилова
Отъ пріятелей въ даляхъ скрылася,
Въ той сторонушкѣ, гдѣ была она,
Залегла стѣной глушь туманная.
Впереди—вокругъ поросли лѣса,
Да луга кое-гдѣ разстилалися;
Стлалась лентою межъ лѣсовъ-луговъ,
Убѣгала вдаль, путь-дороженька.
Два пріятеля словно умерли
И „уста свои припечатали",—
Лишь лаптями путь тихо мѣрили
Да глядѣли вдаль, думы думали.
А за далями необмѣрными—
Жизнь спокойная и привольная
Рисовалась имъ краской розовой.

На горѣ село широко стоитъ;
На село—съ тычка—Божій храмъ глядитъ
На главѣ его—крестъ святой горитъ.
Въ гулкій колоколъ понамарь звонитъ;
Близъ околицы—дѣтвора шумитъ...
А по тропочкамъ, по дорожечкамъ—
Изъ лѣсовъ въ село люди тянутся:
„Старъ и малъ ползетъ къ Богородицѣ".

Два пріятеля шапки скинули,
Всѣ заботушки прочь откинули,—
Словно оба вдругъ въ мірѣ сгинули...
На красу села—подивилися,
На горящій крестъ помолилися,
Во смиреніи прослезилися,
Помолившись—вновь въ путь пустилися.

Показалась на бугрѣ деревня—
На бугоръ всѣ въѣхали, деревню
Перерѣзали на серединѣ,—
Кой-куда на окна поглядѣли,
Кой-кому привѣтно поклонились.
Отъ дворовъ собаки наскочили,
Пустякомъ себя разгорячили,—
Ни-за-что облаяли сосѣдей,
Толстяка, пѣгана и кобылу,
Покусать хотѣли, да сробѣли...

Показалась и еще деревня,
Всунутая кѣмъ-то въ глубь оврага.
Внизъ сосѣди зорко поглядѣли,
Въ головахъ мыслями завертѣли:
„Отчего хрестьяне въ дно засѣли?“—
Тарасеичъ вывелъ заключенье:
— Неспроста устроилось въ дырѣ селенье:
Отъ вѣтровъ ему всегда спасенье!..

Незамѣтно солнце подкатилось
Къ краю залѣсья. Туманъ въ низинахъ
Заходилъ высокими клубами;
Соловей защелкалъ надъ кустами.
Ночь сгущалася...
Эй, стопъ, ребята!—

Закричалъ пузатый двумъ сосѣдямъ:—
Отдохнуть пора и намъ и конямъ.

Отпрягли кобылушку сосѣди,
Толстяку отпречься пособили
И обоихъ „животовъ“ на травку,
На вожжахъ, поужинать пустили.
Натаскали хвороста изъ лѣса,
Развели огонь—близъ огонька присѣли;
Пожевали пирожка,—бесѣду
Тарасеичъ пробовалъ наладить...
Да случается такъ въ жизни нашей,—
Коли сердце неспокойно, слово
Не всегда подыщется, лишь думы
Неотвязныя ползутъ сквозь темя...
Закусивши творожкомъ, сосѣди
Помолились Богу прямо въ небо,
На звѣзду уставившись очами.—
Улеглись на травкѣ на отдышку
Толстобрюхъ и Сидоръ и заснули.
Тарасеичъ „сѣлъ на караулѣ“,
Чтобы волкъ не закусалъ кобылу
Да коня-пѣгана, на которомъ
Толстобрюхій разъѣзжалъ по свѣту.—
Волкъ—бродяга!—подкрадется, цапнетъ
Живота за шею... послѣ охай,
Да ужъ шеи не срастишь слезами!

О-полуночи проснулся Сидоръ,
Замѣнилъ сосѣда въ караулѣ;
Лишь пузанъ храпѣлъ, не просыпаясь,
На мужичью вѣрность полагаясь.

Ели темныя кругомъ стояли,
Въ чернотѣ верхами утопали.

Вдругъ надъ лѣсомъ въ небѣ забѣлѣло...
На душѣ у Сидора повеселѣло:
Мѣсяцъ всплылъ надъ ночью и тихонько
Сталъ взбираться выше, выше, выше!
Поглядѣлъ на мѣсяцъ дядя-Сидоръ,
Поглядѣвъ, снялъ шапку, закрестился,
Въ тишинѣ раздумывать пустился,—
Да застряла въ головѣ мочала...
Разскочилась дума—побѣжала
Половинкой—въ край незнамый, дальній,
Половинкой—къ теткѣ Акулинѣ:
— Каково-то тетка Акулина
Безъ меня теперича лежитъ на печкѣ?—
Говорилъ съ собою дядя-Сидоръ.—
Охъ, бѣда!.. Охъ—тяжело на свѣтѣ!..
Такъ и сгинешь въ свѣтѣ—въ непривѣтѣ...
Суковаста тетка Акулина,
Горяча, трескуча, какъ лучина;
Не поднимешься съ ней выше тына,
А въ цѣнѣ—по жизни—до алтына!..
И въ прибавку—муть идетъ отъ бѣса:
Воля дадена проклятой силѣ
Помыкать людями, какъ дровами!..
Онъ, анаѳема, устроилъ штуку,
Онъ толкнулъ въ походъ насъ и въ разлуку...
Ой, не дѣло, Федоръ Тарасеичъ,
Мы затѣяли съ тобой въ горячкѣ,
Съ мѣста сдвинулися неразмысливъ.
Не храбриться бы намъ, а раздумать,
Разсверлить въ башкахъ-то буравами!..
Разсуди: мы бѣдные, лѣсные люди,
Лишь на мхахъ способные да на болотахъ.
Намъ ли совладать съ собою?
Намъ ли воевать съ судьбою?
Оба мы заблудимся въ во́ротахъ...
Ну, да ладно!.. Поживемъ для пробы

У пузатаго.—Христосъ подсобитъ.
А коль слюбится—сманю и бабу,
И открою пряничную лавку;
Хоть большой и не пойдетъ на пряникъ,
Да малышъ зато всегда нашъ будетъ!
Такъ-то дѣло... да и что жъ инàче?..

Поглядѣвъ на спящаго сосѣда,
Дядя-Сидоръ мысленно промолвилъ:
„И твоя, братъ, жизнь-то не малина!..
Баба Мавра злѣе Акулины,
И въ мозгахъ у ней есть недохватка клина.
Коли мнѣ здѣсь на землѣ не сладко,
И тебѣ, мой миленькой, не гладко...
Намъ одно отъ незадачъ спасенье
Вѣрное—молчанье да терпленье!“
Поглядѣвъ на небо, дядя-Сидоръ
Подошелъ къ сосѣду и промолвилъ:
— Тарасеичъ, утречко настало!..—
Подойдя къ пузатому, онъ молвилъ:
— Пробуждайся, господинъ хорошій...
Глянь—заря, какъ кумачи, нависла.
А пока погода не раскисла—
Надо трогаться и приближаться!..—
Всѣ холодною росой помылись,
На зарю всѣ трое помолились,
Запряглись, неспѣшно въ путь пустились.

XIII.

Удалась дороженька лѣсная
Будто скатерть—гладкая, прямая.
Да вмѣшалась въ дѣло злая сила—
Чёку вышибла и колесо свалила;
И, въ мгновенье ока, два сосѣда
Оба разомъ полетѣли книзу...

Но снесли паденіе достойно:
Почесались, выискали чёку,
Въ гнѣздовину снова посадили,
И опять, усѣвшись на телѣгу,
Какъ бояре далѣй покатили.
Да дорога-скатерть извелася,
Въ три болота сразу забралася.
А болотные пути всѣ знаютъ:
Люди мягкіе и тѣ ихъ хаютъ,—
То подброситъ кверху, то осунетъ,
То качнетъ и пригрозитъ кончиной,
Бездной скрывшеюся подъ трясиной.
Но сосѣдямъ невдомекъ кончина,
Знай—сидятъ, покуриваютъ трубки,
Да кукушекъ слушаютъ степенно.
А пузачъ отъ злости надрывался
И ревѣлъ, и сатаною клялся,
Что „впервой на свѣтѣ затесался
На такой проѣздъ, гдѣ сами черти
Въ колдобинахъ прячутся отъ смерти!“

„Ясно-солнышко пришло къ обѣду“:
Высоко на небушкѣ горѣло,
Толстопуза и друзей такъ грѣло,
Какъ въ горячей банѣ на приполкѣ.
Съ толстопуза потъ катился градомъ,—
Что мѣшекъ наполненный водою,
Съ головы до пятъ онъ весь сочился
И на солнышкѣ лоснился, будто мѣдный.

Два сосѣда въ небеса глядѣли,
Въ небесахъ причину усмотрѣли:
— Эко, день-то удался чудесный,
Лучше время нѣтъ—возить навозы!
— Загибай, ребята, на харчевню!

Заворачивай кобылу влѣво,—
Прокричалъ пузатый двумъ сосѣдямъ.
Два сосѣда влѣво своротили;
Да маленько оба заспѣшили:
Осью дернули за стволъ рябины,
И лишились тутъ же правой шины,—
Треснувъ шиною о придорожный камень
Такъ, что выскочилъ изъ камня пламень...
Побранивъ за недоглядъ кобылу,
Молвивъ камню, „чтобъ те пусто было",
Почесавъ затылки, лбы и спины,
Подобравши ломъ разбитой шины,
На телѣгу бережно сложили,
И о шинѣ оба затужили...
Но не плакать же среди дороги?

Тарасеичъ свистнулъ. А кобыла
Разомъ дернула, что силы у ней было
И пустила въ дѣло хвостъ и ноги.
Два сосѣда, затаивъ кручину,
Вскорѣ выѣхали на гладину.
На гладинѣ домикъ красовался.
Тарасеичъ домикомъ залюбовался,—
Бѣлый, новенькій, обшитый тесомъ,
„Крытъ желѣзиной", и человѣкъ съ подносомъ
На дверяхъ представленъ, какъ картина;
„На подносѣ рюмки и бутыли
Аккуратъ какъ бы стекольны были".
На другой „картинѣ", въ дополненье—
„Было списано одно яденье:
Гусь ожареный, свиненокъ въ кашѣ,
Чашка штей, яичница на сковородкѣ
Да блиновъ стопа и..." ни мазка о водкѣ!
А надъ дверью штука расписная,
Разомъ схожая на пѣтуха и зайца,
То былъ чайникъ рѣдкостнаго вида,—

Отъ царя-Гороха, знать, остался. —
Два сосѣда „этакой посуды
И во-сняхъ въ деревнѣ не видали“,
Здѣсь увидѣвши—загрохотали:
— Эко, ловкіе есть безобразы!
— Эко, вышколены, худомазы!..

Тарасеичъ крикнулъ въ распаленьи:
— Дядя-Сидоръ, вотъ оно—ученье
На дверяхъ цвѣтетъ передъ тобою!
Приглядись: все вѣрно... все—живое?..
Кабы насъ съ тобой въ науку да въ мутовку
Дѣды предали въ былое время,—
Не у бабъ бы кончили мы жизнь въ муштровкѣ,
А подъяли бы иное бремя...
Можетъ статься,—сдвинули бы косогоры,
Стронули бы съ мѣста мхи и горы,
Да не жилой, не горбомъ,—умѣньемъ!..
На болотахъ бы прошли малиной,
А на пняхъ—гречихой въ два аршина?..
Самому бы лѣшему нагнали пылу,
Разумомъ бы чорта въ лобъ, а по затылку—силой!..—

Тутъ... опомнившись, „что есть и было“,
Два сосѣда отпрягли кобылу,
„За изъянъ въ дорогѣ“—побранили,
За труды въ дорогѣ—похвалили,
Изъ ключа водою напоили
И, сѣнца въ колоду подсыпая,
Дружно молвили: „поѣшь, милая!“
Сами лѣсенкой наверхъ пустились
И въ харчевнѣ разомъ очутились.
Тишь въ харчевенькѣ была глухая;
Въ кумачевой юбкѣ, молодая
За прилавкомъ женщина стояла
И въ открытые глаза дремала.

Въ уголкѣ, у столика пустого,
Два захожихъ рядышкомъ сидѣли
И на мухъ задумчиво глядѣли:
Старичокъ плѣшивый въ балахонѣ
Да парнишка молодой, убогій,
Объ одной ногѣ, другая—деревяжка.
Два сосѣда вкось оборотились:
На Господень образъ помолились;
Поклонились старику, парнишкѣ,
И къ прилавку—молодой хозяйкѣ;
Не спѣша кругомъ все оглядѣли
И тихонько у дверей присѣли.
А дѣтина сытый, многотѣлый,
Влѣзъ въ харчевню, словно оголтѣлый,—
Не примѣтилъ образа Господня,
Не примѣтилъ старичка сѣдого,
Не примѣтилъ паренька младого,
Ни хозяйку въ кумачевой юбкѣ,—
Будто стогъ, шарахнулся на лавку
И сердито рявкнулъ:
— Тетка, пива!
Да смотри, достань похолоднѣе;
Да говядинки дай пожирнѣе,
Да пять саечекъ... Вертись живѣе!..

— Дядя-Сидоръ... слышишь ты: есть пиво?..
Говорилъ тихонько Тарасеичъ:—
Никакихъ и праздниковъ не видно,
А которые и были,—тѣхъ избыли...
Значитъ, праздникъ здѣсь безъ перевода,
Безъ конца—„Микольщина пивная!“
Вотъ... что значитъ къ городу поближе,
А отъ лыковой деревни далѣ—
Ни нужды, ни вздоховъ, ни печали?..
— Хо-хо-хо!..—смѣялся дядя-Сидоръ.
— Хе-хе-хе!..—смѣялся Тарасеичъ.

Появилась молодушка съ пивомъ
Да съ говядинкой и съ грудой саекъ,
Къ толстобрюху подошла съ подносомъ,
Все поставила на столъ съ поклономъ:
— Ваша честь, откушайте во славу Божью!—
А къ сосѣдямъ обратясь, сказала:
— Старики, чего вамъ для начала?
— Да чего?.. Такъ полагать—квасишку.
По такой жарѣ квасъ не уважетъ пиву,
А намнетъ ему бока и гриву,
И въ башкѣ не шибко закуражитъ.
По стаканцу бы не худо... только
Пятаки сегодня не въ случаѣ:
На двоихъ одинъ да и тотъ съ дыркой.—
Нацѣди намъ квасику, сударка!
— На копейку квасу, али на двѣ?

Тутъ вскочилъ горячій Тарасеичъ,
Какъ ужаленный, съ конца скамейки,—
Поглядѣлъ на образъ въ умиленьи,
А хозяйкѣ молвилъ въ огорченьи:
— Квасъ, сударушка, ты продаешь за деньги?
Не гожо̀... Квасъ дармовой на свѣтѣ!
Поѣзжай ты въ нашу деревнюху
Квасу пить, чтобъ стало больно брюху,—
О грошѣ никто не заикнётся;
А кто спроситъ—въ горлѣ поперхнется!
Что дойдетъ, коли за квасъ въ сулейкѣ
Будутъ требовать—какъ ты—копейку?
Тутъ конецъ ты думаешь? Не будетъ
Тутъ конца... Тутъ выдумаютъ моду—
Продавать въ бутылкахъ Божью воду.
Бонкеролью солнце заворотятъ,
Воздухъ на лугахъ досками заколотятъ:
Продыхнуть захочешь—„дай копейку!“
Будетъ что?.. А отатарятся всѣ человѣки

И нà землю спустятся собачьи вѣки:
Ни жальбы, ни дружбы, ни увѣта,—
Изведутся люди; а вдоль свѣта—
Распростившись съ Богомъ и съ душою—
Сторублевки грянутъ чередою!
Есть одно спасенье: у народа
Не войдетъ въ обычай эта мода;
А коли туда она нагрянетъ—
Все живое на землѣ завянетъ!

— Безъ копеечки нельзя здѣсь, дѣды...
— А нельзя—не надо! Эки бѣды?..
Пей сама свой квасикъ на здоровье...
Не балована у насъ утроба—
И безъ квасу проживемъ мы оба,
Пирога почамкаемъ въ сухую.—
Доставай, братъ, пирожокъ изъ торбы!

Дядя-Сидоръ вытянулъ изъ торбы
Пирожокъ, яичко и двѣ брюквы,
Да краюху хлѣба въ полу-мѣсяцъ.
Распоясавшись, взглянувъ на образъ,
Два сосѣда истово перекрестились,
Отложивши брюквы—„на пирогъ пустились...“

Пива выпивши большую долю,
Закусивъ говядиной и сайкой,—
Толстобрюхъ заговорилъ съ хозяйкой:
Гдѣ бы лечь ему на полной волѣ?
А хозяйка, строгость уважая,
На отдышку гостя провожая,
„Великатно“ гостю говорила:
— Лучше мѣста нѣтъ на бѣломъ свѣтѣ,
Какъ вотъ здѣсь, за печкой, въ кабиньдетѣ...
Самъ хозяинъ тутъ, коли есть время,

Отдыхаетъ радостно
И тыквенное лущитъ сѣмя...
Спите съ анделомъ, проснитесь съ Богомъ.
А худякъ пусть дремлетъ за порогомъ!..

Толстобрюхъ, залегши въ *кабиньдётъ*,
Захрапѣлъ и застоналъ отъ жару,
И ревѣлъ въ просоньѣ:—По монетѣ,
По монетѣ всѣмъ—наддайте крѣпче пару!..
Надсади! Надбавь!.. Го-го!.. Уфъ, будетъ...
Въ кабиньдетѣ этомъ—дьяволъ живъ не будетъ...
Чортъ на этомъ ложѣ околѣетъ:
Съ хвостомъ, копытами на нѣтъ весь употѣетъ...
Мухи, кажется, мнѣ носъ отъѣли?
Ишь, проклятыхъ сколько на постелѣ,—
Кшишъ, кшишъ, анаѳемы! спокою дайте...
Самое хозяйку покусайте.
Эка грязь кругомъ! Не кабиньдетъ—парашка!..
Не хозяйка здѣсь, а замарашка!..
Тетка, пива!.. Да смотри, живѣе!..
Да изъ днища вынь—похолоднѣе...
Пива, слышишь ли?.. Аль разнесу всѣ стѣны!

XIV.

— Дядя-Сидоръ...
— Что, другъ-Тарасеичъ?
— Туговато, миленькой, мнѣ стало!
— О?.. Храни те Богъ, не расхворайся!
Обсуди: мы оба на дорогѣ,—
Ни малинки здѣсь, ни звѣробоя,
Что я сдѣлаю безъ нихъ съ тобою?
И вдругъ, съ горя, ты протянешь ноги...
— Нѣ!.. Спасенье, миленькой, тутъ не малина;
Тутъ другая выросла причина...
Затесалась въ душу баба Мавра,
Все житьишко прошлое: и горе

И веселости, ну все, что было...
Дворъ, избенка цѣпятся за мысли,
Огородецъ, сѣнокосъ, навозы...
Полоса стоитъ передъ глазами,
Уголокъ съ святыми образами!
Ну-ко, въ бабьей-то рукѣ разъѣдетъ
Все, туда-сюда сползетъ и ухнетъ,
Коли ока-то свово нѣтъ дома?
Сосчитай: вѣдь не сегодня—завтра
Люди умные съ навозомъ грянутъ,
Пѣсню радостно въ поляхъ затянутъ...
А у Мавры—мысельки повянутъ,
Слезы горькія въ очахъ застрянутъ,—
Гдѣ кобылочка у бабы Мавры?
Гдѣ работникъ-голова и пастырь?
Хуже нѣтъ, что я мужикъ-горячка:
Распалюсь—вода не помогаетъ,
А остыну—совѣсть настигаетъ!..
— Да-а... Мнѣ мыслится, мы маху дали!—
Говорилъ сосѣду дядя-Сидоръ.—
На тебя я съ дуру заглядѣлся,
Какъ ты мельницею за-вчера вертѣлся.
Мыслилъ: „Маленькой такой, а смѣлый,
На рѣчахъ бывалый и умѣлый:
Ни судьбы, ни Мавры не боится,
Какъ ерошъ между плотвы ершится.
Съ ловкимъ этакимъ пройдешь полъ-свѣта
И не будетъ шапочка задѣта!..“
Не стерпѣлъ я, поддался соблазну,
Распустилъ въ душѣ своей закрѣпки,
Мысля: „Маленькой сколь не робѣетъ,
То меня—самъ песъ не одолѣетъ:
Безъ вершка саженнаго я роста,—
Кулакомъ заѣду—духъ къ погосту!“
А вотъ вышло-то кривое дышло...—

Тарасеичъ лишь кряхтѣлъ да слушалъ,
Да край брюковки неспѣшно кушалъ...
— Ты послушай-ко, сосѣдъ хорошій, —
Говорилъ тихонько дядя-Сидоръ,—
Зарекемся мы на вѣки-вѣчны
Пить вино и всякое хмельное?
Сразу силищи у насъ прибудетъ
И ума, пожалуй, не убудетъ...
— Охъ, братъ-Сидоръ, велика задача!—
Отвѣчалъ уныло Тарасеичъ.—
Я бы самъ-то хоть сейчасъ зарекся,
Да смутитъ меня подлецъ изъ ада,
Соблазнитъ при первомъ поднесеньи...
Легче, кажется мнѣ, кинуть Мавру,
Домъ, поля, сошонку и боронку!—
Знать, нечистый-то ко мнѣ приставленъ
Не простой какой-нибудь бродяга,
А изъ наѐбольшихъ—хабарникъ и сутяга?
Вотъ кабы нечистаго подалѣ
Ангелы Господни отогнали—
Точно, былъ бы я мужикъ на свѣтѣ
Первый въ волости и первый на совѣтѣ...
Да и много ль пьемъ мы? Дядя-Сидоръ,
Посчитай: въ полгода по два раза?
Спору нѣтъ, пьемъ такъ, что жди и жди:
„Вотъ выворотитъ оба глаза
И растреснетъ темя костяное!“
— Правильно оно... Тебѣ я крѣпко вѣрю!
А себя я строго перемѣрю:
Навсегда теперь питье откину
И прощу всѣ вины Акулинѣ;
Пусть задорная она, лихая,
Пусть изъ квасу вылѣзетъ сухая,—
Пусть она не грѣетъ и не свѣтитъ:
Господу во всемъ сама отвѣтитъ!
Разбери самъ наше поведенье:

Ежели на бабу нападенье...
Ежели, въ примѣръ, рабеночекъ въ осенню хмару...
— Охъ, сосѣдъ, ты ошалѣлъ отъ жару!—
Завопилъ озленный Тарасеичъ: —
Да не насъ ли бабы зацѣпили,
Бранью очи намъ обоимъ заслѣпили
И обоихъ насъ на старости побили?
А—въ сердцахъ—давно прихлопнули, убили!
Эхъ... И то сказать: чего робѣть-то?
Что терять—коль пусто вкруговую?
Что тужить? Обладятся дѣлишки.
Въ жизни главное: не вѣшай ухо!
А повѣсишь—сокрушитъ те муха,
Комаренокъ жилу прокусаетъ,
Телушченокъ на-смерть забодаетъ!..
Поваландаемъ у толстобрюха,
Наживемъ бумажекъ и уѣдемъ,
А онъ пусть-ко ищетъ насъ да свищетъ!..

Два сосѣда подремать собрались,
Да причина на глаза попала
И спанью нежданно помѣшала.
— Ты приглянь-ко, Тарасеичъ, въ уголъ,—
Говорилъ чуть слышно дядя-Сидоръ,—
Этотъ вотъ, еловая нога-то—
Будто нашъ по облику выходитъ?..—
Тарасеичъ приглядѣлся въ уголъ,
А минутку погодя, воскликнулъ:
— Эй, ты, миленькой?—Нѣтъ, дѣдъ,—сиди, бра-атъ,—
Съ деревяжкой я хочу спознаться...
Изъ какихъ мѣстовъ, молодчикъ? Чей ты?..
— Э... э... дяденьки... Никакъ вы наши
Рѣшетиловцы? Никакъ—сосѣди?..—
И хромой заковылялъ отъ старца,
Загремѣлъ по полу деревяжкой,

И сказалъ привѣтливо сосѣдямъ:
— Дядѣ-Сидору—мое почтенье!
Тарасеичу—мое другое!..
— А-я-яй!..—кричали два сосѣда:—
Да, никакъ ты Тихоновъ Ивашка?..
— А-я-яй, доподлинно, Ивашка!
— Только, какъ же такъ, милой, послухай...
Гдѣ нога отцова подѣвалась?
— Вѣдь когда ты ѣхалъ изъ деревни,
То, я помню явственно, всѣ ноги
У тебя хранились въ аккуратѣ!
— Ой, братъ-Ванька, чудеса какія?..
Жалко, миленькой, твоей ноги-то!
Вѣдь теперича, сказать къ примѣру,
Не пойдешь ты къ мужику подъ мѣру:
Мужику безногому работа
На болотахъ мало дастъ расчета!..—

Притуманился убогій Ваня,
Книзу голову склонилъ кручинно,
Воздохнулъ и тяжело и длинно.

— Охъ, братъ-Ванька, горюшко какое!..—
Горевалъ добряга Тарасеичъ:—
По себѣ мы вѣримъ—ну-ко, мы бы
Оба съ этакой еловой дылдой?..
Съ мѣста бъ стронуться нельзя во-вѣки,
До конца сидѣть бы на трясинѣ!..
Да Господь воззрилъ на сиромаховъ,
Пожалѣлъ копченыхъ, неученыхъ—
Добродѣтеля прислалъ нежданно...
Вотъ, ужъ—точно,—„жизнь не кочерыжка!“
— О-хо-хо! плохое, Ваня, дѣло!—
Дядя-Сидоръ вымолвилъ кручинно.
— Плоше этого нельзя надумать!—
Отозвался жарко Тарасеичъ:—

Батя-то увидитъ—разревется;
Мать-то поглядитъ—ума рехнется...
А Матренка, помни, отвернется!
Есть у дѣвокъ экая повадка:
Брысь всѣ въ стороны, коли не сладко!..
А у матери статья другая,—
На душѣ у ней струна иная.
— За вчера мы ѣхали деревней,
Твой отецъ намъ говорилъ съ крылечка:
„Братцы! Ваньку моего сыщите.—
Посылайте поскорѣй въ деревню:
Хлѣба, слава Господу, довольно;
Толокно осталось прошлогодне...
Полно жить ему въ коловоротѣ,
Отдохнетъ пущай-ко на болотѣ.
А коль что... коли захочетъ женку,—
За бока потрогаемъ Матренку!..“
— Вотъ и кстати...
— Да какая стать-то?
— Нѣ, бра-атъ Ваня, стати здѣсь не видно—
Безъ ноги для дѣвицы обидно...
Для вдовицы, точно, все годится,
Да и то,—коль нечѣмъ ей укрыться!..
— Вотъ... А самъ ты какъ здѣсь объявился,
Аль въ доглядчики тутъ подрядился?..
— Нѣтъ, сосѣди, я въ деревню ѣду...
— А на чемъ ты ѣдешь экой далью?
— Гдѣ подсадятъ—посижу, проѣду,
Не подсадятъ—съ палкой ковыляю...
— А-я-яй, какое, парень, дѣло...
Не ходокъ ты съ этакимъ приборомъ,—
Кура старая тебя обгонитъ!—
И, махнувъ рукою, Тарасеичъ
Безъ утайки выложилъ всю душу:—
На тебя и поглядѣть-то страшно,
Весь сухой, зеленый, замореный;

Подвело подъ ложечку утробу!
Словно выползъ ты вчера изъ гроба!
Ты открой намъ сердце: что за притча
Повстрѣчалася съ тобой, Иваша?

— Все разсказывать, сосѣди, долго;
А не все—нескладно и неладно.
На заводѣ ногу отдавили,
Какъ чугунъ въ плавильню подвозили.—
А остатокъ *мѣдники* спилили...
Пролежалъ на койкѣ за-полгода,
Раскусилъ, что значитъ есть невзгода.
А теперь, усталый и убогій,
Возвращаюсь въ сторону родную.
— Стой, Иваша! дай я поспрошаю,—
Взговорилъ молчавшій дядя-Сидоръ,—
Для чего ты взялся за работу,
Гдѣ опасности стоятъ большія?
Выбиралъ бы лехше што, помяхше...—

Поглядѣлъ „Иваша“ на сосѣдей,
Поглядѣлъ на старичка сѣдого,
Въ потолокъ, на стѣны, на окошки,
На хозяйку, на Господень образъ
И унылымъ голосомъ затронулъ
Съ середины—пѣсню городскую:

Середина городской пѣсни:

„Не въ ногѣ бѣда, старики-дружки,
Безъ ноги, бѣды въ свѣтѣ мѣры нѣтъ!
Незаладицы на людяхъ живутъ:
Гдѣ душа горитъ, тамъ кружатъ онѣ.
А метелицы по полямъ плывутъ,
Надъ оврагами голосятъ-ревутъ.
Гдѣ гроза прошла—буреломъ лежитъ;
Гдѣ бѣда была—тамъ печаль сидитъ...

Кто не видывалъ стороны чужой,
Не извѣдалъ тотъ и нужды лихой.
Люду малому въ шири хода нѣтъ,—
И бѣжитъ тамъ въ годъ—вашихъ десять лѣтъ!
Все горитъ-дымитъ—въ рогъ сгибается
И на кладбищахъ погребается.
Лишь желѣзный тамъ вверхъ вздымается;
Лишь особенный къ свѣту тянется,
Лишь одинъ изъ ста не обманется...
Что несу домой отцу съ матерью,
Угадайте вы, люди старые?
Я несу домой душу грѣшную,—
Безъ огня душа закалилася,
Безъ дождей-вѣтровъ износилася;
Въ недоглядъ, вгорячахъ самъ измыкался,
Раскидалъ добро въ разныя стороны,
Шваркнулъ на вѣтеръ силу, молодость,
Тѣшивъ самъ себя да пріятелей!
Гдѣ друзья теперь? Гдѣ пріятели?—
Всѣ давнымъ-давно прочь попятили...
А гдѣ силушка молодецкая,
Деревенская-толоконная?—
Выкралъ силушку воръ невѣдомый
И унесъ съ собой, неразвѣданный...
Будто сонъ лихой въ головѣ сидитъ,
Будто лѣсъ глухой въ темну ночь гудитъ!..“

— Стой, братъ-Ванька!.. Пѣсню экую
Не поютъ и по покойникамъ!—
Два сосѣда разомъ крикнули.
Тарасеичъ замахалъ рукой,
А въ рукѣ—зажатой шапкою.
— Что за штуку околесную
Ты намъ спѣлъ?.. Морозомъ дернуло
Мнѣ въ спину отъ пѣнья этого...
Ужъ какихъ не слышалъ пѣсенъ я:

Отъ иныхъ весною вѣяло,
Отъ другихъ—тоской сердешною,
А отъ этой—смертнымъ холодомъ!
Неужли же мужику вдали
Этакъ туго, этакъ маятно?
Неужли ему и хода нѣтъ
Тамъ иного, какъ душа враздробь?
Неужли—чужа сторонушка,—
Гдѣ всѣ камешки шлифованы,
Гдѣ всѣ люди нашпигованы,
Всѣ заулки взметены чисто́...
Гдѣ всѣ домушки—кирпичные,
Дорогой полудой крытые,—
Хуже нашей деревенщины?
Вѣдь у насъ мететься улица
Только въ непогодь метелицей,
Освѣщается пожарами
Да, коль ясно, Божьимъ мѣсяцемъ...
А постройки: бревна съ сучьями,
Съ горбылями, съ закорючьями,
Да и то бревно—не всякому;
Крыши—дранка, хламъ соломенный,
Для пожара приспособенный...
Окна—забраны лучинками
Да бараньими брюшинками;
Въ избахъ—полно тараканами,
Дымомъ, копотью, изъянами.
Хлѣбъ насущный—толокно одно...
А въ трясинахъ—неизмѣрно дно!
Я согласенъ, что нога твоя—
Штука оченно нескладная...
Да нога статья особая,—
Ногу можно въ Рѣшетиловой
Отсадить по корень тяпнувши
Топоромъ, косой аль заступомъ...
А возьмемъ мы капитальную

Часть въ деревнѣ Рѣшетиловой
И по всей болотной округѣ:
Пятака съ огнемъ не выищешь,
А коль гривну—лобъ раскокаешь!
И опять статья: конецъ придетъ—
Умирать тебѣ подъѣхало...
Мри, какъ пень, безъ покаянія,—
До погоста—двѣ десятницы,
Жди свещельника до пятницы,—
Въ гробъ ложися неокаянный...
А какъ въ городѣ житье идетъ,
Ты объ этомъ и не думаешь:
Самъ владыко черезъ улицу,
Благочинный дверь-о-дверь съ тобой,—
Умирай, когда захочется...
И, не только пятаки въ мошнѣ,—
Тыщи въ пазуху накладены
Почитай, у всякой гадины;
Не слыхалъ ли, есть старуха тамъ:
И глухая и корявая,
А въ кошёлкѣ сорокъ тысячей!
Тамъ у нищаго полштофъ стоитъ
На столѣ о всякомъ праздникѣ,
И ватрушка съ медомъ-сахаромъ
На закуску къ горькой выпивкѣ.
А купцы, слышь, безобразники,—
Тѣ стерляжью рыбу лопаютъ,
И угодниковъ и праведныхъ—
По карману крѣпко хлопаютъ!..
Торгъ справляютъ не робѣючи,
Бьютъ на грошикъ по копеечкѣ...
Мыломъ, шиломъ и мочалами,
Хлѣбомъ, патокой, причалами—
Всякой штукою ворочаютъ,
Возжигаютъ свѣчи пламенны,
Громоздятъ палаты каменны

Безъ науки, безъ писанія...
И одѣты не корягами:
Въ треугольникахъ, со шпагами;
Всѣ помадой распомажены
И по думамъ всѣ разсажены.
И у думцевъ этихъ—главное:
Облущить вкругъ православнаго...
„А что дальше станетъ дѣяться—
Будемъ на́-небо надѣяться!—
А сколь крикнешь: „О, грабители,
Для чего вамъ верхни жители—
Для торгово-совершенствія,
Аль для пущаго мошенствія?..“—
Приведутъ тя во судилище
И упрячутъ во узилище:
„Не моги перечить сильному!“
А вѣдь кто?—всѣ безъизъятія,
Почитай, мужичья братія;
Только къ бычьему-мужичьему
Лисьей хитрости прибавлено,
Волчьей жадности надбавлено!—
Вотъ... Мы ѣдемъ съ дядей-Сидоромъ
Да съ своимъ—теперь—хозяиномъ,—
Такъ хозяинъ-то разсказывалъ,—
Ажно страхъ беретъ при солнушкѣ!..
Во бутыляхъ, слышь, посажены
И холера и трясучая
И вся штука неминучая,—
Ототкни бутыль—моръ всякому!
И въ ту жъ пору—лыки, патока,
Соль и сало и кули съ мукой
Воздынулись до небесъ горой?..
И сколь правильный работникъ ты—
Самъ цѣлковый на тебя попретъ,
Будто волкъ на жеребятину.
И, къ примѣру, если холостъ ты...

— Тарасеичъ!—крикнулъ въ ужасѣ
Дядя-Сидоръ и рукой зажалъ
Ротъ разсказчику ретивому,—
Затерялъ ты стыдъ и Господа!
Коли сердце разгорѣлося,
Коли хочешь высоко хватить:
Поворачивай въ ту сторону,
Гдѣ корни за землю цѣпятся,
Гдѣ душа да правда Божія!..

Въ это время кабиньдетная
Дверь со скрипомъ растворилася
И персонушка хозяйская
На порогѣ объявилася:
Расплылось лицо широкое,
Распотѣлось, кровью налилось,
Въ „щелкахъ“ яростный огонь мелькалъ...

Подошелъ нечаянно конецъ бесѣдѣ,
Разомъ смолкли дружные сосѣди;
А толстякъ пустился въ распорядокъ:
— Собирайтесь, старики, въ дорогу;
Будетъ слушать вамъ елову ногу!
Три часа хватило вдаль обѣда,
Стронемся скорѣй отседа!..
Просидишь—зря время проморочишь,
На пожаръ али на бунтъ наскочишь...
Запрягайте мнѣ коня, кобылу
Засупоньте толкомъ...—Что здѣсь было?..
Кто здѣсь пѣлъ—не этотъ ли бродяга?—
И взглянувъ упорно на Ивана,
Загремѣлъ страшнѣе барабана:
— Ты чего здѣсь, вещество хромое,
Зря болтаешься да пѣсни воешь—
Резолюцыю на стариковъ пущаешь?

Тихихъ-набожныхъ отъ дѣла тянешь?
Прозываешься ты какъ?.. А?..
— Ваня...
— Ну, а пашпортъ у тебя въ карманѣ?
А?.. Ч-чи-вво?.. Ты говори гульчѣе...
Н-ну?.. Кажи мнѣ пашпортъ поскорѣе!..
— Отвяжись... Уйди, братъ, къ домовому!
— Что-о?.. Меня, соплякъ, шлешь къ домовому?
А не хочешь въ гости къ становому,
Поучиться азбуки турецкой?
Стой!.. Еще опросъ: а вѣруешь ли въ Бога?
Отвѣчай, аль хватишь горя много...
Отвѣчай, бунтило изъ ножевки!..
Эхъ, кабы тебя, анаѳему, забрать въ ежовки:
Ухватить построже да кнутищемъ
Прочесать усердно по бочищамъ—
Такъ не пѣлъ бы ты, а вылъ бы!..
Что жъ ты, гадина хромой-курносый,
Не даешь отвѣта на мои опросы?
Аль языкъ со страху потерялся,
Что на умнаго, подлецъ, нарвался?
Дай мнѣ пашпортъ и отвѣтъ про Бога!—

Тутъ хромой, оправившись маленько,
Къ толстобрюху подошелъ близенько,
И по-полу стукнувъ деревяжкой,
Тихо вымолвилъ:
— Я грѣшникъ тяжкой!
Я худой весь отъ конца до края...
Жилъ на волѣ я, какъ лошадь молодая
Безъ призора на широкомъ полѣ.
Здѣсь не мѣсто говорить о многомъ,
А бывали дни—я забывалъ про Бога...
Забывалъ и стыдъ, отца и мать-старуху,—
Пѣлъ, плясалъ, вертѣлся легче пуху
И не ждалъ въ той удали себѣ износу.

Да въ больницѣ лежа я очнулся—
Надъ собой задумался, душой проснулся.
И повѣяла мнѣ жизнь привѣтомъ:
Освѣтился разумъ тихимъ свѣтомъ,
Зародилось на душѣ смиренье.
Богъ—терпѣніе, любовь, жалѣнье!

— Ай, Ивашка!—сказано на удивленье,—
Перебилъ бесѣду Тарасеичъ:—
Замолчи теперь и успокойся...
Ванька, правильно: лишь Бога бойся,
Отъ Него всѣ радости и всѣ печали;
У Него въ десной захвачено чему быть далѣ!—

Тутъ пузанъ, всѣхъ оглядѣвши звѣремъ,
Повернулся туловищемъ къ двери
И ворчалъ угрюмо, но безъ злобы:
— Времена пришли—мнѣ лехцыю о Богѣ
Проповѣдали, какъ дураку, еловы ноги...
Будто самъ я Господа не знаю
И святыхъ Его не почитаю?..
О, деньки! О, нынѣшни народы!..
Получи, хозяйка, за расходы...

— Девять саечекъ?.. Шешнадцать пива?..
Да баранинка—два съ половиной...
А все сто́итъ, баринъ, два съ полтиной...

Два сосѣда, Богу помолившись,
На гулёжъ хозяйскій удивившись,
Пирогомъ съ плѣшивымъ подѣлившись,
Съ молодой хозяйкою простившись,
Кушаки покрѣпче подтянули,
И всѣ разомъ къ выходу шагнули.
А пузанъ, усѣвшись въ колымажкѣ,
Поджидалъ коню чужой запряжки.

Два сосѣда сослужили службу:
Запрягли коня ему, но не изъ дружбы,
А „чтобъ не было въ душахъ сумленья—
Самому пѣгану въ уваженье!“
И собравши воедино силу,
Принялись неспѣшно за кобылу.
Часъ прошелъ—сосѣди запрягали,
Два прошло—супонь супонить стали;
Да на грѣхъ и вожжи потеряли...
Тамъ—глядь, тутъ—глядь, нѣтъ вожжей, хоть лопни!
— Старики, живѣе! полно мѣшкать,—
Толстобрюхій молвилъ въ нетерпѣньи,—
Шесть часовъ, седьмой ужъ въ наступленьи...
— Поѣзжай, другъ, ты одинъ дорогой!—
Дядя Сидоръ крикнулъ толстобрюху.—
Люди умные навозъ вывозятъ,
Отбиваютъ косы къ сѣнокосу;
А и мы чинами не большіе,
Чтобы ѣсть въ дорогѣ пироги тугіе...
Поѣзжай, другъ, ты одинъ дорогой:
Мы оглобли повернемъ обратно...

Тарасеичъ подъ телѣгой вожжи
Запримѣтилъ и полѣзъ ихъ вынуть,
Да залѣзъ старикъ и замѣшался,
Только лапти видны да онучи....

— Что ты мелешь, остолопище,—
Загремѣлъ на дядю Сидора
Толстобрюхъ:—куда оглоблями?..
— Во—сюды... Вотъ въ эту сторону!
А тебѣ—вотъ въ эту сторону.
Тарасеичъ, поворачивай
На деревню Рѣшетилову...
Тарасеичъ! Э, да гдѣ же ты?

Та-арасе-ичъ!..—
Дядѣ Сидору
Невдомекъ глянуть подъ ступицу:
Притулившись, тамъ лежалъ сосѣдъ,
Ждалъ развязки въ сторонѣ отъ ней...
— Та-арасе-еичъ!.. Тьфу, оказія...
Ужъ не волкъ ли съѣлъ сосѣда-то?..
Федька, дьяволъ!..
— Стой, мошенники!—
Застоналъ дѣтина холеный,
Весь затрессся, посинѣлъ съ ушей:
— Не въ деревнѣ церемониться,
Растреплю я ваши бороды
Такъ, что пуха не останется...
Все начальство за меня пойдетъ,
Запихнетъ въ острогъ васъ,. жуликовъ!..
— Поѣзжай, другъ, по-хорошему!—
Дядя Сидоръ говорилъ въ отвѣтъ.—
Мы на драку не работники,
До острога не охотники...
Да и то сказать: дѣлить-то что?
А сколь хмельнымъ насъ попоштовалъ—
Не скажу тебѣ спасибо я,
И теперь еще въ башкѣ зудитъ...
Затуманилъ прохламацыей,
Опоить хотѣлъ да изъ дому
Заманить подъ пьяны мысельки,
У чертей играть во гусельки?
Нѣ-ѣ-тъ, бра-а-тъ, такъ не полагается!
Вѣдь не зря же въ книгѣ сказано:
„Пьянъ проспится—станетъ умникомъ,
А дуракъ—какъ ни положь—дуракъ...“
И еще гласитъ писаніе:
„Рыба ищетъ глубину въ рѣкахъ,
Человѣки—гдѣ способнѣе“.
Вотъ съ сосѣдомъ и рѣшили мы

Извернуть дѣла по-старому,
А кобылу—къ Рѣшетиловой!..
„Тамъ, молъ, дѣло распояшется,
Всякъ по-своему напляшется,
Хоть близъ бабъ и неспокойнѣе,
На душѣ зато пристойнѣе!..“
— Ахъ вы, дьяволы посконные!—
Забранился пуще прежняго
Толстобрюхъ на дядю Сидора.—
Аль для шутки ряду дѣлали?
До зарѣзу мнѣ народъ теперь
На заводѣ винномъ надобенъ,
А гдѣ взять теперь народу-то,—
Гдѣ, разбойники-крамольники?
— Слава Богу, есть народу-то...—
Дядя Сидоръ говорилъ въ отвѣтъ...—
Поищи, пошарь и вышаришь!
Кто не возится съ обозами,
Не займается съ навозами
Да съ косой, да съ бороной-сохой,
Тотъ прямой тебѣ работничекъ.
А объ насъ закинь сумленіе,
Мы вернемъ въ свое селеніе.
И коль судитъ Богъ, въ смиреніи,
Во трудахъ да во терпѣніи
На трясинахъ сложимъ головы!..
— Стой!.. Со мной не съ Акулиною
Разговоръ вести, какъ вздумалось!
Поступлю съ тобой, съ скотиною,
Хуже варвара... Раздѣлаю
Всѣхъ въ отрепки!—Съ мѣста стронетесь,
Разомъ оба пылью сгинете...
Только пикни—изогну сейчасъ
Въ три дуги безъ сожалѣнія!
И, какъ звѣрь, безъ разсужденія,
Въ голенище суну къ дьяволу...

— Ничего не сдѣлали худого,
Не убили и не своровали;
Умысла не сотворили злого...
А про судъ совѣтъ я дамъ съ отвѣтомъ:
Не тягайся съ мужиками лѣтомъ,—
Потеряешь время золотое;
Волостной и судьи, все начальство—
Всѣ навозъ вывозятъ въ это время...
А пождя—съ косами разбредутся,
А потомъ съ серпами изогнутся...
Что жъ касательно до голенища,
То объ этомъ помолчи, дружище,
Чтобы не было тебѣ изъяна...
Вѣдь и намъ терпленья въ мѣру дано?
А хвати маленько черезъ мѣру,
Прошиби мужичью въ Бога вѣру,
Не обрадуешься, а завоешь!..
— Натворю, лохматый, передряги!—
Толстобрюхъ ревѣлъ изъ колымаги:
Попадешься въ церкви—жилу выну,
Въ алтарѣ—сверну твои суставы...
— Не брехай! Не говори пустого,
И не трогай алтаря святого...
Что кидаешься, какъ песъ, съ разбѣгу?

Тутъ... случайно глянувъ подъ телѣгу,
Дядя Сидоръ увидалъ сосѣда...

XV.

Запрягли сосѣди въ мигъ кобылу
И полѣзли оба на телѣгу,
И хромому молвили привѣтно:

— Полѣзай, Иваша, вслѣдъ за нами!
Всѣ усѣлись. Сдвинулась кобыла

И хвостомъ весьма зашевелила,
Вспомнила она, что и солома
Съ аппетитомъ кушается дома,
А въ гостяхъ, иной часъ, шелковое сѣно
Застреваетъ въ горлѣ, какъ полѣно.
— Братцы, стой!.. наѣхали—гляди—на кочку!
Разнесетъ сейчасъ другую шину...
— Вороти кобылу полѣвѣе,
Вороти лѣвѣе... въ колдобину!..
— Тп-ру-у, любезная...

А изъ бора вѣтеръ перелетный
Доносилъ бряцанье колокольцевъ,
Толстобрюхъ тамъ ѣхалъ въ одиночку.

XVI.

— Ахъ ты, Ваня бѣдненькой, безногой!—
Воздыхалъ ожившій Тарасеичъ.—
Наши дѣвицы тебя, братъ, ждали,
Пѣли пѣсни про тебя, гадали,
Чтобы замужъ за тебя... А только
Не женихъ теперечь ты для дѣвокъ:
Будутъ брезговать, скажу отъ сердца!..
Вотъ... я старый человѣкъ, къ примѣру,
А пройдусь по улицѣ, какъ гоголь,
Залюбуется бабье изъ оконъ!..
Отчего?—А цѣлъ я!.. плечи, ноги,
Сердце, легкое, душа въ порядкѣ.
Ты же, давечь, въ пѣснѣ-то про душу
Затянулъ такую аллилую...
— Перестань тиранить человѣка,—
Перебилъ сосѣда дядя Сидоръ,—
Вишь и такъ сердешному не сладко?
— А ты во—што, Ваня: будь смѣлѣе...
Не раздумывай объ томъ, объ этомъ!

Вѣдь бѣда, какъ вѣтеръ налетаетъ,
И надъ бариномъ она бываетъ,
Енараловъ даже потрясаетъ...
Значитъ, нашему-то брату горе,
Какъ для лебедя хвалынско море!
Сказано въ святомъ писаньи:
„Воротись ты мѣдный—подивятся,
Воротись богатый—покорятся,
Воротись убогій—умилятся,
А вернешься умнымъ—озлобятся!..“
Значитъ, главное въ бѣдѣ умѣнье
Ты ужъ выростилъ въ душѣ: „терпленье!“
— За совѣтъ спасибо, дядя Сидоръ,
За жалѣніе—спасибо вдвое!—
Отвѣчалъ хромой и, помолчавъ немного,
Взговорилъ задумчиво и тихо:
— Понять то не легко, что въ нашей жизни лихо?
Въ жизни всякому своя дорога
Отъ рожденья вымѣрена силой Бога.
У меня жъ одна теперь забота,—
Отдохнуть отъ устали охота!..
Отдохну и за дѣла возьмусь я,
Гдѣ ноги не хватитъ—головою
Буду дѣйствовать какъ бы ногою...
Не тужите шибко объ Иванѣ,
Вѣдь не то богатство, что въ карманѣ,
Какъ у *той* извѣстной старушенки:
Тыщи скоплены, а нѣтъ душонки...
— Какъ же нѣтъ душонки, сколь живая?
Сколь она смышленая такая?
Ты, Ивашка, помни, братъ: въ деревнѣ,
Близъ косы да близъ сохи Андревны,
Безъ копейки—не утрафишь толкомъ,
Хоть будешь царь Давыдъ, а взвоешь волкомъ!..
Не перечь, Иваша... Деньги—черви,
Да безъ денегъ-то, слышь, люди...—

Оборвавши рѣчь, своей кобылѣ
Тарасеичъ крикнулъ:
— Вся ты въ мылѣ,
Вся въ поту, любезная моя кобылка,
Какъ на сходкѣ пьяной, старая бобылка...
Ишь умаяли!.. О, печенѣги,
Вылѣзайте къ чорту изъ телѣги!
Пусть касатка отдохнетъ отъ муки...
Да и мы подремлемъ.
Три сосѣда
Отпрягли кобылу, близъ дороги
На гульбу пустили, да и сами
На травѣ усѣлись. Пожевали,
Покурили трубокъ, задремали...
Но чуть ясная заря на небѣ
Заалѣлась, помолились Богу
И опять ударили въ дорогу.
Потянулись снова вдоль дороги
Лѣсъ да мхи, трясины, боровины,
Тощія поля и луговины.
И на все сосѣди „любовались",
Хоть убогое, а все жъ „милое,
Деревенское свое, родное!"

Легко чувствуя себя на „волѣ",
Захватили дружные сосѣди
Третью ноченьку на кочковатомъ полѣ.
Да и ночь была диковинная о ту пору:
Вся земля вздымалася куда-то въ гору,
Къ голубому небу потянулась,
Въ звѣздочку сосной уткнулась...
Ни одинъ листокъ не шевелился.
Лишь соловушко въ куски дробился:
И свисталъ, и щелкалъ, и томился,
И рыдалъ, и чокалъ, и молился...

Звѣзды ясныя вверху мигали;
Облака куда-то проплывали,
Не проплывъ, куда-то пропадали.
Вдругъ содрогнулась вся даль глухая,
Встрепенулась робко тишь ночная,
И волной широкой, перекатной,
Загремѣла пѣсня...
Дядя Сидоръ
Не стерпѣлъ, душѣ своей далъ волю:

„Гой ты, степь широкая, ровная,
Степь цвѣтная, зеленая, вольная!
Ты ударилась, степь, краемъ въ небушко,
А за небушкомъ живутъ злы татарове...
По цвѣтной степи рѣчка катится,
Не шумитъ рѣка, не волнуется,
Какъ сиротская дума тянется.
У рѣки растетъ кустъ ракитовый,
На кустѣ сидятъ черные вóроны;
Подъ кустомъ лежитъ молодой солдатъ,
Весь исколотый, безъ головушки...
А подъ солнышкомъ, у заоблачья,
Старъ - сизой орелъ широко кружитъ
И, какъ каменный, книзу валится,
На лету беретъ сѣра-ястреба,
На бугры несетъ, гдѣ цвѣты цвѣтутъ...
Гой ты, степь цвѣтная – зеленая!
Безъ души ты, степь, много чуяла,
Безъ очей ты, степь, много видѣла,
Съ ночнымъ дождикомъ много плакала!..“

Тутъ горластый пѣтушиный окрикъ
Мракъ донесъ на крыльяхъ изъ низины...
Тарасеичъ разомъ встрепенулся
И отъ пѣсни къ „прахтикѣ“ вернулся,
И промолвилъ Тихонову сыну:

— Это Ѳомкина поетъ скотина!
Вонъ деревня наша за низиной...

Тихо въѣхали друзья въ деревню.
Незамѣтно отдѣлился влѣво
Дядя Сидоръ и исчезъ во мракѣ;
Незамѣтно отдѣлился вправо
Парень Тихоновъ, во тьмѣ расплылся.
Тарасеичъ на чужой телѣгѣ
Близъ своей избушки очутился,
Шапку снявъ, на небо помолился
И землѣ родимой поклонился.
Распросталъ отъ тяготы кобылу,
И хомутъ и вожжи спряталъ въ сѣни,
И шагнулъ въ избушку и смутился,
Хоть и темно было въ ней и тихо...
Старичокъ раздѣлся, почесался,
Помолился образамъ, на лавку
Легъ, кафтанъ подъ голову засунувъ.
Да хоть крѣпко растрясло въ дорогѣ,
Угнело, умяло всѣ суставы,
Въ головѣ сну не было заставы,
Шелъ сонъ мимо... Мысли налетѣли,
Умъ за разумъ круто завертѣли!..

— Гдѣ-то наши?..—голосъ отъ полатей
Тишь избы нарушилъ. Кто-то всхлипнулъ...
То впросоньи горевала Мавра:
— Можетъ, въ городѣ теперь, на мѣстѣ?..
Можетъ, деньги оба зашибаютъ?..
Можетъ, оба въ кабакѣ гуляютъ?..
Только... охъ, народецъ тамъ ножевый,
Долго ль нашихъ этакимъ зарѣзать?
Пикъ!—ножомъ по горлу и готово!..
Можетъ, ужъ лежитъ врастяжку

Мой-то... дѣдъ-то?.. Ой, горенько-горе!..—
И заплакала тутъ Мавра гульче
И проснулась, и заголосила:
— „Что полати, сколь одна въ палатѣ?..
Вотъ когда приспѣло бабье горе
Шириной и глубиной, какъ море!..“
— Баба Мавра, не тужи... Я дома!—
Отозвался съ лавки Тарасеичъ,
Да и самъ нежданно разревѣлся...

Пробужденіе.

ПОВѢСТЬ.

Посвящается Л. Е. Оболенскому.

Въ далекой глуши, въ одиннадцати верстахъ отъ уѣзднаго города Устоева, на высокомъ берегу рѣки Закупая стояло село Закупаево. Постройки мѣстнаго клира раскинулись живописно противъ крестьянскихъ хоромъ, лишь на другомъ берегу рѣки, на правомъ, и будто стыдливыя деревенскія красавицы хоронились отъ любопытныхъ взоровъ въ тѣни фруктовыхъ садовъ.

Когда развертывалась во всю свою ширь весна, въ саду отца-дьякона почти всѣ деревья окутывались во все бѣлое, словно лютые крещенскіе морозы закрывали ихъ пушистымъ и фигуристымъ инеемъ: то цвѣли вишни и яблони, цвѣла сирень. Въ такую пору жилье старой просвирни и жилье стараго дьячка Лукіяна еле виднѣлись изъ-за этого сада; охваченныя дивной, живой картиной, жилища дьячка и просвирни походили на тѣ нерукотворныя строенія въ горнихъ, „гдѣ праведніи упокаяются“... Что же касается дома отца Еремѣя, то онъ, казалось, тонулъ въ сметанѣ,— и вокругъ него все бѣло-розовымъ цвѣтомъ охватывалось и заливалось волнами „небеснаго благовонія“, только и виднѣлись изъ-за цвѣтущихъ маковокъ яблонника часть сѣрой крыши да дымовая труба, поверхъ которой стоялъ въ опрокидку безбокій горшокъ-чугунокъ, охраняющій поповскій дымоходъ отъ излишней небесной влажности.

На самомъ тычкѣ берега, какъ бы на-сторожѣ, возвышалась трехглавая деревянная церковь, вся сѣрая отъ непогодъ, осунувшаяся слегка, но ярко сверкающая тремя крестами и тремя шариками. Говорилъ народъ, что и шарики и кресты были „раздѣланы аравическимъ золотомъ, самымъ тѣмъ, изъ котораго были кованы вѣнцы Соломоновы"... Да и похоже было на то: проходили годы, смѣнялись на землѣ поколѣнія закупаевскихъ богомольцевъ и прихожанъ, проливались дожди, сыпали метелями сердитыя зимнія вьюги, ветшала и „припадала къ рѣкѣ" сама церковь, а шарики и кресты продолжали безызмѣнно сіять молодымъ, ласкающимъ взоры блескомъ, словно золотильникъ-мастеръ только-что раздѣлалъ ихъ всѣмъ на диво и на усладу! Стоило солнцу выглянуть изъ-за дальняго волнистаго залѣсья, и въ тотъ же мигъ шары и кресты охватывались яркимъ пламенемъ, переливали каленымъ угольемъ... Въ такое время издалека—черезъ поля, луга, перелѣски — кресты отчетливо были видны для всякаго, веселя взоры, освѣщая нелегкія сумерки трудовой жизни...

Въ такіе часы и сѣрая церковь, и постройки клира, и „тотъ берегъ" мужицкій, и Закупай-рѣка въ серединѣ являли собою умилительную картину природы, гдѣ было все на мѣстѣ, все колоритно, выпукло, радостно... Къ такимъ картинамъ не прикасаются кистями художники, не обдумываютъ ихъ плана, не вглядываются зорко въ наложенныя цвѣтныя краски; картины эти изъ вѣка въ вѣкъ пишутся сами собою... Краски мѣняются, мѣстами исчезаютъ куда-то, но полотно живетъ. И перейдетъ время, и снова невидимый живописецъ раскидаетъ по полотну цвѣты лазоревые, ароматы малиновые... Да что—ароматы! раскидаетъ среди цвѣтовъ человѣка съ его необъяснимой, суетливо - горючей долей!..

I.

Лукіянъ Лукичъ Христоборцевъ много лѣтъ состоялъ „псаломщикомъ", а въ просторѣчіи—дьячкомъ при церкви

закупаевскаго прихода—долгіе годы служилъ онъ „Всепѣтой Матери“, въ честь успенія которой и была воздвигнута въ старое время двуглавая церковь; долгіе годы жилъ старикъ близъ дома Всепѣтой Матери, подъ покровомъ ея, со своей почтенной супругой—Параскевой Ивановной.

Постройки ихъ, какъ и постройки другихъ клирошанъ, не стояли на прямой линіи, вдоль дороги, а свободно раскинулись позади всѣхъ—„на всемъ раздольѣ“, хоронясь съ одной стороны за своими четырьмя яблонями и вѣтвистымъ кустомъ сирени, а съ другой—примыкая къ огромному саду дьякона; но оконца главной горницы, „какъ и у всѣхъ другихъ“, глядѣлись на домъ Всепѣтой; фигуристое крыльцо выходило лицомъ „къ тому берегу“ Закупая, и съ крылечка можно было хорошо оглядѣть Закупанье: дѣлается тамъ что, аль не дѣлается? А окна задней горенки уставились въ ровное широкое поле; за полемъ виднѣлся темно-зеленый боръ, который, уходя дальше, становился все выше, и изъ темно-зеленаго переходилъ въ темно-синій. Хорошій былъ видъ на это клирошанское поле: засѣянное рожью, оно во всю свою ровную ширину отливало веселой зеленью, а вольный вѣтеръ, гуляя надъ зеленымъ раздольемъ, колебля живыя нивы, несся въ гости къ темно-синему бору. И все было полно невыразимой грусти, когда ровное поле затихало въ своей вольной жизни, когда сквозь промерзлыя стекла только и видѣлось дьячку съ дьячихой, какъ носятся по бѣлому полю бѣлыя вьюги... А боръ стоялъ угрюмый, безжизненный, и виднѣлись на краю бора кресты-намогильники.

Лѣтъ тридцать назадъ, какъ „могилы“ изъ-подъ церкви перевели на край бора, тѣсно стало и мертвецамъ; и подъ церковью хоронили только самыхъ именитыхъ изъ округи.

Казалось, что это постоянное и близкое сосѣдство двухъ кладбищъ не могло не отразиться на спокойствіи духа закупаевскихъ клирошанъ, особенно же на духѣ престарѣлаго дьячка Христоборцева, которому они каждодневно виднѣлись и отъ бора и отъ дома Всепѣтой Матери и какъ бы напоминали собою всю суету, весь тлѣнъ всего суще-

ствующаго „на благословенной землѣ Господней“, но этого не было...

Шестьдесятъ три года жилъ Лукіянъ Лукичъ въ Закупаевѣ, многое извѣдалъ, многое перечувствовалъ за эти годы, но ни могилы въ бору, ни могилы подъ церковью ни разу не вызывали въ его крѣпкой натурѣ особенныхъ думъ въ эту печальную сторону человѣческой доли. Старикъ тысячи разъ глядѣлъ изъ окна на угрюмый боръ, видѣлъ кресты, зная по памяти, подъ какимъ крестомъ кто уложенъ, и тутъ же спокойно засыпалъ на мягкомъ перовикѣ, не заходя и снами дальше своей одворицы, своей внѣшней и внутренней спокойной жизни.

Да и что за дѣло было дьячку, что и кругомъ церкви и на краю бора „лежитъ сила-рать богатырская“, вынесшая на своемъ горбѣ страшную тяготу, тяготу забитой и безпросвѣтной жизни?..

Долго шагалъ Лукіянъ Лукичъ по житейской тропѣ, пока добрался до совсѣмъ сладкой жизни... Но тропа была хоть и очень долга, да не крива, не терниста. Правда, не обошлось и безъ огорченій, безъ надеждъ, которыя такъ и остались надеждами, такъ и погреблись навѣки въ здоровенныхъ душевныхъ нѣдрахъ дьячка. Да все то было, да и перезабылось...

Въ молодости Лукіяну Лукичу не чуждо было и честолюбіе: мерещилось быть іереемъ, и уже „безотмѣнно діакономъ“. Но по странной случайности діаконство всегда проходило близко, но мимо его... „Объявлялись молокососы“, „приходили дуплы“, т.-е. старые совершенно, смѣняли другъ друга, умирали или уходили въ другіе погосты, а Лукіянъ Лукичъ ни умиралъ, ни уходилъ далѣе, а стоялъ на одномъ мѣстѣ, будто приросъ къ нему, — дивился, разводилъ руками, печаловался... А годы все шли да шли помаленьку. Христоборцевъ незамѣтно для себя сталъ старѣть и мало-по-малу успокоиваться. Голова его день ото дня умнѣла и сознавала, что овому дано пять талантовъ, овому—три, а овому—одинъ талантъ... Честолюбіе изболѣ-

лось и умерло. Лукіянъ Лукичъ подъ конецъ до того успокоился, что случись, кажется, неслучаемое, сдѣлайся закупаевскій пономарь и звонарь, кривой Ануфріичъ, самимъ владыкой,—и это бы не сильно огорчило дьячка... Въ утѣху себѣ онъ вспомнилъ бы о талантахъ и заключилъ бы, что кривому старику Ануфріичу отмѣрено ихъ было восемь, но что онъ по хитрости своей держалъ ихъ до поры до времени подъ полою... Сердце перестало отзываться „на новое“: всякое новое вязалось съ новыми обиходами, съ перемѣной привычекъ, иногда взглядовъ; а взгляды Лукіяна Лукича выработались окончательно, отлились въ неизмѣнную форму.

О вопросахъ тѣлесной жизни ни Лукіяну Лукичу, ни супругѣ его Параскевѣ Ивановнѣ заботиться много не приходилось; она была установлена такъ твердо и такъ способно, что испортить что-нибудь въ этой жизни, пожалуй, не удалось бы и колдуну!.. А вопросы душевные, такъ сказать, ариѳметика высшая, были и совсѣмъ къ сторонкѣ отдвинуты...

Разъ только, когда шибко занедужилось Параскевѣ Ивановнѣ, вопросы эти изъ какой-то невѣдомой глубины выступили нежданно наружу, заходили гребнями вверхъ, заволновали духъ, но Лукіянъ Лукичъ увильнулъ отъ нихъ такъ ловко и деликатно, что они ушли назадъ въ неизвѣданную глубину и больше изъ нея не показывались...

Охваченная тяжкимъ недугомъ, разслабленная, лежа на мягкомъ перовичкѣ, Параскева Ивановна призадумалась. Ясно представились старушкѣ кресты въ бору, да въ такомъ видѣ, что весь чудный окружающій ее міръ какъ бы власяницей подернулся, тоской-скорбью окутался... Параскевѣ Ивановнѣ стало страшно; чѣмъ-то загадочнымъ повѣяло на нее отъ всего, даже отъ самыхъ простыхъ и знакомыхъ вещей; все казавшееся прямымъ и понятнымъ вдругъ закривѣло и покрылось зловѣщей таинственностью. Смертный часъ въ видѣ грознаго призрака обозначился гдѣ-то вблизи свѣтлыхъ горенокъ, вблизи всего раздолья-удобства, повисъ надъ всполохнутыми мыслями дьячихи крово-

жадной голодной птицей, распустившей цѣпкіе когти, наготовившей для удара костяной носъ... Долбнетъ разъ,—и вовѣки вѣковъ не будетъ на землѣ такой Параскевы Ивановны! И того больше стало не по себѣ разслабленной-немощной.

— Вотъ и умру!..—печально раздумывала дьячиха:—и уложатъ меня близъ церкви... холодно будетъ въ могилкѣ, темно... А тѣло у меня рыхлое, набалованное. Подай ему фуфаечку шерстяную, чулочки шерстяные подай, и чтобы лампады горѣли всегда у кивота!.. Охъ, страшно!.. Заступи меня, Мать-Богородица, дай еще мнѣ, грѣшницѣ, погулять по травкѣ-муравкѣ, по рѣчнымъ бережкамъ зеленымъ, чтобы подольше около своего родного угодья побыть... Да и насчетъ душеньки забираетъ страхъ,—что да какъ усадятъ ее въ огонь вѣчный?... О, заступи меня, Мати Всепѣтая, помоги мнѣ... Отецъ Лукіянъ, страхи меня разбираютъ...

— Чего же ты заробѣла, Параскева Ивановна?—отозвался дьячокъ.

— Насчетъ души раздумываю... Прошли, знать, мои красны дни на землѣ. Умру скоро. А куда отведутъ душу мою? Ну-ко, да усадятъ ее въ огонь вѣчный?.. А тѣло у меня, самъ знаешь, рыхлое!.. И душенька пріучена къ спокою-удобствію...

— А ты, Параскева Ивановна, объ этомъ не думай!—сказалъ старикъ, поразмысливъ,—и самое главное—не робѣй. Всепѣтая все обладитъ, какъ надо, и тебя до огня не допуститъ. Не даромъ же я Ей служу всѣмъ моимъ сердцемъ, всѣмъ помышленьемъ... Огонь достанется сатанѣ и аггеламъ его чернымъ. Вотъ ты, значитъ, и молись Ей, Всепѣтой, да пей побольше липоваго отвара,—у тебя и пройдетъ. А если по правдѣ сказать, Параскева Ивановна: тебя еще и коломъ не уложишь!..

На этомъ объясненія кончились. Старушка повеселѣла маленько; а черезъ недѣлю и совсѣмъ вошла въ силу, и снова Божій міръ засіялъ для нея всѣми переливами радуги, и снова на душѣ стало ясно.

Лукіянъ Лукичъ былъ рѣдкостный человѣкъ по складу своихъ сердечныхъ особенностей: ласковый, обходительный, жалостливый. Правда, всего этого за долгіе годы старику почти нигдѣ не удалось показать на дѣлѣ,—потому ли, что окружающая жизнь складывалась всегда какъ-то такъ, что будто ничего этого и не требовалось отъ дьячка, ни помощи денежной, ни совѣта особеннаго, ни сожалѣнія слезнаго, будто все было—полная чаша кругомъ, тишь да благодать по всему закупаевскому погосту! А можетъ статься, старикъ и не могъ хорошенько разглядѣть окружающаго, обсаженный кругомъ сиренью да яблоньками? Можетъ статься, изъ-за этихъ ближнихъ причинъ сердечныя добродѣтели Лукіяна Лукича и были замкнуты сами въ себѣ? Старикъ и самъ минутами чуялъ что-то неладное... но былъ спокоенъ въ глубинахъ своей совѣсти. Онъ твердо зналъ, что за всѣ годы и младенца неразумнаго не обидѣлъ, не своровалъ, не сбогохульничалъ, никому не учинилъ худа, не ввелъ ни въ кручину, ни въ слезы...

Разъ только обидѣлъ старикъ живое существо на землѣ: поповскаго пѣтуха Задирая,—огрѣлъ его на смерть полѣномъ вдоль бока... Но на это подошли большіе резоны. Задирай повадился летать черезъ липовый частоколъ, съ поповой одворицы въ одворицу Христоборцева, сталъ обижать дьячковскаго пѣтуха, щипать его цвѣтистыя перья и рвать малиновый гребешокъ. Тутъ и случился случай, который единственнымъ чернымъ пятномъ залегъ вдоль мирной жизни стараго Лукіяна...

„Задирай“ послѣ этого пересталъ летать черезъ липовый частоколъ, ходилъ грустный по поповой одворицѣ, опустилъ цвѣтное крыло и сталъ скучать да хирѣть... Отецъ Еремѣй пожалѣлъ пѣтуха въ невѣдомой немощи, велѣлъ работницѣ прирѣзать его и сварить въ супѣ. Тѣмъ и покончилось дѣло... Хоть старику первое время нерѣдко вспоминался пѣтухъ, жалко стало ему Задирая; раза два онъ невольно для самого себя, хоть твердо зналъ, что у пѣтуха не было души, а „свистъ“ одинъ,—помянулъ его мысленно „во царствѣ не-

бесномъ", но самъ устыдился такого негожаго поминовенья, а подъ конецъ забылъ свое невольное прегрѣшеніе, успокоился.

Изъ двухъ тысячъ закупаевскихъ прихожанъ и двухъ бы не нашлось, кто не любилъ дьячка Лукіяна, кто имѣлъ бы на ветхаго старца обиду али злобу лихую. И Лукіянъ Лукичъ всѣхъ „любилъ", и не мало имѣлъ добрыхъ знакомцевъ въ погостѣ, вдали—въ городкѣ Устоевѣ, куда изрѣдка наѣзжалъ за житейскими надобностями и гдѣ въ бывалое время имѣлъ родню ласковую и дружбу пріятельскую.

Всѣ службы и пѣсни церковныя старикъ давнымъ-давно изучилъ наизусть; зналъ, что дѣлаютъ бабы и мужики въ Закупаевѣ, слышалъ, что творится на округѣ, въ Устоевѣ. Зато, что творилось далѣе закупаевскаго погоста, дальше Устоева,—все то было для старика „темной водой во облацѣхъ".

Солнце стояло въ синей лазури неба на добромъ завтракѣ .. Клиръ давно пробудился и жилъ полной жизнью: семья ласточекъ рѣзво носилась надъ постройками клирошанъ и то и дѣло описывала широкіе круги надъ золочеными главами церкви и распѣвала какія-то веселыя пѣсни; въ сиреневыхъ кустахъ громко кудахтала курица; плакалъ поповскій младенецъ... Съ плачемъ ребенка отъ дома отца Еремѣя неслись протяжные и могучіе звуки скрипки,—то музыкантъ-священникъ разыгрывалъ свой любимый мотивъ: „Волною морскою скрывшаго древлѣ гонителя-мучителя, подъ землею скрыша спасенныхъ отроцы..."

Дьячокъ сидѣлъ на широкой лавкѣ у растворенного окна, уставивъ взоръ куда-то черезъ село, и не то заслушался музыки, не то созерцалъ залитое солнцемъ полевое раздолье. Безмолвный, въ поношенномъ сѣромъ подрясникѣ, опоясанный широкимъ бурымъ ремнемъ, немного сутулый, „легонькій", съ заплетенной косицею сѣдыхъ волосъ на затылкѣ, съ жиденькою сѣдой бородкой, полуосвѣщенный лучами солнца, старецъ выглядѣлъ въ эту минуту человѣкомъ „не отъ міра сего", — казалось, все мірское чуждо ему. Весь онъ

былъ тихъ, спокоенъ,—въ выцвѣтшихъ глазахъ его виднѣлось нутряное довольство, скрытая душевная крѣпость...

— Отецъ Лукіянъ,—сказала Параскева Ивановна, накрывая бѣлую скатерть на столъ,—ужъ сегодня мы какъ-нибудь перебьемся, съ молочкомъ, да съ яичками, да язей твоихъ поѣдимъ, что наудилъ утромъ... А завтра воскресенье Христово,—крупеничокъ бы не худо состряпать, только говядинки дома нѣту...

— А что жъ, Параскева Ивановна,—отвѣтилъ старикъ,—коли нѣтъ говядинки—купить надо! Возьми ужотко серебрянички и сбѣгай къ Артамону Сысоичу.

Старикъ, сказавъ это, опять уставилъ глаза черезъ окно, на освѣщенные солнцемъ просторы. Въ селѣ все было тихо попрежнему, лишь надъ чьей-то соломенной крышей вился клубьями запоздалый дымокъ. Величественные мотивы отца Еремѣя стихли и какъ бы растаяли въ воздухѣ, и ласточки, умаявшись рѣять надъ главами дома Всепѣтой Матери, куда-то скрылись. Лукіянъ Лукичъ не то видѣлъ что изъ окна, не то ничего не видѣлъ—не чувствовалъ... Сладкое забытье насѣло на старика. И бѣлый дымъ надъ соломенной крышей, и сѣрое бревенчатое село, и домъ Всепѣтой, и цвѣтистая пелена садовъ,—все было какимъ-то остановившимся заколдованнымъ сномъ на свѣтломъ раздольѣ... Лишь вдали сѣраго поля двигались сѣрыя крошки,—то работали закупаевскіе міряне.

— Ужъ поди-ко ты, отецъ, самъ туда!—заговорила старуха, сгоняя съ дьячка сладкое забытье... „Отцомъ“ она звала дьячка потому, что и мать-дьяконица „такъ своего величала“, и „мать-попадья этакъ же своего называла“.

— Еще не одно дѣло у меня впереди стоитъ, да, можетъ, позади сколько?—пояснила дьячиха.—А ты и добрыхъ людей поглядишь, и себя имъ покажешь. Вѣдь, кажись, съ прошлой субботы ты и ногою не бывалъ за рѣкой?

— Да оно такъ, Параскева Ивановна!—согласился старикъ.—Ладно, и я могу спутешествовать. А такъ какъ я оголодался изрядно, то насыщусь сперва, а потомъ ужъ грянуу

и за рѣку... Ты, Параскева Ивановна, шевелись—не мѣшкай, а то завтракъ твой обѣду въ брюхо заглядываетъ... Да запасай молочка побольше, да яичекъ побольше.

— Да ужъ и готово все, садись кушай!..—оповѣстила дьячиха. Круглое морщинистое лицо старухи было веселое и привѣтливое, вся невысокая, пышная фигурка ея, прикрытая бѣлымъ чепцомъ, одѣтая въ сѣрое холстинковое платье, выглядѣла привѣтливо... Большіе, когда-то голубые глаза отражали здоровье и душевное спокойствіе. Параскева Ивановна хоть и была старѣе своего мужа, но выглядѣла и моложе, и бодрѣе его, только маленько похрупче.

Старцы остановились рядомъ передъ потемнѣвшимъ золоченымъ кивотомъ и долго-долго молились. Потомъ усѣлись къ столу, неторопливо искушали полтора язя, по памяти которыхъ Лукіянъ Лукичъ сдѣлалъ шутливое замѣчаніе: „а тоже вѣдь были утромъ живые!“—но Параскева Ивановна промолчала и взамѣну отвѣта поставила на столъ миску горячей похлебки, потомъ большенную кринку топленаго молока, а на загладку—по четыре яичка... А потомъ опять встали рядомъ и долго-долго молились.

Дьячокъ началъ собираться въ дорогу, одѣлъ праздничный новый подрясникъ, прикрылъ сѣрой шляпой сѣдую голову, взялъ въ руку посохъ—можжевеловую палку съ диковинной загогулиной и пошелъ вонъ изъ горницы. Сейчасъ же ему и попутчикъ выискался, дьяконовскій песикъ Арапка,—Арапка изогнулъ хвостъ на манеръ кренделя, пустился косой побѣжкой по горячей дорогѣ, впереди Христоборцева, по направленію къ сельскому мосту, поминутно оглядываясь на старика: идетъ ли дьячокъ въ ту сторону, куда онъ, Арапка, бѣжитъ?

Харчевня Артамона Сысоевича стояла на самомъ краю Закупаева, на юру трехъ дорогъ, которыя подошли къ нему изъ глубины закупаевскаго погоста и близъ харчевни завязывались въ крѣпкій узелъ.

Въ харчевнѣ имѣлись всякіе обиходы: красный товаръ и скобяной товаръ, кумачи, платки, кисея; рукавицы, то-

поры, вилы, долота, ухваты, косы и сковородники; въ углу стояла бочка „хлѣбнаго-очищенаго“, надъ нею висѣли огромныя вязки окаменѣлыхъ баранокъ. А въ глубинѣ подполья стояла кадушка соленой убоины.

Артамонъ Сысоевичъ, мужчина высокаго роста, плечистый, рыжебородый и косоглазый, на первый взглядъ рѣдкому могъ полюбиться. Но стоило побыть близъ него, чтобы полюбить его, какъ должно... Онъ былъ непьющій, обстоятельный и богобоязненный.

— Давненько, давненько не бывали у насъ!—говорилъ харчевникъ, завидя входящаго стараго Лукіяна:—грѣшно!..

— Да и ты, свѣтъ Артамонъ Сысоичъ, тоже, братъ, грѣховодникъ не малый,—отозвался дьячокъ.—Ты и совсѣмъ не бываешь у насъ во-время; нельзя этакъ забывать Всепѣтую Матерь!

— И радъ бы урваться, родной, да никакъ неспособно.. Самъ вижу, а ничего подѣлать нельзя. Положенье такое: пока у васъ молитва да звонъ идетъ, по тѣ поры и торговля есть... То дѣвкамъ кисеи отмѣрь, то бабамъ соли отвѣсь; зайдетъ мужикъ:—Вару отколупни! Другой зайдетъ:—Вилы дай!—Ну и вару отколупнешь, и вилы покажешь. Иной винца захочетъ,—и винца надо дать. Всѣ живые, всѣ человѣки. Начнешь опосля собираться къ вамъ, а у васъ Митькой звали!—шапки разбираютъ, послѣдній перезвонъ гудетъ. Погодкой-то какъ обрадовалъ Господь-Создатель.

— Да, братъ Артамонъ Сысоичъ, дивныя ведры послала Всепѣтая. А ты дай-ко мнѣ чурачокъ, я присяду... Господни ведры стоятъ на благословенной землѣ, вотъ что, свѣтъ Артамонъ Сысоичъ!

— Справедливо сказали: Господни. Одно слово—рай Божій! Небось, теперь на вашей-то сторонѣ одно благоуханье идетъ: и вишней, и яблоней, и всякимъ инымъ душистымъ испаряетъ Христосъ?

— Хорошо, братъ, хорошо у насъ, слава Всепѣтой Матери! А ты мнѣ, Артамонъ Сысоичъ, тово... солонинки отвѣсь! Фунта этакъ два вынь, отборной. На завтра у меня

Параскева Ивановна крупеничокъ захотѣла состряпать, вотъ и пригнала меня...

— Хорошее дѣло. Парасковья Ивановна старушка отмѣнная. Я и самъ обожаю крупеничокъ,—супецъ изъ перваго сорта... А не слышно ли чего, Лукіянъ Лукичъ, про владыку?

— А чего про него?

— А не ѣдетъ ли, напримѣръ, епархію оглядѣть, порядки ощупать?.. Твердо ли въ вѣрѣ все...

— Не слыхать. Да и зачѣмъ ему наѣзжать безъ время? Срокъ не пришелъ. А порядки у насъ вѣковые,—и самъ владыко нигдѣ не подсунетъ лыка... Хе-хе!..

— Хе-хе-хе!..

Между разговорами Артамонъ Сысоичъ опустился въ темную глубь подполья, извлекъ оттуда кусокъ солонины, навѣсилъ его,—вышло два фунта съ тремя восьмушками,—получилъ за фунтъ „по шести серебра“ и принялся увязывать проданное дьячку на мочалку, чтобы нести удобнѣе.

— А ты, свѣтъ Артамонъ Сысоичъ, тово...—сказалъ Христоборцевъ,—чтобы мнѣ не надѣлать бѣды—вишь подрясникъ-то новенькій!—уверни въ бумажку говядинку.

— Извольте, извольте, Лукіянъ Лукичъ,—согласился харчевникъ:—бумажки мнѣ тоже не жаль для васъ.—И не то въ самомъ дѣлѣ Артамону Сысоичу не жалко было „бумажки“, не то дума его ушла куда-нибудь на село: харчевникъ завернулъ солонину въ газетину, да еще въ двѣ газетины. Газетъ у него было куплено по случаю отъ одного любознательнаго и важнаго лица въ Устоевѣ пуда два, и куплено дешево. Артамонъ Сысоичъ потянулся еще за газетой...

— Будетъ, будетъ!..—остановилъ его Христоборцевъ,—теперь и такъ безопасно. Спасибо.—И старый дьячокъ, распрощавшись съ харчевникомъ, вышелъ на улицу и, сопровождаемый вѣрнымъ Арапкой, направился на клирошанскую сторону, привѣтно раскланиваясь съ сельскими обывателями.

II.

— И чего только на этихъ листищахъ написано?—думала Параскева Ивановна, развертывая только-что принесенную дьячкомъ солонину. Но въ ту же минуту мысли старухи толкнулись въ другую сторону. — Отецъ Лукіянъ, а вѣдь харчевникъ-то тебя жигонулъ!—сказала она, покачивая головой и оглядывая внимательно кусокъ соленой убоины.

— Не можетъ быть того, Параскева Ивановна,—отвѣтилъ старикъ:—было съ лихвой навѣшано... Я самъ стоялъ у вѣсовъ—вышло два фунта съ тремя восьмушками, и за восьмушки перевалило побольше наперстка...

— Жигонулъ, жигонулъ, отецъ,—стояла на своемъ Параскева Ивановна:—гляди, сколько кости торчитъ? Тутъ одной мостолышки побольше фунта... Охъ, плутъ-человѣкъ твой харчевникъ! Что только ему на томъ свѣтѣ скажутъ?

— Ну, что жъ подѣлать, Параскева Ивановна,—поперечилъ старикъ, защищая и свою оплошность, и Артамона Сысоича:—вѣдь если и на тебя въ подзорную трубу поглядѣть—и ты вся на костяхъ установлена!.. Ужъ это положеніе отъ Бога.—И, сказавъ это, старикъ одѣлъ на носъ большія круглыя очки и потянулся рукою къ газетамъ.

Трудно сказать, когда въ рукахъ у стараго дьячка бывала газета. Вѣрнѣе, во всю его долгую жизнь не бывала... Если и приходилось Лукіяну Лукичу читать распечатанное на бумагѣ, то приходилось—церковное: псалтири, акафисты, часословы, четьи-минеи. Случалось и раньше приносить изъ харчевни газеты, но читать ихъ было нельзя и охотнику, партія была „нѣмецкая“, и тянулась она у Артамона Сысоича и его предшественника лѣтъ семнадцать. А раньше того въ харчевнѣ и заводу не было на бумажку.

Отецъ Еремѣй газетъ не выписывалъ, а изрѣдка какія-то книги, которыми ни съ кѣмъ не дѣлился и которыми никто изъ жителей клироса не интересовался. Отецъ дьяконъ ничего не выписывалъ; а просвирня объ этомъ не могла и подумать, такъ какъ „азъ“ и „буки“ не изучала отъ дня

рожденія и потому духовно была темна, какъ подполье харчевника... Зато „тѣлесныя очи“ просвирни все прозрѣвали кругомъ и около...

— Поглядимъ, что написано!—говорилъ самъ себѣ Христоборцевъ, расправляя листы, и который былъ всѣхъ мокрѣе, положилъ на оконникъ сушиться на солнышкѣ, а сухой растянулъ обѣими руками, приноровился и сталъ читать. Черезъ раскрытыя окна лился въ горницу нагрѣтый солнышкомъ воздухъ. Сквозь зеленые кустарники сверкала ярко поверхность рѣки Закупая, ребячьи крики неслись оттуда: голенькіе, веселые, бѣгали они по зеленому берегу, то катаясь въ цвѣтистой травѣ, то бултыхаясь въ теплую, сверкающую подъ солнцемъ воду и брызгая на всѣ стороны. Со всѣхъ сторонъ вѣяло тихой, здоровой жизнью. Но старый дьячокъ давно приглядѣлся къ этому, давно прочувствовалъ все. Да ему, впрочемъ, и приглядываться особенно не приходилось: онъ и родился тутъ и возросъ... и все рождалось и росло вкругъ него, одно старясь и разрушаясь, другое вновь пуская полные жизнью побѣги, таращась къ вѣчно яркому, вѣчно знойному солнцу.

Старикъ началъ чтеніе газеты съ самой толстой строки, которая гласила:

„Гласъ Вопіющаго“, а далѣе шло маленько потоньше, но тоже довольно толсто: „Газета политическая, литературно-художественная, экономическая, агрикультурная“...

Лукіянъ Лукичъ притомился такими заковыристыми для его положительнаго ума названіями и уже подумалъ положить листъ на лавку и пойти въ заднюю горенку улечься на перовикъ, но будто кто подтолкнулъ дьячка „еще чего-нибудь поискать на листѣ“, и онъ сталъ искать, а въ то же время кто-то тянулъ его въ заднюю горенку, на мягкій перовичокъ...

„Намъ пишутъ изъ Нижнеколымска,—читалъ старикъ,—что Норденшильдъ, не доѣхавъ до Берингова пролива, застрялъ во льдахъ, и экспедиція простоитъ среди нихъ, по всему вѣроятію, до половины іюля...“—Ого!—сказалъ самъ

себѣ Христоборцевъ:—какъ вретъ ловко, яблони цвѣтутъ по всей благословенной землѣ Господней, по всей землѣ знойное ведро стоитъ, а они про льды распечатываютъ!.. Вѣрно, гдѣ-нибудь колоколъ льютъ, вотъ и пущаютъ на народъ враки... А можетъ, и правда? Можетъ статься, и есть гдѣ-нибудь, только не въ нашемъ царствѣ? Слава Богу въ вышнихъ, что мы въ нашемъ царствѣ живемъ и ничего такого не знаемъ... У насъ—если ужъ зима, такъ зима,—носы рѣжетъ прочь, а подойдетъ весна—гуляй дѣвки, гуляй бабы, ребята босикомъ—въ распояску!.. Вишь, какъ горланятъ шельмецы на рѣкѣ.

„Въ Шанхаѣ слышалось землетрясеніе. Подземный ударъ шелъ отъ сѣверо-запада къ юго-востоку; сотрясеніе почвы всего замѣтнѣе ощущалось въ южной окраинѣ города, гдѣ многіе зданія оказались полуразрушенными. Съ людьми однако несчастій не было“.

Въ это время вернулась изъ сѣней Параскева Ивановна.

— Параскева Ивановна,—сказалъ Христоборцевъ, взволнованный такимъ небывалымъ событіемъ, которое почему-то не отнесъ къ литью колокола.—Параскева Ивановна, вотъ я тебѣ прочитаю маленько... Ишь—сбился!.. Фу, никакъ не найду того мѣста... Однимъ словомъ, Параскева Ивановна, печатаютъ на этомъ самомъ листѣ, что въ Шанхаѣ земля тряслась и вся тамошняя почва дрожала... Многіе домы размело по бревешку; но жителей сохранила Всепѣтая...

— Ври, старый!—обидѣлась дьячиха на такую рѣчь:—къ лицу ли тебѣ шутить негожія шутки? Ну, гдѣ слыхано, чтобы земля тряслась? Это будетъ только въ кончину вѣка!

— А я тебѣ, Параскева Ивановна, про что же и говорю: чѣмъ пахнетъ?

— Брось, отецъ Лукіянъ!..

— Да написано, матушка... Во...—И старикъ, отыскавъ спорное мѣсто, прочелъ его неторопливо, отчетливо, такъ, что и на Параскеву Ивановну подѣйствовало устрашающе.

— А вотъ еще, Параскева Ивановна,—продолжалъ, увле-

каясь чтеніемъ, старый дьячокъ:—„Намъ пишутъ изъ Лондона“...—Понимаешь: намъ!.. „Намъ пишутъ, что такое положеніе дѣлъ тянуться долго не можетъ...“—Вонъ оно что!..—сказалъ старикъ самъ себѣ, какъ бы предвкушая еще что-то страшное, небывалое... „Европа тяготится; кризисъ приближается...“

— Слышь, Параскева Ивановна,—обратился старикъ къ женѣ и принялся объяснять ей своими словами оттиснутое на листѣ.—Киргизъ приближается... Только ты не пужайся,—сюда онъ дойти не можетъ, не допустятъ наши... И Европа, слышь, тяготится... „Четыреста тысячъ франковъ, взятые...“ Тутъ были четыре нерусскихъ слова, Лукіянъ Лукичъ поглядѣлъ на нихъ внимательно сквозь очки, но разобрать не могъ, и потому сталъ читать дальше, и нечаянно перескочилъ строкъ черезъ семь... А тамъ было: „И быть-можетъ не далекъ тотъ моментъ, когда съ новой яростью загремятъ пушки, и снова море крови зальетъ востокъ...“

— Господи, сохрани-помилуй насъ грѣшныхъ!—сказала, всплеснувъ руками, Параскева Ивановна:—про какія страсти написано...

Но дьячокъ не слыхалъ словъ жены, онъ читалъ: „Развѣ только у кого носа нѣтъ, только тому и не примѣтенъ кровавый запахъ войны; только слѣпому не видно ея страшнаго призрака. А мы, стоящіе, такъ сказать, на горѣ...“

Тутъ шли опять „чужія слова“, но Лукіянъ Лукичъ и не примѣтилъ ихъ и, откинувъ газету, весь охваченный небывалымъ волненіемъ, снова сталъ объяснять прочитанное Параскевѣ Ивановнѣ „своими словами“:

— Слышь, Параскева Ивановна: съ горы уже видно!.. Войной вездѣ пахнетъ... И война ужъ идетъ; посуди сама: четыреста тысячъ французовъ взяты... Въ полонъ, значитъ, взяты?.. А только кто бы ихъ могъ эстолько заграбастать? Англичанинъ, пожалуй... Однимъ словомъ, война началась, какъ и всегда, изъ-за окаянныхъ французовъ! А потомъ и до насъ дойдутъ; и замѣшана въ этомъ дѣлѣ Америка...

Охота ей старый Іерусалимъ отбить. Но только ее до Іерусалима Всепѣтая не допуститъ. Не даромъ, значитъ, Параскева Ивановна, земля-то тряслась,—оно и выходитъ на эту точку. Ну, а только ты, сударынька моя, шибко не убивайся; держава наша крѣпка, и до нашего села не дойдутъ супостаты.

— Отецъ Лукіянъ, да перестань ты ради Всепѣтой Матери, образумься!..

— Написано, матушка!

— На-пи-са-но!.. А дай-ко я у тебя спрошу: кто писалъ?—воскликнула Параскева Ивановна, осѣненная какой-то свѣтлой догадкой:—развѣ святые отцы писали? Можетъ, это такой мошенникъ писалъ, что и въ аду ему мѣста мало... Гдѣ ты такія бумаги взялъ... а? Сказывай, гдѣ взялъ бумаги?..

— Да что ты, матушка,—въ свой чередъ воскликнулъ дьячокъ:—да этой самой бумаги у Артамона Сысоича цѣлая гора лежитъ на прилавкѣ!

— Сожги въ пе-ечкѣ-ѣ!..—сказала таинственно Параскева Ивановна:—нехорошіе это листы... Можетъ, за эти листы вотъ какъ!..—тутъ она большимъ пальцемъ лѣвой руки сдѣлала такое движеніе, будто ковырнула что,—не довѣряйся ты Христа ради Артамону-харчевнику, вѣдь не даромъ же у него рыжая борода растетъ, какъ у Іуды-предателя, и тебя онъ предастъ безпремѣнно... Дай-ко поскорѣй сюда эту погань—я суну въ печь ее.

— Что ты, что ты съ ума, знать, спятила, Параскева Ивановна!—крикнулъ въ недоумѣніи старый дьячокъ и всей грудью навалился на оконникъ, гдѣ лежали непрочитанные листы...—Жечь такія бумаги,—цыцъ!.. Не смѣй, Параскева Ивановна,—разобижусь!..

Когда старикъ успокоился, то прибралъ бумаги къ себѣ поближе и рѣшилъ читать „самъ себѣ“, чтобы не возбуждать Параскеву Ивановну. Да и не по уму ей, видимо, были всѣ эти вѣсти. А бумага не виновата...

„Убійства и грабежи въ нашей мѣстности—явленія давно знакомыя,—читалъ еще дальше старый дьячокъ:—они пря-

мыя слѣдствія бѣдности и огрубѣлости населенія; но надняхъ въ деревнѣ Мошки имѣло мѣсто такое событіе, которое ужаснуло и сосуна-младенца, и согбеннаго старца. Въ деревнѣ Мошки крестьянинъ Ефимъ Епифановъ былъ сожженъ въ рижной печкѣ своими собственными сыновьями. Злодѣи арестованы и содержатся подъ карауломъ. Дознаніе производится".

Сѣдые волосы старика шевельнулись на головѣ, руки дрожали, газета скользнула изъ нихъ и скатертью раскинулась по полу. Лукіянъ Лукичъ искоса поглядѣлъ на Параскеву Ивановну, и не зналъ, что начать. Или передать Параскевѣ Ивановнѣ и это событіе, или и въ самомъ дѣлѣ скомкать распечатанные листы, да и въ печку? Но искушеніе было такъ сильно, что старикъ, прищемивъ въ душѣ страхи, оставилъ въ покоѣ Параскеву Ивановну и рѣшился во что ни стало „прочитать все, а потомъ ужъ и въ печку".

Поднялъ дьячокъ упавшую на полъ газету, поправилъ очки на носу и снова упорно уставилъ глаза на ряды мелкихъ строчекъ. Читаетъ, а вкравшаяся дума пугливо ходитъ гдѣ-то въ головномъ закоулкѣ: пятьдесятъ первый годъ состою я въ Закупай-погостѣ на служеніи Всепѣтой Матери, на свѣтѣ живу по шестьдесятъ четвертому и никогда не держалъ въ рукахъ такой бумаги диковинной. А ну-ко и правда: бумажка не изъ хорошихъ? Ну-ко—вѣрно Параскева Ивановна обсуждаетъ: налетитъ кто и поволокетъ меня за эти бумажки по шестьдесятъ пятому?..

— Ишь, выдумали!..—разсуждала въ свой чередъ Параскева Ивановна, полоща въ корыткѣ бумажный чепецъ:— войной пахнетъ, земля тряслась! Да что, послѣднія времена теперь, что ли?—Старуха глянула сквозь раскрытыя окна на ясный день, на золотыя церковныя главы, на садъ дьякона, на чугунникъ отца Еремѣя, и того хуже ей стало на сердцѣ... Померещилось: а вдругъ и правда—останніе дни доживаютъ они въ Закупаевѣ? Хватитъ жаромъ—опадутъ и листья, и цвѣты съ яблоней, и начнется преставленіе свѣта.

Чугунникъ вмѣстѣ съ трубою и домомъ отца Еремѣя и самъ отецъ Еремѣй полетятъ въ преисподнюю... Качнутся золотыя церковныя главы и падутъ къ Закупай-рѣкѣ; забурлитъ-закипитъ въ зеленыхъ берегахъ Закупай-рѣка, солнце померкнетъ, мѣсяцъ власяницей подернется; небеса растрескнутся и ихъ стеклистый голубой колпакъ звеньями посыплется на землю, зашибетъ до смерти и Лукіяна Лукича, и все—Параскеву Ивановну?.. Принесенная изъ харчевни сопонина, запасы яичекъ, творогу, масла, боровокъ въ закутѣ, коровушка, всѣ угодья и обиходы погорятъ въ огнѣ-пламѣ... И поведутъ рогатые на чугунныхъ цѣпяхъ душу раба Лукіяна и рабы Параскевы и скажутъ: „А вотъ мы сейчасъ усадимъ васъ въ озеро огненное!..“ Чтобы отогнать прочь нехорошія думы, успокоить себя, старушка сотворила молитву и заговорила вслухъ:

— Да и какимъ манеромъ станетъ земля трястись!.. Земля-то на чемъ установлена?—Но вопросъ выросъ и выскочилъ наружу изъ головы Параскевы Ивановны такъ неожиданно, что старуха, задавъ его, раскрыла ротъ и въ изумленіи оглянулась на безмолвно впившагося въ печатный листъ мужа. Но тотъ увлекся неслыханными новостями, читалъ и забылъ про Параскеву Ивановну.

А старую дьячиху какъ назло пуще приспичивало: „А и впрямь—на чемъ земля установлена? Вонъ всѣ мужицкія постройки: избы, гумна, амбары,—всѣ стоятъ по тому берегу рѣки Закупая, на землѣ; сама Закупай-рѣка течетъ по землѣ. Церковь святая, садъ отца дьякона, чугунникъ отца Еремѣя,—все на землѣ прилажено, а земля на чемъ?“

Семьдесятъ лѣтъ жила на свѣтѣ Параскева Ивановна, многое видѣла, многое разрѣшила-распутала, и хоть иной разъ не легко приходилось, да все же сходились концы съ концами, а тутъ и концовъ не найти!..

— Отецъ Лукіянъ,—сказала въ изнеможеніи мыслей Параскева Ивановна,—да на чемъ, родной, земля держится?

Христоборцевъ пріостановилъ чтеніе и поглядѣлъ на жену удивленно.

— Скажи ты мнѣ, отецъ, ради Всепѣтой Матери, на чемъ земля установлена?—повторила жгучій вопросъ Параскева Ивановна. Дьячокъ еще помолчалъ и сказалъ женѣ:

— На Божьемъ словѣ, Параскева Ивановна, вотъ на чемъ... Божье слово ее, матушку, подпираетъ съ обѣихъ сторонъ, она и стоитъ недвижимо... А коли хочешь знать все досконально: на водѣ виситъ!.. Да и на что, Параскева Ивановна, понадобилось тебѣ разузнать про дѣла Господни?

— Да что ты, отецъ!—сказала дьячиха,—аль опять зашутилъ негожія шутки?

— Какія шутки нашла, Параскева Ивановна!—остановилъ ее дьячокъ строго.—Ежели я съ тобой въ сурьезъ говорю, значитъ, вѣрно. Развѣ ты не слыхала, что поется въ благомъ домѣ Всепѣтой Матери. А тамъ поется: „Те-бѣ-ѣ на водахъ по-о-овѣ-сившему всю землю неудержимо". Вотъ, значитъ, и держится вода на землѣ, то бишь земля на водѣ...

Но сомнѣніе—страшный червь, и разъ оно забралось куда, никакимъ резономъ его сразу не выживешь. Отъ такого отвѣта въ головѣ Параскевы Ивановны стало еще туманнѣе. Она сознавала, что все возможно для чудодѣйной руки Вседержителя, но повѣсить что-нибудь на водахъ казалось старухѣ и для Бога дѣломъ нестаточнымъ. Она уперлась умственнымъ лбомъ въ умственную непробойную стѣну.

Лукіянъ Лукичъ еще пытался чего-то добавить къ своему объясненію, чтобы окончательно доказать Параскевѣ Ивановнѣ. Но всѣ его добавленія выходили гораздо слабѣе перваго довода; кромѣ того, въ головѣ дьячка такіе ходуны разгуливали, что онъ, всегда резонный и обстоятельный, замѣшался... Болѣе десятка разнородныхъ впечатлѣній, воспринятыхъ изъ распечатаннаго листа, смѣшанныя въ одну кучу, сильно подѣйствовали на мягкое сердце, старикъ такъ возбудился, настроился въ такіе лады, какихъ и не предполагалъ въ себѣ.

Параскева Ивановна, зашибленная подъ корень ума своего, вышла изъ горенки на крылечко, оперлась на перила его и стала глядѣть, какъ казалось ея разстроеннымъ ду-

амъ, „въ послѣдніе часы“ на родное окрестное. Передъ ысленными глазами дьячихи зашевелилась вся ея долгая изнь, а наверху всего—судъ Господень... съ боковъ—война, оровая язва, землетрясенія, а снизу—адъ пламенный, огонь ѣрный. А кругомъ все такъ было полно радостной жизни, се цвѣло, ликовало,—такъ было хорошо, пріятно кругомъ, акъ во всю долгую жизнь, кажется, ни разу и не было!.. І постройки клира; и Закупай-рѣка, Закупаево, златоглаая церковь, все будто живое, купалось въ теплыхъ лучахъ еплаго заполуденья, а надъ всѣмъ этимъ словно чаша сияя опрокинулась, краями въ землю уставилась!..

Старушкѣ припомнились слова мужа, что, „пожалуй, на грашномъ судѣ Господнемъ большого худа не сдѣлаютъ й, не обидятъ...“ И въ то же время страхи забирали пуще... Первое дѣло—пропадутъ ни за что всѣ ея хозяйскіе заговки и обиходы, съ которыми вся душа ея была перемѣлана, и если бы второпяхъ пришлось разыскивать что, то е сразу бы можно было отличить душу Параскевы Ивановны отъ сметаны, отъ полусотни запасныхъ яицъ, отъ ирнаго борова, который денно и нощно сидѣлъ въ полуемной закутѣ...

По заведенной привычкѣ Параскева Ивановна засыпала немъ на часокъ, но тутъ и сонъ не шелъ къ ней,—она ыбыла о снѣ, смутно чуя, что гдѣ-то обозначилась прорва ней, что, несмотря на опыты своей жизни, на жизнь клиошанъ, закупаевцевъ, устоевцевъ, еще есть что-то такое, которомъ ни разу не думалось...

„Правительство наше“, читалъ Христоборцевъ на самой рединѣ листа, но тутъ взоръ его сразу опустился внизъ рокъ на пятнадцать и остановился на особенно четкой и рупной строкѣ: „Ясные дни или жизнь въ родимомъ Устоѣ“. „Повѣсть“.

Лукіянъ Лукичъ кашлянулъ, подвигался на широкой лавкѣ, ачительно поглядѣлъ въ ту сторону, гдѣ предполагалось видѣть Параскеву Ивановну, но въ это время Параскева вановна стояла на фигурномъ крылечкѣ и, смущенная ду-

хомъ, глядѣла куда-то въ свѣтлую даль, въ сторону темно зеленаго бора, гдѣ было кладбище.

Старикъ проникновенно углубился въ слѣдующія за за головкомъ строчки и какъ бы окаменѣлъ надъ ними... По годя онъ не выдержалъ и сказалъ громкимъ голосомъ:

— Параскева Ивановна, гдѣ ты? Поди-ко, пріятельница сюда поскорѣе!..—Глаза старика свѣтились, весь онъ всѣм своимъ существомъ встрепенулся.

— Параскева Ивановна,—сказалъ дьячокъ, когда жена его вошла въ горницу,—теперь ты, сударынька моя, сядь на лавку и слушай въ оба!.. Теперь ужъ ты у меня не будеш браниться, теперь самое главное выискалъ... Такое мѣсто нашелъ—охнешь отъ удивленія!..

— Что, отецъ, какое такое мѣсто? Ужъ не опять ли не гожія шутки про страсти, тогда и не начинай!.. Ужъ и без того натерпѣлась я за этотъ часъ, какъ во всю мою жизн не терпѣла... Да и впередъ потерпѣть мнѣ достанется.

— Не мели глупыхъ словъ, а слушай, да не лови мух ушами. Сейчасъ сама все увидишь...

Параскева Ивановна, хоть и былъ замѣтенъ въ глазах ся червь сомнѣнія, присѣла на лавку и наставила чутко ухо въ сторону къ распечатанному листу...

— Про нашъ городъ, про Устоевъ написано!—сказал Христоборцевъ.—Старикъ и старуха поглядѣли удивленно въ глаза другъ другу:—про Устоевъ!.. Да чего въ немъ та кого диковиннаго. Кому пришло въ голову распечатать на листѣ про Устоевъ, коли и безъ того всѣ знаютъ его и поперекъ, и вдоль, и кругомъ? Улица на серединѣ, улиц по бокамъ: двѣ церкви стоятъ, стоятъ дома разные, а в домахъ — трактиры, кабаки, винныя лавочки, лабазы хлѣб ные, бараночныя, да острогъ стоитъ одиноко и мрачно на устоевскомъ выгонѣ, а въ острогѣ сидитъ какой-то озорной мужичонко, который на волѣ никакъ не могъ отличить чу жое отъ своего, а свое отъ чужого,—вотъ и достукался.. Вотъ и Устоевъ весь, и вся жизнь его будто на скатерти

Но такъ выходило только спервоначала, сверху... А стоил

кунуться вглубь на аршинъ, и все давно знакомое мѣняло вою окраску, ьыглядѣло по-новому. И ужъ какія тамъ чудеса и будь на свѣтѣ, какъ ни знай ихъ насквозь и снаружи, и того любопытнѣе, когда на все это давно знакомое— адоѣвшее, натолкнешься въ писаніи,—задаромъ насмѣешься о слезъ...

Еще не успѣлъ Христоборцевъ прочитать сотни строкъ, акъ Устоевъ выросъ передъ нимъ во что-то невырастае-ое... Невидимая чудовищная охапка охватила разомъ чи-ателя и его слушательницу...

„Мы жили тогда на самомъ краю городка Устоева, близъ еркви Воздвиженія“.—Это, знаешь, Параскева Ивановна, ъ той сторонѣ...—сказалъ дьячокъ, указывая перстомъ уда-то влѣво,—у базара, гдѣ покойный кумъ, Макаръ Сте-анычъ, проживалъ въ свое время... Я въ церкви-то Воз-виженія креста Господня, можетъ, разъ девяносто былъ...

— Да и я бывала, отецъ; и мнѣ все знакомо. А ты читай лубже...

„Мнѣ было тогда семнадцать лѣтъ; изъ трехъ сестеръ я ыла средней. Батюшка жилъ небогато, такъ какъ зани-алъ очень скромную должность въ уѣздномъ судѣ, да къ ому же любилъ и рюмочку. На видъ онъ былъ словно и угрюмый и неласковый; но кто зналъ его близко, тотъ идѣлъ въ немъ доброе сердце, замытаренную жизнью душу... вали его Макаръ Степанычъ“.

— Параскева Ивановна,—воскликнулъ опѣшившій Хри-тоборцевъ,—вѣдь мы съ тобой сегодня совсѣмъ въ чуде-ахъ состоимъ,—вѣдь сказъ-то идетъ про Макара Степа-ыча Вохрина!

Старушка глядѣла вопросительно на мужа и казалась не еньше его опѣшившей.

— Вѣдь мы у Макара-то Степаныча дѣвочку Маняшку рестили: ты была кумой, а я кумомъ!..

— Помню, помню, отецъ... Крестили. Точно: три дѣвочки ыли у кумы Селестиньи: Маняшка, Наталья... а вотъ третью озабыла, какъ звали... Да, третью дѣвочку Анной звали!

Теперь я вспомянула все. А сперва-то я совсѣмъ про другого Макара подумала...

— Съ крючка соскочило, Параскева Ивановна... Немудрено—времена стародавнія, все затуманилось...

— Правда твоя, отецъ. А теперь я, какъ на живыхъ, гляжу и кума Макара вижу, и куму Селестинью. А вѣдь сколько годовъ и въ голову не приходило? И кому бы списать про это? Ужъ не самъ ли владыка взялся да и распечаталъ про куму Селестинью?..

— Пожалуй, не безъ него обошлось... Налѣпить этакъ складно—башку имѣть надо... А только какъ онъ разнюхалъ про кума Макарыча?.. Ахъ, Макаръ Степанычъ, кумъ возлюбленный, про тебя сказъ идетъ,—вотъ ужъ точно: дивныя дѣла бываютъ на свѣтѣ! Вотъ, Параскева Ивановна, какихъ я бумагъ заграбасталъ себѣ... А еще ты меня не хвалила?.. Теперь вѣдь на томъ мѣстѣ, гдѣ кумъ-то Макаръ съ ребятишками проживалъ...

— А ты читай, отецъ,—перебила дьячиха,—тутъ вѣрно списано все досконально.

„Привольно текла наша жизнь,—читалъ старикъ,—ни думъ особенныхъ въ головѣ, ни заботъ въ груди"...—Какъ и у насъ съ Параскевой Ивановной,—подумалъ дьячокъ:—и мы тоже—безъ думъ, безъ заботы, слава Всепѣтой и Преблагословенной! „Холостежи завидной не было кругомъ насъ, а потому замужество мнѣ казалось чѣмъ-то далекимъ, туманнымъ. Сердце спало, и грезились ему сны золотые. Я не была красавица, но и изъ десятка меня грѣхъ было выкинуть. Въ моемъ характерѣ звучала, кромѣ того, какая-то особенная струна, въ самой во мнѣ было что-то особенное... Я часто покидала сестеръ и подругъ и гдѣ-нибудь въ сторонкѣ отъ нихъ просиживала подолгу счастливая, одинокая, въ неясныхъ сладкихъ мечтаніяхъ... О чемъ я мечтала? Трудно припомнить теперь давно минувшее, но думается, что это были цвѣты моего только-что слагавшагося ума, розовые туманы яснаго дѣвичьяго утра, въ которыхъ видны лишь смутныя тѣни, смутные, но дивные призраки".—Какъ

ловко написано, Параскева Ивановна,—сказалъ дьячокъ,— и не понять даже толкомъ, а за сердце такъ и грабастаетъ!..

— Читай, читай...

„Извнѣ, однако, кажется, нечему было запасть въ мою душу, а если западало что, то невпримѣтъ для меня. Быть-можетъ, Жуковскій былъ моимъ незримымъ руководителемъ, такъ какъ сочиненія его были у насъ, хоть не знаю, какъ онѣ попали въ нашъ домъ, потому что самъ батюшка книгъ никогда не читалъ и книжныхъ людей не жаловалъ; да на его счастье ихъ и не было вблизи насъ, хоть не рѣдкость, что попадались грамотные. Читая Жуковскаго, я хоть и не все понимала въ немъ, но все же передо мною раскрывался слегка иной міръ, совсѣмъ особенный отъ нашего устоевскаго. И стала рваться душа моя куда-то въ невѣдомое, въ неразгаданное... А тамъ... въ губернской газетѣ „Знакомая Грохотня“ появилось на свѣтъ Божій мое первое стихотвореніе. То-то было радостей у меня! Подруги не то, чтобы стали завидовать мнѣ, а какъ-то такъ вышло, что я и сама не понимала того... Батюшка называлъ меня въ шутку „стихоплетницей и мудренкой“, а когда не въ себѣ состоялъ, хмурилъ бровь и, косясь на меня, приговаривалъ: „Ишь выдумщица... не люблю!..“ И мнѣ отъ чего-то тѣсно стало среди родного простора, хотѣлось полетѣть далеко...

— Какъ будто туману много, Параскева Ивановна? — спросилъ дьячокъ у жены. — Слышь, летѣть собирается, а какъ человѣку летѣть, ежели и воскрылій ему не дала Всепѣтая Матерь?

— Читай, читай,—сказала старуха,—близъ конца все увидимъ...

„Тутъ наѣхалъ изъ губерніи молодой чиновникъ, Петръ Яковлевичъ Пороховъ. А скорѣй всего это и былъ самъ огонь — порохъ... Съ перваго раза при встрѣчѣ съ нимъ сердце мое встрепенулось, — я сердцемъ поняла, что не сдобровать мнѣ красной дѣвицѣ, не писать стиховъ-грезъ въ „Знакомую Грохотню“, не носить въ косѣ алыхъ лентъ. Такъ и случилось, какъ чувствовалось. Петръ Яковлевичъ

посватался за меня; а мѣсяца три спустя такой былъ пиръ на Устоевѣ, какихъ, вѣроятно, и не было послѣ... Можетъ статься, и теперь еще есть люди на мѣстѣ моей родины, которые помнятъ нашу веселую свадьбу.

— Хе-хе-хе!—смѣялся дьячокъ:—какъ не быть такимъ людямъ на землѣ, — есть! Вотъ я да Параскева Ивановна, значитъ, сразу два! Такая свадьба была, на всю епархію.

— Тридцать годовъ съ загибенькой миновало тому,—заговорила Параскева Ивановна, упершись въ колѣни руками, и лицо ея превратилось въ широкую ласковую усмѣшку.— И какъ все явственно представляется!.. Какъ подвыпили вы тогда съ кумомъ Макаромъ Степанычемъ, — и давай превозноситься собой... Покойникъ теперь, помяни его Богъ, все доказывалъ, что и безъ вины сможетъ сдѣлать тебя два раза виноватаго. Что и подъ судъ можетъ, и подъ спудъ можетъ; потому всѣ законы были ему нараспашку открыты. А ты про филистимлянъ да про халдеевъ ему, про потопъ, про небесное... И такъ ты допекъ его небеснымъ тогда, что онъ, помяни его Богъ, по носу тебя чикъ! перстомъ... И поднялись вы тутъ на дыбы, — то-то страхъ обуялъ женскій полъ... Онъ кричитъ на тебя: кутейникъ, ты аминь проглотилъ! Ты — аллилуя! А ты ему: еретикъ, крючкотворецъ!.. Едва утишили васъ... А музыка была: и на скрипкѣ и на гитарѣ, со свирѣлью и съ кренделемъ... А ну-ко, еще что идетъ?..

И что дальше читалъ Христоборцевъ, все становилось лучше, понятнѣе. Изъ разсказа старики видѣли, что не владыка, а словно бы его родная крестница Маняшка „распечатываетъ про себя“ да словно бы и еще кто иной — про иное... Но имъ хотѣлось вѣрить, что сказъ идетъ „про Макара Степаныча“, и они вѣрили глубоко... Параскева Ивановна сидѣла недвижно, глаза ея были устремлены на распечатанный листъ, видѣли на немъ живыхъ когда-то и милыхъ друзей, любовались ими какъ наяву, а умъ — мысли передвигались по столбовой дорогѣ въ Москву, куда выбрались изъ Устоева полные надеждъ, полные силъ моло-

дые Пороховы. Вотъ уже и сынокъ у нихъ — Ѳома Петровичъ, да такой хорошій, такой пискунище!..

И весело старой четѣ: имъ будто слышенъ гулкій пискъ Ѳомы Петровича, будто они видятъ, барахтается онъ на мягкой чистой постели, кряхтитъ и нѣжится. А кругомъ Ѳомы: и свѣтъ, и тепло, сыто...

— Какъ и у насъ съ тобой, Параскева Ивановна, — пріостановивъ чтеніе, сказалъ Христоборцевъ: — али и мы съ тобою въ потемкахъ сидимъ? али озябши? али не поѣвши досыта?

— Да гдѣ же намъ въ потемкахъ али озябши сидѣть!..— подивилась старушка, не понявъ тонкой рѣчи:—вѣдь лѣто?

— А я, Параскева Ивановна, къ тому и клоню, — пояснилъ Христоборцевъ, — что и зимою у насъ съ тобой — лѣто!

— Да, если такъ перевернуть, — твоя правда, отецъ Лукіянъ...

Чтеніе продолжалось. Вотъ захворалъ Петръ Яковлевичъ: не спитъ, кашляетъ напролетъ долгія зимнія ночи. Заробѣла молодая жена, съ ногъ сбилась, по докторамъ бѣгавши; а Петръ Яковлевичъ пуще кашляетъ да не спитъ, и все къ ней подбирается съ ядовитымъ—обиднымъ словомъ: и то худо, и это не лучше!.. Полюбовныя—пріятныя рѣчи, веселыя пѣсни смѣнились тяжелыми вздохами, сдавленными рыданіями... Изъ золотого-добраго человѣка болѣзнь сдѣлала наказаніе окружающимъ.

И жутко сердобольной дьячихѣ, жутко дьячку: только-что наладилась жизнь, только-что устроилось все по-хорошему, чтобы ѣсть, пить, хвалить на молитвѣ Всепѣтую Матерь и ни о чемъ не думать... Да въ этакой жизни сто годовъ надо жить!

Но смерть не глядитъ ни на что... На глазахъ взволнованныхъ стариковъ умеръ Петръ Яковлевичъ. Видѣли они оба, какъ молодая вдова его сряжала его въ послѣдній разъ въ бѣлый саванъ, обливаясь слезами, въ послѣдній разъ провожала на Ваганьково кладбище... Кончились золотые

сны молодости, оборвались радости, а жизнь осталась... Что скажетъ она, чѣмъ объявится она впереди?..

Не выдержалъ старый дьячокъ, закряхтѣлъ, заерзалъ по липовой лавкѣ, вѣки его замигались, слезы потекли изъ глазъ. Параскева Ивановна закрыла руками лицо и задудѣла, какъ въ дудку... Старцы и сами не могли понять, чѣмъ ихъ такъ сладко разжалобило, развеpетенило... Ужъ то ли имъ не удалось наглядѣться, какъ умираютъ закупаевскіе міряне, какъ укладываютъ ихъ въ бору и близъ дома Всепѣтой Матери; ужъ то ли не наслушались, какъ голосятъ бабы, какъ плачутъ сироты. Всего повидали-послыхали они, гдѣ понемногу, гдѣ помаленьку, да все больше сверху, обрывками... А тутъ — огромное звено человѣческой жизни выдвинулось передъ ними во всѣхъ своихъ ясныхъ радостяхъ, во всемъ горькомъ-горѣ... и „заграбастало за нутро“.

Недѣли, годы прошли передъ старцами, какъ мгновенія, лишь старый дьячокъ вмѣсто перваго листа читалъ третій. Новое лицо выросло въ описаніи: „Квартирная хозяйка“ Анна Егоровна Ягодкина; лицо натурально московское, хорошо знакомое всѣмъ жителямъ душныхъ каморокъ и закаморниковъ. Широка она, грозна она въ мрачномъ, сыромъ подвалѣ, въ своей „кровной родной кватерѣ“,— ложится съ молитвами и съ загинками, встаетъ съ одра съ крестами, съ пѣтухами, и опять съ загинками на всѣхъ неплательщиковъ; гремитъ ухватами, сковородникомъ... А пуще всего добирается она до „чиновницы съ выпороткомъ“, „страмитъ“ ихъ, что и за квартиру они не платятъ и что голые они, и голодные, и убогіе, что вотъ возьметъ она сію же минуту, въ глухую ночь, выгонитъ ихъ обоихъ на улицу, и ни городовому, ни Богу отвѣта не дастъ за то... Она выше ихъ,—и сыта и за квартиру у ней впередъ уплачено дворнику.

Видятъ старики за зыбучей перегородкой своихъ прежнихъ милыхъ знакомцевъ.. Не сто лѣтъ прошло, а какъ все измѣнилось — испортилось!.. Какъ жестоко измяла Мо-

сква веселую Маняшку Вохрину-Порохову; теперь и у ней въ груди ломитъ, „какъ у того, бывало...“ И Ѳома Петровичъ уже не рѣзвится на чистой постелькѣ, и онъ чахнетъ, какъ чахнетъ въ осеннюю непогоду цвѣтъ сельный.

Страшна, грозна Анна Егоровна, пожалуй, другой этакой по всей златоглавой Москвѣ не выищешь, во всей подземельной не выкопаешь? И видится старой четѣ лицо Анны Ягодкиной: съ козлиной бородой, съ однимъ глазомъ,— бѣсовское; и что вся она изъ купороса-яда подѣлана, зубы волчьи, языкъ змѣиный, глаза лягушечьи,—чего и въ распечатанномъ листѣ не было... Но старики и тутъ не могли оторваться отъ „дивной исторіи“. Горѣло лицо у чтеца, горѣло у слушательницы,—въ нутрѣ ихъ обоихъ кипѣла лютая злоба къ Аннѣ Егоровнѣ, жалость „къ бѣдной вдовѣ Маняшѣ, къ горемышнику Ѳомушкѣ“.

Забыли старики все на свѣтѣ: и себя, и одворицу, всѣ угодья-удобства. Залетѣлъ съ просвирнинаго закоулка пѣтухъ на дьячкову одворицу, принялся бить на дому дьячковскаго пѣтуха... Но оба пѣтуха сошлись односильники, стали рѣзать другъ друга роговыми носами, драть шпорами; повыдергали другъ другу нарядныя перья, ощипали гребни, и до того умаялись, что полегли на кровавомъ побоищѣ, разинувъ клювы и вытаращивъ другъ на друга злые глаза. Мужикъ съ дѣвчонкой въ скрипучей телѣгѣ ѣхалъ мимо Всепѣтой, остановился, долго крестился и читалъ вслухъ молитвы и, намолившись, опять заскрипѣлъ-поѣхалъ. Старики и мужика не примѣтили. День подошелъ къ концу, и день былъ невпримѣту имъ. Солнце опустилось къ бору; пригнался съ поля пастухъ, а съ нимъ вмѣстѣ хлынули съ полей къ клиросу мягкія сумерки. Но тутъ и повѣсть „Ясные дни“ обрывалась... Но старцы и безъ того переполнились до самаго края... Имъ и не надо было конца,— все было видно для нихъ.

Лукіянъ Лукичъ былъ въ поту; отъ непривычки читать долго вслухъ и не такъ, какъ въ домѣ Всепѣтой, языкъ его примаялся—сталъ заплетаться, въ ушахъ гудѣло, въ головѣ

плюхало... Нехотя пошла Параскева Ивановна запереть корову во дворъ, чего съ нею во всю ея жизнь не бывало; взялась подоить ее и вмѣсто подойника сняла съ полки цвѣтную мису... Стала собирать ужинъ, поставила мису на шестокъ, выдвинула горшокъ изъ печки, взяла вмѣсто ополовничка сковородникъ и поддѣла имъ изъ горшка...

Тутъ ужъ и самъ Лукіянъ Лукичъ замѣтилъ ея промашку и сказалъ вразумительно:

— Гляди, Параскева Ивановна, что дѣлаешь, сковородникомъ наливаешь похлебку!..

Старушка опомнилась, сотворила молитву. И супруги, помолясь на кивотъ, молча поужинали; и улегшись послѣ сытнаго ужина въ задней горенкѣ, долго бесѣдовали... И не столько о прочитанномъ, а обо всемъ томъ, что было въ ихъ жизни. И все, что раньше невдомекъ, невпримѣтъ было, выросло въ стариковскихъ глазахъ въ высоту араратскую. Будто звѣрь дикій вырвался изъ-за желѣзныхъ затворовъ, накинулся на Христоборцевыхъ, истерзалъ сердца ихъ, никогда не болѣвшія.

— Я бы эту безбожную агарянку въ табакъ измололъ! — горячился старый дьячокъ, лежа близъ оконца на мягкомъ перовикѣ,—и не было бы мнѣ грѣха отъ Всепѣтой Матери за нее... Ей-ей, Параскева Ивановна, не было бы! Не смѣетъ она тиранить бѣдныхъ людей, за это ее накажетъ Всепѣтая,—вотъ подожди—накажетъ!..

— И-и, какіе звѣри есть на землѣ!—говорила Параскева Ивановна.—О-охъ, кровопивцы!.. И неужто, отецъ Лукіянъ, никогда они о трубномъ Господнемъ днѣ не подумаютъ? Ой, кабы я была набольшая на томъ свѣтѣ, припекла бы я ее мѣднымъ змѣемъ,— змѣю... обмазала бы кипящимъ жупеломъ!..— грозилась дьячиха, настроившись сама по-звѣриному, и примолкла, забылась сномъ.

Лукіянъ Лукичъ бодрствовалъ. Думы его изъ Москвы вернулись въ Устоевъ, заходили по городской улицѣ, пришли въ церковь Воздвиженья,— помолились, оттуда направились къ Макару Степанычу Вохрину, сѣли за столъ и

пошли ходить по хрустальнымъ рюмашечкамъ... Опять выбрались на дорогу къ Москвѣ, побывали въ Кремлѣ, поблудили по Яузѣ, и снова очутились въ квартирѣ у Анны Егоровны... И снова закипѣла злоба въ груди. Старикъ не выдержалъ, поднялся съ перовика и заходилъ въ кипучемъ волненіи по темной горницѣ, стуча о половицы крѣпкими пятками.

Днемъ Лукіяну Лукичу казалось, какъ оглушающе ошарашитъ онъ просвирню, Ануфріича и отца дьякона извѣстіями о плѣненіи франковъ, о близости войны и киргизѣ, о землетрясеніи, какъ главномъ предвѣстникѣ кончины міра, — и вдругъ все утонуло въ простомъ сказаніи, все поглотилось имъ; и самого Христоборцева ухватило горячимъ за сердце.

— Въ пыль должно истолочь, живота рѣшить!—говорилъ старикъ самъ себѣ и грозилъ въ темнотѣ кулакомъ.—Безбожница этакая, вѣдьма...—Старичку казалось, что всей виною бездольной жизни его любимыхъ знакомцевъ была Анна Ягодкина; ему и въ голову не приходило, что изъ мелкихъ песчинокъ было основаніе темнаго бора, поросшаго глухимъ лѣсомъ, который сквозь ночную фату мутно виднѣлся за ровнымъ полемъ.

— Что-й-то и мнѣ не спится, отецъ, — заговорила проснувшаяся дьячиха.

— Гдѣ тутъ заснешь, Параскева Ивановна, — согласился старикъ: — этакіе разбойники водятся на благословенной землѣ Господней! И чего она, матушка, не разверзнется, не поглотитъ ихъ разомъ, какъ поглотило Чермное море фараона съ его колесницами?.. Пойду-ка я, Параскева Ивановна, къ отцу дьякону, ему дамъ прочесть, пущай и онъ знаетъ горе людское...

— Да что ты, отецъ!—поперечила Параскева Ивановна:— опомнись, вѣдь теперь какъ разъ самая полуночная середина!..

— И то — середина!.. — спохватился дьячокъ и, немного успокоившись, остановился въ углу передъ образомъ.

Въ ночномъ полумракѣ слабо виднѣлся ликъ Богородицы,

но глаза этого лика казались отчетливо... и будто заглядывали въ душу дьячку. Что-то будто живое заходило внутри старика и будто смахивало маленько, что и онъ и Параскева Ивановна—родня Аннѣ Ягодкиной... Но все это проявилось и исчезло въ мгновеніе ока. Совсѣмъ они и близко не подходятъ къ этому московскому чудищу. Тутъ померещилось дьячку, что за кивотомъ что-то живое сидитъ... Страхъ обуялъ его.

— Владыко-Боже, — шепталъ дьячокъ: — отжени страхи, отжени навожденія; мятется духъ мой, хладѣетъ плоть моя... Помилуй и спаси мя грѣшнаго, помилуй рабу Параскеву. Воздаждь намъ, милости Твоея, очисти всяку скверну, всяку нечистоту, яже словомъ, яже дѣломъ, яже помышленіемъ нашимъ содѣяша!..

III.

Блеснуло изъ-за темно-зеленаго бора вешнее солнце, побѣжало золотыми лучами по закупаевскому погосту, ударило въ золоченыя главы. Старикъ опередилъ пробужденіемъ Параскеву Ивановну, умылся въ сѣняхъ, причесался, помолился образу, собралъ валявшіеся въ непорядкѣ листы и пошелъ по узкой росистой тропѣ, межъ репейниковъ и сирени, въ домъ дьякона.

Дьяконъ подивился раннему посѣтителю, но, развѣдавъ, въ чемъ дѣло, подивился и того болѣе, а погодя, сопутствуемый Христоборцевымъ и просвирней, направился къ чугуннику отца Еремѣя, держа въ рукѣ три газетныхъ листа. Старый дьячокъ чуть не въ мгновеніе ока сумѣлъ вложить въ душу только-что проснувшагося дьякона свои глубокія впечатлѣнія, заинтересовалъ, заразилъ его ими...

Главнѣе всего—Устоевъ! Вѣдь онъ тутъ подъ бокомъ, и развѣ только безногій не бывалъ на стогнахъ его, и все тамъ было тихо отъ самаго сотворенія града, а вотъ... Старый дьячокъ откопалъ нежданно такія диковины, отъ которыхъ того и жди—„задрожитъ почва“, заколеблются стогны Устоева!..

Ударили въ колоколъ. Среди тихаго утренняго раздолья гулъ колокола покатился кругомъ—на всѣ стороны... Отецъ дьяконъ остановился, остановились и его спутники, хоть не только чугунникъ отца Еремѣя былъ у нихъ совсѣмъ на глазахъ, а и весь домъ священника, окрашенный, съ росписными наличниками, съ бѣлыми рамами, и самъ Еремѣй, умытый, расчесанный, глядѣлся сквозь растворенное окно на ясное утро.

— Въ чемъ дѣло? въ чемъ дѣло?—спросилъ отецъ Еремѣй, завидя шагавшую къ его крылечку, но разомъ остановившуюся компанію.

— Послѣ!—сказалъ отецъ дьяконъ.—Ужо-ко, погодя, все разузнаете...

Христоборцевъ отобралъ газеты отъ дьякона. Компанія на время разсѣялась, чтобы собраться, какъ должно по закону и идти на служеніе Всепѣтой Матери.

Послѣ обѣдни и отдыха Лукіянъ Лукичъ поднялъ на ноги добрую половину закупаевскихъ клирошанъ. Просторная горница отца Еремѣя наполнилась любопытными слушателями. Отецъ Еремѣй взялся самъ прочитать дивную новость... Въ его чтеніи повѣсть оказалась и того болѣе хорошей и складной. Торжество Христоборцева было неописуемо. Грудной сиповатый голосъ отца Еремѣя слышался на всю горницу, каждое слово выходило будто чеканное. Картина развернулась широкая: то радость мелькала на ней, какъ огонь въ глухой ночной темени, то горе черной тучей распахивалось... Гдѣ-то, далеко-далеко, живые Божьи люди, незримо-неслышно для спокойныхъ—сытыхъ закупаевскихъ клирошанъ, ведутъ упорную битву съ чудовищемъ: грудь о грудь схватились съ жизнью они, въ кровь и истому, и не видятъ ни спокоя, ни жизни...

Читая, отецъ Еремѣй впередъ всѣхъ замѣтилъ, что старый дьячокъ увлекся и другихъ увлекъ за собою... Повѣсть была вовсе не объ устоевскихъ обывателяхъ, не объ Устоевѣ, а такъ—картина одна, гдѣ художникъ тронулъ живою кистью—и стало на Устоевъ похоже, и на Москву

похоже; еще тронулъ — все ожило, задвигалось, закипѣло!.. И мудрецу, и простецу неученому ясно стало, что картина родимая: и города, и люди—все знакомо на ней, все живое, все хватаетъ за сердце... А какіе города? Какія людямъ прозвища и фамиліи, да не все ли равно? Вѣдь ни именъ, ни прозваній сердцу не надо, сердцу только одно надо — душу живую.

Но поповскіе слушатели всѣ свои чувства упрямо перенесли на Устоевъ: такъ было и недалеко мыслями ходить, и понятнѣе...

На половинѣ повѣсти мать-попадья не выдержала, разрыдалась; за ней — Христоборцевъ, просвирня, Параскева Ивановна, звонарь Ануфріичъ,— и пошли всхлипыванія по свѣтлой горницѣ. Дьяконъ учащенно мигалъ правой бровью, что у него случалось только въ минуты сильныхъ душевныхъ бурь. Лишь отецъ Еремѣй превозмогъ слаботу души и, пріостановивъ чтеніе, повелъ очами кругомъ и молвилъ успокоительно:

— Друзья мои, похвальна мягкость вашихъ сердецъ, но все же не должно много предаваться слезамъ и унынію, ибо читаемое есть не что иное, какъ вымыселъ, хитросплетенное сказаніе о томъ, о семъ въ лицахъ...

— Хорошо тебѣ, отецъ Еремѣй, говоритъ: вымыселъ! — поперечилъ священнику хныкающій дьячокъ. — Ты ничего не слыхалъ и не видѣлъ, а я у Макара Степаныча и ребятокъ крестилъ и винцо пилъ... То-бишь, чай распивалъ съ нимъ вмѣстѣ и всю ихнюю радостную жизнь, какъ свои пять пальцевъ зналъ — вѣдалъ! Дѣвочки были бѣленькія, ласковыя; самъ кумъ Макаръ грудастый этакой былъ... Да что! этакой жизнью, какъ ихняя жизнь была, и не живалъ никто на Устоевѣ. Домъ былъ въ раскраску, какъ у тебя, одни оконца въ садъ выходили, а въ саду, вотъ какъ и у тебя, отецъ дьяконъ: полно и вишней, и яблоней. Другія оконцы въ степь выходили. А теперь тамъ липа одна стоитъ и ничего больше, а прежде кипѣло и пѣнилось,—Божьи люди жили и славили Всепѣтую Матерь. Я самъ, по-настоя-

щему, долженъ быть записанъ въ эту исторію, чтобы и обо мнѣ слава до конца вѣка шла... А ты говоришь: лукавое хитросплетеніе!

— Я не сказалъ: лукавое,—оправдывался отецъ Еремѣй, глядясь съ доброй усмѣшкой на взволнованнаго старика, и больше ничего прибавить не могъ, такъ какъ старый дьячокъ выходилъ правѣе его...

Отецъ Еремѣй и въ самомъ дѣлѣ ничего не зналъ про воображаемыхъ знакомцевъ, героевъ сказанія, и дьяконъ не зналъ,—они не были старожилами въ Закупаевѣ. Но и просвирня, и старый Ануфріичъ хорошо знали и помнили Вохрина, который и самъ часто наѣзжалъ въ Закупаево гостить къ куму своему Лукіяну и привозилъ съ собою букетъ сельныхъ цвѣтовъ—веселенькихъ, ласковыхъ дѣвочекъ. А теперь вонъ куда шибанула жизнь прежнихъ милыхъ знакомцевъ!

И вдругъ вѣсти пронеслись про срытую одворицу, про забытаго Вохрина, про рожденныхъ имъ и затерявшихся гдѣ-то въ незримой дали горюновъ! И вѣсти эти, какъ гулъ похоронный среди ночной темени, пронеслись по жилымъ мѣстамъ, ухватили живое, но дремавшее сердце...

IV.

Развѣдалъ дѣло и Артамонъ Сысоичъ, прибѣжалъ къ Христоборцеву, моля старца отдать „листочки“ обратно, такъ какъ де они „попались въ руки нечаянно и были припасены самому почитать“...

— Изъ уваженья, изъ уваженья, Артамонъ Сысоичъ, ты подарилъ мнѣ листочки!—говорилъ Христоборцевъ:—говядинку завернулъ, чтобы подрясникъ мнѣ не закапать... Да нигдѣ и положенья нѣтъ—подарки назадъ отымать!.. А читать, ты не ври... ты никогда и не ученъ къ этому!.. Вотъ я тебѣ самъ почитаю... Садись, коли хочешь, а я почитаю тебѣ.

Артамонъ Сысоичъ усѣлся слушать, — и еще не было

трети прочитано, какъ не выдержалъ, и, поднимаясь съ лавки, сказалъ, глядясь набожно на лики угодниковъ въ золоченомъ кивотѣ:

— Господи, какіе есть на землѣ безталанники!.. Какая сказка отмѣнная, съ хорошей книги, знать, списана?..

— Не изъ книги, Артамонъ Сысоичъ, изъ жизни! — перебилъ дьячокъ: — вотъ, примѣрно, изъ нашей съ тобой, — взято самое настоящее и показано: „вотъ молъ!..“ Ты садись, садись—слушай!

— А тоже коли и наше житье взять для близира, — говорилъ, не слушаясь дьячка, харчевникъ,—то и у насъ похоже на это... Всякій тебя норовитъ облапошить, не отдать—ежели въ долги отпустишь по добротѣ сердца. У меня одного вина за мужиками пропадаетъ побольше бочки, да соли сколько... Вина али чего другого занадобится, — не знаютъ, какъ и умазать тебя: и благодѣтель, и отецъ родной! А платить,— разбойникъ, говорятъ, грабитель... И все оттянуть норовятъ, да слава Господу Богу,—и я не дуракъ уродился... А какой я разбойникъ-грабитель? Я Господа Бога завсегда помню; лампадка у меня горитъ день и ночь; и кажинный разъ въ праздникъ посылаю я со своей дѣвкой три пятака на свѣчки... Свѣчу —Пречистому образу, свѣчу — Преблагословенной-Славной и свѣчу угоднику Артамону...

При этихъ словахъ Артамонъ Сысоичъ одѣлъ на голову синій картузъ и сталъ откланиваться. Торговому человѣку не къ лицу было засиживаться у чтенія.

— Ты куда такъ скоро? Ты бы послушалъ все хорошенько!..—говорилъ дьячокъ.

— Дѣло есть,—отвѣтилъ харчевникъ;—махина ходитъ.— И, любезно раскланившись съ Христоборцевымъ, торопливой походкой зашагалъ на село. Онъ успокоился, развѣдавъ, что „старичишкѣ попали листки пустяковые“, за которые „умный человѣкъ“ не дастъ и копейки.

— Жаль, крѣпко жаль!.. — говорилъ дьячокъ, провожая харчевника вооруженнымъ очками взоромъ.—Тебя бы, Артамонъ Сысоичъ, въ слезу вогнать надо, промягчить надо...

то ужъ очень корысть тебя обуяла, одеревенѣлъ ты серд-
емъ своимъ, и ангелъ Господень отлетѣлъ отъ тебя!.. — И
тъ же старому Лукіяну пришло на мысль: а его бѣлый
свѣтлый ангелъ гдѣ теперь? Рядомъ ли съ нимъ сидитъ
зримо, или витаетъ гдѣ въ иномъ мѣстѣ? Старикъ заду-
ался и долго сидѣлъ неподвижно. Передъ нимъ словно бы
мелькало что, будто кто безплотный помавалъ воскрилія-
и... но воскрилія были не бѣлыя, а сѣрыя, какъ у совы-
тицы...

Газеты были сложены въ трубочку и уложены бережно
. кивотъ. Да и куда въ другое мѣсто уложить столь жи-
ое и рѣдкостное сказаніе... Все было складно въ немъ,
ѣшно подчасъ, а въ общемъ оставило оно на душѣ Хри-
оборцева какія-то доселѣ незнаемыя имъ ощущенія, —
ень схожія съ тѣми, когда человѣка внезапно будятъ отъ
адкаго сна, и онъ не знаетъ, для чего будятъ его... И
ова онъ опускаетъ голову, закрываетъ глаза, но вдруго-
дь заснуть такъ пріятно не можетъ.

Но добрый старикъ попрежнему былъ спокоенъ и счаст-
ивъ... Все на видъ было по старому вкругъ него, то же
здолье-удобство, та же Параскева Ивановна шаркаетъ
рестовыми сапожками, передвигаясь по свѣтлой горницѣ;
листки газеты лежатъ спокойно за спиною кивота. И въ
же время будто не то кругомъ... будто кто незримый
зримымъ буравцемъ началъ сверлить извнѣ къ его сердцу:
здвинутся изъ незримой дали знакомцы убогіе, беззащит-
ые, заслышутся ядовитыя рѣчи Анны Егоровны, — и нѣтъ
покоя дьячку... Ходитъ онъ по просторной горницѣ, воро-
етъ въ старой головѣ такими думами, какихъ за шести-
есятилѣтнюю жизнь ни разу и не заходило туда.

И не вытерпѣлъ старый дьячокъ — рѣшилъ подѣлиться
летущими думами съ Параскевой Ивановной. А Параскева
вановна уже давненько приглядывалась исподтишка на его
по натурѣ нахмурившееся лицо... Всегда лицо это было
покойно и весело.

— А что, Параскева Ивановна, — заговорилъ съ напуск-

ною развязностью Христоборцевъ, и умильно поглядѣлъ н дьячиху:—кабы, напримѣръ, этихъ горюнковъ да къ нам бы? Вотъ бы славно было, Параскева Ивановна... А?.. Жил бы они у насъ въ задней горенкѣ, отогрѣлись бы сердцем отогрѣлись бы отъ нужды. Огородъ у насъ свой, коли умремъ—имъ бы въ наслѣдье остался!.. И жили бы они з нашей охраной, какъ у Всепѣтой за пазухой...

Параскева Ивановна сочувственно поглядѣла на старика усмѣхнулась ему привѣтно, но ничего не отвѣтила. Он смекнула юркимъ женскимъ умомъ, что не можетъ этог статься. Москва отъ нихъ далеко; да и какъ добыть из Москвы горюнковъ? Только на словахъ легко это. Одног сироту пригрѣй, другого пригрѣй, а третій разнюхаетъ — самъ придетъ обогрѣться,—а тамъ и конца имъ не будетъ! И самимъ ничего вволю не останется отъ хорошихъ уголі Да и живы ли горюнки? Ужъ не слопала ли ихъ давным давно городская нужда? Да если и живы, все же не они,— закупаевскіе клирошане,—помогутъ имъ, а иной кто-нибуд да неизмѣнная помощница, Всепѣтая Матерь...

— Слова нѣтъ, — говорилъ старикъ, шагая неспѣшно п горницѣ и не то обращаясь рѣчью къ Параскевѣ Ивановн не то самъ къ себѣ: — во всю жизнь вреда мы не сдѣлал никому, да ежели и добра посчитать...

Старику опять померещилось, что кто-то махнулъ пе редъ его глазами сѣрыми крыльями, какъ въ тотъ раз когда ушелъ отъ него Артамонъ Сысоичъ,—и опять заше велились въ головѣ старыя мысли: по какой тропѣ прибл жается онъ ко гробу?..

— Какое мы кому добро сдѣлали, Параскева Ивановна?- спросилъ дьячокъ, поглядѣвъ въ упоръ на жену.—Ѣли-пил въ молодости веселились—плясали и пѣли непотребныя пѣсн про любовь плоти къ плоти... и все!.. А это добро для себ только. Да и не добро это, а пагуба наша; за все за эт придется на отвѣтѣ стоять... Раздастся гласъ зычный... Во трубятъ архангели Божіи... „пробуждайся отъ могильнаг сна, родъ человѣческій,—судъ Господень приблизился!..“ І

очнутся мертвые во гробѣхъ, возстанутъ... Очнемся и мы съ тобой и возстанемъ. И поведутъ насъ съ тобой передъ очи Господни, къ вѣсамъ праведнымъ, и скажутъ намъ: „А ну-ко, старцы, кладите ваши добрыя дѣла на правую чашу, худыя дѣла—на лѣвую чашу“, и мы возвѣсимъ ихъ. А что мы, Параскева Ивановна, положимъ съ тобою на правую чашу?

И отъ такого вопроса дьячку стало хуже, не по себѣ, и чѣмъ онъ больше натуживалъ мозгъ,—становилось и хуже того... Все яснѣй, отчетливѣй выступало передъ нимъ, что, несмотря на его врожденную сердечную доброту, на пятидесятилѣтнюю безпорочную службу Всепѣтой Матери при ея златоглавомъ храмѣ, въ день трубный хвалы великой не воздадутъ ему. И отъ долгой безпорочной службы, и отъ добраго сердца,—все добро опять шло къ нему, и не шло оно въ другія мѣста, гдѣ стонъ стоитъ и слышится скрежетъ зубовный. Что ужъ онъ черезчуръ спокойно и правильно служилъ и изживалъ свою долю, обросъ сладкимъ пухомъ, вполнѣ насладился раздольемъ-угодьемъ, а гдѣ-то тамъ вдалекѣ, въ Москвѣ, два горюнка затерялись въ нуждѣ, живутъ... Грудь о грудь, въ кровь и истому бьются они съ чѣмъ-то безпощаднымъ-невидимымъ и не видятъ ни спокоя, ни жизни, ни просвѣта вдали...

Старый дьячокъ и такъ примѣрялъ мыслями, и этакъ... Выходило, что онъ въ этомъ дѣлѣ „непричастенъ ни сномъ, ни духомъ“, что онъ совсѣмъ въ сторонѣ стоитъ, свое дѣло правитъ. А незримый буравецъ такъ и претъ на него, такъ и сверлитъ ѣдкимъ, остренымъ носомъ его старое, но неотроганное бѣдами сердце. И стыдно и жутко стало этому сердцу!..

— Грѣховно живемъ мы, Параскева Ивановна!..—заключилъ старикъ свою рѣчь и сурово-непріязненно поглядѣлъ на жену. Въ головѣ его промелькнуло, что, сойдясь съ Параскевой Ивановной, онъ не по той дорогѣ пошелъ, безъ ней бы онъ по другой пошелъ и ужъ добрался бы — э, куда!..

— Грѣховно! — повторилъ дьячокъ. — Живемъ мы близ самаго дома Всепѣтой Матери, близъ свѣтлаго престола Е а душою мы далеко отъ Бога... Что Христосъ-Господь з повѣдалъ намъ? „Будьте милосерды, яко же милосерд Отецъ вашъ небесный“. А мы съ тобою, Параскева Ив новна, какъ мнѣ духъ говоритъ теперь,—самые безмил сердные на землѣ!..

— Да что ты, батюшка Лукіянъ Лукичъ!—сказала в изумленьи старуха:—такія рѣчи завелъ, будто молотком пристукиваешь?..

— А такъ надо, Параскева Ивановна. Сказано: „Не с бирайте себѣ сокровищъ земныхъ, ибо тля и ржа конец имъ; собирайте ваши сокровища на небеси, юже ни мол ни ржа не коснется вовѣки...“ А сколько у насъ, Пар скева Ивановна, въ кубышкѣ лежитъ?

— Да что ты, отецъ Лукіянъ, до кубышки сталъ доб раться!..—сказала всполохнувшись дьячиха.—Въ кубышкѣ насъ не ворованное. Всѣ такъ живутъ. Вонъ и у от дьякона есть прикоплено для чернаго дня, и у отца Еремѣ прикоплено, да, пожалуй, столько, что и въ кошель не скл дешь... Живой думаетъ про живое!

— Нѣтъ, ты скажи мнѣ, Параскева Ивановна, сколько насъ въ кубышкѣ?..

— Да ужъ коли тебя такъ разбередило, отецъ, трудово пожалуй, за тыщу въ кубышкѣ есть, пожалуй, и за двѣ..

Старцы молча, но выразительно уставились глазами друг въ друга, какъ бы спрашивая себя: а и зачѣмъ въ самом дѣлѣ у насъ эстолько въ кубышкѣ накладено? И старикам сдѣлалось отчего-то неловко, они невольно четыре своих пытливыхъ глаза развели въ стороны.

— Не копи сокровищъ земныхъ,—повторилъ Христобо цевъ:—тля и ржа конецъ имъ. Копи неистлѣвающія сокр вища, юже ни моль, ни ржа... А скажи мнѣ, Параскева Ив новна, гдѣ такія сокровища у насъ заготовлены?—И въ г лосѣ старика было что-то такое, чего дьячиха во всю сво жизнь не слыхала.

Но Параскева Ивановна не перечила мужу; и ей, всегда спокойной, веселой, неладно пришло; и она чувствовала гдѣ-то глубоко-глубоко всю шаткость, всю суету своей сытой жизни. Но все это представлялось старухѣ такъ туманно, неясно, что она не прохватилась насквозь новыми ощущеніями, а только заробѣла, затерялась мыслями. Снова ей припомнились могилы подъ церковью не какъ что-то постороннее, устроенное для другихъ, а наоборотъ—для ней... для одной ей!.. И что, когда она заляжетъ туда своимъ „набалованнымъ тѣломъ“, много останется людей на землѣ, и, можетъ статься, не всѣ вспомянутъ ее добрымъ словомъ... А безъ этого слова не улежать ей въ темной могилкѣ...

Лукіянъ Лукичъ молча и сосредоточенно шагнулъ къ вызолоченному кивоту, вынулъ изъ-за него въ толстыхъ доскахъ старое славянской печати Евангеліе и сталъ его перелистывать, отыскивая тѣ мѣста, гдѣ говорилось о нетлѣнныхъ сокровищахъ. Онъ бы и самъ не могъ объяснить, почему раскипѣлось въ немъ такое недружелюбное чувство къ своимъ тлѣннымъ сокровищамъ, которыя изъ года въ годъ такъ заботно-рачительно прикоплялись и укладывались подъ замокъ, въ кубышку...

„Лицемѣры, прочиталъ старикъ вслухъ, комара оцѣживаете, а верблюда поглощаете... Горе вамъ!“ И въ ту же минуту, обратясь къ Параскевѣ Ивановнѣ, добавилъ своими словами:

— Вѣдь уже если вѣрить Божію слову, то надо вѣрить всему безъ изъятія... а не тому только, что намъ любо да выгодно. Параскева Ивановна... пелена у меня ниспадаетъ съ очей! Вотъ книга святая, можетъ, не одну тыщу разъ она у меня въ рукахъ побывала, а первый разъ я проникаюсь до сердца... Слышь: гдѣ есть лучше сего: ко-ма-ра оцѣживаете, а верблюда поглощаете? А это и къ намъ идетъ; и мы съ тобой, можетъ статься, поглотили верблюда, а комара оцѣдили? Ты запомни главное, Параскева Ивановна, сказано: „Написанное пророками должно исполниться. Небо и земля пройдутъ мимо, а ни одна іота закона не пройдетъ мимо“. А уже если всему вѣрить, надо все и исполнить!..

— Такъ, такъ, отецъ, правда твоя!—говорила дьячиха, сочувственно покачивая головою въ тактъ его разговора и не зная, куда разговоръ этотъ клонитъ...

— А ты, сударынька моя, растопи печь пожарче и первымъ дѣломъ положи кубышку туда...—Лицо старика было блѣдно, голосъ дрожалъ, но глаза смотрѣли на старуху безповоротно рѣшительно.

Параскева Ивановна всплеснула руками, изумленно поглядѣла на мужа, но, увидя его лицо, его взглядъ, пуще прежняго заробѣла, измѣнилась въ лицѣ, вся встрепенулась пугливо, будто передъ нею темная бездна разверзнулась. Старуха догадалась, что въ ихъ тихой и мирной жизни поворотъ насталъ. Откуда онъ пришелъ, для чего? Не рехнулся ли отецъ Лукіянъ? И у старухи пуще защемило въ нутрѣ, того страшнѣй представилось настоящее. Но взглядъ старика былъ уже ясный, и лицо будто освѣщалось чѣмъ изъ нутра. Это ободрило старуху.

— Хоть ты зарѣжь меня, отецъ Лукіянъ,—сказала она рѣшительно,—а я не смогу этого... И не попущу, и не думай!.. Всю жизнь я слушалась твоего ума, а теперь вотъ не послушаюсь, хоть убей! Хоть нѣтъ у насъ съ тобою ни близкой родни, ни кровнаго племени, и самимъ намъ, можетъ статься, кубышки не надо, а не будетъ по-твоему!.. Вотъ съ окаянными листами до чего ты дошелъ у меня!.. Гово-ри-ла-а я: не вѣрь Артамону харчевнику, негожій онъ человѣкъ, а ты не повѣрилъ мнѣ, ему повѣ-ѣ-рилъ...

Старушка опустилась безпомощно на край лавки и такъ горько заплакала, что жалость забрала старика, глядя на ея гореванье.

— Да съ чего ты, сударынька моя, взяла, что я повѣрилъ Артамону Сысоичу?—оправдывался старикъ передъ своей многолѣтней и дружной сожительницей.—Я душѣ своей вѣрю... А она Божья, душа-то моя!.. Теперь и самъ вижу: многое лежало во мнѣ зарыто... А и позже всѣхъ пришедшій—не былъ отринутъ...

Но старуха не слышала оправданій, причитала, жалова-

лась на свою невеселую долю и до того дошла, что стала просить у Бога конца себѣ.

V.

Все затихло въ просторной горенкѣ. Параскева Ивановна ногодя часокъ „отошла чуть-чуть“: взялась опять за житейское, растопила печь и вдвинула въ нее горшокъ съ варевомъ. Лукіянъ Лукичъ не настаивалъ на своемъ, молчалъ кубышкѣ, сознавая, что маленько не туда хватилъ, что не въ этомъ спасеніе. И все опять стало, какъ было: тихо, покладно... Но это лишь такъ казалось. И время шло, и въ просторныхъ горенкахъ все осталось попрежнему—тепло и ютно; но тѣсно стало въ нихъ старику: будто и потолки ниже и стѣны уже. Лукіянъ Лукичъ норовилъ выбраться изъ нихъ куда-нибудь на просторы, гдѣ не такъ шибко напирало ему изъ нутра;—къ рѣкѣ, къ высокому темному бору. То выйдетъ на огородъ поливать капустку да рѣпку, то прежде дѣлалъ лишь въ случаяхъ совсѣмъ исключительныхъ, за недосугомъ да за недугомъ Параскевы Ивановны. Носитъ хрустальную прозрачную воду изъ Закупая, оливаетъ ею съ лохматаго вѣника на высокія гряды, а на ривѣтномъ добромъ лицѣ словно туманъ лежитъ... Туманъ ерешелъ и на Параскеву Ивановну, но съ другой стороны—верху, а у старика онъ выступалъ изъ раскрывшейся нуряной глубины.

Ужели и впрямь оборвалась межъ старцами та невидимая крѣпа, которая сплачивала ихъ вмѣстѣ такъ любовно, такъ ружно долгіе годы? Покончились между ними и каждоневные продуманные насквозь „совѣты“: какую кашку къ бѣду сварить? Сколько яичекъ запечь въ пирожкѣ? Поолятся передъ золоченымъ кивотомъ, поѣдятъ втихомолку разойдутся въ стороны какъ чужіе. Всѣ полюбовные совѣты и разговоры потеряли прежнюю сладость.

Лукіянъ Лукичъ сдѣлался снѣдью какого-то невидимаго едуга. Но временами онъ чуялъ смутно и сладость въ

немъ... Временами казалось старику: вотъ-вотъ поднимется онъ надъ своей когда-то драгоцѣнной одворицей и понесется въ высь... туда, куда воздымаются главы золотыя на домѣ Всепѣтой Матери.

Звонитъ кривой Ануфріичъ въ большой праздничный колоколъ. Тянется народъ на его гулкій призывъ. Идетъ и старый дьячокъ. И ему пришлось почувствовать себя близъ дома Всепѣтой Матери не своимъ человѣкомъ, знающимъ дѣло слугою, а усталымъ міряниномъ, пригнетеннымъ, забитымъ. И ему пришла нужда облегчить сердце отъ навалившейся тяжести, воротить сонъ души; и уже не прежнія самодовольныя чувства питали дьячка; его будто пришибло полѣномъ. Не благодушно-легко переступалъ онъ пороги церкви, какъ переступалъ много лѣтъ, а съ поникшею головою, будто тать, уловленный въ дѣяніи... Ему отчего-то неловко стало глядѣть на преподобные лики и особливо на строгій аскетическій ликъ Антонія пустынника, который стоялъ какъ разъ противъ дьячковскаго мѣста въ темномъ, закоптѣломъ иконостасѣ, — суровые глаза угодника будто проникали внутрь старому, будто корили его...

Поетъ старый дьячокъ надтреснутымъ голосомъ святые мотивы, норовитъ выше взять, но и это не можетъ заглушить нутрянаго напѣва, — что вся долгая жизнь его ушла не туда, куда надо... А куда бы ей?.. И силится старый дьячокъ украсить „цвѣтами добра“ минувшую жизнь и не находитъ цвѣтовъ; силится урваться отъ нея и не можетъ и по-старому жить не можетъ! И опять тянетъ-закатывается старикъ, норовитъ утрафить подъ дьякона, глядитъ искоса на сотни лицъ, обращенныхъ къ темному иконостасу лицъ загорѣлыхъ, измученныхъ, годами знакомыхъ ему но чужихъ его сердцу. А и они пришли сюда за однимъ только, чтобы хоть чуть облегчило, хоть бы чуть посвѣтлѣ стало имъ среди вешняго воздуха, среди залитаго ярким солнцемъ вешняго дня...

И слышитъ старый дьячокъ, будто шепчетъ кто — не т за темнымъ иконостасомъ, не то въ подкумпольѣ: „Спячъ

пробудись и отверзи отягченныя вѣжды! Опомнись: ты цѣлыя ночи спишь, спишь дни сидя и походя и готовъ спать такъ же хорошо-сладко до трубнаго дня Господня... А кругомъ гудитъ буря жизни, ревутъ, кипятъ ея сердитыя волны,—братья твои бьются грудь о грудь съ лихой непогодой, въ кровь и истому, и гибнутъ, изнемогая, безпомощные... И ты не видишь, не слышишь того. Камень! Спячъ—закрытыя вѣжды!.. Улита! Тамъ, въ волнахъ жизни, мѣсто твое, и нѣтъ другого мѣста тебѣ на землѣ...“

И жутко было дьячку, и хорошо... А голосъ будто уже не изъ подкумполья шепчетъ ему, а изъ нутра его стараго тѣла. И снова чудилось старику, что вотъ-вотъ стронется онъ со своего дьячковскаго мѣста и полетитъ, какъ „безплотный“, надъ головами мірянъ, въ подкумполье...

Пробовалъ молиться старикъ, но чуялъ, что и въ молитвѣ его есть трещина... вся она сводилась къ тому, чтобы отлынить отъ навалившейся тяжести, а тяжесть эта, казалось, была неотъемлемымъ земнымъ удѣломъ.

И дивились клирошане, дивились закупаевцы невѣдомой перемѣнѣ въ дьячкѣ; дивились и не могли понять, что за притча приключилась съ нимъ и съ Параскевой Ивановной подъ старые преклонные годы. Попрежнему было все тихомирно на дьячковой одворицѣ, но въ былой тишинѣ чуялись и пѣсни, и музыка, и смѣхъ гулкій-радостный, а теперь, — словно туча грозовая надвинулась на одворицу, наготовилась дунуть бурею, блеснуть яркой молніей...

Тяжкое время настало для Параскевы Ивановны,—конца не было, какъ тянулось знойное лѣто, какъ зима миновала. Новая весна подошла въ росписномъ-цвѣтномъ сарафанѣ,—сдобная, набалованная дьячиха опустилась и исхудала. А недугъ не покидалъ старика: онъ подозрительно оглядывался кругомъ, прислушивался къ чему-то... Старикъ силился услышать шумъ „непогоды“, разглядѣть „кипящія волны“; но все было тихо окрестъ, свѣтло и радостно. Золоченыя главы сверкали подъ солнцемъ; клиросъ былъ повитъ цвѣтами и зеленью „яко кринъ“; лишь за селомъ,

на узлѣ трехъ дорогъ, что-то немилосердно громыхало и стукало,— то Артамонъ Сысоичъ окрывался отъ „непогодъ и кипящихъ волнъ“ новой желѣзной крышей, чего и у дьякона, и у отца Еремѣя еще и въ мысляхъ не бывало. Мужицкія избы стояли по высокому берегу, какъ стояли сотни годовъ, — раскрытыя, покосившіяся, съ лучинами и пузырями на мѣстѣ разбитыхъ стеколъ. И показалось дьячку, что спитъ село наяву, кособокое — ободранное, но довольное своей долей.

Шальная, нелѣпая мысль мелькнула въ головѣ у стараго Лукіяна: разбудить село... Онъ вынулъ изъ-за кивота запылившіяся, свернутыя въ трубку газеты и пошагалъ къ селу бодро, самоувѣренно, въ сопровожденіи неустаннаго бѣгуна Арапки. Старикъ не сознавалъ, что творитъ; мысли его затуманились... Онъ ходилъ по селу съ развернутыми листами, предлагая бабамъ и мужикамъ „прочитать сказаніе, пробудиться“... Всѣ глядѣли на дьячка изумленно и говорили ему: „Не умѣемъ, дѣдушка, а то бы ништо почитать, хорошо бы!..“

— А вы поучитесь! — говорилъ дьячокъ: — вотъ и прочтете сказаніе...

— И ништо бы поучиться, да негдѣ!..

— Эко негдѣ!... — сказалъ дьячокъ, какъ бы вдохновленный кѣмъ, и закричалъ среди закупаевской улицы не своимъ громкимъ голосомъ: — подымайся, Божіе село, на ноги!.. Я слово скажу отъ сердца!.. Подымайся, и старъ, и младъ, выходи на середину сюда. Други мои, слава Всепѣтой Матери,—живъ я!.. Жива душа моя, живъ въ душѣ моей Богъ-Зиждитель...

Село встало на ноги. Всѣ пуще дивились небываломy диву, всѣ жалѣли дьячка и говорили потихоньку между собою:

— Эко, горемышный, рехнулся! Школу задумалъ, вишь... Чтобы и бревны, значитъ, и печь сбить, всѣ угодья сулитъ. Тыщу рублевъ выкладываетъ отъ себя! Проснитесь, говоритъ... А мы, гля, спимъ развѣ?..

— Гляди,—побѣжалъ черезъ мостъ!..

— Эко, бѣдный!

— За деньгами, значитъ, пошелъ?

— А Христосъ его вѣдаетъ... Ишь, все село взбудоражилъ. Говоритъ: хочу безпремѣнно школу у васъ, чтобы всѣ науки ребятки вѣдали, Бога увидѣли... Извѣстно – безъ ума человѣкъ, чего не скажетъ!..

— Ужъ не съ жиру ли, ребя, забѣсило его? Тоже и онъ, коли все сосчитать, не мало сладкаго изъѣлъ на вѣку...

— Перестань, Егоръ,— грѣхъ!

А старый дьячокъ и годы свои забылъ, и распечатанные листы потерялъ на дорогѣ, — бѣжалъ задыхаясь черезъ мостъ Закупая, къ своей одворицѣ. И вдругъ почуялъ, что совсѣмъ оторвался онъ отъ бревенчатаго моста, понесся по воздуху, выше попова чугунника, выше дьяконовой одворицы, наравнѣ съ золотыми главами...

— Отцы родимые,—говорила Параскева Ивановна,—и отчего только земля-мать держится, коли этакіе непутевые люди развелись на ней?.. Грабитель, не мое—свое грабишь! Свое изъ кубышки выкрадываешь!.. Мнѣ ничего не надо,— мой вѣкъ коротокъ!.. Измучилъ ты меня, въ гробъ вогналъ, теперь на бѣломъ свѣтѣ ужъ не жилица я...

— Обожди маленько, Параскева Ивановна, — говорилъ дьячокъ, сидя на корточкахъ передъ раскрытой кубышкой,— и тебя скоро Всепѣтая Матерь осѣнитъ чистымъ благословеннымъ свѣтомъ!.. Сказано: „Не копи себѣ сокровищъ земныхъ, ибо тля и ржа конецъ имъ, копи нетлѣнныя сокровища на небеси, юже ни моль, ни ржа не коснется вовѣки“. Чуетъ сердце: дивныя времена настанутъ, Параскева Ивановна, Господь съ сонмами ангеловъ пройдетъ по землѣ, завѣса мрака ниспадетъ въ бездну... Свѣтъ благословенный великою рѣкою Евфратомъ хлынетъ на темныя пажити, затопитъ ихъ... А ты не падай духомъ и не робѣй... Я только свое возьму изъ кубышки, а твое и пущай лежитъ, какъ лежало! А мое мнѣ не надо, я земля и въ землю отыду, и въ кубышкѣ земля и прахъ, — и пущай

прахъ отъ праха идетъ, чтобы возгорѣлся свѣтъ велій и ясной паникадилой засіялъ передъ незримымъ престоломъ Всепѣтой Матери.

Параскева Ивановна плакала неутѣшно и зажала руками уши, чтобы не слышать рѣчи своего мужа.

На селѣ гудѣлъ небывалый гудъ... И старъ, и младъ были вскопѣ. И въ серединѣ сборища стоялъ дьячокъ престарѣлый, безъ шапки, съ распустившимися бѣлыми волосами, и взглядъ его былъ свѣтлый и радостный... Кругомъ были радость и изумленіе; всѣ дивились и не могли дознаться: рехнулся дьячокъ али въ своемъ умѣ дѣло дѣлаетъ?

Всѣмъ казалось, что не будетъ проку изъ новой затѣи, что еще, пожалуй, хлопотъ да бѣды наживешь. Темные, запуганные явленіями окружающей жизни, призраками жизни невидимой, грознымъ судомъ дальней будущей, закупаевцы искренно боялись выйти изъ проторенной вѣками тропы, чтобы не наткнуться на новое чудище. То же думали и на клирошанскомъ берегѣ: кривой Ануфріичъ, дьяконъ, отецъ Еремѣй,—всѣ пришли въ удивленье неописуемое; особливо сильно поражена была просвирня Марья Демьяновна... Когда старуха развѣдала „все до нитки", то была настолько уничтожена новостью, что въ глазахъ ея сперва потемнѣло, потомъ огни замелькали, потомъ—будто громомъ ударило... дыханье остановилось, языкъ прильнулъ къ гортани и былъ въ такомъ положеніи минутъ пять...

Артамонъ Сысоичъ, всегда видѣвшій стараго Лукіяна на высотѣ, относившійся къ дьячку съ глубокимъ и искреннимъ уваженіемъ, тоже взглянулъ на дѣло глазами опытнаго и устойчиваго въ убѣжденіяхъ человѣка,—и Лукіянъ Лукичъ разомъ въ глазахъ харчевника опустился со своей высоты въ глубокую яму...

— Досконально нельзя сказать,—говорилъ Артамонъ Сысоичъ заходившимъ къ нему мужикамъ,—спятилъ ли онъ совсѣмъ съ ума, али только сдвинулся чуть; ну, а только если бы онъ въ прежнемъ умѣ состоялъ, вовѣки бы не дошло до того!.. На что намъ школа? Звѣзды намъ, что ли

хватать рукой съ неба? Слава Богу, мы и безъ школы сыты, обуты, и не хуже другихъ понимаемъ... И до насъ люди жили не хуже насъ, да не затѣвали этакаго...

— А сказываютъ, что отъ тебя, Артамонъ Сысоичъ, и зачалось дѣло...—сказалъ одинъ мужичокъ простодушно,— будто, значитъ, ты ему бумагу этакую подсунулъ въ руку?..

— Кто говоритъ?

— Да ужъ тамъ кто ни говоритъ—все едино... А только, отъ тебя вышелъ корень. Дьячиха сказывала!

— Дьячиха!.. Неужели она?.. Враки! Плюнь ей поди въ образину! Скажи, что я велѣлъ... Никакой бумаги во вѣки вѣковъ я и въ глаза не видалъ; я, слава Богу, отъ природы никакой азбукѣ не ученъ, и дѣды, и отцы мои учены не были, да коли живота Богъ пошлетъ, и ребятъ до этого не допущу близко... „Бумагу подсунулъ", да что я дуракъ какой, что ли, али такъ же спятилъ съ ума, какъ дьячокъ? Ахъ, вѣдьма,—бумагу выдумала! Да я и бумаги никогда не видалъ...

— Вѣрно, вѣрно!—продолжалъ мужикъ:—такъ прямо и кричитъ на весь крылосъ: „Бумагу, говоритъ, этакую подсунулъ ему харчевникъ!"

Харчевникъ не то заробѣлъ, не то сконфузился.

— Богъ свидѣтель, ребята,—напраслина! Дьячиха оболгать меня хочетъ, зло вымѣщаетъ... Чего мнѣ школа? Я первый скажу: нашему брату, мужику, не надо школы,— нашъ братъ и безъ того знаетъ все! А я безъ хвастовства скажу: кто поумнѣе меня на селѣ? Кто живетъ, какъ я живу? И амбары у меня, и гумно,—все съ иголки—новенькое, крыша у меня изъ желѣза... И на свѣчки я кажинный праздникъ со своей дѣвкой... Да чего! и безъ моихъ разговоровъ всѣ знаютъ, видятъ все. А вашъ дьячокъ, что? съ ума сошелъ да тыщей въ собаку кинулъ, такъ и лучше всѣхъ сталъ? Этакъ-то и всякій дуракъ сумѣетъ! Попомните мое слово, братцы, ничего путнаго не будетъ изъ этой выдумки,—ваши же ребята по книжкамъ научатся да васъ же и почитать перестанутъ. Тоже и книга книгѣ бы-

ваетъ розь... Въ другой прямо такъ и написано: „Не почитай отца своего, не почитай матерь свою, а облака—паръ“...

— Ой ли, да написано ли?—спросилъ кто-то.

— А ей Богу написано!..—говорилъ Артамонъ Сысоичъ,—у меня у самого такая книга была, да я сжегъ ее на угляхъ...

И много еще вралъ мужикамъ Артамонъ Сысоичъ, много еще поклеповъ возводилъ на ни въ чемъ неповинныя книги.

Мужики слушали, качали головами и уходили изъ харчевни въ великомъ сомнѣніи...

А старый дьячокъ, послѣ высокаго подъема души, опять какъ-то съежился весь, заробѣлъ... И ему временами казалось, что зря все задумано. Но онъ чувствовалъ и другое, гдѣ-то въ глубинѣ себя чувствовалъ, что не зря... Не сейчасъ это ему взбрело въ голову, давно взбрело, давно все помаленьку обдумано... А только, какъ наружу вышло, будто и не ладно что?.. А что самому ему все равно не живать старой жизнью, прошла она безвозвратно!

Полевыя работы пришли въ разгаръ... „Дьячкова тысяча“ лежала вмѣстѣ съ сельскимъ приговоромъ въ церковномъ сундукѣ за печатью,—на приговорѣ, будто на кладбищѣ, безграмотными закупаевцами было столько крестовъ наставлено, что диво бы взяло свѣжаго человѣка...

Настала осень, полевая жизнь замерла, настала тихая жизнь въ тепло натопленныхъ избахъ. Прошелъ Покровъ Богородицы, Филипповки, Рождество, а закупаевцы все не могли сговориться. Семь разъ собиралъ закупаевскій староста сельскую сходку, семь разъ принимались судить, когда начинать возку бревенъ, кому ѣхать первому. Одни говорили на сходкѣ, что ребята у нихъ большіе, а потому и безъ школы должны понимать все... У другихъ ребята были совсѣмъ младенцы, у третьихъ дѣвчата, которыхъ учить совсѣмъ не къ чему, такъ какъ писарихами имъ не быть... Да и книга книгѣ бываетъ розь, въ иной прямо такъ и сказано: „не почитай ни мать свою, ни отца, ни дѣда, и что небеса—воздухъ одинъ!

Такой человѣкъ, какъ Артамонъ Сысоичъ, зря брехать

словъ не будетъ, за десятку лѣтъ впередъ чувствуетъ... Чувствуетъ онъ, что хоть школьное колѣно и будетъ въ кабакъ ходить, но другомъ ему, кабатчику, ужъ не будетъ. Да и гдѣ ставить школу? Которое поближе мѣсто, — подъ огороды годится; подальше—бѣгать далеко; а на серединѣ улицы выстроить—не проѣдешь съ телѣгой... Многіе думали про себя: „Кабы не приговоръ, да не поганая тысяча за печатью, все бы хорошо было; сотню годовъ прожили бы, не подумали бы...“ Но „тысяча“ не давала прежняго спокойнаго житья Закупаеву, бередила его. Кто-то подумалъ подобраться къ тысячѣ съ другой стороны: „кабы вынуть изъ сундука этотъ грѣхъ и раздѣлить на всякую душу по части?..“ Но выдумщику самому сдѣлалось стыдно себя, и онъ неслышно затерялся въ толпѣ своихъ односельцевъ.

Самъ старый Лукіянъ не входилъ пока въ это дѣло, не до того ему было—онъ бился грудь о грудь, въ потъ и истому съ убѣжденіями Параскевы Ивановны... Изъ тихой, доброй и уважительной она превратилась въ дубъ... Изъ рыхлой и набалованной въ одно неопровержимое доказательство, что тысячу, пока она цѣла, невредима, надо вынуть умнымъ манеромъ и уложить на прежнее мѣсто, въ кубышку,—и опять все будетъ хорошо, славно... Минутами Параскева Ивановна совсѣмъ перерождалась на прежнее, становилась ласковѣе, довѣрчивѣе къ дьячку, говорила ему:

— Умный ты человѣкъ, отецъ Лукіянъ, можетъ, поумнѣе отца Еремѣя, а на весь погостъ выставилъ себя насмѣхъ, всѣ говорятъ про тебя... Только, кажись, младенцы молчатъ, а то и просвирня, и Артамонъ Сысоевъ, всѣ говорятъ, что ты съѣхалъ съ большого ума на маленькій... И мужики, слышь, хотятъ раздѣлить нашу тысячу, чтобы каждой душѣ по долькѣ пришлось и чтобы сейчасъ на оброки да на починки... Эй, послушай меня, отецъ, перевернись ты на старое! А коли не хочешь послушать меня, тогда жить намъ вмѣстѣ не надо... Ты живи въ своей школѣ, а я здѣсь останусь коротать горькій вѣкъ. Тебѣ, вишь, мужики стали дороги, а жена тебѣ хуже собаки стала!...

Но не податливъ оказался и Лукіянъ, и въ немъ проявилось что-то дубовое... Рѣшилъ онъ только, что дѣло надо покончить безъ замедленія.

VI.

Шелъ Иванъ, закупаевскій староста, мимо церкви и норовилъ такъ пройти, чтобы старый дьячокъ не увидѣлъ его сквозь окошко. Но дьячокъ увидѣлъ Ивана старосту и торопливо выбѣжалъ изъ горницы, чтобы повстрѣчаться съ нимъ...

— Эй, староста!—заговорилъ дьячокъ гнѣвно:—ты задерживаешь воду живую, ты великій отвѣтъ дашь Всепѣтой!..

Староста молчалъ и вертѣлъ въ рукахъ шапкой, которая незамѣтно сползла съ его головы передъ грознымъ и не по лѣтамъ расходившимся старцемъ.

— Аль надругаться задумали вы надъ моей старостью?—спрашивалъ Лукіянъ.—Али у васъ и для себя Бога нѣтъ?.. Горе вамъ, лѣнтяямъ, горе!.. Помни, Иванъ, выну деньги изъ сундука и сожгу... и самъ сгорю отъ кручины. И такой великій, неотмоленный грѣхъ останется вамъ, что ни внукамъ, ни правнукамъ вашимъ не избыть его!.. Вѣдь не зря затѣяно: подъ покровомъ Всепѣтой придумано, пусть возгорится свѣтъ по всей нашей округѣ!..

Черезъ часъ времени сонное село встрепенулось на седьмой разъ; въ седьмой разъ мужики тянулись лѣниво къ избѣ сельскаго. Старый дьячокъ торопливо шагалъ черезъ мостъ на тотъ берегъ... И снова ему показалось, что онъ только тѣломъ шагаетъ по скрипучему снѣгу, а душою несется повыше...

И опять заслышалась на тѣсной сходкѣ горячая рѣчь дьячка, а на старыхъ глазахъ его блестѣли обидныя слезы...

Но на другой день словно караванъ гусей сѣрыхъ со скрипомъ выплылъ изъ Закупаева,—то село „стронулось", поѣхало за кирпичомъ, за бревномъ... Длинная вереница кудластыхъ лошадокъ, впряженныхъ въ вязовыя дровни, развернулась на снѣжномъ выгонѣ и погодя часокъ скры-

лась за бѣлымъ запольемъ. На послѣднихъ дровняхъ рядомъ съ Иваномъ старостой сидѣлъ радостный Лукіянъ.

Кипучая жизнь въ ту весну была въ Закупаевѣ: съ утра до вечера слышался веселый звонъ и стукъ широкихъ плотницкихъ топоровъ, визгъ пилы, глухой гулъ и солидный запахъ смолевой сосны... И старый, и малый, словно на праздникъ годовой, ходили слушать звонъ топоровъ, шипъ пилы, нюхать смолевое дерево.

И росла хоромина невиданная, по бревенцу, по чурачку, на самомъ хорошемъ мѣстѣ, на тычкѣ мужицкаго берега, противъ устарѣлаго дома Всепѣтой Матери.

А о Троицѣ обозначилась она, какъ диво-дивное, съ бѣлой тесовой крышей, съ рѣзнымъ фигурнымъ крыльцомъ, съ большенными окнами... Глядѣли крохотныя избныя окна на сосѣдку-красавицу, и будто стыдно имъ было за свою слѣпоту... А вкругъ хоромины словно рой гудѣлъ: собрались разряженные во все праздничное закупаевцы, весь погостъ. И посреди радостнаго народа, какъ сердце внутри грѣшнаго тѣла, стоялъ полный глубокаго счастія престарѣлый дьячокъ...

„Прошумѣла слава“.

(РАЗСКАЗЪ ЗЕМЛЕМѢРА).

Посвящается доброму другу Арсенію Ивановичу Введенскому.

I.

Прошло не мало времени, какъ былъ я по служебнымъ обязанностямъ въ —ской губерніи. Между крестьянами двухъ смежныхъ селеній возникла земельная распря изъ-за клина поемныхъ луговъ. Мнѣ было поручено разобрать это дѣло, провѣрить границы деревенскихъ владѣній и оба плана.

Остановился я тогда въ деревнѣ Батенково у зажиточнаго крестьянина Перфилія Климыча, Дуба по прозвищу. Деревня Батенкова состояла изъ сорока трехъ отдѣльныхъ хозяйствъ и выглядѣла хорошо, — весело было окинуть взглядомъ широкую улицу, любо пройтись по ней: ни одной кособокой постройки, ни одной истерзанной вѣтрами крыши,—все стояло крѣпко и совсѣмъ заново. Съ обѣихъ сторонъ выдвигались на улицу фигурныя балясистыя крылечки, пестрѣли надъ окнами зеленымъ и желтымъ цвѣтами наличники, задорно высились надъ крышами рѣзные коньки. Въ деревнѣ жили „вольные люди“, прошло болѣе десяти лѣтъ, „какъ открылась мужику свѣтлая царская воля“, и объ этой *волѣ* тогда въ деревнѣ всѣ очень хорошо помнили, при всякомъ подходящемъ случаѣ говорили о ней, молились за царя и „за добрыхъ людей“—его помощниковъ

въ этомъ великомъ дѣлѣ, благодарили Бога. Всѣмъ было легко и радостно,—зорчѣе смотрѣлось въ дали будущаго, крѣпче вѣрилось въ силу добра и правды.

Когда я принялся за работу и, какъ говорили крестьяне, совсѣмъ по-житейски устроился въ хоромахъ Перфилія Дуба, то и самое время, казалось, будто нарочно содѣйствовало общему жизнерадостному настроенію... Подошли чудные вешніе дни,—все зеленѣло вокругъ, все цвѣло и дышало благоуханіями; съ утра до вечера все было залито горячими лучами солнца, наполнено разливаннымъ пѣніемъ ласточекъ, пискотней воробьевъ, зябликовъ, чижиковъ и разной иной мелкой пташки. А тутъ насталъ праздникъ Троицы...

Люблю я деревенскую Троицу!—вдоль всей деревни кудрявыхъ березокъ наставлено, передъ всякимъ жильемъ разметено вѣникомъ, близъ всякаго крылечка желтымъ пескомъ насыпано. Казалось, что самое утро троицкое, ясное и радостно-тихое, появившись надъ деревней, восхищалось рѣдкостною красотой ея улицы... Еще такъ недавно, вчера только,—вся улица была усѣяна щепою, хворостиньями и инымъ соромъ, и вдругъ—сады зеленые, пески золотистые?..

Дѣвицы батенковскія спозаранокъ достали изъ коробовъ и сундуковъ свои наряды завѣтные: новенькіе цвѣтные сарафаны, платки красные, синіе, бѣлые, алые... А по алымъ и бѣлымъ полямъ платковъ—нарочно раскиданы цвѣты васильковые, цвѣты калиновые, яблоневые, турецкіе огурцы, бобы сарацинскіе, понадѣланы клѣтки и расписаны розаны!.. А иная такъ, безъ платка на головѣ, пройдетъ улицею: румянецъ горитъ на щекахъ, глаза сыплютъ искорками и въ аршинъ длины опускается книзу отъ плечъ коса русая, въ косѣ лентамъ цвѣтнымъ даже и счета нѣтъ... и все яркія—голубыя, зеленыя, красныя,—глазамъ больно!.. Да чего, старики деревенскіе, и тѣ „ради Господней Троицы“ форсунами отчаянными прошли вдоль улицы, на богомолье въ село: рубахи одѣты бумажныя — кумачевыя, миткалевыя,

пояски плетеные гарусные, на плечахъ накинуты легкіе армяки, поярковыя шляпы закинуты на ухо; бороды и волосы гребнемъ расчесаны, масломъ до густоты „распомажены“, сапоги на ногахъ у иныхъ черные, душистымъ дегтемъ помазанные, у иныхъ желтые, будто замшевые, да на прибавку со скрипомъ и съ ревами... Только два ветхихъ бобыля примѣтились мнѣ въ лаптяхъ въ это утро, да и имъ невольно хотѣлось уступить лучшую часть дороги... Рубахи на бобыляхъ холщевыя, мытыя, пояски, какъ и у всѣхъ другихъ, гарусные, лапти новенькіе, онучи бѣлыя, оборы сверхъ онучъ пеньковыя новыя...

Старухи шли въ темныхъ „кубовыхъ“ сарафанахъ, въ цвѣтныхъ головныхъ уборахъ, въ правыхъ рукахъ держали бережно сложенныя четвертинками платки „вытирать глаза“, а въ лѣвыхъ рукахъ башмаки праздничные... Шли старушки до поры до времени босикомъ по дорогѣ, пускали въ ходъ башмаки на міру, близъ церкви. Ребята малые носились бойко по „садовой улицѣ“ въ красномъ, въ желтомъ и розовомъ и держали въ рукахъ яички желтенькіе. Такъ водилось встарь во многихъ мѣстахъ на Руси: въ свѣтлый Христовъ день—яйцо красное, а въ Господню Троицу—желтенькое! Да если къ этому дню утрафятъ горячее солнце въ небѣ, тихій ласковый вѣтерокъ въ полѣ—деревня, будто улей передъ роеньемъ,—вся на виду, вся—отъ малыша до старца—нарядная, вся гудитъ, полная ясными думами...

И вотъ въ такую-то рѣдкостную пору, вслѣдъ и за нелегкимъ ученіемъ и разными „коловратностями“, мнѣ впервые удалось побыть среди широкой—вольной природы „на міру“, мнѣ, родившемуся въ Петербургѣ, въ квартирѣ на „третьемъ дворѣ“ огромнаго городского дома, куда во все мое дѣтство не заглядывалъ даже „рикошетомъ“ лучъ солнца... А тутъ—въ раскрытое окно мнѣ видѣлись широкія дали, приносились веселые гулы простой, здоровой жизни...

Я вышелъ на улицу. Солнце „сошло съ обѣда“ и обдавало весь деревенскій просторъ мягкимъ свѣтомъ. Ребята,

старухи, крестьяне и вся щеголеватая деревенская молодежь, пообѣдавъ и отдохнувъ послѣ нелегкаго богомолья въ ближнемъ селѣ, выбрались на улицу, то смѣло выступая на солнечный свѣтъ, то укрываясь въ тѣни построекъ.

Нарядно выглядѣли и деревенскіе огороды: вишни, кружовникъ и яблони были въ полномъ расцвѣтѣ, словно одѣтые былымъ и розовымъ инеемъ... Въ спокойномъ воздухѣ разливался тонкій ароматъ цвѣтной пелены. За деревней въ низинѣ сверкала подъ солнечными лучами рѣчка, за нею надъ крутымъ берегомъ разстилалось яровое ярко-зеленое поле, а дальше тянулся холмистый просторъ, пересѣкаемый кое-гдѣ кустарниками, купами деревьевъ, и замыкался вдали мутной синью „барскаго лѣса“.

На огородахъ, подъ окнами одинокаго—на городской манеръ—домика развернулся дѣвичій хороводъ,—ко мнѣ отчетливо доносились звуки долбленыхъ осиновыхъ рожковъ, звуки пѣсенъ... Я обогнулъ чей-то широкій дворъ и зашагалъ къ хороводу, и вновь залюбовался пестрыми дѣвичьими нарядами, загорѣлыми веселыми лицами.

Домикъ, вблизи котораго устроилось троицкое гульбище, стоялъ значительно въ сторонѣ отъ остальныхъ деревенскихъ строеній и выдѣлялся отъ нихъ своимъ видомъ: углами „въ лапу“, съ двойной тесовой крышей, съ глухими сѣнями и крылечкомъ; въ стѣнахъ были продѣланы четыре окна большого размѣра, въ три стекла каждое, хотя наличники на окнахъ, какъ и всѣ деревенскіе, были ярко раскрашены желтой, голубой и зеленой красками, да еще съ особымъ стараніемъ...

Вслѣдъ за мною къ хороводу подошли еще двѣ дѣвушки, видимо запоздавшія съ умысломъ... Одна изъ нихъ, какъ я увидѣлъ потомъ, оказалась батенковской знаменитостью, „первой плясуньей на всемъ приходѣ“. И дѣйствительно, дѣвушка плясала красиво: будто кто невидимый подсказывалъ ей—„вотъ такъ тронь плечами, вотъ этакъ окинь глазами, тронь фартукъ, черныя брови подыми выше, еще выше!..“ Любуясь на ея пляску, у привычной деревенской

молодежи вырывались горячія похвалы; и я тоже, какъ говорится, совсѣмъ размякъ сердцемъ. Вдругъ изъ-за угла навалилась кипящая толпа ребятни и окружила насъ, свистя въ дудки, подпѣвая и ухая... Красивый, съ чуть пробивающимися усами парень, подынувъ вверхъ руку и взмахнувъ ею въ воздухѣ, запѣлъ громко:

Полно, полно намъ, робята,
Въ гостяхъ пиво пити,
Не пора ли, холостые,
Дома наварити?..

Двое другихъ подыграли ему на рожкахъ, третій затронулъ гусли, дѣвушки подхватили всѣмъ хороводомъ, и заурядная, простая пѣсня перелилась въ художественную, полную яркой жизни, росла выше, раскидывалась въ широкія дали, доходила до сердца... А со сторонъ неслись ребячьи крики, подходили на готовое веселье молодыя и пожилыя женщины, ковылялъ какой-то хромой старикъ... А гулъ пѣсни все разливался, крѣпчалъ... Уже и „тычина" въ ней гнулась отъ тяжести хмеля, валилась на сырую землю, на зеленую травку,—и крѣпкая пѣнная брага наливалась въ ковши. Дошло къ свадьбѣ, къ завѣтному и страшному пункту всякой деревенской молодой жизни...

Ветхій старецъ, одѣтый въ бѣлую холщевую рубаху, съ плечами выставился изъ окна, по-младенчески радостно любовался на шумное сборище. Изъ другого окна выглядывали двѣ старухи, а по глазамъ—хоть замужъ отдай,—глаза совсѣмъ ясные!.. Отмякли старые люди въ сердцахъ своихъ, какъ и я, забылись на мигъ въ кипучемъ обманѣ жизни...

Тутъ глаза мои остановились на странной надписи, тщательно разрисованной голубою краской надъ глухими сѣнцами домика: памѣТнекъ арсеНтЕю военУ... „Что за диковина такая?" подумалъ я, прочитавъ, и обратился съ разспросами къ стоявшей вблизи меня дѣвушкѣ. Дѣвушка страшно переконфузилась чего-то, раскраснѣлась, отвѣчала торопливо и сбивчиво, упоминала какого-то „дѣда Михайлу",

„Арсентія Яковича“, „Егорья Иваныча“... Я ничего не понялъ и погодя пробовалъ заговорить съ другими, но и другіе не многое объяснили мнѣ—всѣ объясненія вертѣлись опять на какомъ-то дѣдѣ Михайлѣ?.. Молодежи подошло не до обстоятельныхъ разсказовъ,—всѣ были весельемъ охвачены. Да и я былъ чужой человѣкъ между ними...

Завидѣвъ невдалекѣ сидящихъ кучею мужиковъ, я направился къ нимъ. Со многими батенковцами я уже успѣлъ хорошо ознакомиться, выискались между ними и пріятели для меня: относились ко мнѣ привѣтно и откровенно. Особенно былъ хорошъ Перфилій Климовъ, въ домѣ котораго я пристроился на житье. Перфилій былъ состоятельный и толковый домохозяинъ, лѣтъ пятидесяти-пяти, плечистый, съ широкою русою бородою, съ яснымъ и мягкимъ взглядомъ, — по характеру неторопливый, вдумчивый; словомъ, передовой мужикъ въ деревнѣ Батенково. Онъ имѣлъ женатаго сына да сына подростка, а третій сынъ—„середякъ“—былъ на военной службѣ, „состоялъ гдѣ-то на прусаковой границѣ“; кромѣ сыновей, было четыре дечери.

Хозяинъ мой сидѣлъ въ серединѣ мужицкой гулевой компаніи, въ прохладной тѣни амбара, и чему-то смѣялся громко. Завидѣвъ меня, онъ сказалъ:

— Вотъ, сударь, кстати вы подошли сюда, — присядьте на бревнушко къ нашей артели, послушайте мужичьи рѣчи, какъ чудятъ мужички на свѣтѣ!.. Вотъ Онисимъ Степановъ сказывалъ намъ сейчасъ, что ему въ гумнѣ изъ соломы нечистая сила показывалась?.. Да не въ томъ бѣда, а въ томъ, что съ божбой крестится, увѣряетъ,—того и жди ухватитъ за горло невѣрующихъ! А вотъ сосѣди эти, почитай всѣ, поддакиваютъ ему: „Бываетъ!“ „Случается!“ Чего „случается“—чортъ въ соломѣ? Я наразрѣзъ говорю: лганье! Никогда не повѣрю я въ явную нечистую силу... Никакого поганаго рыла въ соломѣ не было,—Онисимъ либо нарочно морочитъ людей, либо котъ былъ въ соломѣ; у кота иной часъ глаза бываютъ какъ бы огненные. Я согласенъ: есть черная сила въ свѣтѣ, да только безъ облика. Она въ нут-

рѣ жизни, ходитъ незримая, исподтишка дѣйствуетъ, а не въявь. Чтобы глазами ее увидѣть, надо быть большимъ умникомъ... Теперь, братъ Онисимъ, дураковъ поменьше становится,—поди старухамъ разсказывай! А вотъ я скажу не облыжно: когда въ молодости горячка меня захватила, то явственные голоса со мной разговаривали... Лѣтъ тридцать прошло съ той поры, а будто сейчасъ ихъ слышу. Бывало, какъ закрою глаза, какъ позабудусь маленько, сейчасъ мнѣ и заговорятъ въ три голоса: „Перфишка, побѣжимъ искупаться въ рѣкѣ,—вишь, какъ жарко!..“ А и точно, весь я горѣлъ тогда будто въ пеклѣ. Подымусь на голоса съ постели, огляжусь кругомъ — нѣтъ никого! Прислушаюсь чутко кругомъ,—тишина! А какъ позабудусь чуть, опять подъ самымъ ухомъ кричатъ разомъ въ три голоса: „Перфишка, чего медлишь? Побѣжимъ къ рѣкѣ поскорѣе!“ И голоса такіе живые, точь въ точь какъ у дѣвчатъ, когда онѣ парней къ хороводу заманиваютъ. И вѣдь что? До того, поганки, манили меня, что я въ полночь глухую убѣжалъ за ними голый къ рѣкѣ... Спасибо, покойница-родительница,—помяни ее Господь,—доглядѣла бѣду, подынула всю семью на ноги; ну и поймали меня близъ рѣки! А прошла хворь, и голоса смолкли. Вотъ тутъ и я говорю: бываетъ! Боль, значитъ, дѣйствуетъ въ головѣ...

— Это три сестры-горячки манили тебя!—сказалъ Онисимъ Перфилію:—ихъ всѣхъ-то двѣнадцать сестеръ, а мать, лихоманка, тринадцатая! Старые люди сказывали, что прижила она ихъ отъ Каина,—одну другой озорнѣе... Особливо ежели сама старуха на кого насядетъ, али двѣнадцатая сестра,—тому шабалки! Тотъ лучше и не обороняйся, а лежи смирно: все равно въ гробъ загонятъ!

— Ну, это враки!

— Ой ли? По-твоему, дядя Перфилій, значитъ, и про домового враки, и про лѣсного?

— Во... во!.. — поддержалъ Онисима другой мужичекъ, сѣдоватый, съ широкимъ бабьимъ лицомъ, съ десяткомъ волосинокъ на тупомъ подбородкѣ, обутый въ большенные

желтые сапоги. Обратясь къ Перфилію, онъ сказалъ наставительно:— Дядя, не суевѣрь, не отрекай этого... Все на свѣтѣ есть и быть должно безпремѣнно! А ежели потвоему понимать: „этого нѣту, того не бывало!“—что выйдетъ? Ежели все откидывать будемъ прочь, такъ мало ли чего не откинемъ! А съ чѣмъ останемся? По такому расчету дойти можетъ, что Господь-Богъ вовсе и не сотворялъ домового? Не сотворялъ лѣсного, не сотворялъ самого худяка? Какъ же такъ!.. Сказано въ книгахъ: всякой твари сотворилъ Богъ по парѣ, для пользы аль для вреда человѣку; а эти куда же дѣлись? Не суевѣрь! Я тебѣ самъ скажу откровенно: я самъ вотъ этими моими ушами слышалъ, какъ ночью на Кривомъ озерѣ сатана ухалъ: „у-у-ухъ!.. у-у-ухъ!..“ да такъ страшно, что у меня душа чуть не выскочила вонъ изъ тѣла... И еще я скажу тебѣ откровенно: своими глазами видѣлъ я на могилкахъ покойника!.. Шелъ я тогда въ Домряки съ астафеткой отъ барина, нельзя было не идти. А ночь была темная, что стѣна. Какъ подошелъ я къ могилкамъ, гляжу—стоитъ онъ вотъ этакъ, межъ крестовъ, и руками вотъ этакъ водитъ... Такъ я, братецъ ты мой, взялъ приспустился весь на корячки, да на корячкахъ-то версты три... А волосы на головѣ—дыбомъ; въ спинѣ-то будто морозъ, а въ душѣ-то будто хомутъ! Только тѣмъ и спасся отъ смерти, что все время ползъ на корячкахъ да творилъ молитву воскресную. Ползу, творю молитву, а самъ думаю въ головѣ: „вотъ онъ сейчасъ засядетъ на меня сверху и обойметъ—и прощай, баба!..“ Да спасъ Господь, не засѣлъ на меня покойникъ. А все жъ, послѣ того я прохворалъ двѣ недѣли! Оно точно, передъ тѣмъ, какъ идти съ астафеткой въ Домряки, я двѣ косушки хватилъ ради смѣлости, и можетъ статься, живого покойника не было, а отъ вина взялись страхи... Ну, а вотъ тетку мою Груфену домовой мялъ два раза? Пущай-ко вотъ баринъ-землемѣръ разберетъ это дѣло... Слышь, господинъ: тетку мою родную, Груфену Силиверстовну, самъ домовой распатронилъ на печкѣ? Ей-ей, не лгу! Да и сама тетка о томъ на духу

батькѣ сказывала. Въ послѣдній разъ набралась тетка смѣлости, спросила у домового: „Дѣдушко, къ добру али къ худу ты вдругорядь тискаешь меня, грѣшницу?“ А дѣдушко этотъ самый въ отвѣтъ теткѣ, будто изъ шубнаго рукава прохрипатилъ: „Ой, старуха, къ худу, къ большому худу!“ И что вы, господинъ, скажете: брата Микитку, сына теткинаго, въ ту же осень залобанили что ни на есть въ самые гарнизонные!.. А самое тетку Груфену собственная корова,—умнѣющая корова во всей деревнѣ,—боднула въ поясницу чуть не до самой смерти? И по сію пору у тетки есть отъ того большое отличіе на поясницѣ... Вотъ и говори: „чудесъ нѣту!“

— Аграфенинаго сына забрили бы и безъ домового, онъ лобовой былъ,—сказалъ Перфилій.

— Лобовой?.. Ну, ладно... Пущай Микитка былъ лобовой. А скажи мнѣ: чего-для было отъ умной коровы въ поясницу боданіе? Ты, дядя Перфилій, говори откровенно: въ сатану вѣруешь?

— Я въ Христа вѣрую.

— Гляди, дядя Перфилій,—шибко ли вѣруешь! Отчего же ты разныя иныя силы прочь откидываешь? Вотъ я, точно, въ Бога вѣрую хорошо, по-христьянски, и домового-старичка почитаю. А коли сказать откровенно: боюсь я его, какъ огня... Мнѣ и баба моя говоритъ: „Ерофей, ты домового не бойся, домовой смирный и худого людямъ не дѣлаетъ“. А я никакъ не могу устоять,—въ этой штукѣ я слабѣй моей бабы! У меня такой и порядокъ заведенъ въ домѣ: коли что ночью занадобится въ сѣняхъ, али во дворѣ, корму тамъ дать скотинѣ, али иное что—всегда моя Аксинья меня провожаетъ... Зато днемъ—я хоть куда пойду смѣло: будь медвѣдь, али собака чужая, али ножъ приставь мнѣ къ горлу,—живьемъ полѣзу на всякіе ужасти! Днемъ я только одного боялся на свѣтѣ, Марку покойника...

Ерофей повернулся всей фигурой въ мою сторону и пояснилъ мнѣ про Марка:

— Вотъ, господинъ, сейчасъ я доложу твоей милости слово одно, про земного чорта, про нашего покойнаго бурмиста Марку... Упаси Господь, какой идолъ былъ у нашихъ господъ этотъ Марка! Бывало, только тѣмъ и жилъ, проклятый, что пилъ кровь нашу. Бывало, всѣ жилочки въ животѣ затрясутся, какъ зареветъ Марка звѣремъ: „Клади па-арроть эту стерьву!..“ И ужъ стегали безъ милосердія... А какъ, бывало, стегали бабъ... залупятъ рубаху къ плечамъ, а онъ, проклятый, склонится къ хвосту носомъ и распорядокъ даетъ: „Подсыпай, староста, горячѣе, нажимай, не жалѣй бабьей шкуры!“ А то, бывало, родителя возьмется трясти за бороду при дѣтяхъ, али заушать въ кровь... У меня у самого пяти зубовъ нѣтъ въ салазкахъ,—выбилъ, анаѳема, съ двухъ разъ всю пятерку... Эхъ, господинъ, теперь прошло время, а чего не было въ тѣ дни окаянные! И никто пикнуть не смѣлъ... Народа крещенаго было столько съувѣчено и обижено, что не счесть даже Богу!.. За то и самъ онъ, злодѣй, издохъ не почетно: лопнулъ у него, у подлеца духъ въ нутрѣ. Какъ шелъ черезъ поле, такъ и сунулся харей въ кочку и испустилъ въ нее свою душу. Только и осталось отъ грозы—туша вонючая! Пока до мызы бѣжали, чтобы извѣстье дать, а его ужъ разнесло горой, словно чорта... И всѣ на вотчинѣ возрадовались въ тотъ день, будто въ ясную Троицу. Сказывала потомъ ключница, Марья Дементьевна, что было ему за четыре дня предвѣщанье о смерти. Показался перстъ за окошкомъ, постучалъ по стеклу легонько, чтобы приманить Марку ближе. И какъ подошелъ къ стеклу Марка, разомъ обомлѣлъ въ ужасти: качается въ вечерней черени вотъ этакой, въ аршинъ роста и въ чуракъ толщины, перстъ за окномъ, грозитъ строго, а ни руки, ни плеча нѣтъ нигдѣ, одинъ какъ есть голый перстъ!.. А вышло—перстъ былъ Господень! Въ теперешнія времена, когда отлегло на душѣ у всѣхъ, иные разные, пожалуй, и перста не признаютъ, и отъ домовыхъ отрекутся... Да оно и правда! Пожалуй, не шибко бы и я зарыдалъ, ежели бы домовые безъ вреда для насъ ушли

подалѣ, авось и безъ нихъ бы прожили?.. Вѣдь понять надо то, господинъ, что наше житье только съ виду вольготное, а коли приглянешь зорчѣе—со всѣхъ концовъ къ нашему брату нажимка идетъ, никто мужика не жалѣетъ; домовыхъ-то разныхъ около насъ черной тучей скопилось!

Мужики засмѣялись и нашли, что Ерофей говоритъ „дѣло"... На середину улицы,—оглядываясь во всѣ стороны, вышла какая-то женщина и завопила протяжно: „Лёвка! Лёвка-а, бѣги домой! Твоя матка хресная къ намъ въ гости пришла, поглядѣть тебя хочетъ... Она масляную кокору принесла тебѣ съ Манькой!" Мальчишка въ зеленой рубахѣ, поднимая босыми ногами пыль, бѣжалъ отъ прогона и кричалъ громко: „Мамка, я здѣся-я! Слышу я про кокору... Вотъ я—бѣгу по дорогѣ!.."

Улучивъ минутку затишья, я обратился къ Перфилію по поводу голубой надписи надъ крыльцомъ. Перфилій окинулъ меня пытливымъ взглядомъ, помолчалъ, и поглядѣвъ въ сторону одинокаго домика, гдѣ попрежнему гудѣлъ хороводъ, заговорилъ серьезно:

— Рѣдкостная, сударь, эта надпись на нашей округѣ! Коли тонко разобрать—большое въ ней означеніе. И ни кто иной выдумалъ ее и нарисовалъ своеручно, а вотъ этотъ самый мужичокъ, что сидитъ близъ Ерофея,—Егорій Иванычъ!

Перфилій указалъ рукою на сидящаго неподалеку отъ меня мужика, который во все лицо усмѣхался неожиданной похвалѣ.

Егорью Иванычу выглядѣло лѣтъ сорокъ,—это былъ рябоватый, довольно невзрачный человѣкъ по комплекціи,—тщедушный, угловатый, но въ большихъ карихъ глазахъ его отражались—и отзывчивая душа, и прирожденная смѣтливость.

Расправляя густую бороду, Перфилій дружески-покровительственно глядѣлъ на „Егорья" и, обернувшись ко мнѣ, разъяснилъ:

— Придется, сударь, все по порядку сказать, потому—

тутъ дѣло особенное. А началось оно, почитай, совсѣмъ зря... Вотъ этотъ самый мужичокъ подынулъ его кверху! Таить не буду—Егорій Иванычъ дошлый мужикъ, дай Господи такихъ намъ поболѣ, тогда и общая жизнь пойдетъ лучше...

— Живописецъ нашъ деревенскій!—подсказалъ мнѣ храбрый при дневномъ освѣщеніи дядя Ерофей.—Ежели наличники тебѣ обресовать али дугу, али сани—обресуетъ за разлюбезную душу въ три колера... Вотъ, господинъ, ты проведи нарочно глазами вдоль всей деревни, на наличники у окошекъ,—ево работка! Теперь деревню нашу, можетъ статься, за полтора ста верстъ знаютъ кругомъ и величаютъ ее „цвѣтная!“ Спроси за девяносто верстъ отседа съ любого конца свѣта: „Дядя, тамъ, али, тетка: какъ-де мнѣ утрафить въ деревню Батенкову?“—Глядь и не скажутъ! А спроси: „Ребяты, эй!—въ которой сторонѣ стоитъ здѣсь цвѣтная деревня?“—и всякій тебѣ укажетъ перстомъ въ наше мѣсто... Дядя Перфилій сказалъ откровенно: Егорій нашъ—мужикъ-дока! Ну, а только и у него есть зацѣпа,—Божій, значитъ, ликъ Егорій обресовать не умѣетъ!.. А шибко жаль. И тебѣ, братъ-Егоръ, я въ глаза молвлю: баба моя, Аксинья, оченно объ тебѣ держитъ въ нутрѣ сожалѣнье. А, самъ знаешь, баба она шибко набожная! Ну, толи бы дѣло, напримѣръ, ежели бы сресовалъ ты нашей деревнѣ святую пятницу Прасковею, Илью пророка али Маѳусаила долгоживучаго? Да я бы первый заказалъ тебѣ на липовой доскѣ моего собственнаго ангела Господня, Ерофея-мученика; да и бабинаго ангела заказалъ бы... И другіе бы всѣ заказали тебѣ всѣхъ своихъ ангеловъ; пошло бы дѣло у тебя, какъ у мельника... А то беремъ святыхъ и праведныхъ по дорогой цѣнѣ отъ чужихъ богомазовъ. Вѣдь я ему, господинъ, можетъ сто разъ говорилъ: „Егоръ Иванычъ, принатужь, упрись духомъ своимъ, авось и поможетъ Христосъ! А коли, говорю, сумленье выйдетъ,—въ совѣтѣ деревня тебѣ не откажетъ...—Такъ нѣтъ, упрямъ оченно!

Егоръ Иванычъ взглянулъ на говорившаго и отвѣтилъ скромно:

— Понимать такъ надо, дядя Ерофей, что всякій человѣкъ есть то, что въ него вложено... а чего нѣтъ въ немъ, того и нѣтъ! Я не лѣнивъ...

— Это вѣрно! — сказалъ Перфилій и, взглянувъ на меня, добавилъ:—красочное дѣло Егорій Иванычъ воспринялъ отъ маляра, и хоть крѣпко абажаетъ его, а дальше идти—нѣтъ умѣнья! А вотъ голубыя слова на доскѣ—Егорьева выдумка... Только, сударь, коли узнать все доподлинно, для души,—то надо къ этимъ словамъ подойти отъ прежняго времени. Первое дѣло: былъ въ нашей деревнѣ старичокъ одинъ, дѣдъ Михайло. А Михайлу того я и самъ едва помню... Была дочь у него, Анной звали. И взяли эту самую Анну по тѣмъ временамъ господа наши въ домъ къ себѣ произвольно. Да обладилось дѣло хорошо: дѣвица была милоликая, тороватая,—на работу и на прислугу—первая! Всѣ въ барскомъ домѣ полюбили дѣвицу; приставила ее барыня къ своей персонѣ: всякія горничныя дѣла править и глядѣть по хозяйству. Да, слышь, затѣялась бѣда отъ молодого барченка и, какъ всегда на свѣтѣ бываетъ,—произошло согрѣшеніе насчетъ младенца... Тутъ Аннину косу обрубили на чуракѣ топоромъ, а самое ее загнали на скотный дворъ. Да смиловались погодя, отослали въ городъ къ чужимъ барямъ, оброкъ вырабатывать... Тогда это было дѣло обыкновенное. Анна служила, а барскій довѣренный получалъ положенье... Да, знать, Господь пришелъ на подмогу: устроилось у Анны дѣло такъ хорошо, что и не надо лучше!—выкупилъ ее добрый человѣкъ—богатый солдатъ—отъ господъ, и вышла, значитъ, замужъ она за солдата. Услышали мы про то, да прошли годы—и всѣ про то позабыли! Да подошелъ случай,—передъ самой волей то было,—глядимъ: подъѣхала въ нашу деревню Анна Михайловна, мы и глазамъ не вѣримъ: вся въ добрѣ, вся сама этакая вальяжная, ни дать ни взять—наша барыня али чище того... Захотѣла она на свою родимую сторону поглядѣть, поплакать на родимыхъ могилкахъ, послушать, какъ шумятъ кусты наши и какъ поютъ въ кустахъ зяблики Глядимъ—и военный ста-

рикъ съ ней въ компаніи, это мужъ-то... Глядимъ съ улицы на гостя: грозенъ на видъ, стра-сть—въ сажень роста, усищи-во! жиляный весь; а медалей по груди развѣшано, крестовъ святыхъ, словно на иконостасѣ, и по рукаву—можетъ, въ десять рядовъ—раздѣлано подъ червонное золото... Какой-то „темяшный“ считался онъ по бумагамъ, а это обозначало—выше всякаго вольнаго! Мы въ тѣ поры такъ и приникли всѣ,—первый разъ мы увидѣли въ своей жизни такого вольнаго человѣка, который лишь Господа Бога да царя почитаетъ. И хоть самимъ намъ ничего особливаго не было отъ той заслуги, а всѣ обрадовались. „На-ко, молъ, погляди на нашу деревню,—каковъ человѣкъ у насъ!“ И вотъ, сударь, полюбились воину мѣста наши. Пообглядѣлся онъ неспѣшнымъ манеромъ, да и говоритъ міру: „Господа-старики, женился я на вашей деревенской по сердцу, а самъ я по природѣ своей изъ дальняго края, и никакого роду-племени теперь у меня въ томъ краю не осталось. А сами вы знаете, что нѣтъ такой птицы на свѣтѣ, чтобы гнѣзда себѣ не сплетала, одна кукушка бездомница... Къ тому веду мою рѣчь, что и самъ я старъ, и Аннушка моя слабовата; а мѣста ваши любы мнѣ, — народъ простой, тихій... Дозвольте, добрые люди, земельки кусокъ невеличекъ, чтобы хибарку старикамъ выстроить, огурецъ посадить рядомъ съ рѣдькой, и въ своемъ гнѣздѣ скоротать закатные дни. А ужъ молельщиками вашими будемъ до самой смерти... Да и безъ того за васъ у Бога много молельщиковъ, — только нишкните маленько: скоро засіяетъ надъ народомъ заря золотая!“

— И вѣрно, сударь! Арсентій Яковличъ былъ первый пророкъ въ нашемъ мѣстѣ... Не упомню теперь, много ли времени прошло съ того разговора, и вдругъ слышимъ всѣ: „воля идетъ...“ Мы словно бы ошеломѣли тогда отъ нечаянности, не повѣрили сперва; а когда узнали досконально, такъ иные старики на окружной—до сутокъ времени съ колѣней не поднялись, будто къ половицамъ прикованные стояли они передъ образами святыми въ глухой молитвѣ... Эхъ! пока

стоитъ земля наша—такой молитвы не будетъ болѣ... Ерофей Ермиловъ вамъ про то время только каплей обмолвился, а оно черной тучей висѣло надъ нами отъ начала свѣта...

Перфилій восторженно взглянулъ на ясное небо и помолился: „Помяни, Господи, старцевъ тѣхъ терпѣливыхъ въ царствѣ своемъ!—каменные люди были по стойкости, всю неправду изнесли на вѣку терпѣливо, вѣрили въ правду небесную.—Вотъ, сударь, съ этого времени взялось зачало и подписи той... Собрались мы въ ту пору вкругъ Арсентія Яковлича,—такъ прозывали военнаго,—и сейчасъ въ споръ. Одни рѣшаютъ: „Дать солдату земли безпремѣнно!“ а другіе кричатъ: „Самимъ земли будетъ мало... А изъ-за простой солдатской молитвы — прогадать лоскутъ огородной земли не порядокъ! Теперь и сами мы будемъ вольные, коли не лѣнь, молись вволю...“ Да взялись каменные старики—дѣдъ Тарасъ и дѣдъ Флегонтъ, напомнили народу про Владыку небеснаго. И послѣ того рѣшили всѣ въ одинъ голосъ: „Рѣжь воину Христову да Аннушкѣ ту самую часть огорода, которая была у покойнаго дѣда Михайлы! А когда Господь приберетъ ихъ обоихъ,—чтобы опять все осталось по-старому“. Съ этого и пошло. Выстроилъ Арсентій Яковличъ домикъ на заглядѣнье всей вотчинѣ, какого у насъ въ деревнѣ и въ снахъ не видали... Углы въ лапу, крылечко глухое, чтобы снѣгомъ не заносило; труба сквозь крышу прошла, окна большенные; а печка съ печурками, съ балясами, какъ картина! Всѣ мы въ ту пору ходили любоваться постройкой, такъ какъ на всю окружность избы были курныя, съ горькимъ дымомъ, а оконцы въ избахъ совсѣмъ махонькіе: кто бывало выставитъ широкое лицо въ окно и заслонитъ свѣтъ солнца... Хе-хе! А сказать по правдѣ, стекло въ тѣ поры было намъ не по средству, да и свѣта яснаго старинные люди побаивались... Одно слово, была мода такая въ тѣ дни. А послѣ того случая Арсентій Яковличъ сдѣлалъ уваженье большое: распредѣлилъ на всякій дворъ по серебряному. Да самъ же и совѣтъ далъ старикамъ: пустить серебряные на деревенское дѣло!

Лежало,—вонъ тамъ за буграми,—болото зыбучее, по прозванью „Тимохино брюхо“, онъ и научилъ стариковъ—пройти канавой его, а послѣ того одичалую землю разворошить сошкой, бороной хватить, да навоза положить ради смаку... А „Тимохино брюхо“, сударь, взяло у насъ мѣста много, и въ лѣтнее время—ни человѣку, ни волку тамъ ходу не было. Да какъ послушались совѣта, сами диву дались! Вся трясина осѣла книзу, вода ушла вдаль, соха пришла гулять на болото. Съ той поры прославилось оно по всей окружной: самое хорошее сѣно даетъ. Теперь и прозванье дано другое—„серебрянка!“ Теперь все просто, а тогда и болота инымъ жаль было, говорили: „какъ отъ Бога досталось, такъ и пущай оно лежитъ до конца вѣка; не нашему разуму Божье дѣло на изнанку вывертывать!“ Да старики отстояли канаву... И они же первые раскусили, что Самъ Христосъ нарочно послалъ этакого жихаря къ намъ на пользу. Вѣдь и дѣды наши и прадѣды да, можетъ, и самъ Адамъ преподобный сотни годовъ бултыхались въ трясинѣ, по поясъ въ водѣ осоку выкашивали; да и мы вдоволь побултыхали тамъ. А простой совѣтъ да горсть серебряниковъ—и болота какъ не было! Тутъ ужъ и всѣ наши дали воину расцѣнку особенную: повадились ходить къ нему всѣ, какъ встарь къ вѣдунамъ хаживали... Всякая болячка наша стала вѣдома Арсентію Яковличу. И, дай Господи ему здоровья въ царствѣ небесномъ, точно, твердую голову держалъ на плечахъ. На языкѣ ласковыхъ словъ не было, зато что скажетъ—какъ припаяетъ! Ужъ чего, вотъ, Егорій Иванычъ—крѣпкая голова и книжникъ-ересѐй на прибавку, а покойный воинъ и Егорью бы Иванычу салазки загнулъ на смышленьи... На все былъ прокуратъ, одно слово! Да и вѣрно: долбленый человѣкъ, не чета нашему брату, тюрѣ... Помню, и мнѣ въ тѣ поры довелось бесѣдовать съ воиномъ, да вышла бесѣда зря: „пыкъ—мыкъ“ и все тутъ!—ничего не вышло толковаго... Окостенѣлъ подлецъ-языкъ на суставахъ, не высказалъ того, что хотѣлъ. А и вся бесѣда шла не за важное: просвиру у меня въ церкви

воры али мальчишки съегорили,—изъ-за этого шла бесѣда... А всякій повѣритъ, что я десять словъ свяжу вмѣстѣ, да, вотъ, подошло къ дѣлу и не взяло!—застыдился съ бородой съ непривыку, заробѣлъ какъ дѣвица. А отчего? Маркинъ нажимъ оставался въ душѣ... Подлецы нарочно заколачиваютъ живую душу, особливо—подлецы безнаказанные; а ихъ была тьма въ тѣ поры!.. Потомъ довѣдались старички наши, что воинъ и нѣкоторую деньгу имѣлъ на запасѣ, какъ самъ онъ сказывалъ—„на горевой часъ". И бывало такъ, что деньгой этой въ нуждѣ человѣку давалъ облегченіе; а по дѣламъ глядя, бывало, и назадъ не бралъ, а только этакъ въ умѣ учитывалъ. И не шелъ къ богатѣямъ да къ нахрапамъ въ компанію; и хоть былъ строгъ, жилянъ, грозенъ на видъ, а сердце имѣлъ въ душѣ рѣдкостное. А вотъ спросите у мужиковъ: каково онъ на рожкѣ игралъ? Былъ этакой рожокъ у него изъ мѣди весь, гнутый такой, съ хлапанцами... Бывало, какъ выйдетъ съ крылечка на огородъ, какъ грянетъ разливомъ:

„Не бѣлы-снѣги въ поляхъ забѣлѣлися".

Али хватитъ со слезой вмѣстѣ:

„Ноченьки вы мои, ноченьки темныя,
Осеннія ноченьки, непогожія;
Надоѣли вы, ночи, надоскучили,
Вы у дѣвицы душеньку измучили,
Истомили сердце..."

И... Эхъ, сударь!—вотъ ужъ, точно, пѣсня выходила душевная, слушалъ бы годъ—и не наслушался бы!.. Бывало, этой пѣсней, злодѣй, иную бабу въ слезу вгонитъ... Да чего—на насъ тоску нагоняло!.. И опять тоже степныя пѣсни хорошо у него на рожкѣ выходили,—самъ-то онъ степнякъ былъ, саратовецъ, по всякой степи душой тосковалъ; часто игралъ про степь пѣсни. А то, бывало, зальетъ про веселое:

„Коромысло кипарисно,
Ведерцы дубовы,—
У самой—лицо бѣленько
И, какъ уголь, брови...

Да какъ кинетъ подъ бровями
Темными глазами,—
Убѣгай, робята, далѣ...
Сила крестна съ нами!“

Перфилій упомянулъ еще нѣсколько старинныхъ пѣсенъ изъ быылыхъ солдатскихъ запасовъ, и глаза его горѣли, весь онъ ожилъ, будто въ ту минуту слышалъ несущійся съ огородовъ разливъ рожка, видѣлъ передъ собою ожившаго воина, жилянаго, грознаго на видъ, но отзывчиваго къ людскому горю. Мужики безмолвно, сочувственно глядѣли на Перфилія; казалось, и сами они переживали съ нимъ вмѣстѣ что-то особливо хорошее. У Егорья Иваныча блестѣли на глазахъ слезы, а Перфилій-Дубъ неукоснительно, по стариковски-растяжно, продолжалъ подводить меня „издалека“ къ значенію голубой надписи, при этомъ онъ пустилъ въ ходъ даже родъ философіи, говорилъ:

— Эхъ, сударь, ежели вдуматься хорошенько, то не шибко хитра наша жизнь, а хитро въ ней найти мѣсто, чтобы человѣкъ въ душѣ своей сталъ доволенъ! Для этого надо въ душѣ откличку, а главное дѣло—хлѣбъ... Я къ тому веду рѣчь, что и впрямь—мужицкій міръ весь въ темнотѣ и обманѣ; запуганъ всякой нечистью, весь въ грѣхѣ, въ ошибкѣ, а подмоги ему нѣтъ ниоткуда,—почитай, всякую штуку изъ себя добыть надо! И живетъ, значитъ, человѣкъ, мается, терпитъ всякое неспособственное, умираетъ и уноситъ маяту свою къ Богу на разглядѣнье... И бываетъ, что принимаетъ Богъ мужицкую маяту во вниманіе, посылаетъ въ тѣ мѣста, откуда донеслась она, Свою милость... И у насъ этакъ вышло. Первое дѣло: земля батенковцамъ досталась при волѣ, какъ, почитай, и всѣмъ крѣпостнымъ, распослѣдняя—песокъ, мхи да глина. Взвыли мы тогда на этой вольной глинѣ; поняли старики, что крѣпко насъ обаранили господа...—„Придется, молъ, въ концѣ концовъ—околѣвать помаленьку на глинѣ!“ Да вотъ на этомъ-то самомъ разѣ и сотворилось въ родѣ чуда али милости Божіей... Заслышали старики-камни, что продается,—вонъ въ той сторо-

нѣ,—земля у загорскаго барина. А земля у него была какъ бы макъ, разлюбезная; да и строевой лѣсъ хватилъ на краю. И разгорѣлся на эту самую землю зубъ у насъ... И ночи мы не спимъ и днемъ не дремлемъ, и можетъ такимъ-то манеромъ мѣсяца полтора!—все воздыхаемъ да раздумываемъ. Горитъ у насъ глазъ, нутро, зубъ чешется, потому,—дѣло въ вѣка пойти можетъ, всѣмъ поколѣніямъ нашимъ будетъ чѣмъ опереться на твердое. И въ ту же пору трусь одолѣла, сосѣднихъ мужиковъ стало боязно! „А ну, раздобудутъ гдѣ капитала?“ Хоть, точно, капитала этакого у насъ ни у кого кругомъ не было. А все жъ сумленье было. „Кому—по пословицѣ—счастье означено, тотъ и безъ Ивановой ночи свой кладъ откопаетъ“. Тутъ и пошли мы, умаянные мыслями, всѣмъ скопомъ къ Арсентію Яковличу, остановились подъ окнами у него, будто калики перехожіе. А впереди всѣхъ дѣдъ Тарасъ да дѣдъ Флегонтъ... Всѣ, значитъ, вмѣстѣ, всѣ однимъ тѣломъ, одной душой! А воинъ,—помяни его, Богъ,—увидѣлъ насъ сквозь окно, вышелъ на крылечко и этотъ самый рогъ мѣдяной въ рукѣ держитъ...

— „Что, говоритъ, братцы, скопились вы къ старику такой силой, аль откуда бѣда пришла?“—„А вотъ, говоримъ, такъ и такъ... Бѣда наша тебѣ извѣстна: до скончанія вѣка на глинѣ да на пескахъ никакъ проволочь животъ невозможно, поколѣемъ отъ голодухи!.. А загорскій баринъ—хочетъ ждетъ, хочетъ нѣтъ; его дѣло хозяйственное... Да мы-то сна и спокоя не видимъ за это время,—все про барина думаемъ! Отецъ, воинъ храбрый, кормилецъ! ужъ коли ты батюшкѣ-царю умѣлъ служить вѣрой-правдой, то послужи и міру убогому... Чѣмъ послужишь—сами того не знаемъ, а что скажешь—такъ и зарубимъ, и ужъ дальше никуда отъ зарубины, тутъ всѣ и ляжемъ вповалку...“

— „Понимаю,—говоритъ,—слова ваши“. А самъ рожкомъ-то своимъ вертитъ этакъ въ рукахъ, и усы ходятъ...—„Правильно, говоритъ, ребята! Это бы всѣмъ вашимъ поколѣніямъ на пользу... Одна бѣда—какъ двѣ тысячи изъ пустой сумы вынешь?“

— „Вотъ въ этомъ мѣстѣ, батюшка, вся и заковыка у насъ. Кабы было въ сумѣ, иная бы совсѣмъ пѣсня!.. А дѣло, вишь, вѣковѣщное, святое. По ту пору и крѣпки мы, пока на землѣ сидимъ твердо, да ежели помягше, почернѣе она—насъ и не сдвинешь! Есть у насъ въ мірской кошелкѣ сто шесть цѣлковиковъ,—оцарапали всю деревню и больше не выискали,—тутъ вся душа наша и сила наша...“ Въ это время два изводителя главныхъ — Тарасъ да Флегонтъ — бухъ въ ноги воину... А мы всѣ шапки долой, да всѣ въ голосъ: „Отецъ! чѣмъ послужишь — сами того не знаемъ, а что скажешь намъ, такъ и зарубимъ, и ляжемъ всѣ вкругъ зарубины!..“ Опѣшилъ и воинъ отъ этого; рожецъ свой положилъ на приступокъ, въ затылкѣ рукой достаетъ и въ небо глядитъ, и на насъ глядитъ задумчиво. Да вдругъ и спрашиваетъ у стариковъ: „Отвѣчайте, дѣды, по совѣсти: крѣпко сидитъ Богъ въ вашемъ сердцѣ?“

— Вышла тутъ заминка у насъ,—стоимъ безгласно. Какой отвѣтъ дать—не знаемъ!.. Да помяни Господь Тараса и Флегонта, они насъ и тутъ выручили.—„Яковличъ, говорятъ, ваша милость! коли про Бога забудемъ, такъ ужъ, стало-быть, мы и не люди, а скоты-травоѣды... Безъ Бога въ сердцѣ все наше мужицкое царство треснуть должно у днища! Безъ Бога и богатыря тягота одолѣетъ. Есть Богъ въ сердцѣ у насъ!“ Отъ словъ этихъ словно омолодѣлъ и просіялъ розный-жиляный, глядитъ привѣтно на стариковъ, на всѣхъ насъ глядитъ, а въ глазахъ-то ровно бы слезы играютъ... говоритъ: „Хорошимъ словомъ старцы отвѣтили! Коли на то пошло, попытаюсь, братцы, и я тряхнуть своей сумкой, авось и я кое-чего нацарапаю!.. Копилъ долго, упрямо копилъ, потому—хоть и не изъ робкихъ я, а чернаго дня боялся... Да подъ старость сумленье напало: „Такъ ли? Ладно ли, что для одного солдатскаго брюха заботы столько? Не ошибка ли—въ одну эту сторону хвачено?“—А вотъ, гляжу теперь—не ошибка!.. Благодареніе Богу—пригодилось на доброе... Теперь и я понимаю, что мірское дѣло,—

коли справедливо оно,—дѣло великое!..“ Разспросилъ у стариковъ всю суть нашу, да и крикнулъ: „Вали, братцы, всей силой къ загорскому барину, — солдатъ съ вами!“

— Въ ту пору, сударь, мы и сами не понимали толкомъ— зачѣмъ всѣмъ міромъ тянемся къ солдатской хоромѣ? Одно дѣло — искали облегченья душѣ! А милость Божья, какъ день ясный, свалилась на деревню всей полностью... Намъ и на разумъ не шло, что Арсентій Яковличъ стронется за насъ всей душой и всей денежной силищей, да ужъ, знать, былъ часъ такой распріятный. Съ этого часа и загремѣли мы по всей окружной, и, можетъ статься,— за триста верстъ шумитъ наша слава... Такой дачи, какъ наша загорская, обойди пять уѣздовъ — не выищешь! Въ первый годъ засѣяли рожью на новинахъ, воздынулась она, что стѣна золотая, въ ростъ человѣка: колосъ наливной въ перстъ толщины, и весь дремитъ къ землѣ отъ благодатнаго груза... Привезли мы воина — глядѣть на богачество наше, склонились передъ нимъ, какъ колосья, говоримъ: „Отецъ! воинъ христолюбивый, теперь, братъ, мы справны до конца вѣка... Спасибо! Дай Богъ здоровья вамъ съ Анной Михайловной! Радуйся, кормилецъ, съ нами, эта радость святая, нѣтъ у мужика на землѣ яснѣй радости! Такой ржи — обойди всю подселенную—во сняхъ не увидишь...“ И радовался старецъ дюжо, глядѣлъ на насъ весело, хвалилъ... „Хорошо, братцы!— самъ я теперь все вижу, все понимаю“...

— И пошелъ съ того года по столамъ у насъ чистый хлѣбъ. Залишки взялись у иныхъ. По духу торговый народъ развѣдалъ, что объявилась новая хлѣбная деревня на бѣломъ свѣтѣ, — нагрянулъ къ намъ съ шиломъ, съ мыломъ, съ гребнями и кумачами... „Мойтесь-де, братцы, чешитесь глаже и щеголяйте на здоровье за труды праведные!“ Деревня вдругъ будто на четыре ноги разомъ встала, и будто рога этакіе возросли у ней: — уходи прочь, нужда,— забодаю! Вотъ и живемъ теперь, — благодаренье Создателю, — наработаемся до пота, помолимся Богу вечеромъ, заляжемъ на лежанкахъ да на печахъ, какъ имянинники

безъ конца... Нужды нѣтъ у насъ — въ города ходить на работу; всѣ дома работаемъ. Да и спаси Христосъ всякаго: городъ облыжникъ — сейчасъ приманитъ тебя, облеститъ, а тамъ, гляди, и оборветъ разомъ! Много есть такихъ примѣровъ на округѣ... А коли сидитъ мужикъ на доброй полоскѣ, да коли вволю ее, — такъ и немудрящій человѣкъ радуетъ Творца своей долей. И до скончанья вѣка такъ будетъ: коли у мужика земля есть да коли поставленъ онъ въ обиходѣ по-человѣчески,—нѣтъ выше житья на землѣ! Вотъ, сударь, съ чего пошло хорошо у насъ: отъ чужого добраго человѣка! Теперь всѣ смежныя деревни завидуютъ намъ, ни у кого нѣтъ такого угодья богатаго; у всѣхъ — глина да пески, какъ у насъ до загорской! Ну и нечѣмъ людямъ воздынуться, и бѣдствуютъ... И теперешнее дѣло наше взялось тоже отъ зависти. Сами вы это дѣло разберете законно. Тутъ вся свара отъ того пошла, что есть межъ пеньковцевъ смутьянъ одинъ и завистникъ, Михайло-горбачъ,—вотъ онъ все это дѣло и пустилъ на сутягу, чтобы отрѣзать конецъ луговъ. А мы и на небеса сейчасъ всѣ перекрестимся, что луга наши испоконъ вѣка, съ Адамовыхъ временъ мы ихъ косимъ! Держи правду всегда... Я первый— всякому нуждающему помогу отъ сердца, — это законъ человѣку. Ну, а если человѣкъ норовитъ мою краюху шарапомъ угресть—забарахтаюсь! Вотъ, сударь, дѣла какія!.. А тутъ насталъ часъ, упокоилась Анна Михайловна. Затужилъ съ той поры и самъ воинъ, осунулся весь, затосковалъ, и не стало слыхать разливного рожка на деревнѣ... И самимъ намъ ровно бы не по себѣ стало, будто и у насъ потерялось что рѣдкостное,—жаль всѣмъ было одинокаго воина. А онъ, бывало, повстрѣчается, — весь сумерный, грузной, да и скажетъ: „Не долго, братцы, и я проживу у васъ на деревнѣ, нажимаетъ меня, — крѣпко я былъ привязанъ къ покойницѣ. Да и время беретъ свою порцію... Всякихъ штукъ я повидалъ на свѣтѣ, исчувствовалъ многое, ну, значитъ, и дошла моя порція. А скажу по душѣ: жаль,! — пріобыкъ я къ здѣшнему обиходу... Народъ вы покладный,

дружный; хорошо глядѣть на ваше житье простое! Такъ и навсегда живите, такъ и ребятъ пріучайте. Цѣпляйтесь другъ за друга, помогайте тамъ, гдѣ ослабло. Пусть будетъ одна душа на деревнѣ, а лишь тѣла разныя! А коли охалы объявятся — не давайте имъ ходу впередъ, кучей на нихъ налегайте, они и не пойдутъ кверху... А остаточки мои, коли что сдѣется со мною по волѣ Божьей,—пусть вашимъ ребятамъ останутся. Учите ребятъ на добро: житье наше уходитъ и не приходитъ, остаются одни дѣла наши. Вѣдь и я помню явственно, какъ бѣгалъ маленькій по зеленому ковылу, межъ цвѣтовъ, подъ горячимъ солнцемъ... И ежели мыслями обернуться назадъ: чего только не было въ прошлой жизни! А къ теперешнему часу та жизнь — ничего, все будто отъ сновъ остатки... Все, что тамъ — впереди, все ребячье! А коли худого ребятамъ подсунете въ золотую пору, и вдали не будетъ хорошаго! Да и вамъ завѣтъ отъ меня: когда все избудетъ—помяните Аннушку мою да меня, грѣшнаго человѣка, въ молитвахъ вашихъ...“—Поговоритъ бывало, и уйдетъ сумерный въ свою свѣтлую горницу, и неслышно... Прошло съ годъ времени, и Господь прибралъ его душу. Въ тотъ часъ, сударь, — какъ теперь помню,— и сами мы всѣ огрохли отъ тяготы скорбной, и словно за робѣли передъ бѣдой... Этакая сила въ головѣ, этакая заслуга агромадная передъ царемъ и мужикомъ убогимъ — и все какъ туманъ стало?.. А тумановъ, сударь, даже наши каменные старики боялись, — изъ тумановъ мы только-что вышли тогда на гладь жизни. Провожали мы усопшаго добродѣя нашего на погостъ всей деревней, — можетъ сколько тыщъ годовъ не было этакого, чтобы отъ сосуна малаго до послѣдняго калики грянула деревня за гробушкой! И скажу прямо: не шибко плаксивы мы, а слезъ было. Души было жаль... И какъ послѣ воина успокоились — дѣдъ Тарасъ да дѣдъ Флегонтъ, — не осталось такихъ душъ на землѣ...

Голосъ Перфилія дрогнулъ, онъ умолкъ, какъ бы припоминая забытое. Я глядѣлъ внимательно на безмолвныхъ

мужиковъ: лица сосредоточенныя, глаза зорко устремлены на разсказчика; у дяди Ерофея катились по щекамъ слезы. А Егоръ Иванычъ, Онисимъ Степановъ и еще трое другихъ сидѣли въ пригинку, уставясь глазами въ землю, видимо переживая вмѣстѣ съ разсказомъ Перфилія то былое, когда они „горѣли нутромъ", болѣли душою, радовались и тужили,— и когда въ средѣ ихъ „камни были живые", т.-е.— люди, все истерпѣвшіе, изнесшіе на сердцахъ грузъ заботъ, обидъ, несправедливостей, но до могилы не потерявшіе ни вѣры, ни смысла жизни, до конца дней хлопотавшіе „за весь міръ".

— Всѣ мы тогда понимали душой,—сказалъ Перфилій,— что поболѣ отца потеряли... Невѣдомо отколь, будто съ неба, предъявился къ намъ человѣкъ чужой съ виду, а душевный, — обогрѣлъ всѣхъ, освѣтилъ, обопёръ и сокрылся навѣки въ глухой могилкѣ! Лежало въ сундукѣ капитала поболѣ сотни, — положили мы капиталъ этотъ въ Господень храмъ на вѣчное поминанье души... Остался вотъ этотъ самый домъ сиротиной, и не знали мы, что подѣлать. Хоромина въ родѣ поповской — крѣпущая, новенькая совсѣмъ. Тутъ пріѣхалъ нашъ благовѣщенскій дьяконъ-зуда, краснобай этакой, вертлякъ, богомолъ и мукомолъ въ одно время, — оглядѣлъ хорому, посулилъ сто тридцать рублей, чтобы взять на увозъ ее въ Благовѣщенское, и чтобы денежки уложить тоже на вѣчныя времена въ Господень сундукъ, чтобы душу воинову поминать до самаго преставленія свѣта. А въ эту самую минуту Егорій Иванычъ и взялся со своей головой изъ народа. — „Слушайте, — говоритъ, — старички, что скажу... Неужли, говоритъ, никому не въ примѣту, что дѣдъ Сысой словно бы въ рѣшетѣ живетъ: того и жди — огрохнетъ Сысоева харуха и притиснетъ дѣда потолочинами, а намъ всѣмъ рѣха навалитъ горой?.. А подумайте про тетку Орину съ внучкой: и голодаютъ онѣ, и холодаютъ, и тоже живутъ въ рѣшетѣ, а мы сыты всѣ и въ теплѣ, невдомекъ намъ нее горе безгласное, не доходитъ до сердца болью... Ста-

рички! изба воинова теперь мірская хоромина, и самъ Арсентій Яковличъ не придетъ съ того свѣта. Да и придетъ ежели — жить въ хоромкѣ не будетъ... Обсудить надо дѣло, чтобы перевести въ мірское наслѣдье дѣда Сысоя да старую тетку Орину съ внучкой. Да ужъ стало дѣло — не будетъ убытку сытой деревнѣ, коли она и хлѣбца дастъ горюнамъ?.. Вѣдь не нынче — послѣ, а придется хорошимъ мужикамъ начинать дѣло съ этого, чтобы не было безъопорныхъ сиротъ на деревнѣ... Грѣхъ слабосильниковъ оставлять безъ подмоги! И всего-то, коли расчесть, по недѣлѣ на домъ въ годъ присчитается... И хоть я не богаче другихъ — первый беру на себя три недѣли, и пока живъ на землѣ—продержу мое слово! Пущай всѣ знаютъ, что Батенково своихъ сиротъ въ теплѣ держитъ".

Тутъ замѣшался безмолвствовавшій все время рыжеватый старикъ—дѣдъ Захаръ,— рванувшись восторженно ко мнѣ, онъ заговорилъ сгоряча:

— Господинъ, истинно тебѣ скажу: Перфилій говоритъ вѣрно!.. Это хошь сейчасъ припечатать, — я руку свою приложу первый!.. Хорошо, братъ - Перфилъ, досконально!.. Праведливое слово: одна душа, а тѣла разныя!.. Вся наша жизнь, господинъ, произошла отъ этого самаго воина, — просіяніе онъ далъ намъ, и слава наша шумитъ, можетъ-статься, за тыщу верстъ по Расеи! Егорій Иванычъ, вѣрно Перфилъ сказываетъ? Не ты развѣ надумалъ этакое?

— Кажись, вѣрно... Да и одинъ ли я? Можетъ-статься, и всѣ такъ думали, а только у перваго у меня съ языка соскочило...

— Во, братъ, во, — это самое! А оно-то и есть заковыка въ дѣлѣ, за это за самое душа наша и зацѣпилась, и просіяла!.. За это я сейчасъ готовъ съ кѣмъ хошь на споръ подынуться — голая правильность и душа!.. Егорій Иванычъ, погляди-ко очами: вишь, ажно и барину стало любо отъ нашего?.. Значитъ, и самъ господинъ проникъ душой въ это дѣло!.. Я, Егорій Иванычъ, правду скажу, какъ камень

Перфилъ: ты нашъ шкворень, ты нашъ новый деревенскій брусъ, дубъ!.. Перфилъ Климычъ, говори, братъ, господину всю окончательную, а мы подтвердимъ...

— Ну, знамо, удивились старики этой рѣчи, — сказалъ Перфилій:—притихли разомъ, глядятъ на Егорья. А потомъ и рѣшили: „А ну, братцы, — давайте ради шутки Егорку послушаемъ, переведемъ пробы ради нашихъ бобылей на воинову одворицу?“ Хлѣбомъ мы въ ту пору совсѣмъ были справны, про былую нужду позабыли, шли изъ первыхъ на округѣ, — ну, а все же несподручно выглядѣло сперва, боязно было, что осмѣютъ насъ за такую затѣю всѣ прочіе! Однако, смѣху не слышалось. А тутъ Егорій Иванычъ взялъ кисть въ руку да и раздѣлалъ надъ сѣнями: такъ и такъ — *памятникъ!*—Выходило такъ, сударь, что и сами мы первое время стояли въ сумленіи, и что все ради шутки затѣяли, — а Егорій этой самой надписью будто паникадилой освѣтилъ затѣю: всѣ поняли большое деревенское дѣло, возгордились въ душѣ, поднялись!. Теперь у насъ самый бедащій ершомъ ощетинится ежели, напримѣръ, человѣкъ въ слабосильи, — это ужъ у насъ въ родѣ моды пошло... Живемъ по завѣту воина — дружно и по-душевному, да и помѣхи нѣтъ въ этомъ, — всѣ сыты, всѣ обогрѣты. Теперь въ этомъ памятникѣ четыре души проживаютъ, да внучка Ориньина... Есть двѣ старухи чужихъ: одна изъ Обноскова, другая изъ Мухриловой горки доставлена по протехцыи... Потому, такой хоромины нигдѣ нѣтъ; а харчей высылаютъ настоящую порцыю. Весь народъ теперь раскусилъ это дѣло, прозрѣлъ — каково слабому старью въ одиночку жить безъ подпоры!.. Отъ сердца, сударь, скажу: лестно и задушевно. Хвастать грѣхъ, а утаить про хорошее — грѣшнѣй двое!

Перфилій умолкъ. Никто изъ компаніи не отозвался дальнѣйшими объясненіями; всѣ чувствовали, что прибавить нечего и сидѣли въ раздумьи, сознавая, что старое — тяжелое прошло невозвратно. Похоже было, что въ безмолвіи томъ скопился клубокъ тихаго и яснаго счастья деревни,

въ которомъ имѣли цѣну не только свои животы и головы, а и чужія сиротскія. Казалось, что и надъ самой деревней, внѣ предѣла чувствующихъ душъ, распростерлось крылатое благоволеніе... Красивой чередой стояли зеленыя березки вдоль улицы, желтѣлся разсыпчатый песокъ, а избушки съ коньками, съ балясными крылечками и цвѣтными наличниками выглядѣли сказочнымъ городомъ, гдѣ отъ начала вѣка все безобидно, все ясно и добросовѣстно... Съ разныхъ сторонъ доносились къ нашей безмолвной компаніи отдѣльные, ослабѣвшіе клики и говоры, — отзвуки затихавшаго праздника. Пройдетъ ночь, и новый праздникъ встрѣтитъ деревня — праздникъ великаго Духа Божія, — свѣтлаго, чудодѣйнаго, нерукотворно создавшаго океанъ, поля батенковскія, зародившаго въ невѣдомыхъ даляхъ прошлаго душу солдатскую, живую, — которая появилась на свѣтъ гдѣ-то въ далекой „саратовщинѣ", и ушла куда-то въ невѣдомое — изъ деревни Батенковой...

Мы всѣ глядѣли на „памятникъ", который въ тихія вечернія минуты выглядѣлъ необыкновенно торжественно, окрашенный лучами заходившаго солнца, выступавшій на фонѣ бѣло-розовыхъ яблоней.

Черезъ недѣлю работа моя подошла къ концу. Она свелась къ тому, что, — какъ говорилъ Перфилій, — „выворотила наружу кривую душу у горбача-Михайлы, да и у другихъ пеньковцевъ"... Батенковцы ликовали отъ возстановленной на нерушимомъ фундаментѣ справедливости, и по какой-то непонятной причинѣ большую заслугу „присчитали" мнѣ лично въ этой побѣдѣ „надъ пеньковскими идолами", — глядѣли на меня благодарно, какъ бы на нѣкоего „добродѣя" и соучастника...

Перфилій-Дубъ, Егоръ Ивановичъ, безстрашный дядя Ерофей, дѣдъ Захаръ, Онисимъ Степановъ и еще нѣсколько мужиковъ собрались на мои проводы. И мнѣ вдругъ чего-то жаль стало при разставаніи съ ними, грустное чувство закралось въ душу... Я незамѣтно для себя успѣлъ войти съ этими простыми людьми въ хорошія, дружескія отно-

шенія, и самымъ главнымъ, крѣпчайшимъ звеномъ въ связи этой, пожалуй, былъ памятникъ.

По выѣздѣ изъ деревни, въ полуверстѣ отъ нея, на широкомъ уклонѣ горы, рядомъ съ узломъ четырехъ проселковъ, закладывался на аршинъ въ землю фундаментъ изъ валуновъ, бѣлѣлась въ грудѣ известь, высились штабели теса, бревенъ, стойки обожженнаго кирпича. Было видно, что кто-то надумалъ глубоко и широко присосѣдиться къ деревнѣ Батенковой, пожить рядомъ съ нею въ сласть и въ пріятельство. Я поинтересовался узнать — что строятъ? Но мои деревенскіе друзья и сами толкомъ о томъ не вѣдали.

Какой-то пришлый человѣкъ, Якимъ Ниловъ, еще минувшею осенью объявился невѣсть откуда на округѣ, купилъ у помѣщика четырнадцать десятинъ земли, заплатилъ не въ примѣръ дорого, а какое заведеніе оборудуетъ на землѣ, что на мысляхъ у него, — неизвѣстно. Перфилій говорилъ:

— Вѣрнѣе всего — затѣется на этомъ мѣстѣ хлѣбное дѣло: будетъ скупка хлѣба у мужиковъ; здѣсь мужикъ хоть и мелокъ, да зато частъ, какъ крапива въ тѣни... А мужикъ—хлѣбъ! Полагаю я: отъ этого для деревни настанетъ еще одно облегченіе...

По мысли Перфилія выходило такъ, что и пожелать нельзя лучше: въ глухомъ деревенскомъ углу, межъ пней и болотъ, настанетъ серебряная пора — бойкій и выгодный обмѣнъ полевого, хоть и нелегкаго, но вольнаго труда на спресованные, — невѣдомо чьи труды, — деньги. . А деньги — сила! На деньги можно для набожныхъ старухъ часовню соорудить на Батенковой, для рѣзвыхъ — школу построить, для хозяйственныхъ — еще прихватить землицы у загорскаго барина; а гребней, помады, ситцевъ и кумачей щеголихамъ и щеголямъ – сади кучей!..

Однако, Егорій Иванычъ слышалъ о новой постройкѣ другое, онъ сказалъ:

— Говорятъ иные, что здѣсь будетъ торговля всякимъ хозяйственнымъ!.. Близъ самаго носа нашей деревни, слышь,

пойдутъ въ ходъ московскіе миткали безъ подмѣсу, бомазея разная, пуговицы, соль, серпы, косы, вилы и рукавицы?.. И я скажу: оченно хорошо. Уѣздный городокъ нашъ не близко, за всякимъ мелкимъ дѣломъ ѣздить туда—себѣ въ убытокъ. А въ селѣ, въ двухъ смежныхъ лавочкахъ, засѣли два такихъ дьявола, прости Господи,—деруны, одно слово... Грабиловка форменная! Сидятъ два родныхъ кума: одинъ по красному товару обдираетъ всю округу, другой по хозяйственному и по питейному отдѣленію...

Тутъ вмѣшался дядя Ерофей, круто разойдясь съ догадками и соображеніями Перфилія и Егорья Иваныча, онъ сказалъ, горячась:

— Ой, робятки, оба вы толсто лгете! Вотъ мое слово, да и баба моя, Аксинья, такъ полагаетъ, не что иное, а кабачей затѣвается на землѣ!.. Смѣкай: теперича этихъ самыхъ кабаковъ новыхъ, за короткое время, прозрѣло въ уѣздѣ, баютъ, одиннадцать? Ну, вотъ те для ровнаго числа будетъ — двѣнадцатый...

— Самъ лгешь толсто!—отвѣтилъ сердито Перфилій.— Здѣсь кабаку дѣлать нечего; здѣсь сторона тихая, а народъ стойкій, хозяйственный. Лыковый народъ, одно слово, — не пойдетъ на приманку... Здѣсь кабакъ — околѣетъ!

Всѣ мы дружно засмѣялись на ловкій отпоръ — „кабакъ околѣетъ!“ Такого случая,— оказалось,—ни самъ Перфилій, ни престарѣлый Захаръ, да и всѣ остальные мужики не только не наблюдали нигдѣ лично, но и отъ дѣдовъ не слышали! Выходило что-то очень замысловатое, неизвѣданное... Но подошелъ конецъ веселому настроенію, друзья мои поснимали шапки и, глядясь на меня, говорили участливо:

— Прощай, Владиміръ Миколаичъ, — дай Богъ здоровья!..— Оченно до свиданья, господинъ!— Спасибо, братъ, что послужилъ міру: не покривилъ нигдѣ своей цѣпью и не подсунулъ въ бокъ вострой лябіей... Это мы всѣ понимаемъ въ душѣ, а Господь Богъ причислитъ тебѣ за это... Пошли те Христосъ добра нажить да чиновъ толстыхъ! А,

господинъ, коли живъ-здоровъ будешь, да коли Господь понесетъ тебя мимо нашихъ мѣстовъ — рѣжь на насъ! Пріѣзжай, какъ домой: молочка топленаго, сметанки, яицъ... А осенью нагрянешь — заморимъ тебя яблоками, — яблоки у насъ первый сортъ изъ всей округи! Дай Богъ здоровья...

Мнѣ было грустно. До ѣдкой боли стало жалко мнѣ разставаться навсегда съ тихимъ угломъ, съ простыми, сердечными людьми. Обидно было, что со всѣми ими мнѣ уже не удастся увидѣться въ этой жизни... А въ „ту" жизнь, по молодости ума, я вѣрилъ съ нѣкоторымъ затаеннымъ сомнѣніемъ...

Дорога все уходила выше... Съ самаго тычка горы передо мною развернулась широкая даль, на всѣ стороны поросшая молодяками, развернутая лугами, вспаханными полянами, волнистая, пестрая, зеленая на всѣ тоны... Кучка мужиковъ толпилась около бревенъ и извести, — пріятели глядѣлись на верхъ горы въ мою сторону, кто-то размахивалъ вправо и влѣво шапкой... А за ними, невдалекѣ, среди простора огородовъ и выгона, на пологой бугровинѣ виднѣлась Батенково, и отдѣльно маленько, среди купъ яблонника выдѣлялся отчетливо диковинный памятникъ.

На мысляхъ у меня замелькали почему-то тѣни—„грознаго-жилянаго", но отзывчиваго на добро Арсентія Яковлича и еле памятнаго самимъ батенковцамъ „зачала всѣхъ дѣлъ"— дѣда Михайлы; замелькали и другіе неясные образы — „каменные старички"—дѣдъ Тарасъ да дѣдъ Флегонтъ, мірскіе болѣльщики и молельщики. Думалось мнѣ: сколько такихъ свѣтлыхъ душъ бьются на поляхъ человѣческаго существованія, но гибнутъ втунѣ—зря, заглушаемыя упоромъ общихъ тяжелыхъ условій; черныя силы жизни грязнятъ и душатъ ихъ, загаживаютъ и охлаждаютъ жаркіе порывы къ свѣтлотѣ, къ общей радости. Рѣдко кому удается безнаказанно опустить поглубже въ жизнь людей корни хорошаго для всѣхъ,—здѣсь на округѣ посчастливилось лишь солдату... „Чужой солдатъ" рѣзко выдвинулся впередъ „на чужой окру-

гѣ“, вытянулъ изъ глухого-голоднаго подполья „славу“, подынулъ ее высоко и „шумитъ слава“ всѣмъ на пользу и всѣмъ на радость...

Но тутъ мнѣ стало казаться, что увлекся я... Что—строго говоря—ничего не было особливаго во всемъ томъ, что удалось мнѣ видѣть и слышать,—что это такъ и быть должно, если считать, что живемъ мы въ странѣ истинно понятаго, чистаго христіанства, — съ глубокою вѣрою въ Бога и въ Его правду, а при такомъ христіанствѣ должны быть общими для всѣхъ—горе и радости, голодухи и почесухи, сытость и свѣтлота, и не должно быть даже пяди мѣста лицемѣрамъ, обманщикамъ, ни кулакамъ, ни насильникамъ-нахаламъ жизни! Никто не смѣетъ прятаться въ кожуру своихъ личныхъ удобствъ, наращивать вкругъ себя броню неуязвимости, чтобы только самому тепло и хорошо было, чтобы можно было спокойно закрыть глаза, заткнуть уши и утонуть въ сладкомъ. Всѣ должны быть Козьмами Миниными, всѣ должны и обязаны молиться, болѣть и радоваться другъ о другѣ... И старый солдатъ ничего не сдѣлалъ особеннаго: поступилъ такъ, какъ поступаютъ всѣ умирающіе, „ничего лишняго на тотъ свѣтъ не берутъ съ собою... Все оставляютъ здѣсь“. Будь щепетильно аккуратны умирающіе, будь жадны до крайности, будь у нихъ, словомъ, хоть ультраалчная кровь въ сердцѣ, а все равно—пойдутъ въ иной міръ лишь въ саванѣ!

Но тутъ-то и получалась нѣкоторая зацѣпка... Бываютъ разныя оставленія: одни оставляютъ послѣ себя на землѣ миръ и благоволеніе, другіе безразличную пустоту, а третьи—зло неизживное, которое горькими ядовитыми каплями просачивается въ слои жизни людской, загнаивая ее, и растекаются эти капли, идутъ въ ширь и глубь, зажигаютъ антоновымъ огнемъ все цвѣтущее, крѣпкое. По однимъ остается на землѣ на многіе годы добрая память, по другимъ— проклятія и укоры... Не мало я повидалъ, изжилъ и перечувствовалъ потомъ въ жизни разной всячины, но, подобно дядѣ Ерофею, до сей поры даже среди бѣла-дня всего

больше страшусь людей безъ души: черствыхъ, расчетливыхъ, безстыжихъ и холодныхъ внутри, съ вытравленною при зарожденіи совѣстью, а ихъ много, много...

II.

За повседневными хлопотами и заботами незамѣтно для меня прошло много лѣтъ, куда дѣвались они? Я не помню... Но одинъ случай, однако, стоитъ у меня въ памяти толстымъ коломъ. Мнѣ снова пришлось работать въ — ской губерніи, неподалеку отъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ, когда-то давно, осталось у меня зерно дружбы. Чтобы навѣстить старыхъ батенковцевъ, поглядѣть на ихъ жизнь, мнѣ приходилось охватить большой крюкъ, но я не устоялъ передъ искушеніемъ— полюбоваться еще разикъ на тихія мѣста, на добрыхъ, умаявшихся отъ жизни пріятелей, послушать „шумъ“ ихней славы.

Была осень. Погода стояла холодная и дождливая, дорога лежала тяжелая. Вблизи дороги шумѣли уныло обнаженные перелѣски, а съ сѣраго ползучаго верху опускалась на дорогу пронизывающая, водянистая пыль. Казалось, что нѣтъ конца дорогѣ, ни холодному вѣтру, ни мокрой пыли. Но, слава Богу, показалась невдалекѣ знакомая деревня, и на душѣ у меня обогрѣло... Мнѣ ясно представилась давно минувшая, роскошная весна съ Троицею, яркая зелень полей и луговъ, задернутыхъ сплошнымъ пестрымъ цвѣтомъ. Теперь же все выглядѣло уныло до тяготы; все было угрюмо, сѣро, безжизненно. Болѣе чѣмъ когда-либо я понялъ тогда всю цѣну красокъ и настроеній и ихъ могущественное вліяніе на ходъ мыслей. Я торопилъ ямщика. Хотѣлось добраться поскорѣй до жилья, разсѣять тяжесть дорожныхъ впечатлѣній,—въ теплой избѣ Перфилія Дуба отогрѣться отъ холода, обсушиться, отвести черствую грусть въ горячей бесѣдѣ. А на мысляхъ вертѣлось: „Каково-то здравствуетъ старина? Ладно ли и остальные батенковцы проводятъ земное время? Вотъ удивятся гостю!..“

Старикъ, везшій меня на парѣ кудластыхъ лошадокъ, не

жалѣлъ силы—шевелилъ плечами, чмокалъ, присвистывалъ, старательно укладывая веревочнымъ кнутомъ ряды ударовъ по мокрымъ хребтамъ лошадей, но въ концѣ не выдержалъ и объяснилъ причину медленности движенія самимъ конькамъ:

— Ежели вы кнута не пужаетесь, то, значитъ, страхъ у васъ, братцы, пропалъ отъ устатку... Теперича—хоть зарѣжь васъ — ничего не помогетъ!

Обернувшись всей бородой ко мнѣ, старичекъ объяснилъ, помахивая кнутомъ въ сторону лошадей:

— Теперича, господинъ, ничего взять нельзя... Теперича коню хоть душу просверли—не помогетъ! И самъ ты, господинъ, умягчись въ сердцѣ, пожалѣй животовъ... Хоть самъ-то я и стебаю ихъ, а до драки я не охотникъ, — сейчасъ мнѣ сдѣлается жаль чего-то... За то, слышь, я и съ бабой своей никогда не дирался? А на такой путинѣ, какъ здѣсь, не токма конь — самъ ерхерей оставитъ въ шляпѣ анбицыю... И тоже вотъ насчетъ коневой души вопросъ: можно ли, господинъ, окончательно доказать, что у скотины не паръ, а настоящая душа есть въ желудкѣ? Вѣдь коли раздумать хорошенько, то, значитъ, найдется сходственное... Вашему брату не часто приходится жить съ конемъ вмѣстѣ, отъ того у васъ и расчетъ другой. А задумайся разокъ: конь-то устроенъ даже способнѣе нашего—и ушми шевелитъ и хвостомъ машетъ, а въ огорченьи вздыхаетъ... А есть иные нѣкоторые, что плачутъ, — вотъ-те Христосъ — плачутъ!..

Вдругъ, на толчкѣ, дѣдъ быстро повернулся къ лошадкамъ и крикнулъ вразумительно:

— Эй, вы, што ли!..

Колеса вертѣлись въ глубокой и липкой грязи; коньки медленно передвигались усталымъ шагомъ; но мы были уже недалеко отъ деревенской околицы. Изъ водяной пыли доносились къ намъ дребезжащіе звуки гармоники, чей-то смѣхъ. Мокрый старичекъ опять повернулся весь въ мою сторону и, указавъ кнутовищемъ на Батенково, сталъ просвѣщать меня на его счетъ:

— Ивану-Богуслову здѣсь празднуютъ въ этотъ день, пива пьютъ, отъ того и несетъ къ намъ весельемъ... Вотъ, значитъ, и мы на праздникъ къ нимъ потрафляемъ! Ивана-Богуслова почитаютъ здѣсь пять деревень: Батенкова, Обносково, Мухрилкина гора, Пеньково и Федчиха. А энъ туды—за бугры влѣво—гдѣ Якимовъ кабакъ, тамъ Господняго Покрова почитаютъ: пива̀ варятъ семь деревень... А только, ежели по правдѣ тебѣ сказать, — мало варятъ ноньче пиво! Ноньче мода такая пошла—упруже на вино налегаютъ. Да и выгода есть: вино забористѣе имаетъ нашего брата, а пить его покороче... И кабаки эти самые разселились ноньче у кажинной почитай деревнюхи, и свое удобство даютъ: на хлѣбъ мѣна, на сѣмя мѣна, на другую разную овощу мѣна... Одно слово, мода этакая завелась новая — вино, вино, такъ всѣ вино и шарашатъ!.. А только, господинъ, я тебѣ прямо скажу: моду бы эту гнать къ лѣшему. Я всѣ порядки здѣшніе оченно хорошо разумѣю, и возьмемъ мы сейчасъ для примѣра Якима Нилыча здѣшняго на разборъ... Вонъ онъ влѣво-то на горѣ возвышается! Доложу тебѣ въ лобъ отъ души: изъ воровского бревна устроенъ человѣкъ этотъ, ни души, значитъ, у него, ни пару, — одна жила! Одолѣлъ его одинъ смыселъ: добыть копейку съ живого и съ мертваго... Якорь-человѣкъ, одно слово! А еще я тебѣ во-што, господинъ, доложу про Якима: застебалъ онъ безъ кнута народъ здѣшній?.. Н-но!.. Эй, старательные, натужьте еще разокъ, и сейчасъ приставимъ господина на линію... А вотъ, господинъ, есть у меня и еще поговорка: въ этой самой деревнѣ каменья жили! Вѣришь, аль нѣтъ?.. Хе-хе!.. Это только фигура въ словѣ, господинъ... Понимать надо: не простые каменья, а что старики были этакіе съ твердотой въ разумѣніи, съ вѣрой... Они, братецъ ты мой, до того твердо вѣровали, что у одного ихняго солдата изъ сумки агромадную земельную дачу вытянули любя, вознаградили этой самой дачей-то всю деревню! Обстоятельно тебѣ разсказать—вотъ въ чемъ лежитъ поученье... Одно время здѣшніе мужики шибко гремѣли загорской дачей, какъ бы англи-

чане средь прочаго народа были. А Якимъ Нилычъ взялъ, развелъ смысломъ и прибралъ ее къ себѣ въ клешни... Вотъ и поди на разборы: гдѣ паскуднички, гдѣ праведнички?.. Хуже нѣтъ на свѣтѣ — въ чужихъ дѣлахъ разбираться, да ще коли съ боковъ темно, а сверху черно. Теперь, во... слышь, никакъ разомъ заиграли въ четыре ермоніи?.. и ничего не подѣлаешь, большая оченно мода развелась на ермоники, — теперечь-ка безъ ней словно и въ житьѣ кисло... Старинные, примѣрно сказать, гудки, рожки да гусли разливчатые не признаются ноньче, — подай ермонію! Взялись, паря, по нашимъ мѣстамъ и пѣсни особенныя,—въ прежнее время, бывало, одну пѣсню сто годовъ пѣли, за то и пѣсня считалась! — и душа радовалась и мѣсяцъ свѣтилъ въ той пѣснѣ, и тоска этакая хорошая тебя ожимала... А ноньче, слышь, всякій возгрякъ ермонію несетъ домой съ фабрики и пѣсень несетъ, да такихъ, что и послушать-то ихъ зазорно... Словно тамъ ихъ самъ чернякъ обучаетъ къ бездушному! Охъ, господинъ, поговорилъ бы я много хорошаго про жизнь нашу, да говорить кругло не умѣю!—одно у меня заскочитъ высоко, а другое зацѣпится... Языкъ, значитъ, у меня по нашей природной фамиліи нерѣшительный,—рѣчь у меня въ душѣ. Самъ-то я, братецъ мой, стою за порядки, да только гдѣ они ноньче? Скажи мнѣ: гдѣ? Нѣту ихъ на землѣ, вотъ что!.. Одно озорство осталось въ большомъ и въ маломъ; споизъянилась душа, значитъ, полагать надо... Не туды, примѣрно, заворачиваетъ жизнь нашу, словно какъ ось въ телѣгѣ. Ежели ось криво прилажена: конь хошь и прямо идетъ по дорогѣ, а колесы все забираютъ вкривь, все вкривь, ну и затяжка въ движеніи!.. Одна разница есть, господинъ: ось можно выпрямить, — останови коня и ладь прямо... А житье остановить развѣ можно? Никакъ нельзя, потому что это совсѣмъ другой сендерей... Тутъ все на ходу ладить надо, а на ходу-то—какъ разъ подъ копыткой у жизни будешь... Вотъ про одну эту самую батенковскую деревню можно бы разсказать тебѣ три проповѣди, да коли взяться за это—концовъ не поймать! Такіе были у меня и родители:

покойникъ-батюшка, покойникъ-дѣдушка, покойникъ-двоюродный мой дѣдъ, братъ, значитъ, настоящаго моего дѣда, Матвѣй-кочерга по прозванію... были они всѣ мужички праведливые, съ головой, а чтобы рѣчь этакую запустить на сходкѣ—не могли, баринъ! Иной этакой, примѣрно сказать, рубитъ какъ косаремъ, будто щепьемъ засыплетъ тебя словесами, и законъ укажетъ, и почитаніе... А мои, покойники, только душой вывозили,—законъ у нихъ былъ въ нутрѣ...

Когда мы вкатились въ Батенково, чѣмъ-то тяжелымъ — нерадостнымъ повѣяло на меня со сторонъ,—знакомыя, когда-то крѣпкія, съ коньками и затѣйными крылечками избы выглядѣли непривѣтно и неустойчиво,—у иныхъ нижніе вѣнцы бревенъ совершенно обгнили, и избы осѣли на-бокъ; яркіе колера наличниковъ—ретивые труды Егорья Иваныча—выцвѣли, крыши обрѣшетились, будто вынесли на себѣ рядъ невзгодъ безъ поддержки извнѣ; частоколы, тыны, огородныя постройки—все отражало забросомъ. Казалось, что въ деревнѣ жили не свои мужики, а чужіе, у которыхъ заглохла въ душѣ святая потребность къ житейскому уюту и домовитости,—все заглохло!.. Однако въ покосившихся хоромахъ кипѣла шумная жизнь: со всѣхъ сторонъ доносились на улицу — веселый говоръ, пѣсни, какія-то не то восторженныя, не то бранчивыя выкликанія. Навстрѣчу намъ, черезъ избные завалы—изъ глубины улицы—надвигалась компанія молодежи, впереди другихъ выступалъ браво малый лѣтъ тридцати, съ усами, съ гладко выбритымъ подбородкомъ,—повидимому изъ солдатъ, въ новомъ синемъ пиджакѣ, въ щеголеватыхъ сапогахъ съ бураками, — „бураки“ были пестро расшиты цвѣтами и завитухами, представляя въ рисункѣ что-то сходное съ арабесками,—наборы на сапогахъ были „набраны“ на манеръ гармоннаго кузова,—вершковъ въ пять... Видъ щеголеватаго усача былъ развязный и праздничный, въ рукахъ онъ держалъ раздѣланную въ яркія блестки—величиною въ изрядный сундукъ — гармонику. Слѣдомъ за нимъ шли по завалинамъ другіе гармонисты, тоже очень щеголеватые. Шествіе замыкалъ высокій, блѣднолицый мо-

лодецъ въ накрахмаленной рубашкѣ, въ цилиндрѣ съ золоченымъ бантомъ и позументомъ, при ярко-зеленомъ галстукѣ, со штанами выпущенными поверхъ голенищъ, „по-нѣмецки". Вдругъ вся длинная непролазная середина улицы огласилась пѣсней и ревомъ заигравшихъ разомъ шести гармоникъ... Чей-то голосъ выдѣлялся особенно звучно, напѣвая:

„И туды и сюды — ходитъ баба вкругъ воды!
И глядится баба въ воду, и кричитъ всему народу:
„Охъ, народецъ расчесной, потерялся Яшка мой!..
Третій день онъ пропадаетъ—не въ водѣ ли проживаетъ?
Что мнѣ дѣлать, какъ мнѣ быть? Какъ безъ Яшки вѣкъ изжить?..
Я поставлю Богу свѣчку и пойду рыдать на печку...—
Охъ—я, горькая вдова, по землѣ хожу едва,
Подымусь едва на сѣни... разнесло всее отъ лѣни!..
И-ихъ, ну-у, проверни, —
Вынь и рѣпку и корни!
И не брезговай, Матрешка,
Пантелеевой гармошкой:
Музыкалка-матушка
Слаще хлѣбца-батюшка! —
И-ихъ, ну-у, проверни,
Вынь и рѣпку и корни...
И отвѣть, душа-Матрешка:
Золотить ли мнѣ гармошку?
Коль ты молвишь „да аль нѣтъ" —
Извернется бѣлый свѣтъ,
Затуманится погода...
Въ оскорбленіе народа —
Я оброкъ не заплачу,
А гармонь позолочу!..
И съ тобой, съ моей Матренкой,
Да съ гармонью-золоченкой
Вдоль по улицѣ пройду,
Дѣвокъ, бабъ съ ума сведу!..
Эхъ!.. Мирси-мирси-быку!..
А, слышь, французъ-то на боку
Ужъ четвертый годъ лежитъ
И никуда прочь не бѣжитъ?.."

— Вотъ оно, во!..—отозвался сердито мой ямщикъ на гулъ „веселья". Разсуди, умный, чего въ этой пѣснѣ для души

вольготнаго дадено—озорство? Въ наше время, бывало, про лучину пѣли, про калину, про малину, про всякую румяную ягоду... А ишь, нонѣшнихъ, куда черняки завели: ермонію золотить, будто ризу на образѣ, а?.. Слышь, говоритъ: „оброкъ не заплачу, оскорблю весь народъ...“ Посуди: сколько тутъ верстъ до разбоя осталось? И опять вникни: Матренка, значитъ, какая-то, и баба съ Яшкой?.. А у насъ, бывало, затянутъ дѣвицы: „Ходила, младешенька, по борочку, наколола ноженьку на тростинку...“ да, можетъ-статься, триста годовъ подъ рядъ этакъ-то!.. Во—было... А теперь, братъ, вездѣ охватило новымъ, заливаетъ будто волной. А что въ волнѣ слышно? Чужую рѣпу съ корнями дергать? Охъ, господинъ!.. въ старинной пѣснѣ и сокъ былъ, и сметана этакая, и... Э, баринъ!.. да куда же мнѣ тебя заворачивать? Гляди—во—вся деревня пришла къ обрѣзу?..“

Мы остановились близъ строеній Перфилія. Строенія эти хоть и устарѣли замѣтно, но выглядѣли безъ обиды: вездѣ было укрыто, все стояло прямо, какъ прежде, только и здѣсь поблекла совершенно яркость наличниковъ. Изъ оконъ главной избы выглядывало на насъ нѣсколько паръ женскихъ глазъ, а вскорѣ и еще прибавилось... Было похоже, что нагкнулись мы съ ямщикомъ на какое-то бабье царство!

„А ну-ка старый-то Перфилій умеръ давно?—мелькнуло у меня въ головѣ, когда я всходилъ на крылечко.—Вотъ ладно будетъ—гость пріѣхалъ, а хозяинъ на тотъ свѣтъ уѣхалъ!..“ Но вышло все хорошо; другъ мой Перфилій Климычъ помаленечку здравствовалъ, хоть успѣлъ за истекшее время воспріять на себя немалыя измѣненія...

Старикъ сидѣлъ въ углу близъ печки, одѣтый въ домашняго издѣлія набойчатую рубаху, въ полосатыхъ домашнихъ портахъ, уложивъ кисти рукъ межъ колѣней и глядясь въ полъ. Въ избѣ было душно и полно женщинами и ребятами. На изогнувшемся еловомъ шестѣ висѣла плетеная изъ лучинъ „зыбка“, немного поодаль — еще торчалъ шестъ въ наклонку, съ висящею зыбкою на концѣ... Два взъерошенныхъ малыша сидѣли на серединѣ пола и стрѣляли въ шестокъ

кудельными пулями, пріурочивъ вмѣсто ружья — сосновую дудку съ забойкой. Хорошенькая дѣвушка подошла къ Перфилію и тронула его за плечо. Въ избѣ все притихло на мигъ...

— Э, сударикъ! — сказалъ очнувшійся отъ старческой дремы Перфилій, разглядѣвшій и признавшій меня, — и въ ту же минуту будто осѣлъ книзу и будто передернулся судорогой.—Полагалъ я, что память у меня ослабѣла, а вотъ—нѣтъ!—сразу я тебя обозналъ, сударь, право!.. Вотъ оно дѣло какое, какой я... А вѣдь—я чай—не мало годовъ прошло съ того время, пожалуй тридцатка будетъ, аль двадцатка? Какими случаями въ нашемъ углу объявился: дѣла разныя?.. Да вы... сядь! Все, значитъ, обнакновенно служишь да шерстобойничаешь,— то бишь — перемѣриваешь Господню землю?.. А я прямо скажу: земля отъ Бога должна произойти мужикамъ по трудамъ... Какіе законы ни поставь ребромъ, а мужикъ на землѣ—Божій наслѣдникъ! А тутъ, слышь, происходило у насъ и другое... Гораздо послѣ тебя былъ и еще у насъ одинъ изъ вашего брата. Загорскую нашу, значитъ, отмахалъ къ сторонѣ и уѣхалъ! Вашему брату—что? Промѣрилъ, значитъ, отсадилъ по кость и домой, чины добирать, а нашъ братъ—жалься Богу и нишкни въ своемъ сердцѣ... Ужъ ты, братъ-баринъ, не взыщи съ меня, старъ я... Охъ — старъ, глупъ! Такія дѣла разныя бываютъ въ жизни: иное время будто знатный купецъ на тройкѣ вороной ѣдешь боромъ, а иноˀ дойдетъ—въ загуменьяхъ пройдешь воромъ... Да ты, господинъ, говори мнѣ громчѣе: тугой я сталъ значительно въ оба уха...

— Заѣхалъ я поглядѣть на васъ!.. Мимо ѣхалъ...

— Мимо?.. Поглядѣть?.. Доброе дѣло... Худого, говорю, тутъ нѣтъ вовсе! Вотъ и погляди на здоровье, вникни... А я-то совсѣмъ какъ бы прадѣдъ сталъ, не по годамъ, значитъ, а по дѣламъ разнымъ. И хозяинъ стало-быть тутъ не я ноньче; меня,—примѣрно говоря,—будто нѣту... Вотъ ты и погляди, и разбери все доточно!.. Теперь, сударикъ, у насъ здѣсь кругомъ все обмѣряно,—свои землемѣры взросли,—у бабъ взялась востролябія!..

Старикъ замялся въ разговорѣ, какъ бы чего-то сконфузился, и закинулъ глаза къ потолку; въ голосѣ его слышались непонятныя для меня отзвуки и какіе-то намеки на бабью силу... Онъ, казалось, собиралъ въ кучу мысли, чтобы цѣлою суммою ихъ подѣлиться со мною и вдругъ, будто очнувшись отъ тяжелаго натиска, оглядѣлся смѣло кругомъ, взялъ меня за плечо и заговорилъ весело:

— Эхъ... да вы, сударь, чего жъ этакъ-то? Вы вотъ сюда пожалуйте, къ столу! Иришенька, помоги, касатка, хорошему барину снять одежу съ плеча... Пожалуйте къ столу, господинъ, вотъ сюда, — отвѣдайте у насъ хлѣбца-соли. А гораздо ты угодилъ къ намъ: сегодня у насъ Ивану Богуслову гулянье...—по-деревенски, значитъ, у насъ Иванъ Богусловъ почитается въ этотъ день!.. Сейчасъ, братъ-сударь, подкрѣпятъ тебя наши хозяйки послѣ нелегкой пути. Ужъ осень—одно слово!—всѣ переходы она затруждаетъ... Вотъ ужъ сколько годовъ живу я на этомъ свѣтѣ, а она все попрежнему — съ дождемъ, съ воемъ!.. Ну, а только, ежели поразмыслить въ умѣ, то въ нонѣшнія времена и весной путь не легше... Всѣ мосты, значитъ, на путяхъ расшатало!—и весною, и лѣтомъ, и зимой въ нашей жизни залегла хмара... Устинья этакая налетѣла на мужика и притиснула его православно... Наталья Федотьевна! — сказалъ дѣдъ стоявшей у шестка пожилой, энергичнаго вида женщинѣ:—какъ бы, значитъ, намъ самобраночку развернуть на столѣ, гостя-то барина испопоштовать бы чѣмъ есть?.. Это вотъ, господинъ, все родня моя: почитай, всѣ отъ моего колѣна идутъ—эти бабы!.. А, слышь, говорю: теперь, братъ, не въ чинѣ я?.. Чинъ мой отрубили по самый корень!..

— Ну, заголоси теперь, пролей слезы!—сказала Перфилію Наталья Федотьевна, ходившая вкругъ стола и налаживавшая на столѣ потчеванье. —Ты размысли хорошенько — пошто те чинъ занадобился?

— А... Чинъ-то? Ну, Христосъ съ нимъ, съ чиномъ-то пока... Пожалуй, и безъ него пока ладно!

Мы сидѣли со старымъ ямщикомъ близъ стола. Передъ

нами стояла бутылка съ водкой, а въ чашкахъ — соленые огурцы, моченыя волнухи, теплые рыжики въ маслѣ, на цвѣтной тарелкѣ лежали пузатые окуньки... Перфилій придвинулся къ столу ближе, откровенно-пріятельски заговорилъ со мною:

— А я, сударь, совсѣмъ, почитай, оглохъ ноньче, да и слѣпить шибко стало, — иной разъ будто мальчики прыгаютъ на глазахъ, а никого кругомъ нѣту... А то подернетъ инò словно сѣткой? А въ прежнія времена я былъ — ухъ, зорокъ! Одна утѣха есть: никто этого не минетъ, какъ наутекъ пойдетъ время... А примѣтилъ — я чай — что и деревня наша наутекъ побѣжала? Это я къ тому подвожу, что ты долженъ помнить другое у насъ,—нашу славу... Охъ, братъ-господинъ, подошли дѣла немудрящія! — Насъ ныньче здѣсь ровно бы волной, ґоворю, схолонуло, али устинья этакая налетѣла и сдунула... Не устояли мы на твердотѣ, слава наша теперь прошумѣла! Кабы, говорю, хоть умереть, что ль, скорѣе, чтобы не видѣть послѣдняго-то разора, срама-то горькаго, окончательной бѣды нашей. — Ужъ все едино, говорю, — воскресенья мнѣ не дождаться, коротка моя жила... Да и будетъ ли на землѣ воскресенье?— Вотъ, Егорій Иванычъ надумалъ лучше, взялъ да и ушелъ къ Богу,—слышь, онъ давно здѣсь умерши... Такой, конешно, ему предѣлъ былъ отрѣзанъ, а не иное что, да у насъ-то скушнѣе стало на землѣ безъ Егорья, однимъ орломъ меньше стало... А ежели правду молвить: орловъ совсѣмъ ныньче нѣту! И самъ ты не слыхалъ ли чего про Онисима нашего?.. — Онисимъ Степановъ, слышь, живетъ теперь въ городѣ на бутыльномъ заводѣ, — всей семьей тамъ обладился вкругъ бутылей; а домъ на запорѣ стоитъ и никнетъ стѣной къ огороду, словно лечь хочетъ... И многіе наши, сударь, этакъ же вразсыпку ушли въ города, такая ноньче устинья въ народѣ отъ тяготы... Я къ тому веду оборотъ: такъ перевернулись дѣла, что будто теперешнее время нечего и дѣлать на землѣ въ нашемъ мѣстѣ? А мѣсто было хорошее... Теперь всѣ ґоворятъ одно, какъ и мы въ ста-

рину: „на пескѣ, на глинѣ — одна кручина!..“ А, слышь, Владиміръ Игнатьичъ, что я скажу... Нельзя ли и меня, старичка, приладить какъ-нибудь въ городѣ на протехцыи?.. Сейчасъ это мнѣ пришло въ затылокъ, и хорошо бы... Хошь и старъ я, а все бы,—какъ никакъ,—отъ курицъ бы воровъ скараулилъ... Ей-ей, господинъ, — устрой ты мнѣ эту штучку? Туго подошло въ нашемъ мѣстѣ!..

— Климычъ!—сказалъ я,—ты, братъ, запугалъ меня своей грустью... Я ѣхалъ къ вамъ съ умысломъ: хотѣлъ порадоваться на васъ, душою пожить вмѣстѣ съ вами, вспомянуть добромъ прошлое, полюбоваться на новое, оглядѣть вновь славный памятничекъ... А только лишь поглядѣлъ чуть, да чуть прислушался — жутко стало!.. Но я держусь того правила, что никогда не слѣдуетъ выискивать въ жизни однѣ черныя стороны, надо искать свѣтлоту... Жизнь не сказка-устрашительница; правда,—все въ ней идетъ напорно и туго, зато, когда дойдетъ до просвѣта...

— До просвѣта?.. Нѣтъ, братъ-баринъ, ты погоди часокъ, дай я еще скажу одно слово... Большая сказка она, наша жизнь! А только, значитъ, въ простой сказкѣ все по чужимъ ребрамъ деретъ, чужія головы свертываетъ, до нутра не доходитъ... А въ нашей сказкѣ — всякая штучка, почитай, изъ нутра зачинается, сверломъ проходитъ вдоль всей души!.. Вотъ, про свое тебѣ молвлю: душа у меня была мягкая, вотъ я и сдался поскорѣе, и перьевъ теперь у меня въ хвостѣ нѣту... Ну, а только невѣдомо—будетъ ли польза въ жизни, коли на мѣсто меня засядетъ душа тугая, а безъ тепла? Оно точно, — помяни Богъ во царствѣ небесномъ камней прежнихъ, — кабы были камни живы теперь, пожалуй, и теперь бы они извернулись... Да вѣдь чего нѣтъ, того, значитъ, и не возьмешь въ руку! Бываютъ полѣнья дубовыя, а чаще осиновыя... Вотъ ты и погляди теперь, и проникни!..

Перфилій умолкъ и разомъ весь сократился, — уложивъ кисти рукъ межъ колѣней, онъ склонился безпомощно и уставился въ полъ глазами. Было видно, что и въ самомъ

дѣлѣ забрала его въ руки старость, да не простая, а лютая... Мнѣ подумалось, что основной причиной такой перемѣны въ человѣкѣ были крупные семейные нелады, болѣзнь, можетъ-статься? Но разспрашивать было неудобно, много было людей кругомъ. Да и вообще неудобно бередить чужія раны, надо ждать, когда сами онѣ раскроются...

Тутъ заговорила сидѣвшая неподалеку отъ стола какая-то пожилая женщина, глядѣвшая на пригнувшагося безмолвнаго старика съ ясной лаской.

— Своихъ хлопотъ да заботъ была груда, а нашему батюшкѣ не хватало того, по чужимъ бѣдамъ изводился, вотъ вѣрно отъ того и присѣлъ книзу!.. Теперечь-ка, баринъ, и я признала тебя хорошо: землемѣрецъ старинный! И самъ ты тоже поизмѣнился знатно... Когда ты проживалъ у насъ,— я въ ту осень замужъ ушла... Хорошее въ ту пору житье здѣсь было, лучше житья не надо!.. Да грянули напасти разныя, вотъ народъ-то здѣшній и пошелъ на попятку! Первая полоса была: въ самый Петровъ день гроза загудѣла, такая гроза взялась, спаси Богородица!.. На полъаршина, можетъ статься, ледяшекъ съ неба просыпало,—всѣ поля, всѣ луга въ землю вбило... Ничего не осталось даже рукой потрогать,—листковъ въ лѣсу не осталось! Вотъ тутъ-то Якимъ кабашникъ нашу загорскую дачу и прицѣпилъ къ себѣ подъ задатки... А послѣ того, — кажись, не прошло трехъ годовъ,— на скотъ навалило... Почитай, всю скотину извело на деревнѣ. На этой бѣдѣ всѣ осѣли, и загорская разомъ въ Якимовы вороты проѣхала! Тутъ не токма мы—бабы, а и мужики возрыдали!.. А батюшка нашъ словно въ разумѣ своемъ помутился, что ни день—отлучаться сталъ изъ деревни. И доглядѣли потомъ—заберется, бывало, сердешный, въ лядины, подымется на макушку горы, глядитъ часами на загорскую и самъ плачетъ... А потомъ и дома дошло: сядетъ, бывало, вотъ этакъ же въ пригинку, задумается, да вдругъ и завопитъ слезно: „Пропала навѣки загорская, прошумѣла навсегда наша слава!..“ Вотъ дѣла были... А теперь и еще придвинулась полоса—Якимовщина

съ кабакомъ. И ужъ съ этой полосы житье здѣшнее стало совсѣмъ по иному... А ты говоришь: „памятничекъ!“ Коли самимъ подошло — ѣсть съ урѣзкой, такъ ужъ не до христодѣльни народу, чтобы чужихъ питать да лелѣять... Теперь ко всему другому прибавка взялась,—блазнило окаянное стоитъ близко, послѣдки хлѣба выманиваетъ изъ рукъ, послѣдки живота, изъ души — Христа-Спаса... Разобралъ народъ, что въ Якимовщинѣ коротать часы веселѣе, туда потянула всѣхъ черная сила! Теперечь-ка не токма мужикамъ, а и бабамъ инымъ тошно стало сидѣть въ своихъ избахъ близъ святыхъ, и бабы иныя подынулись нонѣ въ Якимовщину...Батюшка правду сказываетъ—„житье—сказка!“ Въ житьѣ этомъ все по ниткѣ разобрать надо, да нитку-то всякую день — въ день уложить рядкомъ, мѣсяцъ — въ мѣсяцъ... На нашихъ глазахъ идетъ дѣло, а концовъ не видимъ и мы. А то вотъ есть и еще случай для нагляду... Завели на Горѣломъ пнѣ фабричку, чтобы шведовы спички дѣлать. Ну, знамо, народъ возрадовался, — догадался, что къ домашнему обиходу прибавка пойдетъ; а иные и дальше брали, говорили: „Прикопимъ денежку да и отдернемъ у Якима загорскую!“ Пошла нажива, на своемъ хлѣбѣ стали въ день по три пятачка добывать, а кто пошустрѣй — по четыре. А тутъ и еще фабричка завелась — лить стеколье. Дрова пошли въ ходъ, кони пошли, люди Христовы, — все пошло ходуномъ...А погодя, поползли люди въ разныя стороны, словно вкругъ деревень дырокъ этакихъ насверлили коловоротомъ, чтобы народу утекать легше... Иные хватили въ Москву, иные — до Питера, да вотъ такъ-то и хватаютъ, а толку нѣту. Иной проработаетъ тамъ годъ—два, а вернется домой голъ и чистъ!—„Продавайте, родимые, конька аль коровку—денегъ нѣту на подати...“ А сапоги—глядишь—съ вышивкой, ровно бы у хваленой невѣстѣ на показномъ полотенцѣ, рубаха — шелкъ изъ малины, часы въ жилеткѣ — колесо! А чего по часамъ узнавать въ нашемъ мѣстѣ? — Не въ нутро, баринъ, ныньче люди жить стали, а для наружи; въ моду вошелъ легкой смыселъ!.. А житье-то стало

нажимистѣе: и по-божески-то жить, въ обрѣзку, и то — только-только! Да и одно ль это? Про это не бабьей головѣ смыслить, для этого голову надо въ пудъ... Теперечь-ка самый правильный хозяинъ безъ вольной сотни не обернется въ годъ, вольныхъ денегъ надо, а ихъ-то и не добыть нигдѣ эстолько. Да и не въ однѣхъ деньгахъ жизнь...

Прислушавшись къ разговору женщины, Перфилій поднялъ голову и, взглянувши на меня, сказалъ бодро:

— Это вотъ и есть дочка моя — Анна! Какъ и я, все она душой понимаетъ, а подѣлать ничего невозможно... „Теперь, говоритъ, всякую деревню на свѣтѣ будетъ ожимать съ трехъ сторонъ,—одна сторона остается свободно— бѣжать вдаль...“ — Я думаю сейчасъ: холодная весна и соловьевъ нѣту, свистятъ одни зяблики!.. Одна проваленная Якимовщина чего стоитъ?.. Теперь, почитай, младенцевъ блазнитъ — испить горькаго! Съ одной стороны Якимъ нажимаетъ, съ другой — недомолотъ, недопекъ, съ третьей — стекольны фабрики, а въ четвертой сторонѣ, какъ въ норѣ— темно! Чего скажу?.. Анамедни, слышь, самъ церковный староста до того употчевался въ кабакѣ у Якима, что свезли домой на телѣгѣ, какъ борова... Староста самъ, а?.. Гдѣ же вѣра?.. Куда, братецъ ты мой, вѣра дѣвалась, а?.. Да пострашнѣй скажу: самъ попъ, самъ дьяконъ... вспьютъ кругомъ мертвымъ поемъ! Можетъ статься, сударь разокончательно глупъ и слѣпъ я, а не примѣчаю я въ молодомъ колѣнѣ робятъ упорныхъ, чтобы смогли они подынуть вверхъ деревню... Вѣдь, почитай, пятьдесятъ дворовъ на деревнѣ, а людей мало!.. То живетъ въ избѣ гармонь вотъ этакая—съ лукошко, то часы съ бѣсовъ глазъ, али сапоги съ изюмомъ и щи безъ соли... Тоже вотъ и мои сынки зашибать крѣпко стали, горой я стоялъ за порядокъ, да обошли кругомъ гору!.. Изъ-подъ закона, значитъ, вывернулись наружу, да похуже того — свой законъ въ душѣ потеряли! Можетъ, оно и не такъ совсѣмъ страшно, а лишь кажется мнѣ... Я тоже, братъ, иной часъ смѣкаю въ головѣ: не можетъ житье замереть навѣкъ, Богъ того не допуститъ! Ну, а все жъ, —

нельзя народу жить безъ хорошей упорки, вѣдь народъ — все? А подымись-ко ужо за деревню на бугры, полюбуйся, какая хоромина стоитъ тамъ... То и есть — смерть наша, погибель мужицкая! Въ мужикѣ добро есть, да въ охмеленномъ видѣ и попу себя блюсти невозможно! Былъ здѣсь и еще одинъ случай, новый, по женской части случай. Ноньче лѣтомъ,—сказывали,—было дѣло... Пріѣхала къ отцу дочка изъ города, а въ городѣ-то она, слышь, жила въ горницахъ у господъ, по ихнему разряду и образованности взяла... Пошли бабы рожь жать, пошла и горожанка въ поле, а ей несподрушно по нашему, отвыкла, вишь, отъ деревенскаго заведенья... держитъ серпъ на плечѣ, какъ и всѣ, а на рукахъ-то, слышь, пятипалыя варежки, на лицѣ—бываль и шляпа подъ зонтикомъ?.. Отцу зазорно стало, говоритъ: „Дуняшка, брось этакое, люди смѣяться будутъ!“ А дочка отвѣчаетъ: „Не могу я, папаша, по-вашему... Всѣ вы — сѣростныя!“ Такъ ажно посторонніе обозлились, кричатъ: „Помни, Дунька, день субботній: кто ты? Нива наша святая, этакого не любитъ нива... Не озорничай, ради Христа, надъ нивой святой!..“ Эхъ... Иришенька, дай-ко сапоги дѣду... Пойду-ко я съ бариномъ наружу, разгуляюсь маленько!..

Перфилій собрался разгуляться, и мы пошли вмѣстѣ съ нимъ черезъ уличную жижу на огороды, оглядѣть памятникъ... Памятникъ стоялъ сиротиной: стекла въ окнахъ наполовину были выбиты, цвѣтные наличники сорваны, крыша дырявая и лежали на ней десятки камней и палокъ, зашваркнутыхъ туда ребятишками; глухое крылечко разнесено безъ остатка... Изъ бывшей голубой надписи надъ нимъ — уцѣлѣли лишь три неясныхъ буквы... А... НУ...., все остальное было смыто дождями и стерто вѣтромъ. Да и самое доску кто-то, видимо, пробовалъ отдернуть прочь, да вѣроятно еще не пришло доскѣ время, еще не ослабла ея закрѣпа... Молчалъ старый Перфилій, глядя на памятникъ, молчалъ и я. Да и что было говорить намъ?

Въ ближней постройкѣ, сквозь раскрытую настежь сѣнную дверь, виднѣлось въ сѣняхъ дѣвичье гульбище. Пѣ-

сенницы визгливыми голосами тянули дружно фабричную импровизацію:

„Нигдѣ милаго не вижу —
Ни въ деревнѣ, ни въ Москвѣ,
Только вижу я милова
Въ темной ночкѣ, въ сладкомъ снѣ!
Гляну, гляну я на стѣнку:
Вижу милаго патретъ...
Патретъ на стѣночкѣ виситъ,
На меня младу глядитъ,
Горьку рѣчь мнѣ говоритъ...
„Акулина, Акулина,
Береги ты мово сына,—
А мнѣ—охъ—не до того,
Полюбилъ я кой-кого!..“
Отнесу къ сестрѣ малютку,
Сама выйду на крыльцо,
Чтобъ закинуть въ пни-коренья
Золоченое кольцо...“

И вдругъ всѣ разомъ перешли на „частушку“, а двѣ плясуньи, избоченясь, стали подъ гулъ пѣсни отбивать каблуками...

Шли батенковски ребята
По дорогѣ столбовой—
Яшка, Оська да Кирюшка,
Да Егорка половой!..
Подошли къ деревнѣ близко,
Глядь—сидитъ ушастый зай...
Тутъ ребята закричали:
—Бра... скорѣе удирай!..
Сатана сидитъ близъ риги:
Уши—во!.. Глаза—огонь!
Хвостъ какъ вѣникъ,
А по росту—аккуратъ поповскій конь!..
И пустились врассыпную—
Кто въ болото, кто въ кусты...

Я невольно обернулся въ сторону: наперебой дѣвичьей частушкѣ, позади меня, немилосердно рявкнули разомъ всѣ наличныя батенковскія гармоники... Изъ-за угла выступила

компанія молодежи и, какъ было ранѣе, съ бравымъ усачемъ во главѣ. Веселье было разливное, одуряющее, дубинное! Дѣвицъ нѣтъ, гуляли холостяки въ холостую. Малый въ крахмальной рубахѣ и въ штанахъ по-нѣмецки, вздвинувъ на затылокъ цилиндръ, принялся дьявольски-лихо раздѣлывать на сухой широкой завалинѣ ловкіе крендели, подпѣвалъ въ тактъ гармоникъ:

„Барыня-госпожа
Изловила три ежа!..
Три ежочка изловила,
На грудь-бѣлу посадила,
Посадила—укололась,
Какъ корыто—раскололась...
Сама барину кричитъ:
Умираю, баринъ-Шмитъ!..
Умираю... умираю!!.
Очи навѣкъ закрываю...
А ей баринъ-Шмитъ въ отвѣтъ:
„Анделъ, моды этой нѣтъ,
Чтобы вышло смертно дѣло,
Чтобъ въ сурьезъ ты око...“
Эхъ—мирси-мирси—быку!..
А, слышь, французъ-то на боку
Ужъ девятый годъ лежитъ
И никуда прочь не бѣжитъ?“

Разошедшись съ Перфиліемъ, я до глубокихъ сумерекъ бродилъ по деревнѣ. Непонятное дѣло — чужая, случайно замѣченная лишь въ нѣкоторыхъ житейскихъ подробностяхъ, населенная тремя сотнями людей, изъ которыхъ развѣ одинъ десятокъ лицъ мнѣ былъ знакомъ хорошо, — деревня эта своей измѣнившейся обстановкой бередила мнѣ сердце?.. До ѣдкой боли стало жаль мнѣ эту чужую деревню, затерявшуюся среди болотъ и лѣсовъ на суглинкахъ, въ горькой, темной безпомощности. Будто вкругъ разрытой невѣдомымъ злодѣемъ родимой могилы ходилъ я съ тяжелыми мыслями вдоль батенковской улицы, заходилъ въ знакомыя избы. Но вліяніе ли праздника, или ужъ такъ быть должно, а только и въ рѣчахъ и въ ухваткѣ — боль-

шинство деревенскихъ людей было довольно жизнею... Но въ дѣйствительности—это было только слѣдствіе праздника, азбавленное горячительнымъ. Прорывались изрѣдка и другіе признаки, что люди свою невеселую долю очень хорошо понимаютъ, да нѣтъ пока выхода изъ нея.

Въ одной избѣ, освѣщенной двумя горящими лучинами, нѣсколько мужиковъ играли въ карты на деньги... У одного игрока вмѣсто денегъ „стоялъ на кону“ мѣшокъ съ житомъ... Однако, мужикъ-игрокъ былъ изъ ловкихъ, жито стояло пока не проигранное, а выигранныхъ мѣдяковъ лежало передъ нимъ на столѣ гривенъ семь. Мнѣ тоже любезно предложили сыграть—„порѣзаться скуки ради“, и указали на жито... Игрокъ я недурной, и у меня мелькнула гадкая мысль — присѣсть къ столу и выиграть отъ находчиваго мужика мѣшокъ съ житомъ... И въ ту же минуту родилась другая мысль — страшно стало...—„Не безъ тяжелаго труда, не безъ пота добыто оно изъ земли, оно святое, пожалуй?“ Съ тяжелымъ чувствомъ ушелъ я изъ игорной избы.

Въ другой избѣ я встрѣтился съ дряхлымъ, но попрежнему наивнымъ, какъ дитя, „храбрымъ“ Ерофеемъ. Старикъ очень удивился моему появленію на ихъ деревенскомъ праздникѣ, а погодя обрадовался, сталъ звать къ себѣ „испить пивишка“. Я завелъ разговоръ о памятникѣ... Три мужика разомъ замахали на меня руками, какъ машутъ въ непогоду вѣтвями придорожныя ивы, — всѣ трое заговорили разомъ: „Егоръ-покойникъ мудеръ шибко былъ, а не къ дѣлу“. — „Всего толечко и не хватало у него — толстаго ума въ затылкѣ!“—„Показать себя хотѣлъ на народѣ, да обождя — поскользнулся...“ Мужикъ съ черной бородой, со смѣлымъ, но непріятнымъ взглядомъ рѣзче двухъ остальныхъ отнесся къ умершему Егору Иванычу, отрицалъ въ немъ всякое живое чутье, настоящій „смыселъ“. Онъ говорилъ:

— Ежели умныхъ людей по нынѣшнимъ временамъ поглядѣть охота — сходи, баринъ, на часокъ въ Якимов-

щину, погляди хорошенько! Вотъ кабы такіе Егорьи почаще рождались на землѣ, какъ мой кумъ — Якимъ Нилычъ, совсѣмъ бы иная статья была: не человѣкъ,—можно сказать,— а стволовина дубовая! По нынѣшнимъ временамъ невзачетъ — толсто ты вѣруешь али тонко, а чтобы былъ умъ въ затылкѣ!.. Ныньче всякій умный человѣкъ норовитъ взять по-аглицки, норовитъ обогрѣть себя; а ежели ты въ холодокъ попалъ — пеняй на родимую бабушку! На свѣтѣ ныньче всякій самъ для себя долженъ уютъ приснастить и кусокъ съ масломъ,—батраковъ дармовыхъ нынѣ нѣту... Ау — проѣхали! Ныньче такъ понимать надо: ежели у тебя деньга есть въ рукѣ — верти деньгой въ тылъ и въ фасъ!.. Чтобы, значитъ, она разбухала, чтобы толстѣла во всей натуральности, какъ у кума Якима... У кума Якима Нилыча всякій грошикъ потолще, рупь пожирнѣе, — всякое къ его рублю прилипаетъ!

— Иванъ Иринеевъ! — перебилъ говорившаго старый Ерофей: — не по-хрестьянски вовсе ты ведешь свою рѣчь. Вѣдь ежели этакъ понимать дѣло, такъ и Создателя никому не надо, а одни рубли липкіе? Коли этакъ понимать суть, чтобы всякій стоялъ за себя, — костяная жизнь тогда будетъ... Останется одна кость съ кожей, безъ души, безъ оглядки въ Христову сторону, какъ у покойнаго бурмистра Марка. Али ты про себя полагаешь, что безызносный ты? Нѣтъ, братъ, всѣмъ намъ износъ подойдетъ въ свое время, и нехорошо тогда будетъ... Я покойному Егорью не былъ родней, и въ кумовьяхъ у Якима Нилова не считаюсь, а правду скажу завсегда: Егорій былъ первый у насъ, душа у него впередъ выступала!.. А у насъ ныньче вмѣсто души — коряга претъ изъ нутра...

Затѣялся споръ, „что означаетъ душа“ примѣнительно къ укладу деревни: нужна ли она по нынѣшнимъ временамъ мужику? Не лучше ли — отъ малаго до большого — всѣмъ жить „по-аглицки“, загребать для себя?.. Бывшіе въ избѣ и спорившіе о „душѣ“ раздѣлились въ понятіяхъ: одни находили, что „душа самое главное, она понимаетъ Созда-

теля...“ Но Иванъ Иринеевъ горячо спорилъ и доказывалъ, что „смыселъ выше души; смыселъ—все!“ А погодя разговоръ вновь повернулъ на Егора Иваныча, на Арсентія Яковлича, на „прежнихъ деревенскихъ камней“, которые хоть ползкомъ, а двигались впереди деревни, пытались вести ее черезъ коряги и пни на вольготу... Ерофей стоялъ крѣпко въ своемъ убѣжденіи, что „всѣ они были—орлы деревенскіе“, которые силились толкать жизнь на хорошее, расчищали тропинки слабымъ. Два другихъ мужика, махавшіе на меня руками вмѣстѣ съ Иваномъ, какъ бы опомнясь, умягчились къ Егоровой памяти, доискались, что „въ покойномъ Егорьѣ точно не мало было хорошаго...“ Но Иванъ Иринеевъ держался устойчиво противъ всѣхъ, а погодя сталъ браниться. Этого мужика я въ мой первый пріѣздъ на Батенково не запомнилъ. А теперь оказалось, что Иванъ Иринеичъ новая, появившаяся на смѣну Егорьямъ и Перфиліямъ сила: непобѣждаемое ничѣмъ горло... Новый вожакъ деревенскій.

Въ уголкѣ у порога сидѣлъ какой-то ветхенькій старичекъ и говорилъ самъ себѣ, всхлипывая сквозь хмельныя слезы:

— И—ихъ, прокатились, братъ Захаръ Омельянычъ, времена радостныя!.. Помяни, Христосъ, и времена тѣе и людей тѣихъ въ раю ясномъ... За то я тебя и люблю, Захаръ Омельянычъ, что тянешь ты душой внизъ, гдѣ коренья святыя.. И вѣрно, братъ-Захаръ, говоришь! Потому что и на душѣ было теплѣй въ тѣе поры, и отъ всѣхъ добрыхъ людей почестно!.. Да повалила, вишь, нечистая сила порядки Господни, подъ микитки взяла всѣ заводы хорошіе... Чтобъ-те въ тар-та-ра-ры проскочить, анаѳемская! Тетка Мардарита! а, тетка!.. Поднеси-ко мнѣ еще рюмашечку винца съ горя...

Хозяйка не отозвалась на просьбу... А „Захаръ Омельянычъ“, ничуть не обидясь, принялся вновь бесѣдовать самъ съ собою о чемъ-то хорошемъ, но давно минувшемъ. И вдругъ, ободрясь душою, мятымъ-обрывчатымъ голосомъ запѣлъ пѣсню:

„И-и-изводитель графъ, значитъ, Башкевичъ
Громкимъ голосомъ вскричалъ:
Бра-атцы, стойте, стойте—не робѣйте,
За морями, значитъ, знаютъ насъ!..“

Въ это время донесло съ улицы въ избу какіе-то дикіе вопли, какъ бы гулы кладбищенскаго голошенія подъ гармонику. Все умолкло въ избѣ, прислушиваясь къ звукамъ съ улицы... Кто-то близъ оконъ въ темнотѣ вечера разыгрывалъ жалостный мотивъ на гармоникѣ, кто-то другой вторилъ ему,—съ воздыханіями и оханіями,—пѣлъ грустно:

„ . . . у старосты нашего,—у Степана,
Баютъ, голосъ-то погульчѣй барабана?—
Уворотливъ, баютъ, староста, будто угорь,
Бѣлъ душою онъ, словно уголь!
Мягокъ сердцемъ и ласковъ онъ, какъ дубина;
Вѣжливъ тонко-оченно, какъ скотина...
А ужъ совѣсть... Совѣсть-то у Степана,
Что поповскіе два кармана:
Просвира слободно въ нихъ проскользаетъ,
Да и куль съ мукой слободно въ нихъ пролѣзаетъ...
Ахъ ты, дядюшка нашъ—Степашка,
Не мужикъ ты—ей-ей,—а рубашка!
Въ простотѣ свой андельскій вѣкъ коротаешь,—
По полштофу въ день испиваешь и здравъ бываешь.
Въ сундукѣ золотой казны ты не копишь;
Подъ горячій часъ всякаго ты утопишь!..“

— И откудова только они этихъ пѣсенъ набрали ноньче?—проговорилъ одинъ изъ мужиковъ. — Все норовятъ кого-нибудь просмѣять!.. Дядя Иванъ, это, братъ, и тебя, пожалуй, касающе? Христовой милостью староста здѣшній—ты, а они во-на какъ старосту честятъ подъ окошкомъ! Одно дѣло, что въ пѣснѣ сказъ идетъ про Степана, да возьми изверни чуть слово одно и—черезъ тебя проѣдетъ?.. Душа—уголь...

Иванъ Иринеичъ помолчалъ, погладилъ бороду и, вдругъ энергично протянувъ руку въ сторону уличной пѣсни, сказалъ степенно:

— Меня не просмѣешь, самъ я просмѣю всякаго!.. А ми-

гулистовъ я прижму скоро... Это—не кто иной—Федоровъ мигулистъ юродитъ! Оченно онъ шибко возноситъ себя, да и мы...—Сватья Мардарита, а будетъ что, али нѣтъ? А то мнѣ и домой пора, на отдышку.

— Будетъ, сватушка, сейчасъ будетъ!—откликнулась изъ угла хозяйка и, поднявшись съ лавки, отдвинувъ заслонку, что-то стала доставать ухватомъ изъ печки. Нѣсколько мужиковъ со мною вмѣстѣ ушли изъ избы, такъ какъ въ избѣ начиналось родственное потчеванiе.

При выходѣ на крыльцѣ старикъ Ерофей остановилъ меня, придержавъ за плечо, и сталъ снова звать къ себѣ въ гости: „испить пивишка и потолковать про житье“, и таинственно намекнулъ, что ему „оченно охота“ развѣдать отъ меня про городскiе порядки, и разомъ расчувствовавшись, тутъ же впотьмахъ раскрылъ душу...

— Баринъ хорошiй,—говорилъ старикъ шопотомъ:—ты, братъ, послушай меня часокъ, а я тебѣ выложу изъ нутра всю истинную!.. Есть у меня до твоей чести агромадное слово: вѣдь, можетъ-статься, и самъ я рядомъ съ тобой дерну въ городъ изъ нашей окаянной деревни?.. А ужъ тамъ ты припрячешь меня гдѣ-нибудь,—у кого-нибудь хлѣбы насущные печь, али крендели... Вѣдь, братъ мой, я по этой части оченно хорошо разумѣю, я дома завсегда самъ пеку хлѣбы и аладьи разные, и блины... Старуха моя—баба Аксинья—умнѣйшая въ головѣ и крѣпко набожная, а хлѣба испечь не умѣетъ: то зажаритъ его дочерна, то сырого вынетъ на столъ и вверху всегда у ней корка отойдетъ прочь, будто крыша, — хоть на телѣгѣ въѣзжай подъ корку, а внизу—оселокъ... Вотъ, значитъ, и кухарничаю я самъ. Да не въ этомъ бѣда, изморъ нашъ идетъ не отъ этого. Прямо скажу, господинъ: нашему брату безъ загорской невтерпежъ опять стало; да и отъ иного отъ многаго... Вотъ завтра ты приди ко мнѣ обвязательно, и я разскажу тебѣ всю истинную по порядку. Тогда ты и самъ скажешь: „Ну, братъ-дѣдъ Ерофей, алё со мной вмѣстѣ, никакихъ больше,—помахаемъ въ даль, въ ширь—на вольготу!..“ И еще сохраняется у меня, баринъ,

способность хорошая: умѣю я съ огурцомъ обращаться!.. Засолъ, значитъ, этого огурца въ бадейкѣ тамъ али въ кадкѣ, али въ ведрѣ,—тутъ надо и соли положить со смысломъ и смородиннаго листа, хрѣну, дубоваго листа ради крѣпости; а если еще водки подлить для пикану—тогда любую барыню отъ огурца не оттянешь! Для того, господинъ, всѣ секреты тебѣ открываю, чтобы, значитъ, когда устроимся въ городѣ,—тебѣ не плакать по мнѣ, а мнѣ не горевать по тебѣ!.. Чужого хлѣба я послѣ батькинаго не ѣлъ никогда, и теперь не хочу; а лишь изведи ты отсель мою и бабину Аксиньину души, а то заколѣютъ онѣ въ здѣшнемъ холоду жизни!..

— Дядя Ерофей, это...

— Нѣтъ, баринъ, ты обожди часокъ, понишкни!—истинную говорю: правильности теперь никакой нигдѣ нѣту—ни внизу, ни вверху!.. Ныньче всякая правильность въ щель запехнучена и сидитъ... У кого сила въ зубахъ, тотъ и попадаетъ на сладкое: всосется весь, когтями уцѣпится и глотаетъ, и шабашъ!.. Приди Самъ Господь, Его отдернутъ, отъ сладкаго—и Ему не уважатъ: „не трожь!"—Вотъ, для примѣра, и у Якима Нилыча нашего такой порядокъ—притонъ... Кто изъ набольшихъ ни ѣдетъ мимо—земской ли, становой ли, али кто поважнѣе—всѣмъ притонъ. Тутъ и ѣдятъ, тутъ и спятъ, тутъ и... а потомъ не пикни никто. Намедни на нашихъ батенковскихъ какъ закричитъ Якимъ Нилычъ: „Не токмà, говоритъ, васъ самихъ, а и бабъ и ребятъ вашихъ и всѣ потроха ваши,—коли носы будете задирать,—въ Сибирь загоню:—вы въ Бога не вѣруете... Вотъ только задерите носы повыше, и я сейчасъ вамъ, вшивымъ чертямъ, закручу всѣмъ лопатки!"—И ничего, господинъ, подѣлать нельзя: на ихней сторонѣ колъ... Да и то-ль... Эхъ, родимый, когда ты обвязательно придешь ко мнѣ завтра, я тебѣ разведу всю рацею про нашу жизнь. Взвоешь отъ нашей правды, ей-Богу взвоешь!..

Разойдясь съ Ерофеемъ, я осторожно пробирался черезъ завалы къ дому Перфилія, охваченный кругомъ вечернею те-

менью и будто притиснутый... Арсентій Яковличъ, Егоръ Иванычъ, Иванъ Иринеичъ, Якимъ Нилычъ и чающій вольготной жизни простодушный старикъ Ерофей—всѣ застряли въ моей головѣ, свалились въ кучу, слились вмѣстѣ съ пѣснею о ежахъ, вмѣстѣ съ мужичками-картежниками, съ мѣшкомъ жита... И въ то же время протискивались на память иныя картины, иные люди, на которыхъ мнѣ удалось—живя—наглядѣться вволю. Всѣ люди жили и живутъ на свѣтѣ — одни норовя добро нести въ жизнь, чтобы было человѣку на недолгомъ земномъ пути посвѣтлѣй, повольготнѣе. Другіе же озабочены только собою, только себя берегутъ и холятъ, и даже отъ сиротской краюшки норовятъ куснуть больше... И такихъ подлыхъ эгоистовъ — тьма въ жизни! Такъ что „аглицкія ухватки", какъ говорилъ Иванъ Иринеичъ, не были придуманы лично имъ на печкѣ, въ деревнѣ Батенковой, а испоконъ вѣка свободно обращались въ жизни людской, не считаясь ни съ проповѣдями, ни съ поученіями, — какъ родниковыя воды,—выбиваясь откуда-то изъ черной глубины духа... Но поверхъ всѣхъ обрывчатыхъ моихъ думъ висѣла тучей свинцовой,—тягота души Перфиліевой, — „погибель мужицкая!.." — Не учуялъ ли и въ самомъ дѣлѣ старикъ, что нутряныя закрѣпы у мужика надтреснули отъ очевидной силы всяческихъ неудобствъ и нахрапства? Но въ ту же минуту я рѣшилъ: — нѣтъ! — ветхій Перфилій глядитъ на жизнь безнадежно вслѣдствіе налетѣвшихъ случайно бѣдъ, случайныхъ несправедливостей и, наконецъ, потому, что большинство стариковъ „на новую жизнь" глядитъ подозрительно... Не бываетъ такой жизни, чтобы совсѣмъ все захолонуло въ ней черной тьмой, чтобы не было края тьмѣ; гдѣ-нибудь подъ житейскимъ пепломъ, подъ наслоеніями нужды, темноты и всхоленныхъ ими—зависти и недоброжелательства непремѣнно тлѣетъ искра огня небеснаго, и настанетъ часъ — подуетъ вѣтеркомъ вольнымъ — разгорится она, заблеститъ яркимъ свѣтомъ, какъ въ Свѣтлую ночь загорается радостными огнями паникадило церковное... И искра эта таится всюду, хранитъ зачатокъ огня неземного, да только еще

не насталъ часъ великій. — Тутъ мнѣ пришелъ на память совѣтъ Ивана Иринеича — пройтись на бугры, въ Якимовщину, воспріять отъ настоящаго ума—свѣтъ и пользу. Я рѣшилъ пройти туда на слѣдующее утро вмѣстѣ съ Перфиліемъ, съ Ерофеемъ...

На темной деревенской улицѣ жизнь затихла. Но изъ хоромъ доносился кое-откуда гулъ праздника. Гдѣ-то въ проулкѣ слышались поющіе женскіе голоса:

„Канфетка моя, леденистая...
Полюбила я милова, румянистова!..“

Въ покосившейся избушкѣ, глубоко вдавшейся на огородъ, слышался плачъ ребятни и выла баба нечеловѣческимъ голосомъ... Слышно было, что кто-то истязалъ бабу и грозно опрашивалъ: „Говори, анаѳемская, кто здѣсь набольшій въ избѣ — ты аль я?.. Го-в-вори... Гов-во-о-ри-и!..“

Рядомъ съ Перфиліевой постройкой, въ избѣ, ярко освѣщенной свѣчами, ногъ восемь немилосердно дробили на половицахъ подъ гармонные звуки „камаринскую“, отъ богатырскаго пляса дрожала изба и, какъ казалось мнѣ сквозь черень вечера,—обломанный конекъ на крышѣ покачивался...

Въ избѣ Перфилія всѣ были въ сборѣ, только самого его пока не было. Сынъ Перфилія, Андрей, очень смахивающій на старуху, сидѣлъ близъ одной изъ зыбокъ и „казалъ перстами“ зыбочному обывателю какіе-то фокусы. Андрей клевалъ носомъ отъ праздничныхъ потчеваній и всѣмъ существомъ своимъ былъ занятъ съ младенцемъ. Внукъ Перфилія, длинный дѣтина, лежалъ пластомъ на полатяхъ и крѣпко спалъ. Рядомъ съ нимъ спалъ мой ямщикъ.

Послали дѣвушку Иришу поискать дѣда, чтобы шелъ домой ужинать. Ириша проходила долго, но нигдѣ не нашла старика. Рѣшили, что дѣдъ гдѣ-нибудь „на краю закалякался“, и сѣли ужинать безъ него. На столѣ опять появилась бутылка съ водкою, ковшъ пива, уха въ латкѣ, огурцы,

грибы, окуньки. Андрей за ужиномъ разсказалъ побасенку про стыдливую молодицу: „Поженилъ мужикъ сына, взялъ невѣстку изъ дальней деревни, да такую стыдливую, что и въ деревнѣ на рѣдкость! Сѣли ужинать, скомандовалъ мужикъ — „таскать“ изъ общей чашки раскрошенную на кусочки говядину... Всѣ таскаютъ изъ чашки говядинку, радуются; только одна молодушка не ловитъ самаго хорошаго въ чашкѣ, стыдливо говоритъ свекру: „Я, батюшка, не люблю говядку... И у батюшки свово была я такая, — такая ужъ я всегда!“ Да случилось, что потухъ огонь на лучинѣ, настала темь надъ столомъ. Взялась свекровь вздувать огонь на шесткѣ для зажиганія новой лучины, а догадливый свекоръ,—чтобы ребята впотьмахъ не разворовали изъ чашки говядинку—за караулъ взялся... Вооружился ножомъ-хлѣборѣзомъ, затяпалъ имъ невидимою рукою надъ невидимою чашкою, какъ разбойникъ. — Тяпъ! — тяпъ... тяпъ... Тяпъ! по рукѣ кому-то заѣхало?.. Кто-то изъ сидящихъ за столомъ пустился на воровство... Вздули огонь на лучину, обглядѣли ребятъ, да по рукѣ „заѣхало“ молодушкѣ... При огнѣ стыдливая не любила говядку, а лишь настали потемки — и у ней аппетитъ разгорѣлся!“

Всѣ мы отъ души посмѣялись Андреевой побасенкѣ. А дѣда все еще не было. Одна изъ гостій взялась свою побасенку разсказывать, какъ мужикъ мужика ухою употчевалъ. Я сразу понялъ, что гостья про „Демьянову уху“ ведетъ рѣчь. Но всѣ остальные за столомъ, видимо, въ первый разъ слышали извѣстную всѣмъ грамотнымъ горожанамъ басню,—всѣ жадно глядѣли на разсказчицу, ждали конца любопытнаго, чтобы дружно раскатиться веселымъ смѣхомъ.

Въ сѣняхъ между тѣмъ происходило какое-то глухое движеніе, возня, стуки... Казалось, что отчаянный ворюга забрался въ сѣни и шарилъ тамъ безстыже по рундукамъ и по стѣнкамъ, снимая съ гвоздей хомуты и кошелки. Но изъ слушающей компаніи, поглощенной чуткимъ вниманіемъ, никто не стронулся съ мѣста, чтобы оглядѣть сѣни, пой-

мать шаркуна ночного... Всѣ съ замираніемъ сердца ждали „конца ухи...“

Дверь вдругъ широко растворилась... На порогѣ странно обозначился опоздавшій къ началу ужина дѣдъ Перфилій, весь въ грязи, всклокоченный весь и безъ фуражки, безъ пояса. Разомъ всѣ глаза въ избѣ устремились недоумѣнно на старика, всѣ сидѣвшіе за столомъ—какъ одинъ—поднялись разомъ на ноги... Перфилій былъ сильно пьянъ и въ своемъ родѣ „грозенъ на видъ“ — косматый, свирѣпый, съ засученнымъ до локтя рукавомъ на лѣвой рукѣ... Еле перешагнувъ порогъ, описавъ колеблющейся фигурой смѣшную дугу и силясь уберечь равновѣсіе, онъ уперся плечомъ въ косякъ двери и, уставясь остолбенѣлыми глазами на ужинающихъ, крикнулъ сердито:

— Вы чего тутъ засѣли!.. А?.. Задаромъ хлѣбъ Божій портите, а хлѣбъ-то по какой цѣнѣ ноньче?.. Слыхали цѣну, аль нѣтъ?.. Вонъ изъ-за стола, дармоѣды! Я здѣсь ноньче хозяинъ въ домѣ... Али иной кто? Я въ чинѣ теперь опять... И ужъ теперь, братъ, шалишь, не сдерешь съ меня чина! Пшли вонъ всѣ... Пшли къ медвѣдю!..

— Господи Іисусе Христе, что дѣется!—сказала, всплеснувъ руками, Анна Перфильевна. — Батюшка, да какъ же это съ тобою сдѣялось такъ?

— А вотъ такъ, да и все тутъ! Мое дѣло, касающе моей головы... Аль я тебѣ отчетчикъ дался? Отчетчикъ, а?.. Пшла къ волку!..

Анна Перфильевна взглянула на меня и объяснила:

— Диво невиданное! — вѣдь во всю жизнь свою онъ, родименькій, вина не пилъ, какъ дѣвица красная велъ время свое, а вотъ—подошло!.. Знать, за грѣхи тяжкіе навалилось этакое,—чуть живой...

— Вр-р-аки!—не согласился Перфилій, и пробуя отдѣлиться отъ косяка, описалъ дугу къ печкѣ, уперся спиною въ шестокъ и заговорилъ наставительно: — Никакихъ грѣховъ ноньче нѣту!.. Все враки однѣ остались... А сама ты дура разокончательно, ты и понимай это... А что касающе моей

головы, то я живъ настояще! Хочешь—быка сейчасъ сшибу съ маху? Хочешь, аль нѣтъ?..—Слышь, братцы, я еще семьдесятъ три года изживу на землѣ въ озорство, допеку Наталью-змѣю... Я... Пшли вонъ всѣ изъ моей избы, супостаты! Пшли къ коровѣ... Говори мнѣ разомъ-сейчасъ: зачѣмъ вздумали чинъ снимать съ головы... А?.. Кумъ Дормидонтъ говоритъ: „Пошто они чинъ съ тебя сняли? Аль ты ихъ не растилъ, не кормилъ, не велъ свое дѣло? Ага, понялъ—разжевалъ: чинъ Наташкѣ занадобился!..“ Теперь, братцы, и я прозрѣлъ разокончательно, раскумекалъ!.. Теперь, значитъ, обернулась въ Наталью Федотьевну, вознеслась?.. А забыла, примѣрно сказать, какъ была Наташка, слышь, замарашка?.. Забыла, говорю, али помнишь? Вотъ... обождите часокъ, я васъ всѣхъ обучу почитанью! Теперь я здѣсь царь и... Ондрейко! ты, значитъ, разокончательно теперь отъ отца чинъ воспріялъ?.. А? Хорошо въ чинѣ? — Балбесъ! — чинъ-то я тебѣ сдалъ нарошно, для блезиру!.. А теперь мнѣ самому надо! Давай, братъ, мнѣ его сюда въ руки... Хе-хе!.. Я... Обожди часокъ, я те, хитреца, обучу знать законы... Р-ра-азъ!..

Перфилій энергично шагнулъ отъ печки по направленію къ сыну, поднявъ кверху засученную лѣвую руку, и опрокинулся... Женщины бережно подняли старика, сняли съ него поддевку, сапоги; принесли квасу, дали квасу испить. Перфилій притихъ, сидѣлъ безмолвный на лавкѣ, откинувъ къ стѣнѣ сивую голову, но лицо его выдѣлывало удивительныя гримасы: брови то сдвигались сурово, то поднимались вверхъ, губы шевелились беззвучно, руки дѣйствовали въ тактъ безмолвному разсужденію, глаза недвижно уставились куда-то въ даль, черезъ печку. Безмолвный старикъ, казалось мнѣ, былъ полонъ какой-то непонятной нутряной жизни, — не было сомнѣнія, что его, хмельного, гдѣ-то „крѣпко разговорили“ или горько обидѣли. Молодые усмѣхались грустно и невольно заглядывались „на дѣдовы штуки“; всѣмъ въ избѣ было тягостно, всѣ заробѣли. Благодушный „Ондрейко“ разомъ отрезвѣлъ отъ

отцовскаго хмеля, не сводилъ глазъ со старика, стоялъ вблизи него, не шевелясь, не моргая. Самъ я опѣшилъ передъ неожиданностью, и въ горлѣ у меня сдавило, — было грустно, жалко было хорошаго человѣка, не къ лицу ему было это позорище...

„Наталья Федотьевна“, сохранившая болѣе другихъ ровноту въ себѣ, съ замѣтною поспѣшностью принялась укладывать гостей спать. Теперь уже не до веселыхъ побасенокъ было. Многія гостьи перешли черезъ сѣни въ другую избу, тамъ стали устраиваться на ночлегъ. Я попросилъ хозяйку удѣлить мнѣ уголокъ въ жилой избѣ, гдѣ теплѣе. Перфиліева внучка, Ириша, старательно устроила для меня пышное соломенное ложе около образовъ. Неподалеку отъ меня уложили на полу старика. Все затихло.

Густая ночь чернѣлась на улицѣ и лишь изрѣдка легкими порывами вѣтра трогало за наличники оконъ, слегка постукивало, — словно кто бездомный и затурканный жизнью пробовалъ несмѣло извѣстить о себѣ, моля о прикрытіи отъ темной ночи въ теплой, хлѣбной и мирной хатѣ... Откуда-то чуть слышно доносились звуки гармоники, звуки пѣсни. Я заснулъ. Но дневныя впечатлѣнія и во снѣ не давали мнѣ отдыха... Видѣлось мнѣ, будто сижу я въ прохладной тѣни амбара и любуюсь, какъ цвѣтутъ на огородахъ вѣтвистыя яблони, залитыя волнами лучей горячаго солнца, а на гладинкѣ близъ памятника причудливо-пестрой гирляндой развернулся дѣвичій хороводъ и какой-то усатый старый солдатъ шелъ браво впереди хоровода и душевно-слезно разыгрывалъ на корнетѣ:

„Ахъ вы, ноченьки, ночки осеннія,
Осеннія-холодныя, непогожія,
Надоѣли вы, ночи, наскучили!..“

И цѣлый рой морщинистыхъ старухъ и сѣдыхъ стариковъ выглядывалъ изъ раскрытыхъ оконъ на улицу, — всѣ прислушивались чутко къ звукамъ „мѣдяного рожка“, и у всѣхъ лица грустныя. То снилось мнѣ, что я вставляю на мѣста выбитыхъ — новыя, зеркальныя стекла въ окна памятника,

раскрашиваю огромною кистью въ три колера его наличники, починяю новыми досками разнесенное глухое крыльцо, а вѣтеръ набѣгаетъ отъ поля и мѣшаетъ моей старательности, швыряетъ новыя доски подъ облако... И вдругъ, будто съ прежнимъ другомъ моимъ — Перфиліемъ Климычемъ Дубомъ — сижу въ раздольной Якимовщинѣ, — въ кабакѣ... Передъ нами на столѣ два полуштофа и ерши въ латкѣ, а въ рукахъ оба держимъ по огромной гармоникѣ... Пьемъ,— снилось, — ѣдимъ ершей оба и силимся оба разыграть за разъ два мотива... Перфилій старательно бралъ миноромъ и выводилъ тонко:

„Нигдѣ милаго не вижу,
Ни въ деревнѣ, ни въ Москвѣ...“

А я, — изгибаясь въ бараній рогъ надъ гармоникою, — во всѣ пищики и басы дулъ мажоромъ:

„Барынька-госпожа
Изловила три ежа,
Три ежочка изловила,
На грудь-бѣлую посадила...“

— „Сади толще!..“—кричалъ Перфилій. Но выходило какъ-то вразрѣзъ, не было въ нашей игрѣ „согласу...“ И оба мы вдругъ занервничали, пустили другъ въ друга густымъ сквернословіемъ, да догадались скоро: выпили и примирились... И въ мирѣ рѣшили оба играть „про ежей да про барыню“. И еще пили, и опять пили!.. Старикъ сладко морщился, вытиралъ полою старинной поддевки усы, бороду, и съ новою охотою тянулся рукой къ полуштофу. А я изъ всей силы старался доказать ему, что, дѣйствительно, кабакъ для деревни—огромная выгода! Водка забористѣй пѣнника, а пить ее покороче... Другая выгода: сиди въ кабакѣ, будто дома!.. Третья выгода: „и на рожь мѣна, и на сѣмя мѣна, и на иную всякую фрукту можно въ кабакѣ вино вымѣнять“, а что, если въ раззоръ идутъ деревнюхи—плевать на то!— не лѣзь!.. На то и щуки устроены въ морѣ, чтобы караси не дремали...“ Тьфу, погань!

Я проснулся весь потный, взволнованный. А лежащій неподалеку отъ меня Перфилій не то бредилъ вслухъ, не то наяву съ кѣмъ-то говорилъ обрывчато:

— „Ввѣкъ не пробовалъ дьявольскаго... Да смутилъ кумъ-анаѳема, Дормидонтъ! „Эхъ, кумъ Перфилъ, все едино на нонѣшнемъ свѣтѣ—пей и не пей—не спасешься! Давай же, куманекъ, чубыхнёмъ маленько ради Господня угодника?“— Сдался я на анаѳемовы приманки, думаю въ головѣ: „Ну-ко и впрямь караухну одну рюмахоньку, попытаю узнать: сидитъ ли доподлинно дьяволъ въ жижѣ?..“ А кумъ-Дормидошка блазнитъ пуще... Ну, и караухнули по одной, а тамъ и еще маленько... А тамъ—и въ кабакъ пошли дружно!..— Бранилъ я кабакъ, клялъ его въ сердцѣ, а онъ досконча-тельно раздѣланъ у Якима-разбойника: по-хозяйски, широко... Не абажалъ я кабака, а хар-ро-ошъ!—Брысь, сатана, подъ печ-ку... Изыди отъ меня далѣ, фи-и-ть! Нѣтъ, братъ-Егорій Иванычъ, ты теперь не касайся... Ты, братъ, со своей ду-шой часокъ обожди,—не тѣ времена ноньче! Для чего душа ноньче? Ты мнѣ смыселъ во лбу покажи для примѣра, а душа—ф-фи-ить!.. Охъ, болитъ въ сердцѣ...—Кумъ Дорми-донтъ, ты, братъ, подлецъ... Хоть ты и хорошій мужикъ, а бродяга! Отдвинь, говорю, далѣ руку съ рю-махонькой... Ну, да ежели въ ней самъ сатана въ глубинѣ,—хорошо бу-детъ?... Вѣдь и такъ тошно сердцу!—Слышь, наѣхалъ давечь хорошій баринъ ко мнѣ... „Поглядѣть, говоритъ, захотѣ-лось...“—А вотъ ты и погляди, ты и полюбуйся на насъ, сколь охота! Кумъ! аль караухнуть еще одну рю...махонькую?— Цѣди!.. Ишь, такъ змѣей, анаѳемская, и поползла опять по всей жилѣ,—ухъ!.. Ей-ей, Дормидонтъ, ты—собака! Барбосъ ты, кумъ, и ничего больше... Хе-хе-хе!.. А ну-ко давай еще по единой рю...махонькой? Цѣди, что ль! Вотъ она... Вотъ-вотъ... Ухъ!..—все я, братъ-кумъ, барину сказалъ безъ утайки, и, пожалуй, мы съ этимъ бариномъ скоро отсюда—ф-фи-и-ть на новые заработки! Вѣру, слышь, растрясли, а иного ни-чего нѣту... Да, братъ-баринъ, дочка Анна у меня все, какъ и я, понимаетъ, да нельзя воздынуться! Бабочка она золо-

тая, а не въ рукахъ. Мужиченко-то ейный заглавный, слышь, дьяволъ на округѣ? И своровать мастакъ, и подраться, а коли пить... Брысь, сатана!.. Чего ты къ старику привязался? ф-фи-и-ить отъ меня къ медмѣдю!..—Вся и загвоздка наша, сударь, оттого претъ быкомъ, что верхніе нонѣшніе съ огнемъ заиграли... Полымя-то въ рукахъ и старику не подходитъ,—ты его положи, не трожь, поди далѣ... Али не вѣруешь? Дѣвчонки, и тѣ ноньче близко къ огню подошли, бабы... Всѣ загоримся скоро! Ощипали, значитъ, и съ дѣвченокъ на фабрикахъ перо цвѣтное, растрясли вѣру въ душѣ, прибытку въ хозяйство дали... Прибытку, слышь: въ деревнѣ четверо богоданныхъ ребятъ завелось?.. Одинъ завелся енаральнаго отрожденія... А?.. Къ чему, говорю, енаральное намъ? Вѣдь не къ мѣсту! Ой, братцы, шутки негожія... Кумъ, цѣди!.. Не бойся—никакого дьявола въ винѣ нѣтъ, положена одна веселость,—девятая молодость!.. Кумъ... давай спляшемъ!.. А?.. Давай, дуракъ, тряхнемъ стариной наизнанку... Кумъ, сади!..

Ходи ноги, ходи я!..
Затрясись изба моя,
Затрясися, растворися,
Съ печкой вмѣстѣ веселися!
Ходи ноги, ходи я,
Ходи, милая моя...

Что?.. самъ сатана пляшетъ?.. Гони его, Дормидонтъ, въ тылъ!.. Пшелъ прочь отседа, наше мѣсто здѣсь свято... Ф-фи-и-ить!.. Ухъ, какъ нехорошо въ сердцѣ!..“

Старикъ умолкалъ и вновь начиналъ бредить вслухъ, кряхтѣлъ тяжело, жаловался кому-то, что „нехорошо въ сердцѣ“, куда-то собирался пойти... Я изнемогъ отъ маяты и душной теплоты въ избѣ, и заснулъ крѣпко, безъ сновъ... И вдругъ заслышалъ сквозь сонъ,—будто глухой неестественный крикъ пронесся гдѣ-то, всколыхивая мертвую тишь... Я насторожился чутко, но все безмолвствовало кругомъ. А внутри избы слышалось ровное дыханіе спящихъ беззаботно людей; спалъ и старикъ: ночные разговоры его прекратились. Но вотъ дикій крикъ снова заслышался вдалекѣ, крикъ

жуткій, страшный, — будто кто погибалъ навѣкъ и звалъ о помощи. Голосъ словно передвигался по мѣсту, раздавался то яснѣй, то глуше. Поднявшись въ болѣзненномъ возбужденіи съ соломенника, заглянувъ сквозь окно въ темень ночи, я все понялъ... Черная мгла отсвѣчивала краснымъ на улицѣ; а голосъ вопилъ совсѣмъ близко:

— Подымайся, народъ... Го-о-ритъ! Хозяева, Божье немилованье!.. Все пылаетъ...

Не довѣряя глазамъ и слуху, не зная, что дѣлать, я глядѣлъ сквозь окно на расцвѣтавшую багрянцами черноту, сердце билось усиленно. Думалось: „да не бредъ ли это, не продолженіе ли ужасающаго кашмара около двухъ полуштофовъ въ Якимовщинѣ?“ Да нѣтъ... на улицѣ совсѣмъ ясно отсвѣчивало багровымъ заревомъ, казалось, что и тучи, ползущія надъ деревнею, скоро вспыхнутъ огнемъ! На свѣтлой улицѣ слышался уже не одинъ голосъ, со всѣхъ сторонъ понеслись вопли. Я крикнулъ громко. Настала суматоха... Всѣ повскакали разомъ, заметались всѣ изъ угла въ уголъ; въ задней избѣ слышались громкія воздыханія; вблизи меня—въ обоихъ зыбкахъ—запищали младенцы. Какая-то женщина заголосила навзрыдъ, но сынъ Перфилія—Андрей—не сробѣлъ душой и, успокоивая взволнованные умы, говорилъ ровно:

— „Ничево... ничево... Это, бабы, ничево! Не робѣй!.. Пожаръ, такъ пожаръ... Ничево! Это, бабы, хоть бы что...— И вдругъ завылъ бабьимъ голосомъ:—Наталья Федотьевна, а гдѣ мои са-а-поги-и?.. Вынимайте, бабы, ребятъ изъ зыбокъ, обирай святыхъ... Неси лавки на улицу,—все горитъ!..“

Перфилія не было въ избѣ между нами, въ сутолокѣ я не замѣтилъ его; вѣроятно, онъ ранѣе меня заслышалъ вѣсти о „Божьемъ немилованьи“ и ушелъ. Да прошло двѣ-три минуты, и всѣ мы выбѣжали изъ сѣней, кто съ чѣмъ... Горѣло гдѣ-то на концѣ деревни, но жарко. Черезъ огороды, подъ низкимъ багровымъ небомъ проносились густыя стаи искръ, опускались на улицу. На далекое пространство свѣтилось поле. Народъ кричалъ и безтолково метался по

жидкой улицѣ, неся въ рукахъ топоры, багры, ведра. Иные сгибались подъ тяжестью захваченнаго изъ построекъ имущества и шли къ полю. Скрипѣли ворота и калитки; мычали глухо коровы. Вдругъ стало отчего-то будто ровнѣе, спокойнѣе. Разобралъ испуганный народъ, что горитъ „Якимовщина", что для деревни опасности близкой нѣтъ.

Я зашагалъ къ пожару напрямикъ черезъ огороды, разсчитывая чѣмъ-нибудь помочь людямъ въ бѣдѣ тяжкой. Горѣлъ, дѣйствительно, Якимовскій кабакъ, тотъ самый, что во время моей давнишней побывкѣ въ этомъ краю представлялъ загадку, лежалъ на землѣ въ видѣ новаго теса, бревенъ и кирпичей. Волны огня уже со всѣхъ сторонъ охватили широко раскинутыя хоромы, сыпля вверхъ искрами. Нѣсколько человѣкъ метались въ исполохѣ около пламени, плескали на пламень водою изъ ведеръ... То были— самъ Якимъ Ниловъ и его близкіе.

Народъ собирался на уклонъ горы со всѣхъ сторонъ поля. Безотчетный, ошеломляющій страхъ пропалъ, слышались спокойные разговоры; Батенкова стояла довольно далеко отъ пожара. А къ участи кабака всѣ скопившіеся съ орудіями и безъ орудій отнеслись почти равнодушно; попробовали нѣкоторые усердно водой плескать на огонь, да очень жгло... Попытались баграми цѣплять — хуже горитъ и гуще искорьемъ несетъ на деревню. Кто-то кричалъ:

— Коли вода не беретъ, такъ багромъ да топоромъ не поможешь! Одно жалко — хорома хорошая и винцо... Все теперь пропадетъ за зря...

Оставалось одно—глядѣть, какъ огненные языки зализывали на-нѣтъ широкое и крѣпкое имущество мѣстнаго „добродѣтеля". И хоть не было слышно злорадства кругомъ, а все же примѣчалось, что иные не прочь были и порадоваться исчезновенію кабака съ земли. Шли толки, какъ могла случиться у такого „проворнаго" человѣка, какъ Якимъ Ниловъ, „этакая недоглядка страшенная?" — „Это—

Богъ! — сказалъ кто-то: — Онъ, Батюшка, отъ сотворенья свѣта таковъ—глядитъ-глядитъ, терпитъ-терпитъ да и царапнетъ: помни!..“

Народу набѣжало много и изъ сосѣднихъ деревень, весь скатъ горы заполнился любопытными. Послышались вблизи веселые взвизги дѣвицъ, толкаемыхъ холостяками. Попробовали мужики вновь работать баграми, но выходило не лучше, — вѣтеръ набѣгалъ съ вершины горы и раздувалъ пламя книзу, гналъ на деревню тучи сверкающихъ искръ. Вдругъ глухой и зловѣщій ропотъ пронесся по частымъ кучкамъ народа, все задвигалось, заговорило о чемъ-то. Неподалеку отъ меня стояли три бабы и молодой мужикъ, одѣтый наспѣшку въ бабью душегрѣйку, въ бѣлыхъ портахъ и въ зимней мохнатой шапкѣ,—къ нимъ подошелъ еще мужикъ и, поговоривъ тихонько, указалъ рукой поперекъ ската горы. Бабы вскрикнули громко:

— „Да неужли правда, родименькіе?..“—„Ай, страсти какія!..“—„Ай, святые-Господніе, да неужли впрямь, — безъ облыгу?..“

А мужикъ говорилъ бабамъ твердо:

— „Онъ самый, онъ! Во... Глядите эво-чка туды, по горѣ... Вонъ—на камнѣ!“

Вдалекѣ отъ пожарища, на уклонѣ горы скопилась кучка людей, а черезъ короткое время народъ къ той сторонѣ потянулся гужомъ. Ужасъ объялъ меня... Среди волновавшейся толпы, на плоскомъ корявомъ камнѣ сидѣлъ Перфилій, онъ былъ въ одной рубахѣ, безъ пояса, съ босыми ногами, въ томъ самомъ видѣ, какъ уложили его вблизи меня на полу... Лицо старика было неподвижно и мертвенно, глаза сурово устремлены на огонь, а пробѣгавшій вѣтеръ развѣвалъ его волосы... Кругомъ камня скопилось живое кольцо, слышались шопотъ и сдерживаемый разговоръ, и въ ту же минуту кто-то заговорилъ совсѣмъ громко:

— Ай, дѣдъ Перфилъ, молодецъ, отличился! А мы-то, чудаки, малыхъ ребятъ опасаемся, да пьяныхъ людей опасаемся, чтобы не заронили гдѣ пламя огненнаго... А ты, на-ко!—

баютъ, подсунулъ цѣлый пукъ съ огнемъ подъ Якима?.. Дѣдъ, неужли сдѣлалъ этакое?

Перфилій дикимъ неморгающимъ взглядомъ смотрѣлъ на колыхавшіяся волны огня и временами весь вздрагивалъ... Загремѣлъ чей-то властный и рѣшительный голосъ:

— Вотъ онъ, любезный, забрался куда... Гдѣ, Захаръ—соцкій? Эй, народъ... подай сюда соцкаго!—И изъ гудѣвшей глухо толпы, ошеломленной и недоумѣвающей, смѣло выступилъ къ камню Иванъ Иринеевъ, батенковскій староста. Увидѣвъ передъ собою захудалаго, кривобокаго мужика, староста сказалъ строго:

— Захаръ, принимайся за свое дѣло, бери на руки ево... Вяжи зажигателя! По заслугѣ и почетъ надо... Ахъ, асмодей сивый,—самаго добродѣтельнаго человѣка на округѣ пустилъ въ пепелъ!.. Ну, помни, собака, и самъ не возрадуешься... Охальства у тебя полно сердце, да и мы, братъ, охалы... Господа-народъ! вотъ поученье живое,—первая поговорка была у Перфилья на всякій счетъ: „Бога забыли...“ А вотъ онъ,—примѣрно говоря,—хорошо помнилъ Бога—въ чужія хоромы запихнулъ лучину пламенную?—хуже палача извелъ человѣка... Захаръ, крути лопатки ему хорошенько!

— Да чего крутить-то? И такъ никуда не убѣгнетъ, не прытокъ... Экое дѣло подошло къ краю, экое худое—сибирное обозначилось! Спаси, Господи, всякаго грѣшнаго отъ напущенья такого... Эй, Митрошка!.. Слышь, по указу сельскаго старосты вязать старика надо... Бѣги ко мнѣ въ избу за веревкой,—гляди хорошенько: жгутъ этакой виситъ въ избѣ на клинкѣ, близъ божницы! Шарь рукой по стѣнѣ отъ окошка, тутъ ее и нашаришь... Она ахвицыяльная. Вали живо!

Перфилій сидѣлъ на камнѣ и все такъ же упорно смотрѣлъ на огонь. Онъ, видимо, не слышалъ широкаго народнаго гомона, распоряженій Ивана Иринеева и Захара, не примѣчалъ скопившейся надъ головою грозы... Почти голый, съ развѣвающимися отъ вѣтра прядями сѣдыхъ волосъ, без-

молвный, судорожно вздрагивающій, бѣдный, одинокій, онъ походилъ въ эти минуты на что-то невиданное, не примѣрное, дожившее до крученья лопатокъ, но свободное отъ узловъ жизни.

Вернулся изъ деревни запыхавшійся парень Митрошка съ веревкой въ рукѣ...

— Ну-ко, лѣзь, дѣдъ Перфилъ, сюды ниже...—заговорилъ неувѣренно сотскій, вступивъ въ свое право, и сталъ легонько поталкивать старика съ камня.

Перфилій какъ бы очнулся, обвелъ кругомъ долгимъ взглядомъ, и во взглядѣ этомъ,—примѣтилось мнѣ,—мелькнуло что-то бодрое... Но черезъ мигъ все исчезло безслѣдно, глаза снова устремились недвижно къ пожарищу. Захаръ сталъ поталкивать дѣда крѣпче, манилъ его къ себѣ въ руки:

— Дѣдъ! а, дѣдъ!.. Лѣзь пониже! Все равно, братъ, воля твоя миновала...

— Экое дѣло стряслось, эко натворилъ грѣха, старый!—говорили съ сожалѣніемъ бабы.—Умнѣющая голова была, а сглупила... Рехнулся, знать, отъ годовъ? Да и ево ли работа была?.. Баютъ: „доподлинно всѣмъ извѣстно, что злости никакой Якимъ Нилычъ ему не дѣлалъ!..“

— А можетъ-статься, отъ самого Бога скрозь Перфила на Якима попущено? Не въ обиду сказать: немного за Якима наберешь богомольниковъ, одно дѣло справлялъ—облупливалъ всякаго дочиста... Вотъ, Богородица-то глядѣла-глядѣла да и взялась за кабакъ въ перво дѣло,—чтобы не было кабака на землѣ?..

— Эхъ, Амосиха, куды махнула!.. Богородица умудряетъ на доброе, а тутъ зло... Тутъ отъ бѣса идетъ. Вонъ, послухай, что народъ баетъ: бабы сказывали сейчасъ, какъ вчера онъ туточки въ кабакѣ задавалъ плясу... Сказываютъ: „такого ходунца задавалъ въ Якимовщинѣ, что и самъ Якимъ легъ отъ смѣха...“

— Кто плясалъ—бѣсъ?..

— Не бѣсъ, а вотъ—дѣдко... Съ дѣдомъ Дормидонтомъ,

баютъ, колесили они. А бѣсъ въ это время и вселился въ нутро Перфилу и смутилъ на этакое... Тутъ дѣдъ-то набралъ въ руки пукъ лучины пламенной и пошелъ ходомъ, по бѣсову указанью!

— Правда все!..—отозвался глухо Перфилій и, разомъ оживѣвъ, смѣло поглядѣлъ на народъ и въ ту же минуту необыкновенно легко опустился съ камня, сталъ лицомъ въ лицо сотскому.—Изболѣлся я въ сердцѣ, а и самъ не возьму въ толкъ всего,—все туманъ... Да и во хмелю было дѣло, хмеленъ я былъ и зломъ возгорѣлся. И точно—былъ бѣсъ внутрѣ у меня, бѣсъ страшный!.. Болѣло за народъ сердце, хотѣлось помягше чтобы... Души было жаль, въ головѣ дума была: „пропадаетъ душа у народа!“ Не буду переться, сосѣди: лучиной огненной сработалъ я у Якима... Вотъ я—весь тутъ... Вяжи меня, Захаръ Власычъ, это моя заслуга!.. По закону вяжи, достойно...

Тутъ новое зловѣщее движеніе пробѣжало по затихшей толпѣ, внимательно слѣдившей за вязальной работой Захара и Ивана Иринеева,—всѣ лица обернулись разомъ къ Батенкову; послышался какъ бы общій вздохъ, и всѣ разомъ шумно двинулись съ горы внизъ... На деревенскихъ задахъ мелькалъ—не то гдѣ подъ крышею, не то на стогѣ сѣна—розовый огонекъ. Пригнетенный жуткою тяжестью, переживая отвратительный моментъ зрѣлища—связыванія человѣка веревкой, я растерялся мыслями и кинулся за чѣмъ-то вслѣдъ за народомъ. Меня обогналъ Захаръ сотскій, онъ кричалъ громко: „Не что иное, какъ окаянный Митроха поджегъ мою хату... искалъ ахвицыяльную—зажегъ, дьяволъ, огня и поджогъ!..“ Пробѣжалъ Иванъ Иринеевъ... Я сообразилъ, что не можетъ быть большой опасности для мокрой деревни, когда всѣ бодрствуютъ и всѣ бѣгутъ къ ней на помощь. Надо успокоить бѣднаго друга, побыть близъ него... Я вернулся обратно—въ гору. Около Перфилія стояло нѣсколько человѣкъ, и, какъ мнѣ показалось при яркомъ заревѣ,—близкихъ людей кабашника, надумавшихъ „воздать дѣду за труды...“ Но я ошибся, возлѣ старика находились батен-

ковскіе „холостяки“, и между ними выдѣлялся особенно вчерашній усачъ —гармонистъ,—онъ съ какимъ-то другимъ парнемъ развязывалъ скрученныя длинною веревкою руки дѣда...

— Бѣги, дѣдко, въ лѣсъ!—сказалъ кто-то:—твое дѣло—бяка... Въ лѣсу хоть умрешь на волѣ, а здѣсь тебя измотаютъ.

— Вѣкъ прожилъ и умъ прожилъ!—говорилъ укоризненно усатый.—Сообрази: кто умный возьмется за этакое? Коли ужъ шибко захотѣлось сдѣлать зло кабаку—другой совсѣмъ венигретъ сдѣлать надо... Кабы ты опился въ кабакѣ да и еще бы три этакихъ старичка съ тобой вмѣстѣ, да мужиковъ бы помоложе пятокъ-шестокъ, да бабъ бы штучекъ шестокъ, да младенцевъ бы парочка, вотъ бы кабакъ и захирѣлъ послѣ этакого... Поглядѣли бы тогда на кабакъ сверху—каково онъ орудуетъ?.. А этакъ, братъ, извести его невозможно, корень у него зашелъ въ глубь, а корень-то какъ бревно... Утекай, дѣдъ, въ лѣсъ на слободу!..

— Молодежь,—сказалъ я:—не дѣло дѣлаете... Хуже будетъ! Если онъ сданъ сотскому на руки, такъ и надо вести по порядку...

— Поди, баринъ, къ Богу!..—сказалъ мнѣ запальчиво усатый освободитель.—Учи не насъ, мы и сами кой-про-что разумѣемъ... Ты порядокъ увидѣлъ, а живого человѣка тебѣ не видно? Порядокъ это:—„Пей весь міръ!—вотъ тебѣ гармонь въ руки, вотъ тебѣ распивошно къ горлу, и ничего болѣ...“ Порядокъ это? Что онъ даетъ—ты думалъ? Дѣдъ сдуру за народъ подынулся, да подынулся не съ того края, вотъ и сказъ весь на блюдѣ... Дѣдъ, валяй бѣгомъ въ лѣсъ, захлебнешься воздухомъ и умрешь! Другой выгоды тебѣ нѣту...

Не злостью отозвались во мнѣ слова усача,—я понялъ въ его горячности жалость къ человѣку, заботу объ облегченіи нежданной бѣды. И у меня всколыхнулась душа добромъ, возмутилась противъ веревокъ и грубыхъ попрековъ старосты... Бѣги, дѣдъ“,—готовъ былъ крикнуть и я. Да помѣшалъ самъ Перфилій...

— Нѣтъ, ребятки, бѣжать мнѣ никакъ невозможно!—

сказалъ онъ:—не мое это право; пущай будетъ и тюрьмѣ забота... А за неосужденье да за добро—спасибо! Хоть мнѣ и нельзя говорить про Бога теперь, недостоинъ я этого,—а Богъ-то, братцы, вкругъ васъ... Спасибо, Тимоѳей!.. Не зналъ я, что у Ивана Иринеича такой парень... Тимоѳей, и еще слово молвлю... Всегда, братъ, одно чаще помни: не житье наше самое главное, а душа! Не къ лицу мнѣ учить вашего брата теперь, да ужъ ладно. Я—тюремникъ... Теперь далеко отойдетъ отъ васъ моя линія. Пойдемте къ міру!

Мы пошли къ деревнѣ, освѣщаемые съ одной стороны отблескомъ догоравшей Якимовщины, а съ остальныхъ—занявшимся сѣрымъ разсвѣтомъ утра. Навстрѣчу намъ шли, во главѣ со старостою, нѣсколько мужиковъ-депутатовъ. Въ деревнѣ было шумно, но вспыхнувшій огонь затушили. Перфилій остановился, уставился на меня грустнымъ взоромъ и сказалъ тихо:

— Жалко, сударь, что и тебѣ отъ меня огорченье... Сошлись дѣла неспособно, нехорошо сошлись! Да ужъ стало—такъ надо... И самъ я вчера утромъ не гадалъ про этакое. Тимоѳей-то Иванычъ, пожалуй, правду сказалъ: „Дѣло большое, а обернулось грѣхомъ тяжкимъ". Ты, сударь, иди туда—къ нашимъ, и поѣзжай... Мнѣ теперь не домой дорога, а къ соцкому, а тамъ... далѣ! Теперь у меня ничего здѣсь не осталось, одна бѣда. Поѣзжай съ Богомъ изъ здѣшнихъ мѣстъ поскорѣе, подалѣ... Не поминай меня худо,—ужъ вѣрно такъ на роду мнѣ означено...

Насъ окружила снова густая толпа. Заслышалось гулкое женское голошеніе, какъ по покойнику... Обращаясь ко мнѣ, Перфилій проговорилъ дрогнувшимъ голосомъ:

— Прощай, Вихторъ Игнатьичъ! Теперь я... Попомни, сударь, мужицкую славу, да попомни и горюшко наше, попомни и пожалѣй!.. Анна Перфильевна, кинь грустить, ласковая,—ничего не поможетъ! Не кручинь меня, мнѣ и такъ еле въ силу. Совсѣмъ я ослабѣлъ отъ натуги... Иришенька, поди прочь!..

С.-ПБ.
1904 ноября 24.

СОДЕРЖАНІЕ.

	Стр.
Дѣдъ Софронъ	3
Кривая доля	43
Аника воинъ	95
Три сосѣда	162
Пробужденіе	247
Прошумѣла слава	300

1 --73ST2 53 005 BR 6062

PG 3470 .S296 P7 1906 C.1
Probuzhdenie i drugie rasskazy
Stanford University Libraries
3 6105 039 841 080

DATE DUE			

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004